ISSN 0130-7673

НОВЫЙ МИР

8

1997

НОВЫЙ МИР 8 1997

НОВЫЙ МИР

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ЖУРНАЛ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И ОБЩЕСТВЕННОЙ МЫСЛИ

Издается с января 1925 г. **№ 8(868)** **Август, 1997 г.**

Учредитель — редакция журнала «Новый мир»

СОДЕРЖАНИЕ

ОЛЕГ ЛАРИН — **Ехала деревня мимо мужика...** Сцены из захолустной жизни 3
АЛЕКСАНДР ШАТАЛОВ — **Семейные фотографии,** стихи 32
АНДРЕЙ ВОЛОС — **Рассказы.** Из цикла «Хуррамабад» 37
СЕРГЕЙ ЗОЛОТУССКИЙ — **У белой стены,** стихи 68
ЛАРИСА РУМАРЧУК — **В ледяной глазок,** стихи 71
АНТОН УТКИН — **Свадьба за Бугом,** повесть 73
ДМИТРИЙ АВАЛИАНИ — **Гуттаперчевый мальчик,** стихи 99

НОВЫЕ ПЕРЕВОДЫ

КРИСТОФ РАНСМАЙР — **Болезнь Китахары,** роман. Продолжение. Перевела с немецкого Н. Федорова 105

ПУБЛИЦИСТИКА

СЕРГЕЙ ЗАЛЫГИН — **Культура, демократия и тоталитаризм,** заметки 157

ДАЛЕКОЕ БЛИЗКОЕ

В. ПОПОВ — **Хлеб под большевиками** 175

ОПЫТЫ

АЛЕКСАНДР КУШНЕР — **Дельфтский мастер** 191

ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

НИКИТА ЕЛИСЕЕВ — **Азольский и его герои** 205
АЛЕКСЕЙ СМИРНОВ — **Тираноборчество и клоунада: смертельный трюк** 216

По ходу текста

АНДРЕЙ ВАСИЛЕВСКИЙ — **Ну что ему Гертруда?** 226

(См. на обороте)

МОСКВА 1997

СОДЕРЖАНИЕ (окончание)

РЕЦЕНЗИИ. ОБЗОРЫ

Владимир Славецкий. Мучительная проза 230
Николай Кононов. Без покрова 235
Глеб Шульпяков. Правила поведения во сне 240
Алексей Зверев. Солнце вечности 242

БИБЛИОГРАФИЯ

Книжная полка (составитель Сергей Костырко) 246
Периодика (составитель Андрей Василевский) 248

SUMMARY 256

ПОЗДРАВЛЯЕМ НАШЕГО АВТОРА
АНДРЕЯ ГЕОРГИЕВИЧА БИТОВА
С ПРИСУЖДЕНИЕМ ЕМУ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРЕМИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ЛИТЕРАТУРЕ ЗА 1997 ГОД!

ПОЗДРАВЛЯЕМ НАШЕГО АВТОРА
ЕВГЕНИЯ БОРИСОВИЧА РЕЙНА
С ПРИСУЖДЕНИЕМ ЕМУ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРЕМИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ЛИТЕРАТУРЕ ЗА 1997 ГОД!

ПОЗДРАВЛЯЕМ НАШЕГО АВТОРА
АЛЕКСАНДРА ИСАЕВИЧА СОЛЖЕНИЦЫНА
С ИЗБРАНИЕМ ЕГО ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ ЧЛЕНОМ
РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК!

Из общего тиража Институт «Открытое общество» выписывает и направляет ежемесячно в библиотеки России и ряда стран СНГ 2189 экземпляров журнала «Новый мир».

© Журнал «Новый мир», 1997.

ОЛЕГ ЛАРИН

*

ЕХАЛА ДЕРЕВНЯ МИМО МУЖИКА...

Сцены из захолустной жизни

Из тридевять подпятных жил

С середины июня это повторяется каждый день, и я, сидя у открытого окна, каждый раз вскакиваю и замираю, словно натыкаюсь на невидимую преграду. Стою, боясь пошевелиться, и считаю нежные отрывистые, как челеста, такты, повторяющиеся с небольшим интервалом.

А происходит вот что: в глубине ветвей старой колченогой березы, нависшей над крышей соседской избы, начинает петь какая-то непонятная, я бы даже сказал — нездешняя, птаха. Вернее, она не столько поет, сколько жалуется, о чем-то предупреждает, что-то обещает своим робким серебряным высвистом, напоминающим позывные детской радиопередачи. Весь день эта птаха помалкивает, скрываясь в густой листве, может быть, опасаясь конкуренции со стороны более голосистых и бойких соперников, и только с закатом солнца, когда смолкает птичий оркестр, начинает пробовать голос. Что самое удивительное — она выходит в деревенский эфир в точно определенное время, когда пустыньковские хозяйки разбирают с выпаса своих коров и овец.

После пяти-семи тактов нежная птица делает короткую передышку. И тут же — это тоже мною подмечено — призывно мычит Егорычева корова Ветка. Словно сговорившись, ей мигом отвечают цепной кобель Пират и петух Демократ, а потом с ревнивым остервенением начинает свою партию коростель, или травник по-местному. В его грубой песне — будто точат тупую и ржавую пилу — сразу тонут трели серебряного колокольчика... Минут через пять все смолкает, и деревня снова погружается в вязкую, непроницаемую, какую-то неправдоподобную тишину. Становится так тихо, звеняще и тревожно тихо, что не верится: неужели еще есть где-нибудь на свете такая тишина?..

Сейчас, когда пишутся эти строки, я сижу в тесной бревенчатой горнице. По телику передают футбольный матч с участием «Ювентуса» и Алессандро дель Пьеро в заглавной роли — но без звука. (Что-то там забарахлил мой «одноглазый», а починить некому.) Растопленная с утра печь приятно греет спину, остро пахнет прогоревшими углями. Жидкий свет с улицы и от экрана с трудом пробивает густой, устоявшийся сумрак деревенского жилища с его мышиными закоулками и таинственными шорохами по ночам. Окна расположены так низко, что в них лезут кусты малины и вишни. А там, за ягодными зарослями, в сквозящих просветах зелени, видны узкие полоски огородов, треугольники крыш с самодельными ТВ-антеннами, влажный луг с желтыми купальницами и щетинка леса с нависшими над ней облаками.

В темных, испытанных жарой, стужей и дождями избах моей деревеньки Пустыньки есть что-то от застывшей, прекратившей свой бег жизни. Как

озябшие птицы на проводах, они выстроились в ряд на покатом угоре и поскрипывают на ветру деревянными суставами. Трущобная церковь Рождества Богородицы — как почти все церкви срединной России — смотрит на меня почерневшими провалами глазниц, и внутри ее витает смрадный дух разложившихся удобрений. Все тропинки от храма давным-давно поросли крапивой и свирепым чертополохом, и когда пробиваешь себе дорогу сквозь эти джунгли, то и дело натыкаешься на битые кресты от могил, обломки кирпичей, ржавые запчасти для комбайнов и тракторов. Одним словом, меня окружает почти необитаемая местность, погруженная в беспробудную дрему, немотно вопрошающая неизвестно у кого непонятно что. И только птица-колокольчик с серебряным высвистом, да звяканье ведра у родника, да одинокий дымок над крышей, да склонившаяся над грядкой шебутная бабка Сира, моя ближайшая соседка («Ты чё прешь на клубнику-то, а?» — это она стыдит лебеду, сурепку и прочее дурнотравье), говорят о том, что жизнь продолжается и движется согласно своей природе.

Если верить словам мудреца, что каждому человеку при рождении самим Господом предназначено место, на котором он должен поселиться, чтобы быть счастливым до конца дней своих, то такое место я себе нашел. В сорока примерно километрах от Костромы, где-то посередке между бывшей вотчиной бояр Романовых и родиной Ивана Сусанина... Но я не зову вас туда, в мою обетованную глушь: каждый должен найти для себя это место сам, без подсказки и занудного наставничества, потому что человеку, как мне кажется, на роду написано иметь свое отдельное окошко в своей собственной избушке, чтобы хоть изредка поглядывать в некий ирреальный мир. Чтобы хоть немного затихнуть и очиститься до состояния ясного зеркала. Чтобы наконец иметь возможность делать что хочу и говорить о других что вздумается или не говорить вообще. Как говаривал мой давнишний знакомый Лева Халиф, умерший недавно на Брайтон-Бич: человек не может жить без людей, но и с людьми он жить не может...

Странное дело, но городские башни, жизнь в которых проходит как бы в подвешенном состоянии, стреноженная бетоном и стальной арматурой, не дают ощущения уединенности жизни, понимания своего места на своей земле... А тут — солнце ли, ненастье — увидел на взгорье деревянную доходягу под двускатной крышей, глаголицу прясел, изгородей, а за ними и колодец-журавль, и вороньи «шапки» на столетних березах, услышал гортанный вопль Демократа, неожиданное «здравствуй» из уст незнакомого прохожего — и таинство вхождения в сельское общежительство как бы уже свершилось, никакой ты уже не интеллигент, а просто человек, русский человек, будь ты хоть семи начальственных пядей во лбу, с криминального происхождения «фордом-мерседесом», или самый распоследний мужичонка с пропойско-замухрышистыми повадками. И тогда начинает казаться, что эту деревню ты знал и любил с детства...

— Слышь, Игрич! — кричит мне, подымаясь с грядки, бабка Сира и с натугой выпрямляет поясницу. — Ставь самовар, к тебе иду...

Но тут на экране Алессандро дель Пьеро, игрок с потрясающе развитым тазобедренным суставом и кенгуриной прыгучестью, сделал такой навес на ворота, застав врасплох голкипера и защиту, что я не сразу нашелся, что ответить. Без всякого удовольствия крикнул в окно: «Заходи, Кузьминична!» — и почти машинально включил чайник...

После разрыва икроножного сухожилия на левой ноге «Александр Петрович», как зовет нашего общего любимца Серега Баландин, впервые после трехмесячного перерыва вышел на поле, и нужно было видеть заполненный до краев стотысячный стадион в Турине, соскучившийся по своему фавориту, и нужно было «слышать» по раскрытым ртам отрывистые, распадающиеся на слоги вопли очумелых тиффози...

Между прочим, у бабки Сиры не только разрывы икроножных связок и неизбежный для ее возраста радикулит — у нее еще врожденный порок

сердца, расшатанная печень от неумеренного употребления травных лекарственных настоев и постоянные шумы в голове («бытто завод работает»). Но я не уверен, что добрый молодец Алессандро дель Пьеро сможет выдержать огородные нагрузки престарелой Серафимы Кузьминичны, часами стоящей внаклонку и враскорячку под палящим солнцем. Она работает так, будто на завтра назначен конец света, и если она не успеет закончить свою прополку, то ее расстреляют уже сегодня, ну прямо сейчас...

Бедный «Александр Петрович», проведи он хотя бы один день на старухиных грядках, он никогда бы не вылечил свою прославленную левую ногу. За полчаса, проведенные на футбольном поле, двадцатидвухлетний пацан получает раза в три больше, чем бабка Сира за весь год. За его травмами, недомоганиями и прочими стрессорно-негативными моментами от мала до велика следит вся Италия, да что там Италия — вся футбольная Европа плюс Южная Америка! — а бабку Сиру, живые мощи на костылях, забыли все, включая детей, внуков и правнуков. Пожалуй, единственное, что их сближает, — абсолютная непредсказуемость.

Верткий и шустрый, как болотный кулик, с блатной челочкой, свисающей козырьком, «Петрович» развинченной, членистоногой походкой фланирует по краю, держа под прицелом обступивших его защитников. У него внешность хулигана из моего послевоенного детства. Но вот ноги дель Пьеро загарцевали в нетерпении, запрыгала челочка на узеньком лбу, хоп-хоп — корпус влево, тазобедренный сустав вправо — и защитники позади. По мячу он бьет как-то неаппетитно, почти без замаха, и кажется, что тот летит выше цели. Да и вратарю так кажется, и беспечной публике, размагниченной его вроде бы совсем не агрессивными намерениями. Но мяч вдруг круто меняет траекторию и по каким-то неисповедимым законам баллистики юрким парашютиком клюет точно под планку...

Вот и у бабки Сиры тоже так получается. Должно быть, само провидение спланировало ее приход на эту землю. Она заводит разговор издалека, окольными путями, приохивает и покряхтывает, сыплет присловьями, смысл которых для меня темен и глух, сама же над ними смеется, уснащая свою речь сильнодействующими глаголами, и никогда не поймешь, что у старухи на уме. Ей важно только начать, дать себе затравку, а там язык сам понесет по волнам житейского моря, заведет в такие глубины прошлого и такие потроха вывернет наружу, что боже ты мой...

Слушаешь ее, слушаешь, наматывая на ус ядреные словечки и обороты, пытаешься даже записывать их — авось да когда-нибудь пригодятся! — и все время держишь про себя заднюю мысль: ну чего тебе надобно, старче? Говори прямо — может, денег тебе одолжить или чего-нибудь из круп?.. Под корой обыденности, в торопливой вязи деревенского говора никогда не угадаешь, какой суп варится в голове моей полуграмотной соседки, разматывающей с дальним прицелом клубок застольной беседы, с бесконечными иносказаниями, бывальщинами и небывальщинами, которые заплетаются страхом-ужасом, а расплетаются правдой и загадкой.

— Чай пришла попить бабчица, сказочница, чаровница. Все она куда-то мчится, ламца-дрица, ламца-дрица!..

Такая у меня за много лет соседства установилась с ней форма приветствия. И бабка Сира, надо отдать ей должное, приняла ее вполне благосклонно.

— Ох и намучилась я, Игрич! Ох и намучилася! Топеря ума-то — полуума у меня нет, родимое ты мое. Мне уж восемьдесят семь — вот как во дак ведь! А голова болит и болит. Пошто это одна голова-то болит? Глазати ничего, цепкие, да и руки еще ухватистые. А эта все болит и болит, болит и болит. Ой, говорить не могу, как не могу! — прямо с порога начинает выпевать бабка Сира, приохивая и покряхтывая. И все поглядывает — по углам, столам, кроватям, — нет ли чем поживиться.

— Не поверишь, цельную ноченьку на койке шаром каталася. Страсть и ужасть! — спешит она облегчить душу и размять наждачный свой язычок. — Все нервы, понимашь, отвалились. И откель они берутся — нервы? Прежде кабыть их не было, мы о них и слыхом не слыхивали. А ноне вот — здрасьте-пожалста — объявились. И в голове «бух... бух» — кузнечным молотом ктой-то по черепу тебя шибает. Думала, все — капец. Вот как во дак ведь! — Она замечает улыбку на моем лице: — Что, не веришь? Откель знать-то? Суета заела. Больно шибко живешь, молодежь. Время свое укорачиваешь...

— Ну а сейчас-то как? — перебиваю я ее.

— Сейчас-то уж я образумилась — опять живу, — с удовольствием сообщает старуха и, кажется, впервые обращает внимание на экран, щурится из-под очков: — Родимое ты мое, никак Витёк?!

Она принимает моего любимого дель Пьеро за своего костромского правнука-обалдуя, который поступает на ее иждивение почти каждое лето, когда вдрызг пропьется и его выгонят с очередной работы. Теперь это называется «доить предков»: правнук Витёк, случается, отбирает у бабки ее символическую пенсию и без зазрения совести гужуется с такими же, как он, юными прохиндеями на фоне обреченной и неухоженной старости. Матерые, несмотря на возраст, но уже спившиеся дотла, эти баламуты нюхом чуют залежавшуюся копейку в чужом кармане. Они вылезают будто из преисподней, с разбойно-шалыми глазами и немытыми рожами, чтобы, приняв на грудь стакана два-три и разведав, у кого что плохо лежит, снова уползти в свой полуподвал-полуберлогу, которую Витёк оборудовал на берегу речки Мезы, в полутора километрах от нас, на месте бывшей сенокосной избы. Кто-то сказал мне, что они скрываются там от призыва в армию.

— Ишь проворный какой! — расчувственно произносит Серафима Кузьминична, наблюдая за финтами членистоногого форварда. Но надолго ее не хватает, и она отворачивается от телевизора.

— У тебя, Игрич, морковь-от взошла ай нет? Помидоры когда садить будешь? Ой, гляди не прозевай, не все же в бутылку играть... — И, набравшись смелости, как перед нырком в воду, берет быка за рога: — Говори, сатаноид, сколько вчерась с Егорычем усидели? Две... три... али поболее? Он ить от тебя, оглоеда, на карачках приполз. Вот те крест, чтоб до утра не дожить! Пирата-кобеля прогнал и в будке евонной заночевал. Что, не веришь? Ты эти хиханьки-хаханьки брось — я тебе правду говорю... Ему сёдни Павлинка все бока отмяла и косточки все перетерла. Совсем мужик образ потерял: губы трясутся, коленки подвертываются. Ой, что было — шуму-у, крику-у! Тебя тоже лихим словом поминали. Особо Клавка, дочка ихняя, горячилась: я, говорит, этому писателю скворешник проломлю. Вот как во дак ведь! Так раззадорилась — дак это страсть! Она ить с утрева на машине из Костромы приехала. — Старуха наклоняется к моему уху и на всякий случай оглядывается на дверь. От возбуждения платок ее съехал набок. — Клавка-то знаешь что орала?.. Ой, говорить не могу, как не могу!.. Бытто ты своево дружка Егорыча на потеху выставил. Отделал, говорит, его — как Бог черепаху!..

— Бабьерита Кузьминична, — смеюсь я, — кончай травить баланду и говори толком, что произошло.

— Вот те крест, ежли вру! Чтоб мне до утра не дожить! — воинственно кричит бабка Сира и грохает клюкой об пол. Откуда только силы берутся в эдаком худеньком тельце! — Как слыхала, так и скажу и ни слова своево не прибавлю... Бытто ты Егорыча в журнале дерьмом вымазал и на солнышко выставил, чтоб слаще пахло. Так Клавка кричала — чтоб с места не сойти! — и Павлинка ей поддакивала... Ой, как тебя перекосило, родимое ›ое! Ой, как глазки-ти заиграли — прямо огненный перелив! Нос у тебя, Игрич, крючком, голова тычком, а на рябом рыле горох молотили...

Ну, бабка-чудотворка, всегда что-нибудь отчебучит! Морщины ее светятся детским торжеством.

— Бабкесса, — говорю я, хотя сейчас мне не до шуток. — В своей ментальности ты недостаточно толерантна.

Между прочим, этой фразой меня сразил однажды мой приятель Серега Баландин, когда наш спор грозил выйти из берегов приличия. Помнится, я чувствовал себя тогда не совсем уютно, потому как не знал значения слов «ментальность», «толерантность», они только-только входили в разговорный и письменный обиход... Но бабка Сира ничему не удивляется, видно, привыкла к моим словесным закидонам, и по-свойски разводит руками: мол, что сказала, то сказала; можешь обижаться сколько влезет — а можешь и чайком угостить... А сама шурует глазами по кухонному столу, усилием воли старается сдержать волнение, когда замечает узкий глянцевый пакетик под названием «Император Романов» — черный листовой чай с добавлением апельсина, малины, листочков ежевики и цветков василька. Только сейчас до меня доходит: ради этого угощения и затеян ею весь этот спектакль. «Императора Романова» она отведала у меня в прошлый раз и осталась от него без ума...

С бабкой Сирой я познакомился семнадцать лет назад, и не забыть мне этого знакомства. Может быть, благодаря ей я и поселился в этой Пустыньке. Помню, приехал сюда по рекомендации колхозного вожака, по кличке пан Зюзя, вечного правофлангового пятилеток, внешне чем-то похожего на известного персонажа. Его механизированный мясо-молочный комплекс в Курзеневе, один из крупнейших в Нечерноземье, гремел тогда на всю страну. Зюзя обещал колхозникам большие трудодни, белые халаты, отдельные коттеджи с городскими удобствами — и польстившийся на сладкие обещания мужик, пустыньковский — в первую очередь, сдвинулся с орбиты, налаженного быта, традиций, освященных веками, и пошел ломать-крушить свою судьбу во имя неизвестного будущего. А брошенные поля тем временем зарастали нежитью поганой. Там, где худобедно полнились добром лесные деревушки-невелички, теперь стояли заколоченные избы с прохудившимися крышами, ржавели в грязи трактора, ревел от голода скот в продуваемых навылет коровниках.

Ставший трижды орденоносцем (по Ильичу — за каждую пятилетку), пан Зюзя всегда соблюдал правила известной игры: «да» и «нет» не говорите, «черного» и «белого» не берите. Он в совершенстве играл на клавиатуре обкома партии и, не делая лишних телодвижений, извлекал при этом нужные партии звуки. Главное — не оплошать, не промахнуться и вовремя выскочить в дамки. Его бойкая речистость вышедшего в тираж комсомольского активиста выглядела на редкость однообразно, будто таких, как он, штамповали на идеологическом конвейере или выпаривали в колбе путем социального эксперимента и теперь тиражировали в областном масштабе для руководящей работы. Из его уст всегда текла лучезарно-отчетная цифирь, такая неотразимая для простачка журналиста, но на самом деле он пользовался ею как пьяный — фонарным столбом: не для освещения обозримого пространства, а чтобы только удержаться на ногах.

Сверкая молодой плешью, раскованный и вальяжный в тесном своем кругу, этот колхозный князек нес свое достоинство как багаж, одинаково охочий и к делам, и к шмоткам, и к бабам, и к анекдотам, и к выпивке, но внутренне разлинованный, наглухо закрытый, если кто-то из чужаков пытался заглянуть под его корпоративную жилетку.

Рекомендуя мне самую дальнюю из своих деревенек — и самую красивую, по его мнению, — Зюзя хотел угодить столичному литератору: пусть, мол, отдохнет на парном молоке, погреется на солнышке, побалуется грибками и рыбалкой — тогда и писать ему будет вроде как с руки. Но не знал он, бедняга, кого сажает в свою малинового цвета «Волгу»...

Я приехал в Пустыньку в самое неурочное время — все мужики на сенокосе, — и здешний бригадир (тогда еще здесь жил бригадир, и в его доме стоял телефон), пожилой дядечка с угрюмым лицом, долго перебирал в памяти фамилии своих односельчан, к которым собирался определить меня на постой. У одних было тесно, у других — грязно, у третьих — нет телевизора, у четвертых — сын пьющий, у пятых...

— А что, если к бабке Сире? — вдруг предложила его дочка, миловидная, кокетливая особа, только что вышедшая из школьного возраста. С момента моего появления в их доме она открыла по мне беглый огонь глазками. — Живет одна, чисто — и верх дома всегда свободен.

Бригадир подскочил как ужаленный:

— Ты что... испортит мне мужика! У нее, у Сирки, глаз ореховый — еще сухотку наведет. Или заставит свои отвары ведьминские пить. А мне на правлении отвечать...

Что такое «сухотка», я не знал, да и сейчас довольно смутно себе представляю, но перспектива ночевать в «ведьмином» доме завладела мною бесповоротно. «Вот, — думал, — удивлю друзей, когда вернусь в Москву! На дворе год восьмидесятый, самый накал Олимпиады, а я буду жить с бабкой-кудесницей, чаровницей-травницей, окутанный чертовщиной суеверий, побасенок, заговоров и прочих завиральных страстей». Сопровождаемый симпатичной бригадировой дочкой, я отправился на окраину деревни, где жила местная колдунья.

Вихрь любопытства пронесся по единственной в Пустыньке улице, из окон повысовывались смешливые бабы. (Кто-то из них уже помер, а кто давно разъехался, гонимый переселенческим зудом.) «Куда ж ты к шептунье-то? — кричали мне. — Приворожит тебя злая старуха, лихим зельем опоит. Поди к нам, самоварчик поставим. Уйдешь — будем чай пить». А их затруханные мужья — с тусклыми рыбьими глазами и отечными лицами — заискивающе поглядывали на меня, надеясь разжиться на опохмелку. Но я не оставил им никаких надежд и прошествовал мимо, гордый будущим своим причастием к тайнам мира сего.

Нет ничего глупее смотреть свысока на заблуждения и суеверные обычаи старины. Как бы мы ни были убеждены в том, что с расцветом цивилизации эти суеверия исчезнут сами по себе, а нам и нашим потомкам придется лишь копаться в золе языческих заговоров и заклинаний, все-таки нет-нет да и вздрогнем мы, услышав ворожбу дикого нашего предка, называемого в разных местностях по-разному — то колдуном, то чародеем, то знахарем, то кудесником, то ведуном, то травознатцем, то повитухой, то вежливым. Творчество русских колдунов — все эти заговоры, заклинания, запуки, обереги, присушки и призоры — являет собой вершину отечественной словесности. Но вот рецепты приготовления бальзамных напитков, мазей, снадобий, травный промысел до сих пор остаются для нас тайной за семью печатями.

Тетушка Серафима Кузьминична оказалась совсем не такой, как я себе представлял. По правде говоря, я ожидал увидеть эдакую высохшую каргу с неподвижным взглядом слезящихся, тускнеющих глаз, словно затянутых смертной пеленой, отрешенную от земных радостей и забот и, конечно же, крепко обиженную на судьбу. А была она чистенькая, махонькая, приветливая, с васильковой прорезью узких, с заплывшей дряблой кожей глаз и кротким голоском, в котором, однако, отсутствовали некоторые согласные. Увидев меня, смущенно извинилась:

— Сейчас зубы вставлю казенные, а то слова куды-то мимо пролётывают...

Нацепив протез из нержавейки, колдунья провела меня в верхнюю горенку, поменяла белье на кровати, взбила пуховые подушки и вообще вела себя так, будто ее приехал навестить горячо обожаемый внук. Голосок ее разливался ангельской птичкой из райского сада. «Все это, конечно, чис-

тое притворство, — размышлял я, сидя на подоконнике и ожидая, пока вскипит самовар. — Ей нужно расположить меня, сбить с панталыку, чтобы потом охмурить злыми чарами и заставить пить бесовское зелье». Я слышал, что люди подобного рода чай и сахар не признают, а пользуются исключительно травными настоями на меду, с кореньями, ягодами и высушенными цветами. И не ошибся...

Не могу сказать, чтоб было вкусно, но для первого знакомства вполне годилось. Во рту оставался какой-то горьковатый, вяжущий привкус.

— Из чего это, бабушка? — спросил я, сделав несколько глотков и пытаясь наладить светскую беседу.

— Плакун-трава, милой товарищ, — объяснила старуха и посмотрела на меня из прищуренной васильковой глуби. — Ее от тоски пить надо. И чтоб не сглазил никто. Понимаешь? От призору и дурного разговору.

— У нас разговор вполне подходящий...

— Так то у нас, — располагающе улыбнулась Серафима Кузьминична и показала пальцем на потолок: — А с властью-то больно не разговоришься. Не обделил меня Господь муками, не обделил — и все через эту власть. В деревне живешь, как заяц на острове. И каждый норовит в тебя худым словом запустить. Будто я порчу на кого насылаю. — Она посмотрела на меня с мудрой печалью. — Бригадир-то наш что обо мне говорил?

— И откуда вы все знаете? — хлопнул я себя по колену. — Прямо колдунья какая-то! — Дурное словечко нечаянно сорвалось с языка, и я понял, что сейчас последует неминуемое «вон». Старуха, однако, улыбнулась и разрумянилась.

— Во-во, все так. А за что? Ни словом единым, ни делом не грешна, а хулы услышишь — на три воза не покладешь. — Она налила новый стакан «зелья» и поставила передо мной. — Всю деревню помаленьку спасаю, чуть что — все ко мне: кому словом праведным помогу, кому отваром из Божьих трав. Фершал-то наш — недюже умелый... Ну, слушай, — воодушевилась она. — Тут даве городской председатель ко мне ходить наладился, Адолькой зовут...

— Так он теперь уже не председатель исполкома, — поправил я старуху. — Берите выше — второй человек в Министерстве сельского хозяйства. Говорят, дверь в ЦК ногой открывает.

— Ишь проворный какой! — удивилась и порадовалась за него Серафима Кузьминична. — А у меня он, не поверишь, слезьми слезливыми обливался. Вот как во дак ведь! По каким только курортам не наездился мужик — а спина все болит и болит. Уж так настрадался, сердешный, уж так намаялся! Хошь и вредный человек, хошь и беспутный, а помогать-то надобно.

Она помолчала немного, словно раздумывая, стоит ли откровенничать перед чужим человеком, и прибавила:

— Он ко мне по ночам ходил, Адолька-то. Машину свою, легковушку, в кусты загонит — и ко мне. «Ты, — говорит, — старуха, никому не болтай, что я у тебя лечусь. Полный молчок!» — «Ладно, — говорю, — ложись, Адольф Пантелеич, сымай рубаху исподню и кальсоны. Буду тебя босыми пятками топтать, буду косточки твои вправлять»...

— Радикулит, наверное? — предположил я.

— Я таких слов не знаю, милой товарищ, — с сурово поджатыми губами отчеканила тетка Сира. — Это у вас в городах все по науке деется. А у меня дак по природному знаку и Господнему наущению. Из тридевять подпятных жил болесь человечью ищу и на разум свой наматываю. Понял? А чтоб растолковать тебе, как, что да почему, да чтоб по писаному вышло — у бабки таких слов не пытай. Потому как нет их у меня. А что есть — то про себя держу. Секрет называется.

— Ну и как — вылечили?

— Вылечила не вылечила, а собольком бегал. Изрядно я его потоптала, — сообщила с гордостью знахарка. — Я еще Адольку в муравьиную кучу сажала, поросячьей мочой поливала, салом из дождевых червей растирала. И молитву творить заставляла. Вот как во дак ведь! Леченье без Божьих слов — что заявленье без подписи...

— Так ведь он же партийный! — рассмеялся я.

Но тетушка Сира не приняла моего веселья и еще больше посуровела. Ангельское ее обличье как-то не вязалось с кондовой, староверской крепостью ее слов:

— Грешить и каяться — дело человечье, а коснеть во грехе — дело дьявольское... Бывало, конечно, и покочевряжится маленько, и матюком в меня запустит — уж так обложит, дак это страсть! А как боль в пояснице почует, сразу смирехоньким деется. — Голос ее возвысился до пророческого накала. — Божьим словом не то что на ноги, Божьим словом из могилевской губернии возвращают. Так-то вот, милой товарищ!

— Словотерапия называется... — подвел я итог ее рассказу и спросил, какими травами она пользуется, где они растут в лесу и как узнать, целебная это трава или зловредная, потому что столько всего о них понаписано, а толку чуть...

— Неужто сам занедужил? — снова воодушевилась Серафима Кузьминична, и глазки ее заблестели. — Дак я обскажу тебе — все как есть обскажу. Что могу вылечить — то вылечу, а чего не знаю — то и браться не стану. Ну, слушай... Золотуху лечу отваром из ягод морошки, чахотку — травой мать-мачеха, багульник, плаун-трава помогают от желудка. Еще есть изгон-трава, тоже от желудка, поносы хорошо лечит. Растет в сырых ельниках, цветы белые, кустиками — собирают их в Иванов день и на печи сушат. Раньше на изгон-траве хорошие деньги зарабатывали. Кто победнее, приедет в город и продаст кому надо — а на выручку цветной плат да конфет купит. Да вот что-то не стало нынче изгон-травы. Говорят, извела ее с воздуха сатанинская орда летучая. С самолетов какую-то белую муть сыпят. Вот моду-ту завели!..

Знахарка засмотрелась в окно, мимо которого прохаживались разодетые парочки, собираясь на гулянку за реку, и забыла, о чем рассказывала. Парни-космачи и девчонки в мини (была среди них и бригадирова дочка; ее зазывный смех не раз и не два напоминал мне, чтобы особенно не засиживался), видимо, задали ей новый ход для воспоминаний. Она вдруг засмеялась, замахала ручками и стала похожа на озорную звонкоголосую молодицу.

— Ты про вязель-траву слышал, нет? Ой, наказанье Господне! Мы ее девками специально для парней собирали. Токо ты об этом не болтай, — сказала она почти шепотом, погрозив мне пальцем. И обернулась на всякий случай, будто ее подслушивал ненаглядный кавалер из дальнего далека.

— А почему «вязель» называли?

— Потому что связывала. Понимаешь? Какого дролю выберешь для себя, того и присушишь этой травкой, чтоб, значит, сватов заслал... Эко ты ощерился, эко заулыбался!.. Ну, слушай. Обваривали вязель кипятком, настаивали, процеживали — и на гулянках давали выпить парням заместо водки. Пели еще: «Ах, вязель-трава, приворожь мне молодца, рыжего, носатого, только не женатого»... Раза два-три попоишь дролю — глянь, а он уже фертом-гоголем ходит и глаз с тебя не сводит. Щечки белые, губки алые, грудка голубиная!.. Только вот у меня с этой вязелью чтой-то заколодило.

— А что именно?

По затянувшемуся молчанию и по тому, как дрогнули и суетливо забегали ее пальцы, перебирая бахрому скатерти, я понял, что допустил бестактность, что этот вопрос не следовало задавать. Есть вещи, о которых не

спрашивают, — например, о веревке в доме повешенного, — но меня никто не поставил в известность. Лицо старухи, и без того потухшее, стало мрачным. Я увидел в ее взгляде из-под опущенных ресниц совсем другой мир, полный тайных смыслов, бесконечно далекий от меня и сегодняшней моей жизни... Власть прошлого над человеком неодолима. И пусть говорят, что ушедшее прошлое, каким бы привлекательным оно ни выглядело, никогда не может быть лучше живого настоящего, — это все же не более чем лукавый парадокс. В любой мелочи жизни, особенно деревенской, с ее светотенями и полутонами, нет ничего такого, что не имело бы своего прошлого. Но я-то его не застал и не пережил, а пришел, так сказать, ко времени жатвы и сбора плодов.

— Чаю еще налить? — натужным голосом, стараясь выглядеть гостеприимной, спросила Серафима Кузьминична. И я с готовностью закивал: конечно же... с удовольствием! Чтобы только не спугнуть готовящуюся к выходу тайну! Еще ничего не было сказано, но искра пролетела, это точно.

— Тебе про Аниску-то говорили? Вот уж злыдня так злыдня!.. А про любовника ейного, Николая, слышал?

Я разочарованно пожал плечами: на кой черт мне эти сплетни и пересуды!

— Ох и наплету я тебе тут всякую несметуру — ни в толк, ни в путь. — Старуха чуть усмехнулась, и возле ноздрей у нее зашевелилась складка сдержанного смеха. — Это хорошо, что не говорили. А то бабы наши, знаешь, напоют, набрешут, что было и чего не было. И все с хиханьками и хаханьками... Ну, слушай. Николай-то — это ведь мой мужик-от. Законный! Понимаешь? А вот не уберегла его, не уберегла. И вязель-трава не помогла.

И она рассказала мне историю почти тридцатилетней давности:

— Сидели мы вдвоем с мужем дома, обедать собирались. Вдруг Аниска прибегает, вдовая молодка из соседней деревни Обронькино. «Сирка, — говорит, — в сельсовете сессия идет, твово мужика требуют для отчету». — «Ну что ж, — говорю Николаю, — иди давай, коли зовут. Придешь — будем чай пить». Ушли...

Час прошел, два прошло, и три, и четыре. Темно уж стало, а Коли все нет как нет. Что делать-то? Накинула я плат, лошадь запрягла — и в сельсовет. А дорога моя мимо Анискиной избы лежит. Заглянула в ейное окошко: батюшки-светы! А там мой Николашка сидит, кашу трескает и молоком запивает. Аниска вокруг него мелким бесом вьется: то так подойдет, то эдак. Кочевряжится, стерва! А сама стою как дура, напряглась вся камнем, сердце только об ребра стучит. «Окстись, — говорю, — нечистый дух! Уйди, проклятый, чтоб тебе в вечном пламени гореть неугасимом!»...

Смотрю на них — и глазам не верю. Видать, это дьявол блазнит, в прятки со мной играет. А сама-то в сельсовет еду: Николая-то в сельсовет вызывали, на сессию. Приехала, а окна там темные и народу никого нет. Вот те на! Одна Нюрка, уборщица, полы моет. «Ты пошто это свет-то выключила? — кричу на нее. — Сессия, поди, еще не кончилась. Как же это они у тебя впотьмах-то сидят?» А Нюрка глядит на меня и ничё не понимает, лицо то красинько, то опять синенько. «Ты что, — говорит, — девка, совсем ополоумела?! Кака така сессия, она ить на завтрева назначена»...

Тут у меня разом все оборвалось. Хошь криком кричи и волком вой! Добралась до дому — и в койку повалилась. То ли спала, то ли беспамятство какое нашло — не могу тебе сказать. Сама не своя была...

Тут мой Николай-то и входит, шапку с головы скидывает. «Прости, — говорит, — Серафима Кузьминична. Присушила меня Аниска, оприкосила. К ней жить ухожу. Прости, коли можешь». И ушел Николаша, шапку взял, закурил и ушел. Годов тридцать, поди, будет, как ушел. И не могла я свово мужика обратно вернуть — отсушки не знаю. У ней, у Аниски-то,

приворотное зелье было сготовлено — она, ведьма, и присушила его на житье. А вот отсушить-то мне и нечем...

Ой, были муки у меня! Ох и настрадалася я!.. Я ведь поначалу-то, не поверишь, чуть ли не ползком в Анискин дом приползала. И так к мужику, и эдак — с крестом и молитвой: «Образумься, Николаша, пожалей меня и деток!» Да куды там! Совсем задурел от бесовской бабы, ему слово — а он тебе кулак с матерщиной. Хотела его настоем вязели опоить заместо отсушки, да где нынче сыщешь ее, эту травку. Все леса-болота мильерацией извели...

Запил с горя мужик-от. Ой, говорить не могу, как не могу! И не столько пил, сколько куролесил, синяков Аниске наставлял. Вот как во дак ведь! Она его два раза в ЛТП сдавала. Да что толку!.. Сгинул Николаша. Камень себе на шею привязал, ноги веревкой опутал — и нырнул в омут с высокого берега... Я ведь о нем еще старину сложила.

Серафима Кузьминична взглянула на меня искоса, словно проверяя, нет ли в моих глазах оскорбительной иронии, и, прокашляв голос, запела былинным размером:

— В этот день, мне очень памятный, пришла весточка нехорошая. Как погиб да родный муж-от мой Николай свет Николаевич. Слезы горькие утираю я, гляну в карточку — вспоминаю я. У меня был верный муж-от белогрудый — душа-пташица. Свила судьба ему тихо гнездышко да во сырой земле, в злых кореньицах. Шелкова трава — одеялышко, умываньице — да мелкий частый дождь. Не один ты там из добрых молодцев. Вы уложены не пулей быстрою, да не в далекой-то во чужбиночке — упокоены вы во могилочке с горькой водочкою в обнимочку. Не дождусь от тебя больше весточки, ни скоровертной телеграммочки...

Прочти, Егорыч!

Как ожидал — так оно и случилось. Не могла Клавка, дочка Егора Егоровича, оставить нашу вчерашнюю выпивку с ним без последствий. Выяснять отношения и качать права — любимая услада для пустыньковского народонаселения, и прапорщик внутренних войск Клавдия Егоровна Четыркина была отнюдь не худшим его представителем. К тому же нынешняя ее должность — воспитательница тире надзирательница женского ИТЛ общего режима — весьма располагала к такого рода деятельности.

После трех стаканов «Императора Романова», кряхтя и приохивая, бабка Сира уковыляла на вечернюю молитву, а на смену ей пожаловало грозное дитя моего закадычного друга. Нет, она не ворвалась в избу, как случалось прежде, когда ее родитель слишком долго засиживался за стопариком, — так, что дрожали стекла в рамах и звенела посуда в буфете. Клава осторожно постучала в дверь, вытерла ноги и молча отвесила полупоклон, как полевой цветок, разбуженный нечаянным ветром.

Начало не предвещало ничего хорошего, и я на всякий случай изобразил перед ней «версаль»: «Ваше августейшество... Клависсимо... вы наяву или мне снитесь?» Она чуть улыбнулась, но не дала себя рассмешить. Стояла не трогаясь с места и продолжая нагнетать нервную тревогу.

— Не пей кровь, Клавушка. Скажи, как там Егорыч? — Под ее взглядом я невольно сгруппировался, убрал живот и даже расслышал в собственном голосе лицемерно-угоднические интонации.

— А что ему сделается? Лежит и стонет. — Она улыбнулась чуть шире — словно окатила меня зеленой волной из-под кудрявых ресниц. — Его вчера мухановские родственники перехватили и за стол усадили. Там и накачался...

«Слава богу, пронесло, — на какое-то время успокоился я. — Молодец, Егорыч, не выдал... Чего же ей еще надо?»

Когда-то это была прыткая веснушчатая девчушка с тощими косичками и вечными цыпками на руках, а теперь превратилась, можно сказать, в сиятельную гранд-даму областного УВД. И верхнее чутье у нее отменно работает — вполуха схватывает, на лету соображает, и улыбка, когда нужно по делу, может стать обольстительно-зовущей, и фигура набрала ту пригожую осанистую бабистость, по которой стонут мужики лет сорока и старше. Под легким ситцевым платьицем, как лампочка под абажуром, просвечивало ее тело с пышными окороками.

Только сейчас я заметил голубенького цвета журнал, который она зажала в потном кулачке, — тот самый, седьмой номер за прошлый год, где описано наше с Егорычем путешествие в курзеневский кооппродмаг и обратно... Ну и дела! Что все это значит? У меня судорожно заработала память...

Клавка убрала закладку и раскрыла журнал на странице девяносто шесть: господи, что я увидел?! Весь текст был разрисован красным, синим и простым карандашами, а на полях моего безобидного творения красовались жирные вопросительные знаки и устрашающие росчерки типа: «Ну и ну!»... «бред»... «враж. выпад»... «врешь, сионист!»... «не агент ли автор?»... «мы это вспомним, когда придем к власти»... («Жива КПСС!» — с ехидством отметил я про себя. И вспомнил почти тридцатилетней давности эпизод, когда Алла Петровна Шапошникова, главный в то время партийный идеолог Москвы, которую побаивались и министр культуры Фурцева, и завотделом культуры ЦК Шауро, вернула гранки моего очерка, вдоль и поперек исчерканного рукой свирепой капээсэсницы. Захваченные честностью простачки донкихоты были ее любимым лакомством.)

Карандашные надписи венчал приговор, «исполненный» тоже на полях и почему-то черными чернилами: «Цель данной писанины — апарочить Россию и направить ее в пропасть под егидой Ельцина-палача».

— Клавчик, что это? — развел я руками.

— А то! Вы отца моего оклеветали, — на нервной, скандальной ноте заговорила она. — И не одна я так думаю. Софья Михайловна тоже читала вашу статью.

— Да какая же это статья?! — с ходу завелся я. — У тебя с Софьей Михайловной лагерное мышление. Статья — это конкретные факты, цифры, фамилии. А у меня все выдумано, понимаешь? Все из черепушки взял, — и для большей убедительности постучал себя по лбу. — Игра воображения... понимаешь?.. Полет фантазии!

— Все равно клевета! — не отступала прапорщик Клава, подавляя в себе примиренческие настроения. Розовый румянец на щеках делал ее еще более привлекательной, а архитектурные бедра все время находились в движении, не в силах усмирить волнение сердца. — Гляньте, — она ткнула пальчиком в красно-синий журнальный разворот, — он у вас всюду водку пьет и выражается некультурно. И повадки кругом отцовские, и все такое. Один к одному.

— А фамилия другая, — прихлопнул я ее неожиданно подвернувшимся аргументом.

— У него вся жизнь пророблена, а вы смеетесь над ним. Отец — ветеран войны с двадцать второго июня. Герой Сталинградской битвы! Три боевых ордена и пять медалей!.. О нем в газетах писали, — продолжала распалять себя любимая дочка Егора Егоровича, хотя в ее словах и голосе уже не чувствовалось прежнего напора. Да и в газетах о нем писал в основном я. — Что он вам плохого сделал? Взяли б хоть дружка евонного, Жеку-медоноса, или этого... Федьку Бельмондо — они тоже мимо рта не проносят. А его-то одного за что?..

Когда она немного поутихла, я попытался объяснить ей, что никакого очернительства с моей стороны нет и быть не могло. «С Егорычем в магазин...» — это прежде всего художественное (если кого не устраивает — ма-

лохудожественное) произведение, которое не имеет ничего общего (тут я маленько слукавил) с реально существующими людьми. Литература — это не зеркальное отображение жизни, убеждал я, стараясь успокоить Клавку, а предмет глубоких раздумий писателя над действительностью, и он волен распоряжаться судьбой героев, как сочтет нужным... Конечно, я говорил не столь высокопарно, но за смысл ручаюсь.

И еще я сказал ей, что у автора (то бишь у меня), когда он писал рассказ, перед глазами стояло несколько таких Егор Егорычей Четыркиных, в основном хорошо знакомых ему мужиков-пенсионеров с берегов северных рек Пинега и Мезень, и что будет, если каждый начнет предъявлять претензии, увидев в герое собственные малосимпатичные черты характера... Кроме того, прибавил я, не надо доверять языкам петенциарных кумушек с запоздалым развитием (майорша Софья Михайловна, замначальника женской колонии, — давняя Клавкина подружка и покровительница), которые мало того, что ни черта не смыслят в литературе, еще и курочат своими надписями печатную продукцию интеллектуального содержания.

Но Егорыч — тоже хорош гусь! Нет чтобы прочитать самому — отдал журнал дочке, а та, известное дело, не открывая пустила его по рукам лагерных ментов и прочих самогонщиков патриотического кваса, привыкших выискивать и вынюхивать в тексте то, чего автору и не снилось. А ведь сколько приходилось уламывать: прочти, Егорыч... миленький... о тебе же написано, на семьдесят пять процентов вылитый твой портрет! Так ведь Четыркину вечно некогда: то корову надо доить (жена его, Павлина Степановна, совсем плохая стала), то картошку окучивать, грядки полоть или дрова колоть... то да сё. А позови его раздавить пузырек — и все дела побоку: трын-трава, «гуляй, Вася» и сплошной синий простор!

Все как-то не по-людски у этого старикана, все наособицу, даже выпить толком не умеет. Нет чтобы домой позвать и стол накрыть как полагается, а тянет его все куда-то под куст, на свалку металлолома или в вонючую сараюгу — чтоб, значит, душу свою распотешить, чтоб, значит, разжечь ее близким ожиданием опасности в лице недремлющих Павлины Степановны и Клавки-милиционерши. Не упрыгался, значит, за свои неполные семьдесят семь лет. А ведь было дело, и не раз, когда они прихватывали нас, тепленьких, с поднятыми стаканами и задорной песней на устах, в развалинах бывшего помещичьего дома. Так Егорычу-то что — смешки да хаханьки, а у меня какая-никакая, а все же репутация...

Неделю назад он зашел ко мне рано утром.

— Буду тебе сам читать, — сказал я. — Согласен? Пять страниц в день...

Он как-то странно засуетился, огляделся, потянул носом, глазки его забегали, заблестели — и махнул рукой:

— Наливай!

Я растерялся от неожиданности:

— А откуда ты знаешь, что у меня есть?

— Знаю... за печкой стоит. Вот она, какая штука-то!

— Рано еще, Егорыч! — попытался я образумить старика, но он отмахнулся от меня, как от назойливой мухи.

— Какое там рано! Ты заветы сына Сирахова изучал, нет? А там прямо сказано: утро вечера мудренее. Значит, чем раньше выпил, тем лучше для здоровья.

— Хорошо... убедил. — Мне ничего не оставалось, как прибегнуть к хитрости. — Сейчас я налью тебе чаю с лимоном. Согласен?

Но он и тут нашелся, что ответить:

— Чай не утоляет жажды, я, помню, пил его однажды...

По правде говоря, одно удовольствие наблюдать, как Егорыч выпивает. Он берет стопарик как сказочно дорогой музейный сосуд, такой хрупкий в его несгибающихся, с чугунными мозолями пальцах, и, скосив увлажнен-

ный взгляд, чтобы не видеть волнующейся ряби на поверхности жидкости, произнеся свое ритуальное: «Об этом будет знать только грудь белая да титочка левая», — с мечтательно-божественной простотой приникает к стопарику (кадык его при этом ходит, как лифт) и отникает от него только тогда, когда не остается ни капли. Тыльной стороной ладони старик вытирает губы, говорит «ха!» и нежно подносит к ноздре корочку хлеба... «Солнце выше ели, а мы еще не ели», — говорит он самому себе, отправляя корочку в беззубый рот. Закусывает молча, весь обращенный в тайну переваривания белков и углеводов, и если прислушивается к чему-то, то это несомненно хор жаждущих воскрешения клеток и хромосом, зов самой плоти, взыскующей умного и неспешного насыщения...

Я смотрю на Егорыча и думаю о том, что мы, горожане, должно быть, совсем разучились есть — в смысле наслаждаться едой, именно наслаждаться, священнодействовать, а не поглощать ее с плотоядной торопливостью прожорливого существа, вкушать домашнюю снедь с медлительной разборчивостью гурмана — и до расслабленного изнеможения, которое, должно быть, испытывала русская знать или кавалеры-рыцари из окружения незабвенного Гаргантюа. То, что мы называем завтраком, обедом и ужином, с некоторых пор стало не чем иным, как элементарным рефлексом, дежурным принятием пищи для поддержания организма...

Четыркин делает робкую попытку повторить, но я уже тут как тут.

— Хватит, — говорю и затыкаю бутылку, — а то еще уснешь во время чтения.

Наверное, со стороны я произвожу впечатление самого отъявленного садиста.

Вообще мне нравится читать вслух собственные тексты, проверяя на слушателе наиболее удачные, с моей точки зрения, диалоги, нравится одобрительное покачивание головой, мгновенная вспышка глаз, нравится слышать смех или же, наоборот, раздраженные реплики — видно, во мне еще не угасло авторское самолюбие... Вот и сейчас я хожу по комнате с журналом в руке, пленяя Егорыча талантом художественного слова: мимикой, жестикуляцией, умением держать паузу, вроде безыскусной способностью перевоплощаться в каждого персонажа в отдельности. Так, по крайней мере, мне кажется, когда я слышу собственный голос. Особенно волнуюсь, стараюсь произвести впечатление, когда намечается первый выход старика Четыркина. Как он встретит самого себя — примет или не примет навязанный ему образ, поймет ли его по-настоящему или же скользнет скучающим взглядом, пряча оскорбительную зевоту?.. Я читаю-играю свой рассказ, живописуя детали, и одновременно поглядываю на его лицо, застывшее в мутновато-остекленелой неопределенности, словно он слушает не меня, говорящего о нем, а какой-нибудь доклад-принудиловку в исполнении сельского агитатора. Настроение у меня резко идет на убыль...

— Наливай вторительную, там разберемся! — зычно, по-суворовски командует Егорыч.

— А что толку, — усмехаюсь я, — ты все равно не слушаешь.

— Дак ить это... у меня с грамотёшкой слабовато, — прикидывается он дурачком. — Всю жизнь в навозе провел... историцки говоря... и под вечною балдой. Вот она, какая штука-то!

Брось, Егорыч, не гони фуфло! Вкусил и ты не лишенную приятности жизнь: целых семь лет, как мне известно, приобщен был, так сказать, к тайнам двора его сиятельства пана Зюзи...

Жаль, что я познакомился с ним так поздно и не застал его неожиданный взлет в высокие сферы, где он пил сладкую отраву — власть. («Власть — она навроде алкоголизьму, — говорит обычно Егорыч, когда все дела переделаны и его тянет пофилософствовать. — Отучили курицу летать — уж сколько веков прошло. А она все крыльями машет, едрицкая сила. Так и

человек, который ходил когда-то во власть».) Говорят, «сурьезный» был мужчина, с портфельчиком отправлялся на работу и при галстуке, нагнетая выражением лица неутихающую заботу о колхозных делах и скрытую радость оттого, что волею судеб вовлечен в круг доверенных Зюзиных слуг.

С самим Соломенцевым, тогдашним предсовмина России, за ручку здоровкался, когда тот навещал животноводческий агрокомплекс, и водил его по цехам с радостно-умильным выражением лица в составе специально отобранных пейзан, облаченных в белоснежные халаты. И так же, как все, в зареве фотовспышек и перед микрофоном шпарил по бумаге речь, заверяя на митинге босса из Политбюро, что планы партии будут выполнены досрочно, «когда такие люди (широкий жест в сторону курзеневских колхозников) в стране Советской есть»...

Лет пятнадцать назад Егорыч вышел на пенсию — и как с гуся вода. Как будто выбросил пристяжной галстук лилового цвета, на котором за семь лет беспорочной службы у пана Зюзи отпечатались все оттенки инфернальных жидкостей — от ублюдочного портвейна «Кавказ» и одеколона «Жди меня» до смертельно синей отравы производства Феди-баночки (он же Федька Бельмондо). На лице — ни малейшего намека на то, что был допущен под высокую руку, в общении — ни единого признака службистского самомнения. Он с ходу оправился от начальственного недуга и стал тем, кем был задуман еще при рождении, — свойским, в сущности, мужиком, с которым можно и детей крестить, и секретами поделиться, и попить-погулять всласть. Даже речь у него очистилась от канцелярских сорняков — задышала песней, хлебом, простором... Однако в главном своем пристрастии измениться не мог — по-прежнему тянулся к бутылке, как мотылек к свету. Вот она, какая штука-то!

...Я дождался, пока Клавкин «Москвичок» не вырулил на дорогу, прощально голосуя бензиновым дымком, и тогда отправился на разведку. Павлина Степановна встретила меня вполне радушно, словно и не было утреннего скандала, когда она, немощная, выволакивала своего благоверного из собачьей будки, — а вот Егорыч мне не понравился. Он лежал в нагретой тиши уютного гнездышка, укутанный ватным одеялом, и жалостно постанывал.

— Явился во плоти, хоть хреном колоти, — встретил меня с укором старик. — Мог бы и раньше прийти! — Взгляд его выражал безысходную печаль, требующую немедленного сочувствия. — Слышь, Игрич... едрит твоя муха... организм своевольничает. У тебя там случайно не залежалось?..

Однако, увидев вспыхнувшие глаза супруги, тут же присмирел. Хотя у тетки Павлины все слова звучат почти как ругательства, но по этому неуловимому взгляду можно было определить, что мир для нее начинается и кончается этим человеком.

— В боку колет, во рту горечь, — продолжал жаловаться старик. — Ни встать не могу, ни пошевелиться. Вот те крест!.. Ой, помру! Ей-богу, помру!..

— Ну, тогда давай прощаться. — Я церемонно протянул ему руку.

Егорыч явно раздосадован:

— Тебе все смехуёчки. Все у тебя с вывертом — слова нашего, простого, не знаешь...

— А ты пей меньше. Зачем к Мухановым приперся?

— Дак ить это... и бородавка телу прибавка. — Он понемногу веселел, морщины его разглаживались. — Ты меня, Игрич, не хули. Об меня уж женка с дочкой языки себе обломали. Верно, Павлинка? И весь я тут пристыдился. Вот те крест, святая икона!.. Чё полтинники-то выкатил? Не веришь?.. Давай беседу для возбуждения духа!..

Я знаю, что, полежав с полчасика, он пойдет доить Ветку, задаст корм поросятам и овцам, а потом, если я не вмешаюсь, с двумя тяжелейшими

ведрами отправится за водой на родник, — крестьянская работа не признает ни выходных, ни болезней. Как говорит бабка Сира, кряхти да гнись, а упрешься — переломишься. Только вот откуда силы берутся?..

«Милый Ленин, открой глазки!»

«Деревня обескровелась, обездушелась, разодухотворилась, — вальяжно выразился мой приятель Серега Баландин, по кличке Корреспондент Членов, почти ежегодно навещающий меня в Пустыньке. — Она сорвалась с места, и в ближайшем будущем я не вижу, как она вернется на круги своя. Возможно, этот процесс уже необратим... Так что готовься, Игрич: в одну из прекрасных весен ты приезжаешь в свои любимые пенаты, а на месте твоей фазенды... вспаханное поле».

Типун тебе на язык, предсказатель! За твой злобно-мстительный прогноз ты уже удостоился позорного прозвища, которое ушло за тобой в институт, и если не бросишь свои пророчества, мы устроим тебе с Егорычем хорошую взбучку... Так или примерно так пообещал я приятелю, когда он приезжал сюда в прошлый раз...

Серега — единственный из членкоров нашей отечественной академии, с которым я на «ты» и которого без всякого стеснения могу послать в магазин за стеклянным предметом продолговатой окружности. И даже испытываю от этого тайное удовольствие... Серега — исконно крестьянский сын, но в результате долгого проживания в столице и общения с сугубо академической средой растерял в себе черты паренька, взятого с деревенской завалинки, и даже выстроил внутри себя некий барьер, отделяющий его от сельского простолюдина... Но тянет его деревня, тянет, и ничего с этим не поделаешь!.. Он сильно картавит или, говоря по-научному, грассирует — в томительно-упоительном изнеможении растягивает концы фраз, придавая им почти вопросительные интонации. На лекциях, когда слова приходят не сразу, Серега долго и растерянно мямлит, как бы вытягивает их из себя, произнося на высоких, тягучих нотах, а потом внезапно обрушивается в зал громогласными аккордами, в которых совершенно теряется звук «р». Ученые дамы среднего возраста считают, что у него непревзойденный дар захватывать аудиторию и безраздельно властвовать над ней... Вообще Баландин такой патологический интеллигент, что переинтеллигентит любого интеллигента, — он даже манную кашу ест ножом и вилкой.

Слушая Серегу с кафедры или в окружении учеников-аспирантов, никогда не скажешь, что Корреспондент Членов явился на свет прямо на сенокосе, и роды принимал сам отец — раскулаченный пасечник, и три года, босой, в цыпках, бегал он с невырезанными гландами, и хлеб ел, выпеченный наполовину с сосновой корой, и спал до двенадцати лет на русской печи с тараканами и сверчками. Здесь же прошел и первые свои университеты: на двуспальной печи-лежанке начинался для него фольклор, заучивался славянский алфавит. Печь — место для озорства, место встречи старого и малого, деда с внуком, где прочитывались первые книжки, прочитывались вслух, в собственное удовольствие, на радость отцу-матери и младшим братишкам, которые, когда пробьет их срок, тоже будут читать книжки и их также будут слушать...

Когда Серега рассказывает об этом, я чувствую, как в душе у него набухает горькая слеза. Нет, наверное, сильней тоски, чем тоска по земле, по дому. Его родная деревня давно уже покоится на дне Костромского моря, между пятым и шестым створными знаками, там, где неподалеку за колючей проволокой расквартирован нынче Клавкин спецконтингент в темно-серых ватниках и платках. Когда он плывет на рейсовом катере, то опускает на это место венок из диких лесных цветов. Там, на дне, — могилы его

бабки и деда, которые выучили его грамоте, и остов русской печи «с яркокрасною душой», которая, должно быть, еще хранит запах домашнего хлеба и каленых кирпичей.

Все его наезды в Пустыньку — не что иное, как запоздалая, неосознанная попытка вернуть себе детство, сказку: без сказки, наверное, совсем оборзеет душа человеческая. Моя деревенька, наверное, пробуждает у него смутную неугасающую память о своей малой родине. Он любит ходить в наш лес за рекой, где медными литыми колоннами высятся сосны неохватных размеров, источая сливки хвойных ароматов. Не знающий топора и пилы, этот лес словно вышел из сказок и детских полузабытых снов. Стоит только одному дереву поймать в свою крону ветер, как уже все сосны, подхватив солирующий голос, начинают петь, стонать и вышептывать что-то вроде молитвы или древнего магического заклинания. Мы стоим с ним задрав головы и слушаем... Иногда в шуме ветвей чудится накат волны по песчаному берегу или же крик заблудившегося ребенка, иногда вдруг послышится перестук колес скорого поезда или же распевная перекличка баб, собирающих ягоды. И кажется тогда, что не лес это вовсе, не чудом уцелевший бор богатырского сложения, а певчий хор давным-давно умерших людей из царства теней и призраков. Ведь каждый слушает и понимает лес в меру понимания себя...

Серега Баландин, вероятно, прав, когда говорит о «вспаханном поле» на месте моей избы, хотя и ошибается в деталях: сейчас даже пахать некому! Кричи, надрывайся — никто не отзовется. Скорее всего, лет эдак через двадцать нашу деревеньку накроют заросли бурьяна и жалкого, рахитичного осинника, и если вдруг кому-то из весьма чувствительных натур захочется разыскать какие-то приметы, ориентиры ушедшей жизни, то ему придется продираться сквозь джунгли растительного хлама и спотыкаться о битые кирпичи, остатки изгородей, вросшие в землю венцы срубов и моховые кочки, которые снизу будут представлять собой груды пустых бутылок и гниющего тряпья. Нет ничего тоскливее умерших и продолжающих умирать деревень.

Старик со старухой, старуха со старухой и старуха отдельно — вот и вся Пустынька образца 1997 года. Ну а я и еще три семейные пары не в счет. Мы живем здесь на правах дачников кто два, кто от силы шесть месяцев в году, и не мы определяем, быть или не быть деревне. Уже на моей памяти закрылся в ней магазинчик-палатка, фельдшерский пункт, начальная школа — смолкли детские голоса, тропинки между домами затянуло гусиной травой. Пашни и сенокосы вокруг Пустыньки мало-помалу пришли в упадок, заросли серой ольхой, березой, злаками-паразитами. Раньше с ними без всякой пощады боролся человек, живущий поблизости; теперь же, переселившись в Курзенево, на центральную усадьбу, он стал приезжать сюда на работу на тракторе, у него появилась психология сезонника, временщика. А земля, она не терпит временных соглядатаев, ей подавай хозяина с постоянной пропиской, иначе «нежить поганая» задушит посевы. И как бы ни тужились над цифирью начальнички из АО или ТОО, вымучивая урожайные показатели, а золотое яичко на этой земле не высидишь...

Год из года деревня принимала нежилой, почти кладбищенский вид. На месте бригадировой избы, где я когда-то провел первые два часа своей пустыньковской эпопеи, расплодилась жирная бесстыжая крапива с вонючим запахом — как месть человеку за брошенное жилье.

Оставшиеся пенсионеры и вдовушки жили вольно: и за колхоз держались, хоть и платили «шиш да маленько», и себя не забывали. Народ подобрался разговорчивый: ему только повод дай — начнет щекарить из поговорки да в присказку, матюки летят, как поленья. И всем все до лампочки — сплошная электрификация!

Милый Ленин, открой глазки!
Нет ни водки, ни колбаски,
Нет ни сыру, ни вина —
Проституция одна! —

пели подгулявшие пустыньковские пенсионеры, в сущности говоря, здоровущие, с воловьими ручищами мужики, кровь с молоком... Каждый устраивался, как мог: кто в огородничестве преуспевал, кто ставил браконьерские сети на речке Мезе, кто лес валил для строительства, заключив договора с местным лестничеством. А кто посмелей да понахальнее — гнал под покровом ночи синевато-мутную смердящую «жижку» убойной мощностью 70 градусов и толкал ее среди своих по сходной цене. «Принимали» эту жидкость обычно зажав пальцами нос, со спазмом гадливости и почтительного ужаса. С утра выпил — целый день свободный!

А что такое свобода в крестьянском понимании? Волюшка вольная, море по колено! «Раззудись, плечо! Размахнись, рука!» Запою, запью, загуляю, а там хоть трава не расти... Каждый год Пустынька недосчитывала трех-пяти человек — кто-то помер, кто-то переселился в другие, звонкие и изобильные, края, — и вот наступил момент, когда в деревне остался один-единственный мужик, содержавший корову, теленка, череду овец, свиноматку, дюжину курей, два больших огорода и гектаров пять сенокосных угодий.

Вообще Егорыч всегда был заметной личностью в сельсовете. И не только потому, что по части выпивки был великий мастак, а по исполнительному мастерству — первый тенор на деревне. («Ехала деревня мимо мужика, вдруг из-под собаки лают ворота...» — эта частушка, как он утверждает, его собственного сочинения.) В его характере угадывалась какая-то непонятно располагающая черточка, которая сразу вызывала доверие. Стоило кому-нибудь в разговоре произнести «Пустынька», первым делом вспоминали Егорку Четыркина, и на лицах людей появлялась хитровато-блуждающая улыбка. Как будто знали что-то такое, а говорить не хотели. Как будто все решили соблюдать некий ритуал, в котором местному люду были известны все правила смеховой игры, а приезжему только и оставалось, что развести руками.

Лет десять назад, после майских праздников, он пришел ко мне в легком подпитии.

— Я тебя вычислил на букву «в», — сказал старик. Глагол «вычислил» звучал как-то неуместно в устах старого колхозника, и я стал судорожно соображать, к чему он клонит. — Али непонятно толкую?

— Да нет... все понятно, — соврал я.

— Выпьем вдвоем водки вопреки воле Всевышнего и во веки веков, — почти по слогам продекламировал он, довольный собой.

— Ну а еще почему я похож на букву «в»?

— «В» — третья буква в алфавите. Ты, Игрич, — третий по значению человек в нашей деревне. Вот она, какая штука-то!

— А первый, конечно, ты? — засмеялся я.

— А вот и нет, — сказал серьезно Егорыч, усаживаясь на лавочку и показывая всем своим видом, что этот разговор он затеял неспроста. — Первая... едрит ее муха... Лизка Муханова, бой-баба. Я ей нынче новую кличку прилепил — Тигра Львовна. До чего языкатая женщина! Ее как ни подслащивай — все кувалдой смотрит.

— Ну а второй кто?

— А ты не догадался?.. Второй — я, по возрасту, значит, и все такое. Третий — ты, потому как грамотный шибко и вообще. — Он вдруг неожиданно завелся: — Три — это русское число, историцки говоря. Тройка, троица, трешка, трояк, на троих, тридцать три богатыря. А первичная партячейка? А суд и трибунал, где всегда трое?.. И еще вот... — Старик показал мне мятую бумажку, разгладил ее на колене... — Мне повестка при-

шла с военкомату, третья по счету... Скажи-ка, на кой хрен я им занадобился, а? Мне ить семьдесят скоро. Пошто эдак-то?

Повестка, как всегда, умалчивала, зачем и по какой надобности «гр-н Четыркин Е. Е. должен явиться к старшему лейтенанту Амирзянову С. Х.», но зато в четком приказном порядке обязывала его прибыть такого-то числа на такую-то улицу ровно в восемь утра.

— Ты чего боишься? — спросил я старика. Хмель из него вышел, и он слегка занервничал. — Думаешь, забреют?

— А шут их знает! Это народ такой, мать их разъети! — Егорыч посмотрел на меня с просящим выражением лица. — Можа, вместе смотаемся в военкомат, а? — и достал из кармана початую бутылку «Агдама», вытащил уцелевшим зубом газетную затычку. — Ты как-никак курроспудент и все такое. Двинешь кого следует печатным словом. А? Дорогу я оплачу...

— Это что же выходит? — вырвалось у меня. — Ты мне «Агдам», а я тебе заступничество?! Ты где такой шелудивости набрался, Егор Егорыч? Убери свой вшивый портвейн! Если надо, я поеду с тобой без всякого портвейна!..

Но напрасно я так горячился: старик Четыркин обладал даром мягкого, ненасильственного принуждения, и мы, мигом оприходовав эту бутылку, пошли к соседу-дачнику за второй, пообещав, что завтра к вечеру привезем из города все, что ему заблагорассудится...

Триумфатор

Я передал секретарше военного комиссара свою визитную карточку с золотым тиснением и был принят без промедления. Едва услышав фамилию «Четыркин», моложавый полковник вскочил с места.

— Да мы его всюду разыскиваем! Где его черти носят?.. Старшего лейтенанта Амирзянова немедленно ко мне! — прокричал он секретарше.

Егор Егорович тем временем томился ожиданием в заплеванном коридоре.

Инспектор Амирзянов — длинный худой парень в роговых очках и модном джинсовом костюме, по внешности казах или киргиз, — положил перед начальником большой синий конверт со множеством печатей. А сам стоял рядом, иронично посмеиваясь через очки, и заученным движением поддевал свою оптику к переносице.

— Где наш герой? Давай-ка его сюда! — приказал военком.

Егорыч вошел в кабинет с таким видом, будто его встречала сама Фемида с двумя попками-заседателями по бокам. Типичная русская тройка времен ВЧК и ОГПУ... Он украдкой поглядывал на военных чинов, и в каждом его движении нарастали тревога и беспокойство... Полковник взял в руки конверт.

— Так вы и есть тот самый Четыркин?

Старик пока еще не разобрался, как ему вести себя в этой ситуации. На всякий случай сдернул засаленную кепку с головы и, оголив ухо, выставил его трубочкой по направлению к военкому: плохо, мол, слышу, дорогой товарищ, кричи громче!

— Вот что, дядя, — сказал полковник, видимо разгадав его уловку, — говорить будем или как?

Амирзянов при этих словах отвернулся, чтобы не рассмеяться. И Егорыч это тут же учуял. Он словно вырос в собственных глазах, голос его загремел с недюжинной силой:

— Дак ить это... чё вызывал-то, начальник? Мне тут недосуг рассиживаться. На мне ить скотина... картоху садить надо. Вот те крест, святая икона!

— Вы в Германии были? — прокурорским тоном спросил военком. При этих словах я как-то насторожился.

— А то как же! — с ходу выпалил старикан, обнаруживая незаурядные слуховые способности. Его хлебом не корми — дай поговорить о Германии. — Гвардии сержант двадцать пятой кавалерийской дивизии имени Григория Ивановича Котовского Второго Белорусского фронта... историцки говоря, — отчеканил он и обвел всех победоносным взглядом. — Двенадцать винзаводов брал — от Бердичева до Берлина. О как!.. Это работа такая, винзаводы брать, — что вы, ребята! Таких уж бойцов нет и никогда не будет... Я командир конной разведки был, дак мы — слышь! — по ночам робили. Дожидалися, значит, чтоб немец учухался, ко сну отошел, — и аллюр три креста! Лошадям своими же портянками копыта обвязывали — чтоб, значит, тих-ха... тих-ха. Немец-то, вишь, тоже выпить не дурак, дак стоял насмерть, как двадцать восемь героев-панфиловцев. Вот она, какая штука-то!

И он готов был дальше витийствовать о своих подвигах, но я вовремя придержал его локтем... Полковник с трудом сдерживался от смеха, а старший лейтенант Амирзянов, захлебываясь в хохоте, в перерыве между затяжными кудахтаниями предлагал учредить новую боевую медаль — «За взятие винзавода». При этом, если следовать его логике, выходило, что за успешный штурм двенадцати спиртоводочных предприятий Егорычу причиталось как минимум три степени ордена Славы. Старик расценил этот шум-гам вокруг его персоны как знак растущей к нему симпатии...

— Вам такое имя что-нибудь говорит — Ольгерд-Бернгард Тринкер? — произнес полковник, обретая серьезность.

— На кой хрен мне энтот триппер, — тут же нашелся герой-котовец, — у нас свой имеется...

Мы с Амирзяновым при этих словах схватились в охапку, чтобы не упасть.

— А вот он вас помнит. И хорошо помнит! — Военный комиссар полностью пришел в себя и, глядя на Четыркина в упор, нагнетал какую-то непонятную для него тревогу. — Вы в тушении пожара в местечке... как оно называется?.. — он порылся в своих бумагах, — Лаубсдорф участвовали? Немцев из огня выносили?

Старик мигом пришел в себя и затравленно заозирался — видно, соображал, что он такого натворил в этом местечке Лаубсдорф, если его вызывают в военкомат вот уже третий раз.

— Откель мне помнить-то? — запричитал он голосом бабки Сиры, когда к ней приходит налоговый инспектор. — Сколько годов-то прошло?! Смыло память...

— Нет уж, Егор Егорович, — строго произнес военком и протянул ему фотографию из синего конверта. — Хотите не хотите, а вспомнить придется...

Из-под белесых, выцветших на солнце бровей на меня глянули хитрющие Егорычевы глаза, и такие шалые, забойные, молодые... Он стоял на фоне тлеющих развалин, в окружении развеселых солдат-однополчан и держал на руках испачканного сажей мальца в коротеньких штанишках... Май сорок пятого — такую фотографию узнаешь сразу! Мне было тогда шесть лет (детская память — как увеличительное стекло), но я помню и никогда не забуду зажигательный напор этих людей: наше дело правое — мы победили! Мы живы и целы, хотя и покалечены, у нас зубы с фиксами, нашивки ранений на груди, а медалей — считай не пересчитаешь. И впереди у нас Родина, матка с таткой, ежли уцелели, браты и сестры меньшие, невеста нареченная, коли не изменила, и целая жизнь, которую надо начинать с нуля...

Оба офицера нависли над стариком тучей, нетерпеливо заглядывая в глаза, а я на радости хлопнул его по спине:

— Ну как, вспомнил?

— Да ить это... я тоды, видать, выпимши был, — как-то по-простецки признался Егорыч. — Мы там, считай, кажин день зашибали... А на фотке — это я, в точности я. Вот те крест, святая икона! Мое слово аминь!.. Токо вот мальчонку что-то не припомню. Видать, приблудный какой?

— Ничего себе — «приблудный»! — почти возмутился полковник, а его подчиненный снова схватился за живот. — Ольгерд-Бернгард Тринкер — крупный, понимаете, финансист, владелец нескольких торговых фирм, специализируется на фруктах и овощах, по всему миру разъезжает. Вы вынесли его из-под горящих обломков...

— ...и тем самым способствовали возрождению капитализма в Федеративной Республике Германии, — не мог отказать себе в удовольствии старший лейтенант Амирзянов.

— Чего ты мелешь, дура?! — взорвался его начальник. — Вот поколение пошло, чуть что — сразу ляля-тополя. И никакой, понимаешь, субординации!

— Эт-то точно, — поддержал его герой-ветеран, — у баб оно сочно, а у девок ядрёно, да просить-то мудрёно...

Своей присказкой ни к селу ни к городу он снял нечаянно возникшее напряжение, и наш разговор покатился как по маслу.

Из письма Тринкера выяснилось, что фотографию сделал его старший брат спустя несколько минут после чудесного спасения благодаря геройской помощи русского сержанта Егора Четыркина, родом из Костромы. Об этом на обратной стороне снимка уведомляла запись, сделанная рукой его покойной матери. Фотография более сорока лет хранилась в семейном архиве Тринкеров, и вот теперь владелец торговых фирм в знак благодарности приглашал своего спасителя в гости и брал на себя обязательства оплатить его проезд туда и обратно... — Поезжайте, Егор Егорович, не будьте дураком, — сказал ему Амирзянов. — Он вам виллу подарит на берегу моря.

— На кой мне вилы-то? У меня их у самого пять штук...

Тут набежали газетчики, операторы телехроники, защелкали аппаратурой, задергали, затормошили старика вопросами, и он, смекнув, в чем дело, принял победительную позу. Меня тоже впрягли в работу: прямо за военкомовским столом отстучал на машинке две странички текста — и их с ходу отправили в набор для праздничного номера...

Утром в военкомат вошел никому не известный пенсионер из умирающей, отрезанной бездорожьем деревни, а вышел отсюда — триумфатором областного масштаба.

За его сборами следила вся деревня. Так, по крайней мере, мне казалось, когда Павлина Степановна вывешивала на заборе пропахшие нафталином праздничные рубахи, брюки, пиджаки и варила на таганке варенье из земляники, собирая вокруг себя местных кумушек и приезжих дачниц. По ее просьбе я написал Ольгерду-Бернгарду ответное письмо, где от имени Егорыча с учтивой галантностью намекал, что к нему едет не какой-нибудь там занюханный ванёк из расейской тмутаракани, а гордый сын колхозной деревни, победитель фашизма и заслуженный ветеран-орденоносец. Словом, закрутил «версаль» — будь здоров! (Учти, читатель, дело происходило в 1988 году — делай поправку на время, если ты умный.) Приехавший как нельзя кстати Серега Баландин перевел письмо на немецкий язык, и Клавка, взявшая на себя все хлопоты по оформлению документов, отправила его незамедлительно...

По вечерам к четыркинской избе сходились все любопытные. Бабка Сира с клюкой, Лизка Муханова с матерью, я с Серегой и прочий языкастый и смешливый народ.

Егорычев петух по кличке Коммунист в последний раз обходил свои владения, без всякого удовольствия наблюдая за людским нашествием. Умолкала нежная птица-колокольчик с серебряным голоском, скрытая в

ветвях старой березы; молча отходила ко сну корова Ветка, валяя во рту последнюю жвачку, напоив и ублажив всех духовитым и пенистым молоком. Цепной кобель Пират, задрав ногу и слегка постанывая, с наслаждением вылизывал самые нежные свои места и со стороны напоминал виолончелиста, разучивающего особо ответственную партию...

Первой, как обычно, начала выпевать бабка Сира:

— Ты скажи, не утай, черт гороховый, ты в какой такой путь снарядился-то, во которую путь-дороженьку? Никак ошалел ты, парень! Гляди, Егорка, — помрешь!

— Прежде смерти не помрешь, — бойко, по-солдатски отвечал ей герой-ветеран. — Да и костьё у Егорки невелико. Найдется место, где его закопать.

— Вот и хорошо! Слава те, Господи! — тут же подхватила Лизка Муханова, которую с недавних пор стали звать Тигрой Львовной. — Одним пьяницей меньше станет. А то тринадцать месяцев в году керосинит, черт ненажорный...

Все вокруг рассмеялись, а Серега спросил:

— Почему тринадцать, Елизавета Прокофьевна?

— А по лунному календарю! Они с твоим дружком — одного лесу кочерга, — и хотела еще что-то прибавить, позанозистей, но ее заглушил дед Дормидонтов, в прошлом партийный секретарь. Хватив браги для смелости, он завел *свою* музыку:

— С китайцами можно договориться... с корейцами, японцами, американцами. Можно договориться с собаками, птицами, быками — есть шанс, что поймут. С германской фашистской братией договариваться нельзя. Ясно-понятно?

— Так он туда не договариваться едет, а погостить, — подал кто-то неуверенный голос.

Но старик Дормидонтов, накачав глотку на партийных сходках, упрямо гнул свою линию. В его внешности не было ничего примечательного, а голос такой трубный, раскатистый:

— Ты, товарищ Четыркин, преследуешь шкурнособственнические интересы. На кой хрен тебе эта гидра капиталист? Пущай лучше колхозу помогет, ежли совесть заела. Пущай пришлет нам быков племенных, стройматериалы, одёжу. Ясно-понятно?.. Родина тебе этого не простит, Четыркин. Позор солдату Отечественной войны!

— Позор алколоиду проклятому! — мигом отозвалась Тигра Львовна.

Мы с Серегой хотели вставить свое веское слово, да вовремя одумались: уж больно разошелся-разгорячился пустыньковский народец, особенно старухи. Да и у дачников, из городов которые, тоже своя моча в голове. Тем более, что среди них нашелся такой отчаянный «поп» марксистского прихода, что даже самому Дормидонтову пришлось его унимать и уламывать. В бешеной злобе кричал этот оратор, что только языком танков и пулеметов можно разговаривать с «недобитой фашистской сволочью» и только он, его величество свинец, способен загнать обратно вырвавшегося на европейский простор «фээргэшного зверя»...

Никто не заметил, как Егорыч вынес из дома гармонь-бологовку. Он заговорщицки подмигнул мне, пробежал проворными пальцами по деревянным пуговкам, разорвал гармонь пополам — и из залатанных мехов ударила плясовая мелодия:

Был я в Пустыньке в гостях,
Переменна пища!
Утром чай, днем чаек,
Вечером чаище...

Толпа заулыбалась, будто из нее высекли искру. Если до этого каждый чувствовал себя по отдельности, то теперь все подключились к общей сети. Ободренный вниманием, Егорыч завел свою фирменную:

Я девчонку за титьчонку,
А титечка холодная.
Видно, в городе живет —
Такая благородная!

Бабка Сира, стоявшая рядом со мной, обессиленно охнула, и ее худенькое тельце прошили мелкие судороги. Она стала притоптывать и приплясывать. «Ты что, совсем сдурела!» — зашипела на нее Лизка Муханова. Но та ее не послушалась.

А я отчаянной родилась,
Я ничем не дорожу.
Если голову отрубят,
Я полено привяжу.

Ой, что творила бабулька! Раскинув руку с костылем, она лебедушкой парила, черным вороном кружилась, серым заюшкой скакала — будто сбросила с плеч лет двадцать. Раскраснелась вся, платок набок съехал. И новую частушку завела:

Я, бывало, всем давала,
Сидя на скамеечке...
Не подумайте худого —
Из кармана семечки...

Егорыч играл подпрыгивая на скамейке, как на лошади. Кто-то из дачников дурашливо повел плечами, и зазвенели его значки на шляпе. А значков у того дачника — что у Брежнева орденов... Странное дело, но у меня тоже затряслось все внутри, а ноги сами по себе стали выбивать чечетку.

На середину круга вдруг вылетел Серега Баландин и так резво принялся за дело, словно до этого его держали взаперти. Вот уж от кого-кого, а от него я этого совсем не ожидал! Не молодой ведь Серега — а ноги такие легкие, верткие. «Давай жми, Членов Корреспондент!» — ликовала мужская половина... И тут же вслед за ним на радость гармонисту выпорхнула его дочка. «Клавушка, не подкачай!» — напутствовали ее бабы... Танцоры отвесили друг другу церемонные поклоны, с новой силой взревела Егорычева гармонь — и пошло-покатилось.

Размахивая платочком, будто отбиваясь от невидимых комаров, Клавка быстрыми скользящими шажками двигалась по кругу. И за ней с вывертами и заковырками, эдаким мелким бесом катился лучший лектор России. То кидался вприсядку, то вколачивал в землю каблуки; отчаянные дроби сыпались из-под его модных сандалий, вздымая пыль. Как бы желая напугать партнершу, он распетушился, расфуфырился, крадучись, бочком обошел ее с фланга и преградил дорогу. Клавка притворно опустила глазки, плечиками поиграла жеманно, а потом, раскрыв руки, как крылья, коршуном понеслась на обидчика. Баландин съежился, локтями брюки подтягивает и отступает, оглядываясь, как побитый пес. Но девушка, сменив гнев на милость, успокаивает его кокетливой улыбкой. Закрыв лицо руками, она сквозь пальцы поглядывает на Серегу — «фигли-мигли» строит, и тот на радостях выделывает такие ползунки и присядки, что толпа только ахает...

Круг растет, полыхая нарядами, распадается на пляшущие пары. И я вдруг замечаю, что и меня кто-то пытается вытолкнуть из рядов. Пожилая бабка из Обронькина, одна из подружек Лизки Мухановой, схватила меня за руку и тянет в круг, приговаривая: «Попал в стаю, так лай не лай, а хвостом виляй». А сама уже плывет уточкой, выруливая на середину. Делать нечего, я стал подыгрывать ей, выделывая ногами нечто шейко-рок-н-ролльское и, наверное, довольно глупое, потому что ближние ряды закачались от хохота и вся толпа переключила на меня свое внимание...

Из-за дальних лесов тяжело и мутно выкатилась луна. Земля дышала сырым ароматом трав и деревьев, клубилась река в тумане, вздрагивала от всплесков мелкой рыбешки... Гулянка наша обессилела. Она медленно растекалась по дворам, всхлипывая запоздалой частушкой. И все носились в воздухе протяжные «эх» да «ох» — одни междометия без слов...

— Что-то на работу потянуло, — сказал, ухмыляясь, Егорыч. — Пойду-ка прилягу — может, пройдет.

Егор-Егор господин Четыркин

...С тех пор прошло порядочно лет, но я отлично помню сцену возвращения старика после недельной отлучки.

Егорыч юлил взглядом, рот его подергивался в тщетной попытке заговорить. На лице застыло выражение раскаянной скорби и покорности, во всей фигуре — угодливая готовность ковром лечь под ноги жены и дочери, которые кляли его по-черному. В глазах Четыркина плавал мутный голубой туман, а в уголках губ притаилась детская проказливая улыбка, обнажавшая щербатый рот с одним-единственным зубом посередине.

Теперь я понимаю, что в Германию он вовсе и не собирался. Просто захотелось встряхнуться, развеяться, прокатиться с ветерком до Москвы и обратно, разгулять, распотешить свою душеньку на вольном российском просторе... Приехав в столицу, решил податься к своему однополчанину. Взял с лихостью такси (знай, мол, наших, поминай своих!), но не рассчитал финансовые возможности, и дошлый московский «извозчик», смекнув, с кем имеет дело, выставил его на полную катушку... В камере предварительного заключения 1-го отделения милиции, что на Ярославском вокзале, куда его взяли «за распитие спиртных напитков» в неположенном месте, он покорил всех исполнением срамных частушек с приплясом, и расчувствовавшиеся инспектора, в прошлом деревенские парни, купили ему обратный билет до Костромы.

Между прочим, в Москве Егорыч уже бывал. Точнее говоря — «под» Москвой. В ноябре сорок первого его воинский эшелон пригнали на Ярославский вокзал, ночью посадили солдат в метро «Комсомольская» и прокатили по всем станциям-дворцам до конечной остановки. Потом на грузовики — и сразу на передовую. В первом же бою их часть выкосили почти наполовину...

Я обрадовался возвращению блудного сына Егория. В самом деле, на кой черт ему эта самодеятельность! Что он там не видел, в этих Европах? Приехать, чтобы отметиться, так сказать, своим присутствием? Подивиться богатству и жратве от пуза? Там даже выпить по-человечески не дадут — будут таскать по музеям разным, экскурсиям и прочим буржуйским мероприятиям. Там не скажешь: «Жили в лесу, молились пенью, венчались вкруг ели, а черти нам пели», — народ подобрался деловой и не шибко чувствительный. И всюду надо держать улыбку, врать не краснея о своей замечательной стране и всегда быть на стреме, ожидая «антисоветского» подвоха...

— Деньги у тебя еще остались? — спросил я, когда он явился ко мне «для отчета».

— А то как же! — Егорыч хлопнул себя по карману. — Кой-что имеем. — Несмотря на неуемную страсть к спиртному, он всегда оставался прижимистым, в сущности, мужиком.

— Вот и хорошо... Будем звать Ольгерда-Бернгарда в гости! — распорядился я за него. — Ты как, не возражаешь? Скажи Клаве, чтобы отбила телеграмму. Записывай! «По семейным обстоятельствам и связи слабостью здоровья приезд отменяется. Сердечно приглашаю Пустыньку. Жду ответа — Четыркин»... Ты как, согласен?

Старик расцвел, развеселился, и бес кольнул его под ребро: побежал к дачникам за бутылкой, чтобы благословить хорошую идею. Самое интересное, что и жена с дочкой, желая поправить семейную репутацию, тоже ухватились за мое предложение. Ну а пан Зюзя, унюхав о наших приготовлениях, вообще вышел из берегов. У него ноздри шире плеч!

Слово «перестройка» хоть и прозвучало в эфире, но никто толком не понял, что это такое. А председатель Зюзя первым учуял запах перемен. Какой-никакой, а опыт по криминальной части у него имелся: продавал он земли нашей Пустыньки, и не раз! Тогда это втихую называлось арендизацией.

Словечко приятно для советского уха. Что-то слышится родное во всех этих «ациях»: экспроприация, коллективизация, арендизация... Уж не помню, кто это сказал, — то ли Бисмарк, то ли Наполеон, то ли наш Суворов, но смысл сводится к одному: дайте мне занять город, а там уж я найду теоретика, который объяснит мне, по какому праву и во имя чего я это сделал... Вот и пан Зюзя действовал примерно так же. Он заключил с областным УВД договор, незаконный даже для того времени, и через Адольфа (Адольку помните?) Пантелеевича пробил его с помощью Минсельхоза и ЦК. Начиная с 1982 года, в самый разгар расцвета развитого социализма, почти две тысячи гектаров наших угодий переходили попеременно то в лапы военно-охотничьего хозяйства Минобороны, то Костромского управления внутренних дел. На эти купли-продажи Пустынька никак не отреагировала, потому как изверилась окончательно и бесповоротно, а Зюзя имел с этого неплохой навар. Вот и сейчас с помощью богатого гостя из ФРГ он рассчитывал поправить свои пошатнувшиеся дела.

Председатель колхоза взял на себя все хлопоты по подготовке визита Ольгерда-Бернгарда Тринкера, подключив к этому райкомы партии и комсомола, а также областные СМИ. Из скромных своих запасов партия выделила два ящика «Кубанской» и молоденькую переводчицу, комсомол пообещал завалить гостя цветами и улыбками, а пан Зюзя велел заколоть упитанного бычка-двухлетку по кличке Копейка.

Дед Дормидонтов с Тигрой Львовной наводили порядок в деревне. Бригаде алкашей, которая сенокосничала у нас по линии ЛТП, было приказано очистить территорию от проржавевших сеялок, плугов, завалов минеральных удобрений, от несметного полчища мелкой стеклянной тары в виде «Мажора», «Саши», «Наташи», «Консула», «Не горюй», «Жди меня» и прочей парфюмерии. Дюжине проворных забулдыг, которых любвеобильные жены раз примерно в два года отправляют на условно-рефлекторную терапию, строжайшим образом запретили появляться в деревне, дабы не смущать своим видом важного иностранца... Мне было велено в течение суток разнести по бревнышку позорную сараюгу, маячившую перед моими окнами, и использовать ее на дрова (забегая вперед, спешу сообщить, что эти дрова мы с О.-Б. Тринкером и распилили), а также навести порядок на собственном огороде...

Что тут скрывать, было время, когда мои грядки и картофельник представляли собой неприглядную картину из крапивы и жизнерадостных лопухов. Бывая в деревне короткими наездами, не успевал выпалывать сорняк, и он задушил у меня клубнику и огурцы. Помню, налетел однажды колорадский жук, картошка только-только входила в цвет — а тут эта черно-рыжая напасть. С раннего утра пустыньковское население, проклиная вредителя, с баночками в руках собирало его с едва проклюнувшихся завязей, а у меня все было чин чинарем. Лизка Муханова и Егорыч только руками разводили: вот уж везет так везет! Но на самом деле, я думаю, летучая орда просто не заметила с воздуха моей картошки, укрывшейся за густым бурьяном...

За три дня до приезда гостя заладили дожди. Лес и поля словно окоченели, сжались, омываемые мелким ситничком, который надоел не только

нам, но и, казалось, самой природе; единственная дорога в Пустыньку превратилась в разжиженное тесто.

Над деревней витали слоистые пряди дыма — это Павлина Степановна с помощью Тигры Львовны готовила праздничное угощение. Острый, аппетитный запах запеченного мяса, приправленного луком и сметаной, дразнил ноздри намаявшихся ожиданием людей, а машины с западным немцем и сопровождающими его лицами что-то запаздывали. Егорыч, чтобы снять напряжение, время от времени бегал на хоздвор, где у него хранилась заначка с брагой.

— Ты не больно-то хлебай! — строго предупредил его старик Дормидонтов, мужик шебутной и крикучий. — Пожалей фрица! А то дыхнешь на него — и капец. Ясно-понятно? Евонное правительство на тебя в суд подаст.

На что герой-гвардеец, впервые облачившись в мундир с боевыми наградами, с привычной для него ухмылочкой ответил:

— Всего делов-то?! Зима-лето, зима-лето — не заметишь, как и срок пройдет. — И он затянул одну из расхожих своих припевок: — На кровати семь пружин. Давай-ка, милка, полежим! Полежим, обнимемся — потом за дело примемся...

Дормидонтов сплюнул под ноги и обложил его матюками с вывертом и подкруткой. У него вдруг выпали все обиды и печали, которые он носил в себе не один год, и хотя каждодневная текучка притупила их остроту, отодвинула эти боли в дальние уголки памяти, они снова всплывали на поверхность, едва только являлся повод. Приезд немца-капиталиста, например: уж сколько ихнего брата, отцов-дедов, положили за прошлую войну, а они все лезут и лезут. Не мытьем — так катаньем, с деньгами и подачками. На кой хрен ему этот сабантуй!.. А тут еще попались на глаза два ветерана, приглашенные на праздник, — хроменький Вася-хорь из Обронькина и глухенький Жека-медонос из Федулова, оба уже тепленькие, веселенькие. Увидели дружка Егорку Четыркина — и повисли у него на шее.

— До смертинки — три пердинки, а радостей — полные штаны! — не удержался, подколол их бывший колхозный партсекретарь.

Тут кто-то закричал: «Едут!.. едут!» — и мы кинулись к дороге. Но машина была одна и незнакомая, с костромским номером. Егорыч сослепу не разглядел, кто приехал, и пошел навстречу, широко раскинув руки. Из «уазика» вылезли три человека в одинаковых серых шляпах и весело уставились на него. Были они в резиновых сапожках с щегольски подвернутыми голенищами, в модных, на молниях и застежках, куртках. По своему разумению старик выбрал того, кто напоминал ему спасенного мальца, помедвежьи облапил его обеими руками, приподнял над землей.

— Ауфвидерзеен! Здорово живешь... Ол-гер Бер-дан Тринкер! — произнес он заранее выученную фразу. — Битте геен зи ин дорф Пустынька! — и горделивым взглядом хозяина описал перед ним широкий полукруг, в который вошли серые избушки, серые копешки и мы, встречающие, уже основательно посеревшие от холода.

— Ты что, мужик?! — взмолился гость, продолжая висеть в воздухе. — Положь на место! Я — первый секретарь райкома комсомола...

— Дак ить это... — растерялся Четыркин, но толпа накрыла его слова хохотом, и он от огорчения махнул рукой: — Ну, тоды наливай! Влупим по стакану — и ага!

Но «налить» не пришлось, потому что подъехали еще две заляпанные грязью легковушки. Сверкая плешью, пан Зюзя выскочил на ходу и с эдакой простецкой ухваткой сграбастал в кучу всех ветеранов — старика Дормидонтова, Васю-хоря, глухенького Жеку Селиверстова и, конечно же, Егорыча. Из машин вылезли еще человек восемь, среди них девушка-переводчица с цветами и старший лейтенант Амирзянов. Защелкали фотоаппараты, заработала кинокамера.

— Ну, господин Тринкер, — обратился к толпе председатель, играя яблочными щечками и детской ямочкой на подбородке. — Выбирайте из них — кто ваш спаситель? Эриннерн зи зих!

Вот какую задачку он задал всем! Мы стояли в растерянности и гадали, кто из вновь прибывших является г-ном Тринкером, потому как из-за дождя все были в защитного цвета плащ-накидках; а Тринкер в этот момент, видимо, мучил, терзал свою память, чтобы определить в четверке подгулявших старичков «того самого сержанта» из сорок пятого года...

Но это мы так думали... На самом деле все произошло просто и быстро. Вышел человек из толпы, поклонился Егорычу, и оба они обнялись и заплакали...

— Милости просим, гости дорогие! Проходите... проходите, будьте ласковы! Не побрезгуйте деревенской хлеб-солью, не взыщите за убогое угощение. Мы — люди серые, неотесанные, городским порядкам не обученные...

Церемонно и радостно встречала гостей разодетая в шелка тетка Павлина. Приветам, обниманьям и целованьям, казалось, не будет конца. Обычно сварливая Тигра Львовна, сменив гнев на милость, не переставала кланяться, и щеки ее пылали самоварным жаром. Обе стряпухи потрудились на славу: не жуй, не глотай, только бровь поднимай. Стол красовался посреди избы, как невырубленная роща, сверкая августовским великолепием. Даже пан Зюзя, поднаторевший по части номенклатурных обедов, и тот не выдержал:

— Вы что, специального повара нанимали?

А хранители партийных риз и двух ящиков «Кубанской» вовсе оторопели: на их памяти это был первый случай, чтобы в деревне, да еще в дальней, затруханной, справили такое по-царски роскошное угощение. Все, что месяцами копилось в погребе и кладовке, все, что, дожидаясь своего часа, зрело на огороде, бродило по полям, бегало по лесам, плавало по рекам, — свежее, зажаренное, запеченное, засоленное, засахаренное, замаринованное, — все, что невозможно себе даже вообразить, горой высилось на столе, нарядное и запашистое...

Поначалу гости стеснялись и церемонились, уступали друг дружке лучшие места и лакомые куски, заставляя себя упрашивать, а потом, пообвыкнув, разошлись-развеялись, повели междусобойные разговоры, в которых главная роль отводилась, конечно же, Ольгерду-Бернгарду Тринкеру. На долю его соседа, Егора-Егора Четыркина, выпала необременительная обязанность разливать.

Отдав должное речам партии и комсомола, управившись с холодной закуской, простой люд глазами потянулся к владельцу торговых фирм.

— Как там жисть-то, в возрожденной Германии? — развязал язык нетерпеливый Жека-медонос, старый пасечник, не утративший вопреки глухоте здорового любопытства к жизни и страсти к разного рода слухам. — Народ-то, слышь, не голодает? Фашизм, едрицкая сила, голову не подымает? Ты нам правду говори. Так-тося, мужики?..

— Кто про што, а вшивый все про баню! — встала на защиту гостя Павлина Степановна. — Дай очухаться человеку, сатаноид! — Она чуть ли не загораживала собой тщедушное тельце г-на Тринкера. И тот согласно тряс головой, жалко улыбался и нервно поглядывал по сторонам, ища сочувственной поддержки.

На первый взгляд, кроме заученной вежливости и приклеенной улыбчивости, ничего немецкого в этом Тринкере не было. Да пил он как-то по-уродски, слегка пригубливая рюмку, что вызвало за столом всеобщее осуждение. Глядя на это очкастое, заморенное существо, просто не верилось, чтобы его нация способна была дойти до Москвы, а спустя год даже пить каской воду из великой русской реки. Сидевшая рядом бабка Сира

прошептала мне на ухо: «Некузявый он какой-то — недоваренный, недоперченный, недосоленный»... Слава богу, что затих на время, увлекшись дефицитной «Кубанской», самый главный обличитель германского реваншизма.

Выпили еще по стопке, налили по другой и снова выпили, закусив сочными, мясистыми груздями и мелкими, янтарного цвета рыжиками, которые зовутся у нас «бисером»... Неожиданно выяснилось, что переводчица говорит с Тринкером по-польски и тот прекрасно ее понимает. (Амирзянов, молодчина, первым обратил на это внимание.) Оказалось, что познакомили их впопыхах, на скорую руку и сразу повезли к нам в деревню. Только в машине девушка поняла, что имеет дело с немцем, в то время как сама она является переводчицей с польского... В результате за нашим столом произошла короткая перестрелка взглядами: партия, сурово сдвинув брови, винила во всем комсомол, а комсомол, не желая быть козлом отпущения, отвечал ей легким презрением.

Дождавшись тишины, Ольгерд-Бернгард неуклюже поднялся с места. Девушка с ходу переводила:

— Очень прошу... не говорите со мной о политике. Я не канцлер Коль, не бундесвер и не служба безопасности — я их не люблю и за них не отвечаю. — («А Кенигсберг мы тебе, дойч херов, все равно не отдадим! — заорал при этом старик Дормидонтов и показал известную фигуру, когда ладонью левой руки бьют по сгибу локтя правой. — Во... видал-миндал?!» — «Еще слово, и ты у зубного!» — пообещал ему вечный молчун и тихоня Вася-хорь, который в своей жизни немало натерпелся от этого ортодокса.) — Я пью за русского богатыря Егора-Егора господина Четыркина, — не обращая внимания на застольную перепалку, продолжал г-н Тринкер. — Мне было четыре года, начался пожар, и Егор вынес меня из огня, хотя его командир об этом не знал. Между прочим, он тащил меня за пятку, и я, говорят, сопротивлялся. Это было второго мая сорок пятого года, и каждый год в этот день моя мать... пока была жива... заказывала молебен. — Он остановился, не веря своим ушам, что может быть такая тишина. — Мы — католики, но у нас в доме всегда висит православная икона Егория-Победоносца. — (При этих словах Егорыч с теткой Павлиной, да и бабка Сира тоже, дружно зашмыгали носами.) — Мать много лет говорила мне: найди, Ольгерд, этого человека, обязательно найди — и совесть твоя будет чиста. Я — плохой человек, я долго-долго собирался, долго-долго искал, но я все-таки нашел. — («Пьяницу нашел!» — хотела вставить ответное перо Тигра Львовна, но ее подвели слезы...) — Я пью за русского сержанта Егора-Егора, потому что, не будь его, не было бы ни меня, ни моих детей, ни нашей встречи с вами... Я все сказал!

Ох, что тут началось! Все разом бросились к немцу с рюмками, стопками, стаканами — кто чокался, кто обнимал-целовал, неловко тыкаясь носами, кто клялся в вечной дружбе, с размаху обрушивая ладонь на хрупкое Тринкерово плечо. Как еще его косточки уцелели от такой обвальной любви!

Егорыч плакал, не стесняясь слез, размазывая их по лицу рукавом. Тетка Павлина, бледная, простоволосая, сотрясалась от беззвучных рыданий, и ее пришлось отпаивать валерьянкой. Ольгерд, обняв старика за шею, шептал ему на ухо что-то утешающее, Егорыч в ответ кивал, и мне показалось, что они понимают друг друга с полуслова. Переводчица, глядя на них, удивленно улыбалась. Старший лейтенант Амирзянов, прищурив и без того узкие глаза, пытался понять происходящее. А пан Зюзя, набив утробу, тихо блаженствовал, предчувствуя, что размягченного встречей богача иностранца можно брать теперь хоть голыми руками. Партия тоже не испытывала особого беспокойства, так как все развивалось согласно идеологически намеченному сценарию. Один дед Дормидонтов с черными

чертями в голове, как всегда, лез на рожон: «Вот пара — сапог да гагара!» — и задирал «дойча» с Четыркиным... «Сталин — наша слава боева-а-а-я, — грянул он свою заветную, — Сталин — нашей юности поле-о-о-т...»

Но бабы не дали ему разгуляться: цыц, зараза! не губи праздник! Они ждали музыки, все соскучились по музыке, а сигнал к ней что-то запаздывал.

— Мужики, а мужики! — крикнула бабка Сира, глядя, что некоторых уже разбирает дрема. — У вас что, каша во рту застыла? Хватит носом окуней ловить!.. Егорка — «ба-ры-ню-у-у»! — Она насильно всучила ему старую гармошку и протянула руку в сторону Ольгерда-Бернгарда. Можно сказать, выдернула его с места, как морковку из грядки: — Олька, за мной!

Я так и ахнул, все вокруг заулыбались, заперемигивались. Был Ольгерд-Бернгард — стал Олька, а это значит, что, получив кличку, деревня приняла его в свое общежитие. Плавной, лебединой поступью, с помолодевшим лицом старуха вывела растерянного немца на середину горницы, дождалась музыки и отвесила ему глубокий поклон. В народной хореографии есть поклон-любовь, поклон-почтительность, поклон-снисхождение — это целая гамма человеческих взаимоотношений. В исполнении бабки Сиры мы увидели поклон-извинение за то, что я, мол, глупая старуха, приняла тебя по ошибке за чудика-недотепу, а ты, оказывается, ничего мужик, нашенского житья человек — но теперь, голубчик, докажи мне танцем, что ты еще и сокол... Олька, надо отдать ему должное, понял это с полунамека.

Немец поначалу путался, тыкался невпопад, неуклюже вальсировал, вместо того чтобы отбивать дробь и кидаться вприсядку, но Серафима Кузьминична терпеливо и настойчиво вела его от одной плясовой фигуры к другой, подправляла, где надо, покрикивала, и он довольно быстро освоился с ногами, а горлом стал верещать нечто тирольское, как свинья под ножом. Мужикам это так понравилось, что они тут же поднесли ему рюмку с закуской: радуйся, душа, ликуй, брюхо!.. Подняв со стола голову, снова забурмасил партийный дед: «Сколько ни пей, все равно русским не станешь! Ясно-понятно?» Но его никто не слушал, и он опять отправился в лоно Морфея... Под восторженные вопли Олька скакал как черт на горячей сковородке, а бабка Сира, обтанцовывая его с помощью костыля, пела во все горло:

Брови черные не смоешь,
Губы красны не сотрешь.
Мой характер не узнаешь,
Пока замуж не возьмешь...

С тех пор, когда в деревне обсуждают какие-нибудь события, бабы обычно говорят: это случилось *до* приезда Ольки, а это — *после*. Он поделил наше прошлое как бы на две половинки...

Конечно, ничего стоящего пан Зюзя от него не получил — за исключением деловых советов, как поднять хозяйство, — но он, дурень, ими не воспользовался. Зато Егорычу досталось — будь здоров! Двубортный костюм, шляпа с пером, два толстых свитера и крепенький, литров на двадцать, бочонок баварского пива. Последний появился у меня утром в сопровождении неунывающих ветеранов и под водительством Егора-Егора г-на Четыркина, настроенного во что бы то ни стало продолжить начатое дело...

Через два дня немец уехал, забрав с собой уйму пирогов, варений, солений и маринадов (как тот ни отбивался, а тетка Павлина всучила-таки ему свою кулинарию), а также московский телефон Сереги Баландина. Они так полюбились друг другу, что со следующего лета стали приезжать

к нам в деревню вместе, заранее списавшись: Серега жил у меня, а Ольку поселила в верхней светелке бабка Сира.

Он никогда не забывает привезти своим новым знакомым подарки и лекарства. Очень любит ходить в гости, его с ходу сажают за стол, чаще всего скудный, заставляя гонять под разговоры о том, о сем долгие степенные чаи. В познании русской жизни и языка, как признается немец, эти разговоры дают ему не меньше, чем регулярное чтение газет и биржевых сводок...

Года два назад угорел в бане дед Дормидонтов — всю жизнь куда-то рвался, все к чему-то призывал, боролся и всюду стремился быть первым — «хоть на ленивом мерине, но впереди» (бабка Сира), и вот такая нелепица: полез на полок при открытой вьюшке и не учуял запаха угара...

А вот комсомольский секретарь — помните, тот самый, кого Егорыч тискал в объятиях, спутав с воображаемым Тринкером, — перешагнул романтический возраст и очертя голову кинулся в рыночные отношения. Нынче Аркадий Петрович, или Аркашка-барин, как кличут его окрестные мужики, — совладелец нескольких магазинов, продувной, оборотистый деляга, всех подмял под себя. И такую дачку отгрохал в наших палестинах — в русском стиле, но с немецким акцентом, — что даже богач Олька позавидовал...

Не знаю, в чем тут дело, но за последние годы деревню стали навещать бывшие пустыньковцы — те самые, что рванули отсюда лет двадцать — тридцать назад. Идут косяком, как паломники ко святым местам! В основном пожилые очкастые мужики с брюшком и при полном параде модных аксессуаров. То ли очумели от асфальтового ада городов, то ли тоска гложет по родному пепелищу. Приглядываются, принюхиваются, прощупывают обстановку, советуют Егорычу и Лизке Мухановой расширить посевы, взять кредит в банке, обзавестись малогабаритной техникой. Внушают им, что если они этого не сделают, то найдется другой хозяин, половчее, и кивают на избу бабки Сиры, где остановился Тринкер: уж он-то, немчина, шанса своего не упустит, ждет, поди, не дождется президентского указа, чтобы скупить пустующие земли... Но основную массу «возвращенцев» эти разговоры не занимают: они залезают в крапивные джунгли своих развалившихся скворечников, пьют горькую, с маткой-таткой разговаривают, льют слезы — и втихую, как тати ночные, минуют жилую часть Пустыньки, чтобы поспеть к последнему автобусу...

Сейчас, когда пишутся эти строки, я сижу в своей горнице у открытого окна. Тихо струнят комары. Подсвеченные солнцем облака, складываясь в замысловатые фигуры, уходят за дальнюю щетинку леса. Катится речка в тумане, лениво ворочаясь на перекатах. Робкий серебряный высвист одинокой пичуги напоминает о приближении сумерек... Если бы я родился в деревне, мне не надо было бы спрашивать у местных, что это за птица. Детская память, даже через много лет, рано или поздно вернула бы мне ее имя. А так я могу только предполагать: это, должно быть, горлинка...

Вот слышатся чьи-то шаги. На заросшей тропинке, раздвигая розовый туман, появляется фигура Егорыча в шляпе с пером. В кармане его брюк уверенно тяжелеет продолговатой окружности предмет...

Видно, не избежать мне новой сцены с Клавкой-милиционершей...

АЛЕКСАНДР ШАТАЛОВ

*

СЕМЕЙНЫЕ ФОТОГРАФИИ

* *
*

Дура я, дура, и чего в нем хорошего было?
Щеголь столичный, шляпу носил все время чуть-чуть набок.
А ведь такие офицеры за мной ухаживали,
как смотрели они на танцах друг на друга зло,
как спорили, кто из них провожать меня пойдет,
Парилов, например, или Згуриди,
грузин, волосы черные, густые, мне это тогда не нравилось,
волосатый какой-то, думала, или Поликашин.
А у меня коса до пояса, и мы с Антониной
в Сочи на спор загорали — кто чернее будет,
да и правда, взять фотокарточку — на ней
только белки и светятся и коса русая через плечо,
а этот, в своем белом костюме, москвич,
«здрасте-пожалуйста вам бутылочку игристого»,
это только отец не любил офицеров,
а мама так наоборот — подтянутые всегда, строгие, красивые.
Она с ними со всеми дружила и им сочувствовала.
А этот даже и не ухаживал вроде,
ну пройдусь я с ним по красной перед домом офицеров,
ну сходим в гости к Тамарке, мне лишь бы покрасоваться...
Я платья крепдешиновые перебираю, легкие, воздушные.
Талия какая на них, ну разве бывает такая?
Зарыться бы в этот ворох шелковый, сладковатый.
Чулки капроновые со спущенными петлями
аккуратно друг в друга свернуты, почти как новые,
для волос заколки, пустые флаконы из-под духов
«Серебристый ландыш» дорогих, по шесть рублей,
подследники старые, бусы граненые, стеклянные,
фотокарточки офицеров с надписями любовными,
письма какие-то нежные и записочки
«люби меня как я тебя», буквы от долгих перечитываний
расплылись и бумага пожелтела, в руках рассыпается.
Улица красная, каштанами обсаженная,
отец юный подбородком колючим меня щекочет,
мать ленту в косу заплетает, улыбается,
Малороссия моя родная, щебечущая, картавящая,
на мне ночная рубашка, крестиком вышитая,
волосы лохматые, пахнущие сладко, глаза сонные,
отец веселый, колючий, и мать счастливая, юная,
и жизнь еще не кончившаяся, безумная, бессмысленная,

сиренью осыпанная, снегом хрустящим обернутая,
навязчивости причина — Малороссия шепелявящая,
«люби меня», мальвы-георгины, астры кладбищенские,
пальцы в цыпках, мальчики в плавках, взрослые в гробах.

20 июля 1996.

* *
*

Клава была горбуньей маленького роста со злыми глазами.
Синее платье из темной шерсти, пальто с чернобуркой,
костюм из трикотажа.
Работала она на ткацкой фабрике, и квартира ее находилась сразу же
за фабричными корпусами,
одни окна выходили на грязные фабричные стены, другие
на заброшенный пруд,
но там, за прудом, видна была еще и беседка старая, и роща дубовая,
и пустырь.
Утром в дождь, если воскресенье, а не черная суббота, можно было долго
стоять у окна:
что там за рощей, кто туда ходит, свиданья назначает, даже в морось эту
слякотную, гадать.
А зимою, когда уже в шесть часов темно, так на единственном
дребезжащем автобусе
от фабричных ворот можно было доехать до города, холодно;
стекло губами жаркими продышишь
и в эту пургу завывающую смотришь, фонарь вот у склада, а здесь
поворот к станции и мост,
а в городе? ну кто пальто твое оценит? пройтись по центральной улице,
конфет хороших купить,
на скамейке посидеть или в кино сходить, индийское, новое, красивое.
Квартира у Клавы вся в коврах — русская красавица и другие какие-то,
она на них в профсоюзе записывалась, потом в течение нескольких лет
отмечалась, а уже позже открытки приходили из магазина —
покупайте, мол, ковры ваши ненаглядные на трудовые свои сбережения.
Открытки эти я, почтальон, ей и приносил, через цепочку в дверь
просовывал,
«кто?» — долго в щель спрашивала, рассматривала, прежде чем потом
в книжке расписаться за получение: Клавдия Ивановна Чурилина,
ткачиха одинокая, горбатая, детей не имеющая, ковры на свои ткацкие
сбережения покупающая,
в окно со своего четвертого этажа однажды выпавшая, деточка моя,
деточка.

20 июля 1996.

* *
*

На старых семейных снимках чужая жизнь, со мной не связная почти
вовсе,
девятнадцатилетний парень, положивший голову на колени девушке,
Сочи, журчащие фонтаны, групповые снимки с отдыхающими, одетыми
в панамы,
крепдешиновые платья и широкие штаны — мода пятидесятых годов.
Девушка улыбается в объектив или просто смотрит перед собой
задумчиво.

Душистый табак, как он к вечеру пахнет душно, как клумбы в темноте
белеют,
как рубашка полотняная в ночи светится, песок под ногами шуршит,
овал лица нежен, шея беззащитна, глаза восторженно распахнуты.
Мальчик деревенский, впервые в Сочи приехавший воздух сладкий
всей грудью вдыхать,
на валунах прибрежных в сатиновых плавках вместе с ровесниками
загорать,
чтобы потом на оборотной стороне карточки «мамочка посмотри как мы
вместе с друзьями
отдыхаем» написать аккуратным почерком, еще четыре года до моего
рождения,
голова от легкого шампанского кружится, гипсовые скульптуры пловчих
обнаженных
из листвы выглядывают, мошкара над вспотевшей головой вьется,
«мамочка посмотри как мы» говорю, мысли тревожные отогнать пытаясь.
От юноши мне губы достались, кисть руки тонкая и женственная,
схожий поворот головы и взгляд косящий, нежность эта безумная
и член красивый, пропорциональный, привязчивость мучительная: лицом
в твои коленки уткнуться,
глаза закрыв, чтобы только в голове кружение чувствовалось и моря шум
слышался,
и высоковольтных проводов гудение, и птиц посвистывание, листвы
шелест,
все это — фотокарточки, случайно ко мне попавшие в замызганном целло-
фановом пакете,
поцелуи курортные, признания молчаливые, любовь начинающаяся,
отца моего юного образ запечатленный, никому, кроме меня,
не интересный.

3 июля 1996.

* *
*

Это истерика, я понимаю, со стороны себя видеть не могу, не умею,
наверное, по лицу темные пятна пошли — лихорадка или аллергия,
тонкие волосы ко лбу прилипли, подросток злобный, прыщавый,
лицо искаженное все в слезах, хлопаю дверью так, что штукатурка
сыпется,
мать плача бежит за мной, пучок на голове раскололся и на ухо съехал,
вот, кажется, рассыпется совсем; несколько длинных прядей сзади
свесились,
из-под короткого пальто, наспех накинутого, нательная рубашка видна,
ситец в меленький цветочек, на восьмое марта подарок в школе;
споткнувшись, мать падает и не плачет, а только рот открывает;
истерика, детство в интернате, материнские любовники ублюдистые,
алкоголики обыкновенные — учитель по физкультуре и учитель по труду,
один четверки мне потом за болванки обточенные ставил,
другой по канату лазить учил во внерабочее время, рахита очкастого;
незагорелые и худые, оба — футбольные болельщики и деревенские
родственнички,
«борщичка-де с чесночком да водочки для аппетита, ну а как же»;
это все истерика подростковая, погода августовская, квартира
коммунальная,
ну и к чему недоносков этих плодить, детей зассанных, воняющих,
жизнь свою ради них наспех проживать, торопливо, недоговоренно,

вот-вот, кажется, сейчас еще успею, вот-вот, кажется, любовь придет;
просто в голове, наверное, помутнение какое-то, темнота сплошная,
сердце стучит так сильно, что сам пугаюсь — подросток злобный,
растерянный;
мать сидит на тротуаре там, где упала, толстые ноги нелепо разъехались
в разные стороны,
чулки новые порвались, волосы растрепались, не плачет, кажется,
а только рот раскрывает,
кричит что-то, но голоса ее не слышно; девочка моя, девочка,
постаревшая,
тушь по лицу размазывающая, на чулки новые денег не имеющая.

28 апреля 1996.

* *
*

Фотографий семейных пожелтевший ворох,
жизни прошедшей движение, вздох,
словно листвы еле слышимый шорох
под ногами на кладбище, так ли уж плох
день серебристый и ветер промозглый,
мертвая бледность ввалившихся щек,
вогнутый и безразличный и волглый
город, как с нашатырем пузырек,
запах чуть приторный и сладковатый
морга, и резкие спазмы в груди,
воздух тяжелый, и обморок ватный,
и ни просвета уже впереди,
только на карточках запечатленный
образ любимый и солнечный свет
напоминают о легкой и тленной
жизни, которой со мной уже нет,
город, наряженный в алые стяги
или осыпанный снежной крупой,
замерший в инее и саркофаге
над застекленной морозом рекой.
Я бормочу, вспоминаю любимых
и оторваться еще не готов
от разговоров необходимых
и нелюдимых, стеснительных снов.

7 августа 1996.

* *
*

На этот раз пыльные тополя и мелкий кустарник, растущие вдоль старой
дороги.
Ботинки уже все в пыли, но с какой-то непонятной настойчивостью
я пробираюсь вперед, через мелкие колючки, сухую траву и прочий мусор.
Щепки какие-то, позапрошлогодние листья,
вцепившиеся как будто нарочно в серые шерстяные брюки.
Впереди, перекопанный, то ли пустырь, то ли огород
типа того, на котором обычно жители новостроек

высаживают себе на зиму картошку,
и наконец за ним уже, за этим огородом, я вижу другую дорогу,
новую, которая в отличие от предыдущей не упирается больше уже
в тупик.
Я вступаю на пахоту. На земле от моих ног остаются глубокие следы,
пробираюсь через комья земли, не разбитые лопатой,
посередине поля стоит старый сарай с распахнутыми насквозь воротами,
может быть, это была когда-то молотильня или хлев,
сейчас — просто пустой сарай. В нем неуютно и сыро,
стены сложены из грубого камня,
створки ворот мерно раскачиваются на ветру,
не дойдя нескольких шагов до сарая, начинаю понимать,
что в нем стоят гробы, вокруг хоронят людей,
причем именно родственников, но поле это — отнюдь не кладбище,
а, как и казалось вначале, огород, пустырь, отчужденная земля.
Прямо на той тропе, по которой я пробираюсь,
замечаю нескольких — трех-четырех — сгрудившихся людей,
которые изо всех сил запихивают что-то в эту землю.
Замечаю торчащую из только что насыпанного холмика
сухую, негнущуюся уже, белую пятку,
выпирающую из земли, как упрямый прут.
«Мы сейчас, сейчас», — говорят как бы оправдываясь люди
и начинают, как только я поравнялся с ними,
с особым усердием впихивать ногу в землю,
хотя та и пружинит, как будто не дается.
Я быстро прохожу мимо, торопливо выхожу на дорогу,
отрясаю свои брюки. Дорога в рытвинах вся и изъезжена,
за двумя девятиэтажками, наверное, будет поворот налево,
а впереди — настоящая пахота, уходящая в бледное небо,
несколько ворон вдалеке и теплый ветер в лицо.

Октябрь — декабрь 1996.
Москва — Хьюстон.

АНДРЕЙ ВОЛОС

*

РАССКАЗЫ

Из цикла «Хуррамабад»

САНГПУШТАК

1

Когда они вышли во двор, стало слышно позвякиванье капкира о казан. Горьковатый чад перекаливаемого масла слоился между деревьями и виноградными шпалерами, и низкое солнце дырявило его золотыми лучами.

— Ой, не могу! — бормотал Нуридин, приунывший после двух часов разбора и корректировки подстрочников. — Зачем это все? Зачем стихи? Зачем подстрочники? Вот есть сад, есть земля, вода, деревья... воздух, солнце! — Он поднял руки, запрокинул голову и зажмурился. — Зачем стихи? Кто будет читать мои стихи? Деревья будут читать мои стихи? Вода будет читать мои стихи? Ветер будет читать мои стихи? Нет, первым мои стихи прочтет Раджаб Насыров, чтобы потом в газете назвать их плохими!.. Во-о-о-ой!.. Никита, нам пора немножко выпить водки! А?

— Где твои боевые племянники? — спросил Климентьев, озираясь. — Наверное, уже замучили бедную Марту...

— Что ты с этой Мартой, как... не знаю! как с ребенком!

Климентьев пожал плечами.

Марту ему было жалко. Особенно зимой. Зимой Марта обычно валялась под батареей. Раз в три или четыре дня та полужизнь, что продолжала в ней теплиться вопреки предписаниям природы, пересиливала оцепенение анабиоза, и тогда она начинала вяло шевелиться. Если ее переносили в кухню и опускали на пол перед капустным листом, Марта апатично покусывала его, затем с усилием переползала, мочилась желеистым молоком и шагала по прямой, запинаясь с нерегулярностью испорченного механизма. Вскоре она упиралась в ножку стола или стену. Ножку Марта способна была обойти; стена же возбуждала в ней приступ бессмысленного упорства: вместо того чтобы повернуть и двинуться обратно, она принималась скрести по ней заскорузлыми когтистыми лапами в попытках проникнуть за. В конце концов кто-нибудь, чертыхнувшись, отрывался от своих дел и переворачивал ее драконьей кожистой мордой в другую сторону. Тогда она плелась до другого препятствия.

Следя за ее тягучей зимней мукой, Климентьев невольно пытался вообразить, как это несчастное существо жило прежде. Должно быть, прежде Марта временами все же испытывала счастье... может быть, когда лежала с полным желудком на солнцепеке: панцирь раскалялся и кровь струилась быстрее, разнося по телу щекочущую истому. И сердце стучало: тук-тук, тук-тук, тук-тук; пусть редкими, пусть слабыми ударами — но тоже в меру сил поддерживало биение Вселенной... Потом нашли ли-

хие люди... поклали в мешок... привезли в снега, в морозы... держали в зоомагазине... продали... беда, как представишь!

— Хаём! — крикнул Нуридин, и через секунду с крыльца женской половины дома кубарем слетел что-то дожевывающий на ходу Хаём.

— Никита-амак интересуется, где его черепаха, приехавшая на свою историческую родину, — веско сообщил ему Нуридин. — Где сангпуштак? Ты видел?

Не переставая жевать, Хаём горячо заговорил, роняя изо рта крошки, отрицательно мотая головой и показывая пальцем в глубину сада, где на противоположной стороне огромного двора виднелась в зелени стена второго дома — там жил один из братьев Нуридина.

Климентьев вздохнул и отвернулся. Когда говорили так быстро, он ничего не понимал.

— Я так и думал, — сказал Нуридин, когда Хаём вприпрыжку побежал назад к крыльцу. — Я же говорил — от черепахи стоит только отвернуться на три секунды, и она тут же потеряется в траве! В общем, они только на минуточку положили черепаху возле забора и пошли взять по кусочку свежей лепешки с каймаком... их Махбуба-хола позвала... а когда пришли, ее уже не было... Но Хаём-бой говорит, что он в этом не виноват, а виноват его старший брат Фотех! Хаём-бой говорит, что он предлагал привязать ее веревкой за ногу... и тогда сейчас Никита-амак получил бы свою черепаху обратно... но старший брат Фотех его не послушался, а только дал подзатыльник.

Климентьев рассмеялся:

— Охир, сангпуштак рафт! Что и следовало доказать!

— Рафт, — согласился Нуридин. — Черепаха благополучно достигла исторической родины. Ее путешествие завершилось. Она ушла в зеленые... э-э-э... луга? Мы тоже с тобой — рафтем в зеленые луга! Должны же и мы сегодня хоть что-нибудь завершить! Сейчас, подожди, я попрошу, чтобы нам пока кое-что приготовили. Потом мы пройдемся по саду... я покажу тебе деревья, по которым лазал мальчишкой. Пойдем...

Они прошли мимо крыльца и повернули за угол, оказавшись в тихом тенистом пространстве. Слева оно было ограничено стеной беленого глинобитного дома, прямо — увитой зеленью высокой оградой, справа — двумя гранатовыми деревцами, сверху — кружевным потолком виноградных ветвей, лежащих на перекладинах, а снизу — утоптанной и чисто выметенной глиной. У стены стоял широкий квадратный топчан — кат, — застеленный одеялами и курпачами. На кате перед низким столиком — сандали, — на котором стоял чайник и пиала, покойно сидела мать Нуридина.

Днем, когда они приехали и, оставив сумки у порога, подошли к ней поздороваться, Климентьев, смущенно отвечая на участливые расспросы, не мог отделаться от ощущения, что ему, Климентьеву, старуха рада больше, чем Нуридину. «Сынок, веди гостя в дом, — сказала она в конце концов. — Что ему стоять на жаре!»

Снова увидев их, она улыбнулась и темными морщинистыми ладонями поправила руймол, закрывавший голову и грудь. Она была во всем светлом. Только черные ичиги в кожаных калошах нарушали белизну.

— Чхел? — спросила она, приветливо глядя на Климентьева. — Чои мо нагз мебини?

— Нагз, — ответил Климентьев и зачем-то сообщил, разведя руками: — Сангпуштак рафт. Э-э-э-э... рафт ба ватани таарихи!

Он виновато улыбнулся, понимая, что этого она не поймет ни по-русски, которого не знает, ни даже по-таджикски. Она спрашивает, нравится ли ему у них, а он отвечает — мол, да, нравится... да вот только черепаха ушла на историческую родину!.. Какая черепаха?! Куда ушла?! Какая родина?.. Черепаха! Для нее черепаха — как для него ворона или

галка: сангпуштак! вещь обыкновенная. Она рядом с ними жизнь прожила. Девонаи рус — вот что она про него подумает. Нуридин какого-то русского идиота привез — вот так она подумает про него... Если бы он знал таджикский достаточно, он бы мог сейчас отшутиться, рассказать все, как было: мол, предложил дочери отвезти черепаху в горы и выпустить — что-де ей киснуть на холодном паркете? Дочь возражала. «Нет, — сказала она. — Нельзя. Марта привыкла». — «Марта — пресмыкающееся. Пресмыкающиеся не привыкают к людям. Посуди сама, это же не собака!» — «А кто ей там будет давать капусту? Ты подумал?!» — «Кто вообще черепахам в горах дает капусту?» — удивлялся Климентьев. «Конечно, жалко, что она такая каменная... — сказала дочь, вздохнув, и погладила Марту по панцирю. — А ты надолго?» — «Не знаю, — ответил он. — Наверное, надолго...»

— Бале, модарчонам, сангпуштак рафт, — подтвердил Нуридин и стал, смеясь, что-то быстро объяснять ей, почтительно наклонившись к краю ката.

Старуха кивала и недоверчиво качала головой, и смотрела на сына, ласково клоня голову, и потом сказала в ответ что-то утешительное — мол, не волнуйся, сынок, все в порядке, все хорошо, ты редко бываешь дома, но вот приехал все-таки... как ты живешь в своем городе, в большом Хуррамабаде? Говорят, люди там совсем испортились, храни тебя Бог!.. А то, что черепаха убежала, — ладно, пусть, не беда; скажи ему, чтоб не расстраивался, тут много черепах, другую найдет. Да вон пускай пройдется до крепостных развалин... помнишь, сынок, сколько там черепах? Мальчишками вы зачем-то собирали их, как яблоки под деревьями. И скажи мне, сынок, вам принесли свежие лепешки?.. вот и хорошо!

Они прошли сад насквозь. За нетвердым плетнем лежал большой накрененный выгон, а дальше бугрились пологие холмы, и было страшно представить, что скоро сделает солнце с их изумрудной зеленью.

— Я вчера писал стихи, — морщась, словно от зубной боли, сказал Нуридин. — Про бабочек... Там такой образ... тебе понравится... Я смотрю на нее. И мои взгляды превращаются в бабочек... понимаешь? И когда она идет, вокруг нее все время вьются бабочки! бабочки! летают возле лица! возле груди!.. и она удивляется: откуда столько бабочек? И все спрашивают: откуда столько бабочек? А это просто мои взгляды! А?.. Вернемся, я отдам, чтобы сделали подстрочник. Переведешь?

— Бабочки? — хмуро переспросил Климентьев, невольно прикидывая, как скоро смогут вспорхнуть Нуридиновы бабочки по-русски. — Подстрочник?.. Слушай, Нуридин, ты бы нашел себе человека, который знает русский язык не понаслышке! Разве это подстрочники! Это смех один, а не подстрочники! Вот мы сегодня полдня убили, а... — И вдруг увидел черепаху. — Смотри! — оторопело сказал он. — Ну что ты с ней будешь делать! Опять здесь!

Подминая костяным брюхом люцерну, Марта стремительно шагала по краю арычка в сторону дома.

2

Бахром развел руками:

— Разве это важно! Я ведь о другом!..

— Подожди минутку! — прервал его Нуридин, осторожно наполняя рюмки. — Скажи, ты знаешь самый лучший способ есть кислое молоко?

— Молоко? — удивился Бахром. Говорили по-русски, и он, видимо, решил, что не понял брата.

— Ну, молоко... чакка, джургот... да-да... знаешь?

— Э! — сказал Бахром. — Было бы молоко, а способ найдем. Правда, Никита-ака?

Климентьев кивнул.

— Тогда слушай... — сказал Нуридин. — Этот способ открыл Никита. Но сначала он читал Восифи... я вот тоже читал Восифи, а такой истории у него не нашел. А Никита нашел... молодец!.. История такая... Один бедняк пришел ко дворцу и стал требовать, чтобы его пропустили к шаху — он-де научит шаха лучшему способу есть кислое молоко. Шах удивился, думает про себя — какой еще лучший способ? все едят кислое молоко одним и тем же способом! он сам этим способом с колыбели ест кислое молоко!.. Думал, думал — приказал, чтоб впустили и принесли чашку чакки и свежую лепешку. Бедняк стал аккуратно есть, развлекая шаха беседой, — и так, за молоком, лепешкой и разговором, завоевал его дружбу. Шах его наградил... осыпал милостями. Бедняк вернулся в село разбогатевшим. А в селе жил один богач, жадина и грубиян. Он спросил у бывшего бедняка, как ему удалось так быстро разбогатеть. «Да очень просто! — сказал бедняк. — Ты пойди к шаху, съешь на его глазах чашку кислого молока, и он тебя тут же озолотит!» Тот думает — ага! Если шах такой глупый, побегу скорее!.. Примчался в Бухару и стал ломиться во дворец. Его впустили. Принесли молоко и лепешку. Громко чавкая и кося на шаха жадным глазом, пачкая бороду и соря на халат, богатей принялся пожирать молоко. Когда он кончил и потребовал награды, разгневанный шах распорядился выдать ему сто палок... Во-о-о-от, Бахром, такой был в древности лучший способ есть кислое молоко... Но Никита пошел дальше... и усовершенствовал этот способ. Поэтому Никита — наш муаллим по кислому молоку... да?.. во-о-о-от... и сейчас он нам покажет самый-самый лучший способ! Новейший! А?

— Пожалуйста, — сказал Климентьев, усмехаясь. — Смотри, Нуридин, еще раз... Берешь кусочек лепешки... загребаешь им немного кислого молока... так?.. потом поднимаешь рюмку... это главное в самом лучшем способе... говоришь «Нушбод!»... — слова он сопровождал соответствующими действиями, — ...и закусываешь... Это и есть самый лучший способ. Самый усовершенствованный! Ты наконец уяснил, Нуридин? Или с начала показать?

— Нет-нет! — ответил Нуридин. — Я тоже покажу лучший способ есть кислое молоко! Берешь два стебелька травы гашниш... вот так их складываешь... потом кислое молоко... выпиваешь водку... А-а-а-ах! И закусываешь! Этот способ еще лучше!

Бахром, переводивший взгляд с одного на другого, тоже выпил, поколебался и захрустел незрелым урюком.

— Мой брат Бахром не хочет знать лучшего способа есть кислое молоко, — укоризненно заметил Нуридин.

— Э-э-э! Какая разница! Не важно — тот способ, этот способ... Подожди! Я что хотел сказать... Ты говоришь, дали свободу болтать языком — и теперь все будет хорошо! Разве так? А Баку?..

Он вопросительно смотрел на Климентьева. Никита не знал, что сказать. Бахром был не поэт, а шофер, поэтому в разговоре с ним Климентьев не испытывал такой легкости, как с Нуридином. Непонятно было, чего ждать. Так-то он симпатичный мужик, но... Климентьев отвел взгляд и потянулся к пиале.

— Вообще не понимаю, что они там хотят, в этом Баку! — сказал Бахром и огорченно махнул рукой. — Зачем это надо? Кто учил так делать? Разве можно выгонять людей из их дома?.. А?

Он снова смотрел на Климентьева.

— Да нет, конечно, нельзя... это понятно... — сказал Климентьев.

— А они говорят — вы армяне! — объяснил Бахром. — Вы отняли у нас Карабах-марабах... не знаю, что еще! Теперь езжайте к себе в Ереван!.. Как будто это одни и те же люди! Как это? Ведь совсем разные! Одни армяне в Карабахе живут, совсем другие — в Баку! За что их выгонять? За то, что армяне, что ли? Это что же, я сейчас пойду к своему со-

седу Гафуру и скажу ему: ты узбек, Гафур! езжай в Ташкент! там живут узбеки! а здесь не живи! здесь теперь только таджики будут жить! Так, что ли, а?

Климентьев взял с тарелочки урюковое ядрышко. Ядрышко оказалось горьким.

— Да, идиотизм какой-то... — сказал он. — Вон в газетах пишут — драки... хулиганство... Представляю, что там творится!

— Что вы, Никита-ака! — сказал Бахром, засмеявшись. Похоже, ему было неловко противоречить гостю. — Что вы! Какие драки! Какое хулиганство! Это только в газетах... Что вы!.. Убайдулла Ганиев — ты ведь его помнишь, Нуридин?..

— Еще бы, — кивнул Нуридин. — Его брат учился в нашей школе. Его звали ушастым, потому что он и на самом деле был удивительно ушастый — вот такие лопухи! Кроме того, их отец то и дело брил им всем головы. И тогда эти уши...

— Да-да, Нуридин, — нетерпеливо сказал Бахром. — Я не про то... Этот Убайдулла служил в Баку и женился там на армянке. Старик Ганиев очень расстраивался. Проклясть хотел. А он женился — и все!.. Но знаете, как у нас: года через три, когда уж двое детей было, приехали к отцу на поклон — и сын, и невестка, и внуки... Как не простить! помирились... Так вот этот Убайдулла... — Бахром выдержал паузу, переводя взгляд с Нуридина на Климентьева, — три месяца назад все бросил... и с двумя узлами в руках — не считая жены и детей — вернулся к отцу!

— Вернулся к отцу? — удивился Нуридин. — А мне говорили, он там хорошо устроился...

— Драки! Хулиганство! Что вы, Никита-ака! Там просто убивают! — сказал Бахром. — Он мне рассказывал! Сами посудите, Никита-ака, что нужно с вами сделать, чтобы вы распродали имущество и бежали на родину? а?.. Словами этого не добьешься. Что газеты! Армян убивают целыми семьями... понимаете?

Нуридин поджал губы и озабоченно покачал головой.

— Как это! — сказал он, тревожно глядя на брата. — Убайдулла так сказал?

— Да, да! — Бахром кивнул. — Честно говоря, я ему тоже не верю... Слишком уж он... — Бахром подыскивал слово, — ...слишком ужасно рассказывает, вот что... Представить себе нельзя... Будто бы детей кидали из окон... а? Это уж как-то слишком... — И он снова посмотрел на Климентьева с извиняющейся улыбкой.

Климентьев взял еще одно ядрышко и внимательно его разглядел. Оно ничем не отличалось от предыдущего.

— Не знаю... — сказал он. — С другой стороны, если уж где погром — то все всегда по полной программе происходит... Детей, натурально, из окон... мужчин — ножами, заточками... женщин изнасиловать, а потом отрезать груди... имущество разграбить. Если есть возможность — поджечь к чертовой матери.

Они помолчали.

— Потому что в каждом человеке живет аждар! — мрачно сказал вдруг Нуридин. — Этот аждар... как это?

— Дракон, — подсказал Климентьев.

— Вот! Этот дракон жрет человека изнутри! Как человек может быть добрым, если дракон рвет его сердце на куски? Только он захочет быть добрым, только протянет руку, чтобы сделать добро, как дракон снова впивается в него всеми своими зубами — ой-ой-ой! Как больно! Ему уже не до хороших дел!.. Пока человек не убьет в себе это чудовище... — Нуридин сжал кулаки, словно душил гуся, — ничего доброго не будет... С кем бы ты ни боролся... и за что бы ты ни боролся, ничего хорошего не будет, пока не убьешь своего дракона... Это не я говорю вам, это Насири

Хусрав сказал людям! В одиннадцатом веке! Тысячу лет назад!.. Никита, он жил здесь, в Кабодиёне... Давайте выпьем за то, чтобы дракон сдох!

Бахром вздохнул.

— Я что хочу спросить, Нуридин, душа моя... — сказал он. — Я верю тебе... Ты мой старший брат, ты человек образованный... ты поэт, ты живешь в городе... Но при чем тут дракон, дорогой мой Нуридин? Это красивые слова — дракон! сердце! чудовище! Насири Хусрав жил тысячу лет назад! А если правда, что говорит Убайдулла Ганиев, которого мы знаем с колыбели? Разве тысячу лет назад возможно было то, что происходит сегодня?! Давай убивай в себе дракона, а пока ты будешь убивать дракона, придут люди и зарежут тебя ножом!.. Он говорит — убивают людей целыми семьями! Ну, может быть, он немного врет... но не сильно!.. И что тогда им делать? Убивать в себе дракона?! А пока они убивают в себе дракона, к ним в дом заходят другие люди и убивают их самих, всех подряд — женщин, детей, мужчин!.. Это разве можно себе представить? — говорил Бахром, глядя уже на Климентьева. Он свел напряженные пальцы щепотью и потряс ими перед собой. — Открывается дверь, входят люди и убивают тебя за то, что ты армянин, а не азербайджанец?! Насилуют твою жену?! Бросают из окон детей? Как это?! Я не могу себе представить...

— А кто может? — спросил Климентьев, криво усмехаясь.

— И при чем тут тогда дракон? Разве дракон виноват, что у тебя нет автомата? Ты сам! А вот если бы у тебя был автомат! у соседа твоего был автомат! вот тогда... — Бахром стукнул кулаком по коленке.

Нуридин хотел было возразить, но сдержался.

— Никита-ака, вы образованный человек... — сказал Бахром. — Я не знаю, кто такой этот Восифи, но он правильную байку написал! Правильную! Я говорю — уже не поймешь на этом свете, кто умный, кто дурак! Совсем, наверное, люди с ума сошли... Сами не знают, что делают!.. Когда я работал в Курган-Тюбе, у нас тоже был один армянин. Ну совершенно нормальный человек! Никому не делал зла! Конечно, он был немного такой, знаешь... как по-русски? ну, себя любил, что ли...

— Греб к себе, — подсказал Климентьев. — Тянул одеяло на себя. Себе на уме.

— Вот-вот! Греб к себе на уме! Но кто из нас не хочет позаботиться о жене, о детях? Как можно за это обвинять? Конечно, он хочет, чтобы жена была одета, дети сыты, выучены... чтобы у них были книги, игрушки... Нет, не понимаю! совершенно нормальный человек!

Бахром взял с дастархана кусок лепешки, отщипнул и стал сосредоточенно жевать, время от времени качая головой.

— Э, Бахром! — невесело сказал Нуридин. — Что ты говоришь! Что значит — нормальный человек! А если б твой армянин не был нормальным, ты мог бы понять, почему теперь армян режут в Баку? Так, что ли?

— Конечно нет! — возмутился Бахром. — Зачем ты так сказал! Конечно же нет! Вообще не понимаю, что они делают! Ну, когда в Фергане были события — я понимал! Там турки-месхетинцы захватили власть!.. Узбеки терпели-терпели, потом не стерпели... ну и началось... Это понятно! Знаю я этих турок-месхетинцев! У нас работал один турок-месхетинец! Ему палец вот так даешь, да? — он руку по локоть откусит! А попробуй ему что-нибудь скажи — сразу еще один прибегает, и тоже злой как собака! Они такие! Я понимаю! Но армяне! Не-е-е-е-ет! Этого не понимаю!..

— Турок-месхетинцев — понимает! — буркнул Нуридин. — А вот армян — не понимает!.. Э, Бахром! Может быть, армяне тоже захватили в Баку всю власть! А? Ты не думал? Приходишь к начальнику милиции — армянин... к судье — тоже армянин... в горисполком — армяне!.. Если понятно, за что гнали турок-месхетинцев, почему не понять, за что гонят армян? А?

— Что ты говоришь! — воскликнул Бахром, переходя на возмущенный таджикский. — Как можно! Если армянин в горисполкоме — это, по-твоему, все равно что турок-месхетинец?! Ты что, Нуридин! Я же тебе говорю — я работал с армянином! И с турком-месхетинцем работал! Ничего похожего!

Нуридин сначала воздел руки к небу, а потом тоже возмущенно затараторил, тряся перед собой сведенными в щепоть пальцами.

Климентьев уже не прислушивался к их спору, а все-таки в мозгу высвечивались отдельные слова, а то и короткие фразы, выхваченные из торопливой речи. Он покачивал в руке пиалу, в голове приятно шумело. Чужой язык прорастал его с таким же трудом, с каким корни деревьев прорастают неплодородную почву. Он старался — каждый день читал и переводил страницу, твердил слова... уезжая в Москву, писал Нуридину письма не только всякий раз заканчивая их очаровавшим его оборотом *дуогуи саломати туам*[1], но и употребляя еще десятки таких же, живущих исключительно на бумаге... Наверное, если бы он учил язык в детстве, сейчас не было бы никаких проблем. Беседовал бы на равных... Все-таки странно — родиться в Хуррамабаде, расти, ходить в хуррамабадскую школу, дружить с таджиками — и ни в зуб толкнуть, кроме случайно запавшего: *тереза* — окно... *талаба* — ученик... Дело было не в том, что учителя таджикского то и дело уходили из школы. На смену одному через некоторое время являлся другой — такой же неважно одетый, скованный человек, плохо говоривший по-русски. Должно быть, на уроки они приходили, как в пыточную камеру — класс беспрестанно гоготал... как только учитель отворачивался к доске, в него летела жеваная бумага... однажды дебил Некрасов запулил в классную доску чернильницу, и она, словно бомба, взорвалась в полуметре от головы очередного мученика... и было одновременно жутко и смешно смотреть на забрызганное лицо, на котором ходуном ходили белые губы... Разумеется, они не могли никого ничему научить — отчасти потому, что сами плохо знали, как это делается, но главное — потому что никто не хотел ничему учиться. Взрослые тоже понимали, что таджикский никому не нужен. «Таджи-и-и-и-и-и-и-и-икский?! Зачем?» Секретарем ЦК был непременно таджик, и директором завода был непременно таджик, но за их спинами всегда маячили деловитые русские заместители. Дело таджиков было знать русский, чтобы понимать то, что им советуют, а вовсе не наоборот. Ценно было быть русским — а быть таджиком было как-то нехорошо... неловко было быть таджиком... *зверьком*... пусть даже не в халате, не кишлачным, а городским, кое-чему выучившимся, приобретшим европейский облик, но все же не утратившим свои *зверьковские* качества... «Да что толковать! *Зверек* — птица нелетная!..»

«А ведь они тоже, наверное, нас презирали!» — неожиданно подумал Климентьев, и волна жара вдруг протекла по лицу, заставив его протрезветь. А ведь точно! точно! наверняка презирали — самодовольных чистых русских... всегда на хороших должностях... озабоченных своими русскими делами... брезгливо избегающих любого, пусть даже мимолетного, касательства *зверьковских* проблем... живущих на тонкой корке своей городской русской жизни, под которой клокочет вековечная магма жизни чужой — *зверьковской,* непонятной, страшной, грязной, глупой, неинтересной...

— Что? — переспросил он, вздрогнув.

— Я говорю, у таджиков такого никогда не будет, — повторил Нуридин. — Никогда!

Бахром согласно закивал.

---

[1] Возношу мольбу о твоем благополучии *(таджик.)*.

— Я знаю свой народ! — сказал Нуридин. Расплескивая водку, он наполнял рюмки. — Это чистый... как сказать?.. наивный народ... у него открытое сердце... никакие тяготы жизни не могут зачернить его души... Я хочу вот за что выпить... Пусть у моего народа когда-нибудь будет праздник! Пусть будет настоящий навруз! Верю, что для моего народа настанет навруз! Верю!.. И буду кричать об этом! Буду кричать, как петух, который зовет рассвет! И пускай тем петухам, что орут слишком рано, срубают голову! Пусть я буду таким петухом! Пусть я кричу слишком рано, пусть мне снесут башку, ни секунды я об этом не пожалею!.. Выпьем!

— Омин, — подвел черту Климентьев. — Калимаи хушруй!

3

Хаём-бой стоял у «Запорожца», с интересом наблюдая, как Климентьев укладывает Марту в коробку.

— Видишь, какое дело, — смущенно сказал Климентьев. — Привередливая черепаха оказалась... Никак не хочет от нас уходить. А я еще говорил, что черепахи не привыкают к людям!

Хаём-бой застенчиво рассмеялся.

— Ничего! Ничего! — Нуридин вынес из дома сумку. — Сейчас мы ее отвезем туда, где она от нас бегом убежит! Ее оттуда... как это?.. палками не выгонишь! Это рай на земле! Это такое место, какого нет нигде! А, Бахром? Скажи!

Бахром с утра был мрачноват.

— Чил духтарон. Мазор. Святое место. Зачем туда, на сиденье клади.

Хаём-бой смотрел на отца с молчаливой надеждой.

— Ничего не забыли? Поехали... — Бахром помедлил и спросил не повернув головы: — Что стоишь, Хаём? Разве не хочешь?

Хаём-бой расцвел — но одновременно и насупился по-взрослому, озабоченно свел брови, принимая всю тяжесть возложенной на него ответственности, и торопливо полез в машину...

Климентьев сидел впереди, высунув локоть в окно, и щурился от ветра, несущего приторно-сладкий запах цветущей джиды. «Запорожец» ходко бежал по шоссе, пересекавшему долину из конца в конец, и все вокруг было зеленым — кроме синего неба.

Бахром, которому черные очки в сочетании с усами и плотным телосложением придавали вид наемного убийцы, негромко мычал какую-то простенькую мелодию и в разговоре отделывался неясным покряхтыванием.

Нуридин и лучащийся счастьем Хаём-бой расположились на заднем сиденье.

— Что было тысячу лет назад, то и сейчас, — высоким голосом, перекрикивая гул, говорил Нуридин. — Люди не меняются, Бахром! Я это давно понял! Они всегда были такими! Все пророки, — (он произносил это слово с ударением на первом слоге), — приходили в один и тот же мир! И Зардушт, и Будда, и Иса, и Мухаммад — все они приходили в такой же мир, как наш, — такой же злой и такой же добрый! Насири Хусрав жил среди таких же людей, среди которых живем мы! Знаешь, когда я это понял? А?

Бахром крякнул.

— Я понял это, когда увидел в книге одну фотографию... фотографию со стены... как это?

— Фрески, что ли? — спросил Климентьев.

— Вот! Фрески! — обрадовался Нуридин. — Из Помпеи! Называется «Поэтесса»! Тысяча лет! А у нее такое нежное-нежное лицо... и она так держит тростниковое перо... так его покусывает... у нее такие глаза... что я

понял — она думает о том же, что и я! Мы с ней — одинаковые! Просто я живу сейчас, а она — тысячу лет назад! Никакой разницы!

— А электричество? — буркнул Бахром, поправив очки. — Как это — никакой разницы!

— При чем тут электричество! — возмутился Нуридин. — Я говорю о душе! Душу электричество не меняет!.. Насири Хусрав говорит — убей дракона! Тысячу лет назад в человеке жил дракон, и сейчас в нем живет дракон!..

— Э-э-э, нет, — возразил Бахром. — Раньше люди добрее были.

— Добрее?! Не только живых убивали — мертвым не давали покою! Ты знаешь, что великого нашего устода, почти пророка, великого мудреца Абд ар-Рахмана Джами враги, не стоившие ногтя с его мизинца, преследовали всю жизнь! Но так и не смогли до него добраться — до живого! А когда он умер!.. и когда шииты завоевали Герат!.. и руки их смогли дотянуться до покойного... знаешь, что они сделали, Бахром? Ты говоришь, люди были добрее! Знаешь, что сделали эти, в которых жил дракон?! — Нуридин выдержал паузу и закончил: — Они сожгли его могилу!..

— Как это — сожгли могилу? — удивился Бахром. — Э-э-э, фачу лач... много всяких сумасшедших бывает.

Он снял очки и бросил под стекло.

— Сумасшедших! — хмыкнул Нуридин. — Если так, значит, весь этот мир давным-давно сошел с ума!..

— Никита-амак, — встревоженно спросил Хаём в самое ухо. — Она шевелится?

— Еще как! — ответил Климентьев. — Суетливая черепашка оказалась...

Через несколько минут они свернули с шоссе.

— Чил духтарон, — сказал Бахром. — Святое место. Вон деревья, видите?

Уже к исходу июня степь неизбежно превратится в серо-желтую пыльную пустыню, где все убито солнцем, и только ящерицы да саранча подают признаки неистребимой жизни. Но сейчас равнина была ярко-зеленой, и впереди виднелось выступающее на фоне неба и чуть более темное пятно — оазис, заросший большими деревьями.

— Чинары? — удивился Климентьев.

Бахром кивнул.

— Чинары, ивы... там вода.

— Два года назад об этом никто не думал! — сказал Нуридин.

Климентьев обернулся. Нуридин невидяще смотрел в окно, за которым тянулась зеленая степь, и ветер нес с обочин запах цветущей джиды.

— Два года назад никому и в голову не могло прийти, что можно врываться в дома... мучить людей... убивать... Как это? что произошло? — Нуридин повернул голову, и зрачки их встретились. — Что случилось, Никита-амак? Разве для этого все было?..

— Что случилось! — грубо сказал Климентьев, отводя глаза. — То и случилось! Ты как маленький, Нуридин!.. Свободу почуяли! — Он поднял кулак. — А если свободу — значит, свободу для всего!.. Ты вспомни! Два года назад мы с тобой мечтали, чтобы тебя напечатали. Хоть в оригинале, хоть в переводе. Ты забыл? Никому не нравилось! Все твое было неактуально! А на самом-то деле все было актуально, да вот только не было свободы!.. А теперь! Смотри — у тебя вышло две книги! Десятки публикаций! Рвут из рук — только пиши! Все хотят печатать: в России, в Хуррамабаде, — все!.. Свобода! Красота! Но ведь свобода — для всех!.. Ты же сам говоришь — дракон! Для драконов — тоже свобода!..

Он замолчал, рывком повернулся в кресле. Побежала в глаза серая лента дороги.

Оазис приближался, и уже видно было, как волнуются верхушки огромных шумливых чинар.

— Нет, — упавшим голосом сказал Нуридин. — Нет. Здесь этого не будет.

Бахром нацепил очки и негромко выругался.

— Она шевелится? — спросил Хаём.

4

Нуридин и Бахром остались возле машины — в тени большой ивы, накренившейся над берегом ручья, — а Климентьев все бродил под деревьями, и в голове у него шумело так, словно он выпил триста граммов злой хуррамабадской водки.

Из-под зелени била серебряная вода. Мощным грифоном она вздымалась над поверхностью бассейна, серебрилась, играла, рвалась — а потом успокаивалась и тихо текла по широкому чистому руслу мимо деревьев и людей. Вокруг чаши, благодарно охраняя ее, высились огромные, тихо переговаривающиеся, в три или четыре обхвата, чинары; серо-зеленая их кора была чистой, как детская кожа.

Огромные рыбы, похожие на золотые слитки, стояли в прозрачной воде, лениво пошевеливая плавниками или одним резким движением хвоста перенося себя на новое место.

Рыбы не боялись людей. Люди, разоблачась до исподнего, — взрослые с молитвой, а дети просто для прохлады — лезли в воду и плавали в ней наравне с рыбами; и когда человек, набултыхавшись, плавно вставал на близкое дно, к его ногам тотчас стекалась стайка мальков — то ли просто чувствуя себя обязанными ему поклониться, то ли в надежде выискать что-то съедобное между пальцев его ног, то ли стремясь найти червяка во взбаламученном иле.

Рыбы не боялись людей, а люди не боялись змей. Большие длинные змеи то и дело медленными стрелами пронзали серебристо-голубую гладь, и от их приподнятых черных голов расходились длинные усы.

Все здесь жили вместе, и никто не грозил другому.

Климентьев обнял Хаёма, а тот приник к нему, и они, не замечая времени, зачарованно сидели на зеленом бугре возле квадратного хауза, из которого бил волшебный источник.

— Хаём-бо-о-о-ой! Э-э-э, Хаём-бо-о-о-ой!..

— Зовут, — с сожалением сказал Никита. — Пойдем?

Хаём кивнул.

И вдруг спохватился:

— Сангпуштак! Надо пускать, Никита-амак!

— Сейчас отпустим... — сказал Климентьев. — Самое время. Я дочери обещал — в горах. Она чуть старше тебя, Хаём. В Москве живет... Но тут лучше, чем в горах.

— Конечно, лучше! — серьезно согласился Хаём. — Святое место. Мазор.

Они подошли к машине.

— Сангпуштак? — разочарованно спросил Хаём, заглядывая в пустую коробку.

— Вон, видишь! — сказал Нуридин. — Как танк проехал!

В свежей зеленой траве был виден след шириной в ладонь — будто прокатали валиком. Он уходил дальше, дальше — и пропадал из глаз на вершине пологого холма.

— Вот что значит — настоящая родина! — пояснил Нуридин. — Как только я ее вынул из коробки, она тут же двинулась вперед! И ни разу — ты веришь, Никита-амак? — ни разу не оглянулась! Сразу забыла нашу дружбу!

— Слава Богу, — сказал Климентьев. — Как говорится... э-э-э... худо дод, худо гирифт!

Бахром, возившийся у очага, высыпал в казан лапшу тонко нарезанной моркови и спросил, подмигнув:

— Никита-амак, вы не забыли лучший способ есть кислое молоко?

Климентьев помотал головой. Что-то щекотало руку. По ладони полз маленький серый жук.

— Не бойся! — сказал Бахром. — Это хараки худо!

— Божий ишачок? — переспросил Климентьев. Солнце слепило, все кругом было зеленым, золотым. Глаза слезились. — Зачем Богу такой ишачок?

— Говорят так... — пожал плечами Бахром.

— Э-э-э-э! Что значит — зачем!.. Что значит — говорят!.. Богу все нужно! — воскликнул Нуридин. — Хаём! Смотри вокруг! Ты видишь? — Смеясь, он хлопнул в ладоши, вскочил, взял мальчика за руки и стал выплясывать с ним в высокой траве, громко распевая: — Смотри! Это твоя родина!.. Ты видишь? Все нужно Богу! Это Божий ишачок! Это трава Бога! Это маки Бога! Смотри, сынок!.. Это горы Бога! Это солнце Бога! Это небо Бога! Это люди Бога! Ты видишь?..

Бахром расставлял рюмки, откупоривал бутылку.

Улыбаясь, Климентьев откинулся в траву и стал смотреть в небо.

Высоко-высоко в безоблачной голубизне выжидающе кружил неторопливый коршун.

УЖИК

1

Дом стоял возле самой дороги, ведущей от аэропорта к центру Хуррамабада. В середине февраля мимо дома прошла колонна танков, прибывших накануне большими транспортными самолетами. Анна Валентиновна была убеждена, что земля не вынесла того тяжкого грохота, что сопровождал их воинственное движение, и не то просела... не то подалась... короче говоря, что-то в ней сдвинулось, треснуло, лопнуло — благодаря чему напуганный Ужик смог пробраться из подвала, где, видимо, жил прежде, под ее кухню, под самый пол... и однажды высунул голову из небольшой дырки в углу между неплотно сходившимися плинтусами.

Земля определенно могла податься — во всяком случае, грохот и гул больше всего напоминали те, что сопровождают катастрофические землетрясения. Сначала ни с того ни с сего задребезжали стекла. Анна Валентиновна машинально встала в дверной проем, под притолоку, как еще в детстве учила мать: самое безопасное место, когда рушатся стены. Стекла дребезжали сильнее... возник низкий гул, от которого стали шевелиться волосы; она знала, что гул — предвестник сильнейших подвижек земной коры, таких, что могут превратить зеленый Хуррамабад в дымящиеся развалины; у нее сжалось сердце... она колебалась: не выбежать ли все-таки из дома?.. Обычно этого никто не делал: в Хуррамабаде относились к землетрясениям фаталистично: мол, бог не выдаст — свинья не съест... да и не набегаешься из квартиры, если люстры и мебель начинают подчас приплясывать раза по три на дню... Но скоро она услышала визг и крики — оторопело решив сначала, что это звуки человеческого испуга перед стихией, — затем гул начал превращаться в грохот... в нем стали различимы обертоны... лязганье гусениц... прерывистый выхлоп дизелей... Она подбежала к подоконнику и, в ужасе обхватив ладонями плечи, увидела танковую колонну, проминавшую пеструю толпу. Эта картина мгновенно впечаталась в ее зрачки — так же несмываемо, как за три года худо-

жественного училища впечатались когда-то античные гипсы — до отдельных пор, до сколов, до случайных царапин на шее Антиноя...

Зеленые туши лоснились под февральским дождем. Ворочая хоботами, словно боевые слоны, они с ревом перли на яростно кричащих людей. Люди толпились перед ними в бесплодной попытке преградить дорогу. В железо летели камни и бутылки; камни отскакивали, бутылки бились, оставляя маслянистые потеки. Обреченно воющей толпе приходилось отступать и расступаться — бугристые дымные звери выглядели безжалостными и наводили ужас. Тех же, кто в своем бессильном пьяном неистовстве заходил слишком далеко и лез под самые гусеницы, оскаленные солдаты с матюками втаскивали на броню — и мотающиеся головы в тюбетейках тут и там торчали между касками.

Это было в середине февраля, а Ужик появился в последних числах... то есть по времени все сходилось.

До сих пор Анна Валентиновна ужей никогда не встречала. Она только слышала от матери, что под Мариуполем, где семья жила до войны, мальчишки ловили их в зарослях крапивы, чтобы пугать девчонок. Если б она родилась именно там, под Мариуполем, то наверняка со временем встретился бы мальчик, желающий обратить на себя ее внимание, и тогда она еще в детстве узнала бы, что это за существо такое — уж. Однако осенью тридцатого года к ее будущим родителям тайком заглянул один знакомый и шепнул отцу, что тому было бы лучше всего прямо сейчас выйти из дома и шагать прямиком к станции: мол, ордер подписан и времени у него нет совсем. Семью спасло то, что у отца были припасены деньги на покупку дома — ведь без денег вообще никуда двинуться было невозможно и оставалось бы только ждать ареста... Через два дня они уже пересели в Москве на ташкентский поезд. В поезде с отцом разговорился шумный и энергичный человек по фамилии Никулин — много лет отец звал его не иначе как «мой ангел Никулин», — пламеневший идеей скорейшего освоения Вахшской долины и как клещ вцепившийся в случайного попутчика, когда выяснил, что тот агроном по специальности. Должно быть, его предложение поработать в глубинке как нельзя лучше соответствовало планам отца. Анна Валентиновна родилась в местечке, удаленном от Хуррамабада на сто с лишним километров, и то еще ей повезло — по словам матери, в сравнении с тем кишлаком, где они прожили три предшествующих ее рождению года, этот пыльный городок выглядел Парижем...

История чудесного избавления была, разумеется, тайной. Уже когда родителей не было в живых, Анна Валентиновна однажды грустно отметила про себя, что, в сущности, отец мог бы и не суетиться: ведь, убегая от тюрьмы и ссылки, он оказался именно в тех местах, куда уже тянулись эшелоны вагонзаков: идеи пламенного Никулина требовали множества рабочих рук, и поэтому каналы рыли заключенные, а египетский тонковолокнистый в междуречье Вахша и Пянджа окучивали спецпереселенцы...

Казалось бы, слово «уж» — холодное, скользкое, неприятное... даже длинное, несмотря на свою буквенную краткость... а в ее сознании оно было крепко связано с детством, с теплом маминого шерстяного платка, с тем ощущением уюта и покоя, что окружал ее, когда она слушала неторопливые рассказы: тревоги, голод и скудость жизни отступали, возникал далекий сказочный город Мариуполь... множество диковинок... в частности, безобидные ужи — символ ухаживания и таинственной любви... Поэтому Анна Валентиновна совершенно не была испугана, когда впервые заметила глянцевую ромбовидную головку.

— Вот тебе раз! — приветливо сказала она, присаживаясь возле и собираясь поговорить с нежданным гостем, как всегда разговаривала с двумя невозмутимыми глазастыми гекконами, необъяснимо возникавшими на

потолке кухни в июльскую жару.

Однако при первом же ее движении серая головка исчезла.

— Надо же! — сказала Анна Валентиновна, качая головой. — Дожили! Ужи в доме завелись! Да и немудрено!

Но тем не менее налила в блюдце молока и поставила в угол.

2

— Не зна-а-аю... — говорила Марина, кутаясь в пальто. — Я бы давным-давно забила эту щель — и дело с концом!

— Да как же! — протестовала Анна Валентиновна. — Живой же! Он уже почти год у меня живет!

— Что ж теперь, что живой! — Дочь поморщилась. — Гадость всякую в доме разводить!

— Во-первых, они охотятся на мышей, — заметила Анна Валентиновна. — Во-вторых, он очень симпатичный... если б ты его увидела, он бы тебе очень понравился. Только он при чужих не выползает.

Дочь с горечью махнула рукой.

— Господи! — сказала затем она, беря ложечкой из розетки прозрачный ломтик просахаренной айвы. — Есть же где-то нормальные места! Ну, мыши могут завестись... ну, тараканы... А тут вон чего — ужи! гекконы! термиты!.. Честное слово, только крокодилов не хватает!

— Да ладно тебе! Разве крысы лучше?

Они помолчали.

— Лобачевы тоже собираются, — сообщила дочь, отхлебнув из пиалы. — И нас зовут. Какое-то общество организовали... деньги собирают. — Она вздохнула. — В России дома будут строить.

Анна Валентиновна тоже вздохнула и покачала головой.

Раньше они с мужем тоже время от времени заговаривали об этом. Русские едут из Хуррамабада... Надо бы и нам... Конечно, надо... Только вот куда?.. Главное — найти работу... Дело, впрочем, было не в работе, а в жилье. Поэтому работа нужна была не простая, а золотая — чтобы сразу с квартирой. Бывало, они сидели вечером за чаем вчетвером и рассуждали: если не будут давать квартиру, купим дом... Можно ведь купить дом? Никто из них не знал, сколько стоит дом. Дети резко возражали по существу: на фиг нам эта Россия! школу менять! друзья во дворе!.. Все вместе было легковесно, туманно, необязательно и, покрутившись на языках день или два, забывалось затем на несколько месяцев или лет.

Когда муж защищал кандидатскую, Анна Валентиновна поехала с ним в Москву. Защита прошла, оставалось несколько свободных дней, и они решили вдруг съездить в подмосковную Апрелевку — а вдруг там продают дома? Стоял снежный январь. Они вышли из электрички и оказались на голой платформе, по которой ледяные вихри бойко гоняли линялую этикетку портвейна «Агдам». Анна Валентиновна была в легком пальто. Они бродили по заметенному поселку и читали все, что было написано на заборах. Писали здесь много всякого, однако объявлений о продаже не попадалось. По идее, нужно было самим повесить объявление — куплю, мол, дом. И телефон. Или адрес. Но раньше они об этом не подумали, а теперь не было под рукой ни бумаги, ни клея. Отчаянно стуча зубами, Анна Валентиновна спросила у какой-то старухи, нет ли тут поблизости какого дома на продажу. «А если подальше, так уже и не дойдешь, что ли, закалемши?» — сварливо ответила старуха. В конце концов они набрели на забегаловку при автобазе, муж выпил сто пятьдесят граммов грузинского коньяку, а она — два стакана горячего чаю. Вслед за чем и отбыли в Белокаменную...

— Ох, не знаю, — вздохнула Анна Валентиновна. — Холодно там!.. Нет уж, куда я на старости лет... лучше здесь сидеть...

— Ага, сидеть, — устало согласилась дочь. — Ждать, когда и тебе по башке дадут... Ты посмотри вокруг, что делается-то!

— А что делается? — удивилась Анна Валентиновна. — Все утихло! Побезобразничали — и успокоились.

— Как же, успокоились! — Дочь насмешливо смотрела на нее. — Ты, мам, вообще... А знаешь, что говорит Валера? Вон в газетах все пишут и пишут: этих парней и подростков кишлачных сажали в машины и привозили в Хуррамабад! Всё в один день! Целая воинская операция была спланирована! Представляешь? Транспорт был подготовлен! И камни, и палки были заготовлены, и прутья!.. Мальчишек везли прямо из школ: учителя приказывали — и пацаны лезли в грузовики. А здесь поили их водкой! И объясняли, что нужно громить!.. Это тебе шутки? Ты прикинь — сколько денег нужно было, чтобы все это устроить?.. — Она перевела дыхание и закончила: — Валера говорит, что, если бы эти *зверьки* что-нибудь другое здесь могли так же организовать, мы бы уже давно жили в раю!

— Ну, зачем ты так — *зверьки!* — поморщилась Анна Валентиновна.

— Неужели ты думаешь, что если у них были силы поставить город на рога, то теперь они обо всем забудут? Ха-ха! Просто смешно! Валера говорит, что это только начало! И кто тебя защитит?! Ты вспомни, вспомни: когда началось, правительство предложило создавать отряды самообороны! Пра-ви-тель-ство! Оно, видите ли, не может помочь — защищайтесь сами!.. Валера четыре ночи дежурил! Вечером белую повязку на рукав, черенок от лопаты в руку, нож... — голос ее повлажнел от волнения, — нож за голенище! И вперед, к подъезду, погромщиков встречать! А я свет гасила в квартире и ждала — ворвутся? не ворвутся?.. Милиция! Где была милиция?!

— Ужасно, ужасно! — согласилась Анна Валентиновна. — Но в конце концов ввели же войска! Все ведь уже кончилось!

— А, мама, что говорить! — Дочь звякнула ложечкой о розетку. — Ничего не кончилось... все только начинается. Вспомни, что в феврале сказал этот гад Юсупов: русские в Хуррамабаде — заложники!..

— Да уж и Юсупова давно сняли...

— Тебя не переспоришь.

Анна Валентиновна вздохнула.

— Не знаю... — сказала она виновато. — Может быть, и правда... А сколько денег надо?

Дочь безрадостно махнула рукой.

— У меня есть деньги, — заявила Анна Валентиновна. — Марина! Я ведь все равно никуда не поеду! Я вам отдам!

— Ну конечно! Мы поедем, а ты не поедешь... — сказала дочь, морщась. — Тут тебя оставим... на съедение... Что ты глупости говоришь!

— Нет уж, — сказала Анна Валентиновна, наливая ей свежего чаю. — Дудки. Пусть меня лучше здесь убивают.

3

Первые два или три месяца Анна Валентиновна испытывала смутное беспокойство. Как ни крути, а все же это было существо из иного мира, из иной вселенной, столь же далекое и чуждое, как марсианин. Что таилось в этой похожей на костяное изделие лакированной голове? почему этот уж приполз и стал жить в пространстве между полом кухни и подвалом? неужели правда с перепугу? Что ему здесь нравится? Если тепло — так летом везде тепло, даже слишком; а зимой везде холодно и сыро, потому что отопление не работает: так же холодно и сыро, как в затхлом подвале...

Но время шло, и она свыклась с ним, как свыкается человек со всем на свете, а более всего — с живыми.

И Ужик с ней мало-помалу свыкался — они притирались друг к другу, прилаживались и переставали бояться.

Происходило это медленно, исподволь.

Поначалу при любой ее попытке приблизиться он так стремительно исчезал в своем укрытии, что Анне Валентиновне чудился легкий щелчок — примерно такой, с каким срабатывает затвор фотоаппарата. Однако мало-помалу он привыкал к ней и теперь уже прятался не весь: настороженно смотрел на нее из щели и недоверчиво слушал нарочито монотонную воркотню.

Потом однажды вовсе не скрылся, не уполз в нору при ее появлении, а свернулся в углу кухни напряженным полукольцом и стал шипеть, издавая звук, с каким капля воды катается по раскаленной сковороде. Анна Валентиновна решила, что он напуган собственной храбростью, поэтому сделала вид, что не замечает ни его присутствия, ни этого вызывающего шипения: не подошла ближе, а, наоборот, вернулась в комнату, через минуту — назад, и так маячила минут десять, а Ужик, постепенно успокаиваясь, следил за ней блестящими немигающими глазами, похожими на отполированные камни.

С течением времени они все меньше обращали друг на друга внимания, обоюдно превращаясь из существ неизвестных, требующих к себе (в силу своей непредсказуемости) особого попечения и настороженности, в соседей... даже в родственников, что ли, которых просто не замечаешь, если они не досаждают тебе стуком или пьяными песнями.

Она часто ставила на пороге кухни этюдник и рисовала Ужика, снова и снова пытаясь передать графитный глянец мелких чешуек и завораживающий узор, заставлявший взгляд перебегать по нему все дальше и дальше: две светлые зигзагообразные полосы по бокам, отороченные снизу неярким темным кантом, а сверху ряд светлых овальных пятен, с обеих сторон поддерживаемых остриями зигзага. Красок давно уже не было — даже акварели, — но оставались обломки соусов и стеллажи старой графики, и оборот каждого листа можно было использовать. Анна Валентиновна черкала жирным карандашом шершавую бумагу, время от времени замирая на несколько секунд с тем выражением лица, что свойственно людям, когда они силятся вспомнить что-то знакомое, известное: крутится на языке, да никак не навернется! — а Ужик недвижно лежал у стены, подняв голову над свернутым в полукольцо телом, и следил за ее движениями, лишь изредка меняя положение приплюснутой головы. На ней тоже был красивый крестообразный рисунок, напоминавший силуэт летящей птицы.

Ужик любил молоко, но скоро настали времена, когда ни за какие деньги молока в городе купить было невозможно. Впрочем, Ужик легко переносил продуктовый кризис — должно быть, мышей в подвале по-прежнему хватало. Люди же в ту пору были вынуждены безнадежно толочься у пустых магазинов... Зима тянулась бесконечно, и постепенно Хуррамабад погружался в такую же вялую апатию, в такое же состояние тлеющей полужизни, в каком пребывал в зимние месяцы Ужик. Чтобы купить хлеб, Анна Валентиновна вставала в четыре часа ночи и шла по темным улицам к хлебозаводу. В слабосильном свете фонаря у ворот молчаливая толпа казалась безжизненной, как груда могильных камней. Долгое ожидание искупалось тем, что буханки были тяжелыми и горячими; она возвращалась домой не чувствуя усталости. Но однажды ворота не открылись ни в девять, ни в десять, ни в одиннадцать... День был мутный, влажный. Она плелась с пустой сумкой, казавшейся необыкновенно тяжелой, не замечая ничего вокруг. Отперев дверь, она села на стул и заплакала. Ужик бесшумно скользнул к ней, и когда Анна Валентиновна, улыбаясь сквозь слезы, приблизила руку к полу, он обвил ладонь и предплечье, словно широкий узорчатый браслет.

4

Весной выяснилось, что Анне Валентиновне предстоит ехать в Россию — сначала под Белгород, где уже начал строиться переселенческий поселок, а затем в Калужскую область, в район Тарусы. Она должна была все внимательно осмотреть, войти во все тонкости, выяснить соотношение плюсов и минусов и, вернувшись, толком доложить. По итогам этого обследования Марина с Валерой предполагали решить, куда именно следует двигаться. Сами они ехать сейчас не могли — Валерий был единственным человеком в семье, который кое-как зарабатывал деньги (ни зарплат, ни пенсий полгода уж как не платили), и его не пускали дела, а Марина не хотела оставлять детей.

Честно говоря, ехать Анне Валентиновне не больно-то хотелось. Весной жить стало легче — во-первых, потеплело; во-вторых, после долгого перерыва снова пустили газ, и почти всегда можно было, как встарь, вскипятить чайник на плите, а не мызгаться в лоджии возле примитивного очага; в-третьих, ожил базар — теперь стреляли только по ночам, и торговцы, осмелев, мало-помалу стали появляться в рядах, предлагая баснословно дешевую по этому времени зелень; дешевизна объяснялась просто: денежный оборот в Хуррамабаде свелся практически к нулю из-за отсутствия наличности.

Однако деваться было некуда.

Накануне отъезда она поднялась этажом выше и позвонила в дверь Алексея Васильича.

— О! — сказал он, отпирая. — Анна Валентиновна!

— Алексей Васильич, — сказала она. — Хочу вас об одолжении попросить... Я уезжаю ненадолго... То есть я не знаю, надолго ли...

— Да что ж мы тут, в дверях! — спохватился вдруг Алексей Васильич. — Проходите!

— Нет, лучше тогда ко мне пойдемте, — предложила она. — Я вам как раз все и покажу.

Ужик, заслышав чужие шаги и голос, скользнул в свое убежище. Позже он мог и показаться на глаза пришельцу, но для начала предпочитал вести скрытое наблюдение.

— Совсем собираются, совсем... — говорила Анна Валентиновна, наливая в чайник свежую воду. — Все, уже и покупатели на обе квартиры есть, и мебель Валерий пристроил... а у меня вон чего, — она со смехом махнула рукой, — это и мебелью-то не назовешь — доски да бумага. Вам пианино-то не нужно? Или тоже собираетесь?

— Я? — удивился Алексей Васильич. — Куда? Туда? Да вы что, Анна Валентиновна! Что я там забыл! Не-е-е-ет, это уж вы поезжайте сами... письма будем друг другу писать! — и засмеялся, довольный шуткой.

— Да я и сама бы никуда не ехала, — призналась она. — Куда черт несет на старости лет? Ну, дочь — это понятно: она молодая, ей надо, у нее дети; а я зачем?.. А с другой стороны — куда я без них? Внуки... нет, придется, что поделаешь... Сейчас вот на разведку меня посылают, — усмехнулась она. — Доверили.

— Ага, — кивнул Алексей Васильич. — Рекогносцировка, значит... Понимаю.

— Кладите варенье, Алексей Васильич... вот айвовое... это я еще до войны варила... и видите — совсем не засахарилось! А вот клубничное... И сколько времени я буду там болтаться — один бог знает. Хочу еще к сестре в Самару заехать, посмотреть, что там... вот какое дело.

— Да-а-а, — вздохнул Алексей Васильич, накладывая в розетку айвовое. Он облизал ложку и почмокал.

— А у меня тут живет уж... — сказала Анна Валентиновна.

— Кто уж тут живет? — не понял Алексей Васильич.

— Да не кто уж, а просто уж! — рассмеялась она. — Уж! Ну... земноводное такое! Или кто они там?

— Уж? — удивился тот. — Где?

— А вон! Видите? Дырочка между плинтусами... он там прячется... Но вообще-то он прямо здесь и живет, в кухне... Мы с ним сдружились. Да он ручной совсем, я его Ужиком зову.

— Интересно, — сказал Алексей Васильич. — Первый раз слышу, чтоб в квартире жили ужи!.. Я ведь старый полевой волк, Анна Валентиновна! Я полжизни в горах провел... нечисти этой навидался! бр-р-р-р! — Он поморщился и зачерпнул еще варенья.

— Да какой же нечисти! — возразила она. — Уж! Безвредное существо!

— Ну, уж — это еще куда ни шло, — с сомнением сказал Алексей Васильич. — Да ведь если б только ужи попадались! Уж этот — ерунда, действительно... одно слово — желтопузик... — («Почему желтопузик?» — удивилась Анна Валентиновна, но промолчала.) — А там ведь кроме них чего только нет! Гюрза! Кобра! У-у-у-ужас! Я однажды...

Алексей Васильич вдруг расхохотался.

— Случай такой был... где-то под Ляхшем мы стояли... ну, все как обычно: маршрут за маршрутом, каждый день по жарище... И вот в одном из маршрутов убил я гюрзу... Огромная! Я на лошади — а она поперек тропы переползает! Ну как шланг! Во! Во какая! И так медленно — нет ей конца! Я ни головы не вижу, ни хвоста, только это толстое тело! И оно из одних кустов — через тропу — в другие! Сорвал ружье — трах! Ее дробью буквально пополам!.. Потом измерили — чуть ли не два метра чудище!

— Кошмар! — сказала Анна Валентиновна, зябко передернувшись.

— Вот... И, разумеется, весь день я под впечатлением — все мне мерещится, что еще одна... Вечером вернулись в лагерь, поужинали, легли спать... Просыпаемся утром... солнце! Камералка! В маршрут не идти! Река шумит! Благодать!.. Вылезаю я из спального мешка... потягиваюсь... позевываю... прохладой от реки тянет!.. Солнце еще только-только пики осветило... Сую ногу в сапог — так прямо, босую... умыться пойти... сую вторую — и вдруг под пяткой!..

Анна Валентиновна негромко вскрикнула и закрыла рот ладонью.

— Чувствую — ледяное что-то! Змея!.. Что делать? Ногу вытаскивать — так ведь успеет ужалить! успеет, сволочь!.. И тогда я изо всей силы пяткой вниз, вниз! раздавить! опередить мне ее надо было!..

Алексей Васильич снова захохотал.

— Часы-ы-ы! — выговорил он в конце концов. — Часы я случайно туда опустил перед сном! Хорошие были часы — «Слава»!.. И я их пяткой-то — не поверите! — с перепугу всмя-я-я-тку!.. Стекло растрескалось, осколки — в механизм... все к черту развалилось!

Качая головой, Анна Валентиновна подлила ему чаю.

— А вы говорите — уж! — назидательно заметил Алексей Васильич. — Разные ужи-то бывают.

— Мой совершенно смирный, — успокоила она его. — Я, собственно, о чем хотела попросить... Там вон у него блюдечко стоит с водой. Я оставлю вам ключ. Вы раз в три, в четыре дня подливайте ему водички... хорошо?

— Да какой разговор! — ответил Алексей Васильич, переводя взгляд туда, куда показывала Анна Валентиновна.

Ужик спокойно лежал возле своей щели, свернувшись, как всегда, полукольцом.

— Ё-е-е-е-е-е-о-о-о-о-о-о! — завопил вдруг геолог, прыжком срываясь со стула и увлекая за собой Анну Валентиновну.

Напуганный шумом, Ужик, словно струя переливающейся узорчатой ртути, стремительно скользнул в щель.

— Эфа! — кричал Алексей Васильич, выталкивая ее в коридор. — Это же эфа, дура! Эфа! Это эфа, а не уж!..

5

Геолог требовал, чтобы ему дали возможность немедленно заколотить фанеркой ту прореху в плинтусах, куда ускользнула ядовитая гадина.

— А лучше всего ее выманить и убить! — громко объяснял он, возмущенно глядя на Анну Валентиновну. — Вы что! А если кто-нибудь пойдет в подвал! И его цапнет эфа! Это же не шутки! Это же за двадцать минут перекинуться можно!..

— Нечего в подвале делать, — отвечала она. — Что делать в подвале? Совершенно нечего! И не мотайте мне нервы, Алексей Васильич! Во-первых, вы могли перепутать!

— Я? Перепутать? — сардонически хохотал Алексей Васильич. — Вы смеетесь? Я эту гадость за километр узнаю! Я однажды иду по склону — склон такой неприятный, осыпной... жарища!..

— Ах, да надоели мне ваши жуткие истории! — восклицала Анна Валентиновна, хватаясь за виски. — Прекратите! И не позволю я там ничего заколачивать!.. И ключа я вам не дам!

Но билет был, поезд не ждал, и в конце концов она уехала в совершенно расстроенных чувствах, уповая лишь на то, что еду себе Ужик в подвале найдет всегда, а если будет нужно, отыщет и воду, которая в том же подвале вечно сочится из проржавевших труб.

Она не знала, верить Алексею Васильичу или не верить, и то и дело фыркала про себя — мол, тоже мне, бывалый! Эфа, эфа!.. — заладил, как попугай!

Поезд тащился по зеленым, еще не выгоревшим степям, грязный вагон мотало на рельсах так, словно он вот-вот должен был пойти под откос. Стекла были по преимуществу выбиты, а окна в купе кое-как заткнуты вонючими матрасами. Огромная рябая земля летела из-под колес, мельком показывая всю свою нищету и тяготу; безумолчно плакал простуженный ребенок, тянуло вонью из туалета, и тяжело, с мрачным уханьем налетали встречные составы... С ней ехала семья татар, перебиравшихся в Бугульму к родственникам. Сама-то она путешествовала налегке, с одним чемоданом, а купе было битком набито татарскими тюками. Поезд пыхтел от границы к границе, и тюки то и дело приходилось распаковывать, чтобы предъявить эвакуируемые пожитки таможенникам сопредельных государств. А государств, да границ, да таможен на их пути было столько, что Анна Валентиновна, вынужденная следить за этой утомительной деятельностью, в конце концов сбилась со счету...

Поезд стучал и стучал, гремел, катился все дальше и дальше, словно разматывая клубок, она сидела в своем углу закутавшись, погрузившись в зыбкое состояние между болезненным ознобом и дремой и тоже разматывала какие-то давние клубки — вспоминала, вспоминала, вспоминала. Стоило дернуть за одну нитку, как за ней тянулась другая, третья... их было столько, что она напрасно силилась увидеть все сразу, всю свою жизнь от начала до конца, и понять наконец, почему — Хуррамабад... почему — танки... почему — война... почему — поезд... почему — не Ужик, а эфа... почему — ледяной ветер?..

Через четверо суток — Москва... Понемногу отогреваясь, она жила в просторной теплой квартире у Нины — школьной подруги, которую родители увезли из Хуррамабада лет сорок пять назад. День шел за днем, и ей было стыдно признаться, но она не хотела уезжать: здесь всегда горел свет... и тек газ по трубам... и в магазине можно было купить масло... и

даже пенсию приносили на дом. На книжной полке в кабинете Анна Валентиновна обнаружила подробный зоологический семитомник и в нем-то нашла подтверждение правоты Алексея Васильича — да, увы, Ужик смотрел на нее с красочной иллюстрации... Ужик был эфой... только вот она так и не поняла — песчаной эфой или пестрой. Расстроившись, она кое-как засунула том между другими и села в кресло. Боже! боже! ну как же так!.. Но, если быть разумной, — разве можно жить в одном доме с ядовитой змеей?.. Правда, Ужик за все это время никак не проявил своей змеиной сущности! Он любил ее... он грелся от ее тепла... он появлялся на звук ее шагов... Нет, глупо, глупо — змея есть змея! кто знает, что у нее в голове? И потом: ведь змея — не кошка, не собака! Это к преданной собаке человек может привязаться... к пушистой ласковой кошке. А разве можно привязаться к змее?.. Но выходило, что — да, можно привязаться и к змее, и поэтому она беспокоилась, раздумывая о том, как Ужику живется без нее, дождется ли он ее возвращения. В конце концов решила — нет, не дождется: ведь не кошка, не собака — отвыкнет, забудет, переберется в подвал... И хорошо, и ладно: ведь как ни крути, а змея есть змея! Пускай, так лучше... что ж делать, если так вышло. Можно взять котенка.

Потом был Белгород... несколько дней в гостинице... Она приглядывалась к тому, как живут переселенцы, примерялась — каково-то скоро будет ей самой на их месте?.. Вернувшись в Москву, внимательно посмотрела на себя в зеркало: хоть и переезды, хоть и не дома, а все равно — немного поправилась, кожа стала глаже... Через несколько дней Нинин сын Володя посадил их в машину и повез по хорошему шоссе куда-то далеко — за Тарусу, под Калугу, в деревню Завражье.

Снег почти всюду сошел, было тепло. Анна Валентиновна жмурилась на солнце. Здесь ей нравилось больше — воздух, лес... Не то что в Белгороде — там кругом строительство, грязь... вагончики, вагончики... Они гуляли по лесу, прошли по тихой деревне, поговорили с двумя симпатичными пожилыми женщинами — где магазин, как снабжение... вышли к полю, по которому прокладывалась бетонная дорога. Возле автокрана, сгрузившего плиты, стояли мужики.

— Тут места-то — во! — сказал тот из них, что более всех был под хмельком. — Ты, хозяйка, не сомневайся! Тут жить — ого-го! Дорога будет! Вода! Что не жить! Вон, смотри, на буграх-то сколько земляники! Пока-то листики, а летом — ягода!..

...Возвращалась она самолетом. Шагнула на трап — и в лицо наконец-то пахнуло родным: зноем, пылью... В Хуррамабаде уже стояла жара, с юга тянул афганец, желтое небо мутнело... и было странно представлять себе, что скоро все это навсегда останется за спиной.

Она подходила к дому, размышляя о том, что щель, разумеется, нужно забить фанеркой. Ушел — и ушел, и все, и конец на этом.

Анна Валентиновна отперла дверь и, вздрогнув, остановилась.

В первую секунду ей показалось, что Ужик ее все-таки дождался.

Безжизненно вытянувшись, Ужик лежал у порога. Должно быть, труп выели муравьи. От него осталась одна узорчатая шкура, и когда Анна Валентиновна тронула ее рукой, в ней зашуршали, перекатываясь, позвонки — словно семечки в высохшем стручке горького перца.

ХОРОШИЙ КАМЕНЬ НА МОГИЛУ ОТЦА

1

Замок наконец поддался, и Платонов открыл гараж.

Халим осторожно заглянул внутрь.

— У-у-у, — протянул он. — Ничего себе...

— Да она на ходу!.. — сказал Платонов, распахивая вторую створку. — Хочешь, заведем? Только бензина нет. Нет, правда! Хочешь, отольем из твоей? С пол-оборота! Она ж вся новая! Смотри: резина нехоженая... генератор как раз перед аварией полетел — я новый ставил... Что говорить! Ты же не слепой! Жестянку сделать — и готово! За две недели можно в порядок привести!..

Он поднял помятый капот.

— Смотри! Аккумулятор чешский!.. А то, что битая, — ну что я могу сделать! Я же говорю: на ровном месте! Понесло, понесло... из заноса вышел вроде... потом вдруг кувырк — и готово!..

— Да-а-а... — сказал Халим. — Как пирожок.

Сравнение понравилось ему, он рассмеялся и покачал головой, повторяя: «Настоящий пирожок! Настоящий пирожок!..»

Платонов вздохнул.

— Пирожок не пирожок... В общем, давай полторы, и все, — сказал он. — Полторы. Машина-то — новьё!

Халим обошел вокруг «Жигулей». Покачал головой. Пнул ногой спущенное колесо.

— Ну да, — сказал он. — Новьё... Понимаю... Знаешь что...

— Хорошо, — перебил его Платонов. — Я уступлю! Тыщу триста давай — и по рукам! Тыщу триста! Ты знаешь, сколько такая машина стоит в России? Или в Ташкенте! Знаешь? Ты не смотри, что битая! Начинка вся новая, вот ведь что!

— В России... в Ташкенте!.. Она же не в Ташкенте! Ты ее в Ташкент еще отгони попробуй... или в Россию...

— Подумаешь, делов! На платформу поставил — и вперед! Из нашего дома сколько мужиков машины увезли!

— Они-то увезли, — рассудительно сказал Халим, касаясь мятого, ржавого там, где облупилась краска, железа. — А ты-то не увез...

— Все равно, — упрямо возразил Платонов. — Ты что! Ты смеешься?! Ей, конечно, десять лет, да... но отец-то ее своими руками делал! Он тоже ее битую брал! И потом — по винтику! Она еще десять лет бегать будет!..

— Ну да... Если кузов поменять, — заметил Халим. Он стоял сунув руки в карманы черных шелковых брюк и раскачивался с носка на пятку.

— Мне сразу после аварии предлагали за нее две, — сказал Платонов. — А я не продал! Думал — сам восстановлю! Отец же делал, так и я смогу... а тут вон видишь... закрутилось...

— Не знаю... — сказал Халим. — Если предлагали, надо было соглашаться... Сейчас уже не предложат.

К гаражу подошли два мальчика: один лет четырех, другой — шести. Младший был в ладненьком цветастом халате. Он зачарованно слушал разговор, забыв про кусок лепешки в руке. Должно быть, у них в доме был какой-то праздник — лепешка была сдобная, посыпанная кунжутом. Старший, державший его за другую руку, шмыгнул носом и смущенно выговорил:

— Издрасти...

— Здрасти, здрасти, — пробормотал Платонов. — Ну хорошо... ладно.

Две тысячи ему предлагал Султан Одинаев... сволочь!.. Давай, мол, и купчую сразу подпишем... что резину тянуть! Правда, денег у него сейчас нет... то есть они есть, просто Султан дал их в долг своему родному брату... но как только брат вернет, так сразу... без промедлений — он же не обманет!.. Спасибо матери — по крайней мере отговорила его переоформлять машину на Султана. Но голову тот ему порядочно заморочил: Платонов — ну не дурак ли? — все ждал, когда Султанов брат вернет деньги. Дождался, на тебе! Через неделю отъезд, квартира продана, все потрачено на сборы, на таможню, на железную дорогу... каждая копейка на счету!..

Врал, паразит! Платонов ему поверил, и вот пожалуйста: время ушло и теперь Халим прижимает его к стенке! Да не может машина стоить меньше тысячи!.. Честно говоря, ему хотелось крикнуть... или ударить, что ли... хоть бы по мятому капоту... по растресканному лобовому стеклу... Но ничего этого делать было нельзя.

Он безнадежно улыбнулся и спросил:

— А сколько?

Халим подумал, затем определил:

— Четыреста.

Замер на носках, секунду стоял так...

— А, хоп, ладно!.. майли!.. Пятьсот зеленых. Оформление мое.

Платонов неуверенно засмеялся.

— Но только вместе с гаражом, — закончил Халим.

— Ну да. — Платонов уже тянул скрежещущую створку на место. — А к гаражу ничего не надо? Может, еще чего в придачу?

Створка с лязгом захлопнулась.

— А зачем меня тогда звал? — окрысился Халим. — Ты думал, я тебе миллион дам? Не стоит она больше! Пятьсот — хорошая цена!

— Иди, иди! — зло сказал Платонов, цепляя замок. — Хорошая цена, конечно! Хорошая цена, когда знаешь, что мне деваться некуда! А через день ты ее вдвое толкнешь! Не надо! Не приспичило! Не бойся! Подожду! Что, на тыщу триста покупателя не найду?.. Да ладно, пусть на тыщу! Завтра же найду!

— Ну, ищи, ищи... — холодно сказал Халим. — Ищи. Как наищешься — звони. Мое слово: пять сотен вместе с гаражом.

Он повернулся и пошел к своей «Волге».

Платонов пнул ногой железо. Гараж загудел. Халим не обернулся. Он шарил в кармане — должно быть, искал ключи.

Когда заскрежетал стартер, Платонов не выдержал.

— Сто-о-о-й! — закричал он. — Да стой же, я тебе говорю!..

2

Троллейбус подваливал к остановке, его окатывало сбоку кипящей толпой, и он долго скрипел и шатался под ее напором. Потом кое-как снова трогался и набирал ход. Плыли за окном дома, деревья, залитые солнцем тротуары, озабоченные люди. На перекрестках прохаживались, останавливая редкие легковушки, веселые парни с автоматами. Некоторые из них были в военном камуфляже, но большинство — по-граждански, запросто, без церемоний.

Платонов невидяще смотрел сквозь стекло.

Поднять цену удалось еще только на сто. Но две сотни задатка он все-таки смог выжать. Хоть и через силу, а все же пришлось Халиму отслюнить две зеленые бумажки. Теперь они лежали в кармане, и было от них Платонову тепло.

План его был прост. Он помнил камнерезную мастерскую где-то на Цемзаводе... Там работал мастер Худайдод. Лет пятнадцать назад, еще студентом, Платонов приволок из случайной поездки несколько образцов карлюкского оникса, предполагая порезать их на пластины, чтоб любоваться самому или дарить приятелям. Однако камень — не селедка, его ножом не разделаешь. Вот Худайдод-то на своем станке их тогда и пилил...

Платонов в ту пору шутейно звал его Богданом, потому что в переводе с таджикского Худайдод — это и есть Богдан: Богом данный. Самого Платонова в мастерскую привел отец. Приехали в середине дня. В углу двора росла старая урючина. Их усадили на кат, они долго пили чай, и с ветвей

урючины время от времени спускался червячок на сверкающей паутинке, норовя утопиться в чьей-нибудь пиале. Говорили по большей части о пустяках. Платонов помалкивал. Потом отец кивнул на него и сказал: «Худайдод, вот у сына к тебе дело есть...» Платонов достал из сумки завернутые в газеты камни. «Половина твоя, — сказал отец. — Сделаешь?»

Платонову не терпелось, и он пару раз приезжал смотреть, как идут дела. Худайдод занимался его аргонитами ближе к вечеру — должно быть, днем у него других забот хватало. Он неспешно закреплял глыбку, потом, косясь на камень с таким выражением, словно ждал подвоха, лез в карман обтруханного пиджака, извлекал табакерку *наскаду́*, по крупице вытрясал на ладонь толику насвоя... Когда он закладывал табак под язык, лицо у него становилось немного озадаченное. Потом запускал станок. Вода лилась на сверкающий диск и разлеталась брызгами. Худайдод щурился. Когда камень распадался на две части, он щелкал выключателем. Станок смолкал. Худайдод плевал в арык длинной зеленой слюной, снимал очки и спрашивал обеспокоенно: «Годится? Меравад?»

Может быть, ему было приятно общество Платонова, поскольку тот беспрестанно и совершенно искренне восхищался его способностью угадать наивыгоднейшие плоскости распила — те именно, на которых оникс начинал играть словно павлиний хвост. Когда работа была сделана, Худайдод разложил камни на столе, снял тюбетейку, погладил ладонью лысую голову и спросил, усмехаясь: «Ну что, делиться будем?» Платонов кивнул. Худайдод выбрал себе из полутора десятков образцов два симпатичных горбылька, и на этом дележка кончилась...

А сейчас он ехал туда, потому что помнил: кроме поделочного станка был и большой, промышленный. Стоял под навесом в углу двора. А раз был станок, стало быть, и камень был. А раз был камень, то, может, и сейчас есть. А раз есть камень, то, глядишь, найдется в развалах и подходящая глыба лабрадорита. Худайдод Платонова точно вспомнит! Не может не вспомнить! Платонов скажет ему: «Худайдод, отец год назад умер... Слышал? Ну, вот так... что тут сказать? Понимаешь, я уезжаю... Надо поставить хороший камень на могилу. Вот деньги. Поможешь?»

Он вышел на конечной. Со следующего поворота уже был виден Цемзавод.

Его серые от пыли сооружения громоздились по склонам холмов. С годами пыль превращалась в цементную корку. Корка покрывала голые ветви сухих карагачей, траву, камни, шиферные крыши ангаров, ржавые опоры грузового фуникулера... Люльки недвижно висели в синем небе, похожие на спичечные коробки. Раньше все это жужжало, двигалось, вагонетки, груженные глыбами мергеля, ползли по тросам. Ревели мельницы, превращая мергель в тонкий прах... И пыль неохватным серым облаком сползала понемногу вниз, на бурые предместья Хуррамабада...

Чистыми были только длинные цилиндры печей. Потому что прежде они медленно, но безостановочно вращались — словно карандаши, покручиваемые в ленивых пальцах. От них несло устрашающим, адским жаром. Он заметно струился над ними, даже когда все вокруг звенело и зыбилось от июльского зноя. Печи работали днем и ночью, и пыль на них не успевала слежаться... А когда печи встали, так замолкли и мельницы. Пыль не висела больше над Цемзаводом. Заснеженные вершины сверкали так, словно их только что посыпали алмазной крошкой.

Невдалеке от конечной располагался армейский блокпост. Дорога здесь сужалась, потому что на обочины были навалены бетонные плиты. У вагончика стоял гусеничный трактор — должно быть, его загоняли в проезд, чтобы окончательно перекрыть движение. Блокпост охранялся несколькими автоматчиками, и один из них, рассеянно поглаживая приклад, проводил Платонова неприятным взвешивающим взглядом.

Метров через триста он увидел большие зеленые ворота. Из-за ворот выглядывала крыша дома, шпалеры виноградника и та самая урючина, под которой когда-то они пили чай. Платонов подумал, что время от времени волшебная дверца в прошлое открывается — нехотя, со скрипом, но все же открывается: сейчас он войдет и увидит Худайдода, который стоит у станка и щурится, разглядывая свежий спил яшмы или пегматита...

Впрочем, вой работающего станка был бы слышен с дороги.

Платонов постучал.

Собаки не было.

Подождав несколько секунд, толкнул дверь.

— Э-э-эй! — закричал он в щель. — Есть кто-нибудь?

Тишина.

— Дар ин чо касе хаст-ми? — Платонов, как мог, перешел на таджикский.

Что-то брякнуло во дворе. Послышались шаги.

— Кого вам? — спросил подросток, хмуро глядя на Платонова.

— Мне Худайдода, — ответил Платонов. — Худайдод дома?

Когда дверь снова раскрылась, за ней стоял человек средних лет в бекасабовом чапане. Он вытирал руки грязной тряпкой. Брови его были вопросительно подняты.

— Худайдод? — встревоженно спросил он. — Вы кто, уважаемый?

— Да просто он мне когда-то камни пилил, — сказал Платонов. — Давно. Вы извините, если я не вовремя... У меня для него работа.

— Пройдите, — предложил человек, скованно улыбаясь. — На улице... э-э-э... неудобно, честное слово...

Платонов шагнул внутрь. Двор не изменился. Только домик, казалось, стал меньше. А тень от урючины — жиже.

— Азиз, чай принеси! — крикнул человек, все вытирая и вытирая руки.

В ивовой клетке, висящей на дереве, клекотнул кеклик.

— Ишь какой, — сказал Платонов, улыбаясь. — Боевой. А?

— Его нет, — ответил человек. Он поднес кулак ко рту и неловко покашлял. — Вы знаете, его нет, уважаемый.

— А когда? — спросил Платонов. — Когда мне зайти?

— Его не будет, — проговорил человек. — Он... э-э-э... умер, уважаемый... Полгода назад умер.

— Как это? — глупо спросил Платонов. — От чего?

Человек беспомощно оглянулся в сторону дома.

— За ним приехали, — сказал он, комкая тряпку. — Приехали... э-э-э... люди. На машине. Сказали: поедешь с нами, Худайдод. Он не хотел с ними ехать. Они заставляли. Он с ними ехал... И его стрелили вон там. Сквер за автовокзалом есть же? Там стрелили. Он мой брат.

Вздохнув, положил тряпку на кат.

И развел руками.

3

Отец болел давно, и это стало привычно. О недугах своих, отчетливо смертоносных, говорил брюзгливо, без уважения к самой болезни, с презрением. «Вот не знаю, что делать... — ворчал он, кривя не отошедшую после инсульта щеку. — Привязалась, дрянь такая...» И, махнув рукой, со вздохом тащился, пришаркивая подошвой левой тапочки, на балкон — покурить. Курить было нельзя, но и не курить, похоже, было нельзя. А что больше нельзя — никто точно не знал. Мать считала — курить. Отец — не курить. Сам Платонов полагал, что человек имеет право выбрать себе степень удовольствий и связанных с ними неприятностей.

Раза три отец ложился в больницу и, провалявшись три недели под капельницей, выбирался оттуда подлеченный. «Да ну их к чер-р-рту!.. — говорил он, улыбаясь немного наискось и мерно постукивая по столу левой ладонью, как привык с тех пор, когда ее разрабатывал. — Профессоришка этот, как его... Фарзоев... Где его учили, не знаю... Небось за пару баранов диплом купил, а потом и пошло — кандидатская, докторская... Благо народу под рукой — режь не хочу!.. Надо тебе, говорит, в бедренную вену катетер — и куда-то до самого сердца, что ли, хрен его не разберет!.. Каково? Ну ты сам посуди теперь, дурак он или нет? Тьфу!..»

Так и тянулось годами, и в конце концов то, что сосуды отказывают, что ноги болят, что курить нельзя, а ему хоть кол на голове теши, что мизинец на левой совсем плох, — все это стало такой же обыденной, невыдающейся вещью, словно старый анекдот за обедом или общая для всех, маячащая далеко за бесконечным радужным туманом смерть. И даже сама его мука тоже стала вещью обыденной и привычной...

А потом вдруг — ах!.. Он успел только посреди разговора удивленно поднести руку к груди, а понять смысл происходящего, как сказал врач, наверняка уже времени не хватило. И уже не нужно было искать лекарства и деньги... и трезвонить сестре в Краснодар, чтобы передала еще хоть бы три, ну хоть бы две литровых бутылки реополигликина (это и в лучшие времена было бы непростой задачей, поскольку отродясь не летали самолеты напрямик из Краснодара в Хуррамабад)... и ночевать в аэропорту, битком набитом беженцами и растерявшем все свои прежние свойства, включая даже расписание рейсов...

Все это мгновенно отпрыгнуло вдаль, как отпрыгивают горы, когда отрываешь от глаз бинокль, а на смену покатилось совсем другое: могила... бензин... гроб... нет бензина... нет досок... Включился Стрельников, сослуживец отца по Геолтресту... машина будет из Геолтреста, доски будут из Геолтреста, но бензина нет даже в Геолтресте... Три или четыре дня напряженных переговоров, поисков, результатом которых должны были стать несколько литров бензина и четыре доски... Заплатить бы за этот чертов бензин... купить канистру у торгашей на дороге — да таких денег тоже не было... Но все в итоге как-то устроилось: нашли доски... бензина в обрез... из морга ждали к одиннадцати... двенадцать... час... половина второго... городской транспорт переставал ходить часам к пяти, а ведь всем еще нужно было успеть добраться до дому, как муравьям до муравейников, — по крайней мере при последних лучах закатного солнца... Процедура грозила быть несколько скомканной... На фоне этой задержки сама смерть казалась событием незначительным; вот машина опаздывает — это да!.. Половина третьего... без четверти... В конце концов приехали... торопливое прощание... виноватые лица... кладбище... солнце... зелень... сверкание свежей листвы... лицо отца... следы бритья объяснимо неаккуратного, даже жестокого — ведь человеку уже не больно... тесно стоящие ограды, над которыми проносили залитый солнцем алый гроб... слова, слова, слова... шорох и стук комьев... Мать, по обычаю, рвала и раздавала куски какой-то ткани... и все, все, все, конец — тело осталось в земле, а они пошли пить водку... запускать поспешную суматоху поминок... А потом сумерки, начало быстрой весенней ночи... и привычная, как стрекотание сверчка, пальба в разных концах города, то ближе, то дальше: ба-ба-бах!.. ба-ба-бах!.. — вместо прощального салюта.

Все кончилось. Прошлое отступало, утрачивало цвета и объем, превращалось в набор черно-белых фотографий... Первые два или три месяца они с матерью каждое воскресенье ходили на кладбище. Потом как-то раз Платонов не смог. Потом настало лето, навалилась жара. Пришла осень, выбросила пыльные бурые флаги. Сердце уже не сжималось, когда он шагал к отцу по асфальтовой дорожке кладбища.

А теперь они уезжали. Они уезжали из Хуррамабада навсегда. Никто из них не рассчитывал вернуться. Они уезжали, а отец всегда был против этого. «Ну уж нет! — говорил он, кривя щеку и воинственно постукивая ладонью по столу. — Никуда я не поеду!..» Но теперь он лежит в могиле — и они уезжают... И Платонов никак не мог отделаться от мысли, что этот упрямец в конце концов остается здесь один.

К середине дня он кое-как добрался до площади.

На перекрестке продавали горячие лепешки. Платонов приценился было, но потом сунул руки в карманы и пошел своей дорогой.

Тихая улица, заросшая карагачами и чинарами, поднималась к кладбищу.

Он не знал, где еще в Хуррамабаде можно найти могильный камень. Он искал уже две недели — нет, больше! — и не нашел. Вот и мастер Худайдод уже не мог ему помочь...

Минут через десять он миновал кладбищенские ворота и двинулся по аллейке. Из открытой двери сторожки доносились голоса. Платонов замедлил шаг и, поколебавшись, заглянул внутрь.

Два человека, которые громко и быстро говорили по-таджикски, на секунду замолчали. Потом один из них сморщился и кивнул, указывая на стул. Платонов прошел и сел. Стул шатался. Они снова загалдели.

Тот, что был в белом пиджаке, говорил так быстро, что взмахи ладони безнадежно отставали от слов.

Второй человек был артист Калягин. Во всяком случае, если бы не твердая уверенность в том, что артист Калягин не станет сидеть в вонючей сторожке хуррамабадского кладбища, Платонов бы руку дал на отсечение, что это именно он.

— Фахмиди? — тараторил первый. — Сатторов ба Турсунов, Турсунов ба Киёмов, Киёмов ба Насруллоев, Насруллоев ба Расулов, Расулов ба Мирзоев! Фахмиди?

Артист Калягин обхватил голову руками и закачался, произнося протяжным басом по-русски:

— Е-о-о-о-о-о-о-о-о-моё-о-о-о-о-о!..

— Да-а-а... — удовлетворенно протянул человек в белом пиджаке, рассматривая артиста Калягина с таким выражением лица, словно тот был колбой, в которой пошла наконец долгожданная реакция. Потом вздохнул, перевел взгляд на Платонова, мельком улыбнулся, словно извиняясь, что не уделил ему внимания сразу, и вышел из вагончика.

— Добрый день, — сказал Платонов, немного поеживаясь от ощущения, что он забрел совершенно не туда, куда надо, и сейчас задаст очередной дурацкий вопрос. — У меня вот какое дело... простите, вам не говорили, что вы похожи на одного артиста?

— Сто раз говорили! — ответил артист Калягин, улыбаясь. На его круглом приветливом лице уже не было заметно даже тени отчаяния. — В театр звали работать! Я не пошел — э-э-э, что там делать?! — Затем протянул руку и весело представился: — Махмади!

— Платонов, — ответил Платонов, пожимая его маленькую, но твердую ладошку. — Вы работаете здесь?

Махмади с достоинством кивнул:

— Я главный инженер кладбища.

— О-о-о! — одновременно удивленно и уважительно протянул Платонов. Ему хотелось польстить. Кроме того, он и предположить не мог, что кладбище так похоже на завод: и тут и там нужен главный инженер. — Тогда вы, наверное, в курсе... Я ищу хороший камень. Весь Хуррамабад облазил — нету! Вы не знаете, где можно заказать?

— Э-э-э, практически невозможно, — сказал главный инженер. — Нигде не пилят. Рад бы... Но нету. В Хуррамабаде — нету. Кто имеет возможность, возит из Самарканда...

— Я не могу из Самарканда, — объяснил Платонов. — Я не успею привезти из Самарканда. У меня всего несколько дней. Я заплачу.

— Я понимаю, что заплатите. — Пожав плечами, Махмади взял сигарету. — Я не фокусник... Где я могу взять камень? Все остановилось! Ни одна мастерская не пилит! Да и пилить не из чего — не возят в Хуррамабад камень... Что я могу сделать? Где взять хороший камень? Хороший камень — это мрамор из-под Самарканда... да ведь еще сколько с ним возни! Пилить, полировать... еще фасочки... врезы... — Он поцокал языком. — Нет, не найдете...

— Мне мрамор не нужен, — сказал Платонов. — Мне нужен лабрадорит. Знаете? Черный такой, с фиолетовыми блестками... И фасочки мне не нужны.

— Как же без фасочек! — изумился Махмади. — Это разве камень — без фасочек!

— Не нужно, — убеждал Платонов. — Можно только одну сторону отполировать. Даже еще лучше — только одну сторону. Понимаете? Пусть это будет похоже на дикий камень. На горы. Понимаете? Небольшую плоскость, чтобы сделать надпись, — и все. Больше ничего не надо. Мы его поставим вот так... — Он вертикально поднял ладонь. — Это будет хороший камень!..

Махмади задумчиво выпустил струйку дыма.

— Не знаю... Не пилить? Ну, если не пилить... Видите, уважаемый, каждый человек своего хочет... Вам вот какой камень нужен... понятно. — Он покачал головой. — Ко мне пришел недавно один... тоже отца похоронил. Таджик. Говорит: дай мне письменное разрешение, что я могу на могиле построить кирпичный мавзолей! Зачем тебе разрешение? Все строят на могилах мавзолеи! Всякий, у кого есть два десятка кирпичей, строит на могиле мавзолей! Строй, пожалуйста! — Он с чувством стряхнул в жестянку пепел. — Нет, дай ему разрешение — и все тут! Неделю ходит, другую... Под дверью сидит... И все ко мне! К директору не идет. Знает, что с директором не поговоришь! Ну, в конце концов я не выдержал — дал ему разрешение! Письменное! Через неделю прохожу по тому участку — во-о-о-ой! Этот паразит построил мавзолей — жить можно! Две семьи можно поселить! Я к нему! А он: вот, говорит, у меня разрешение! — Махмади прыснул. — Вот так, уважаемый... Ладно. Я вижу, вам надо помочь. Есть одно место. Можно поехать посмотреть...

— Когда? — спросил Платонов.

Главный инженер большим пальцем передвинул тюбетейку вперед и почесал лысый затылок.

— Послезавтра.

— А сейчас нельзя?

— Сейчас? — удивился тот.

— И сколько это будет стоить? — спросил Платонов.

Махмади пожал плечами.

— Кто знает сейчас, какая у чего цена. Все перевернулось... Теперь люди платят за работу не то, что она стоит, а сколько могут заплатить... Сколько вы можете заплатить, уважаемый? — поинтересовался он.

— Двести, — сказал Платонов.

Сказал — и пожалел. Надо было сказать — сто. Может, сто — это и есть цена?

— Двести... — разочарованно повторил Махмади и пошевелил губами, что-то расчисляя. — Сам камень... да привезти... да поставить... стяжку нужно делать... цемент... Двести... Хоп, ладно! Майли! — Он хлопнул обеими ладонями по столу и привстал. — Двести так двести. Рафтем?

4

Автобус трясся и прыгал на колдобинах.

Платонов смотрел в окно, думая о камне... о камнях... и вдруг вспомнил, как однажды ему довелось наблюдать жизнь добытчиков мрамора... Отец забросил его порыбачить в верховья Ягноба. Места были дикие, пустынные, машина ковыляла, переваливаясь с валуна на валун. Добравшись до задуманного места, они, к своему удивлению, обнаружили вагончик, в котором жили два бородатых жилистых мужика, назвавшихся каменотесами, хоть правильнее им было бы именоваться каменоломами. «Вот и ладно, — сказал отец. — В компании веселей». Платонов поставил палатку рядом. Честно сказать, ему было неловко бездельничать рядом с ними. Он спозаранку, по холодку, уходил за форелью. А каменотесы день-деньской торчали на солнцепеке, выбуривая очередную глыбу. Выходы камня были метрах в ста пятидесяти над дорогой — на довольно крутом щебенистом склоне. Жара стояла дикая. На каждый блок тратилось несколько дней тяжелой работы. Спустившись вечером к реке, они первым делом выпивали по ведру воды. Потом ставили на огонь два ведра супа: их испепеленные организмы могли потреблять только жидкую пищу...

Но поразительна была не физическая выносливость, а тот оптимистический фатализм, с которым они принимали решение судьбы. Именно судьбы, потому что никакое мастерство роли здесь уже не играло: когда глыба была выбурена и выколота, они наваливались ломиками и пускали ее под откос... Глыба катилась к дороге. Она летела с грохотом, с ревом — эхо испуганно шарахалось аж к дальним хребтам; она падала, ломая кусты, стуча по скалам и брызжа крошками мрамора. А те двое, похожие на сухих богомолов, стояли наверху, оперевшись на перфораторы, и безучастно следили за ее полетом... Более или менее благополучно скатывалась каждая четвертая, остальные расшибались вдребезги. Когда Платонов уезжал, весь склон был усеян битым мрамором. Машина должна была вернуться на рудник, и Платонов спросил каменотесов, не прислать ли чего попутно из города. Поразмыслив, они ответили, что им бы не помешала еще парочка эмалированных ведер...

Платонов смотрел в окно и думал, усмехаясь, что уж ему-то известно, каково это — добыть хороший камень.

Но ведь должно хоть немного повезти!..

Они доехали до девятого километра, вышли и двинули куда-то влево — наискось и вверх, в зеленые холмы, за которыми голубели заснеженные горы.

Асфальтированная дорожка тянулась мимо пятиэтажных домов, косой гребенкой поднимавшихся друг за другом. На балконах висело разноцветное тряпье, а у подъездов кричали и гонялись друг за другом дети.

— Тут недалеко, — объяснил Махмади. — Недолго.

Скоро они свернули с дороги на тропу. Тропа забрала еще круче на склон холма, а ряды сгоревших гаражей остались слева. Весенний ветер качал облупившиеся, черные, каленные огнем створки ворот, и они уныло и многоголосо скрипели.

— Война, — пояснил Махмади. — Видите? Что сказать!

— Сам не знаю, что сказать, — буркнул Платонов.

Остаточный шум города быстро отставал и гас. Вместо него возникал шелест ветра, теребящего кустарник, журчание воды, струящейся в кювете. С водораздела тянуло запахом травы, сырой глины, снега.

Тропа бежала дальше, и уже ничего не осталось от города, кроме близкого дымного облака, неожиданно быстро скрывшего кварталы лежащего внизу Хуррамабада. И вдруг Платонов почувствовал опасность.

— Махмади, — настороженно сказал он. — Мы куда идем-то? А?

— Куда? — удивился Махмади. — Что значит — куда? В мастерскую мы идем, уважаемый! В цех! Вон, видите? Белый домик видите?

Платонов прищурился.

— Ну и что? — спросил он хмуро. — Ну, вижу... Что вы мне голову морочите? Какой там может быть цех? Вы чего?

— Каменный цех, — обиженно сказал Махмади. — За холмом. Спустимся — и все. А если по дороге — это от самого Путовскоабада заезжать надо... Понимаете?

Он простодушно улыбался.

Горы стояли устрашающе близко.

— Ну, не знаю, — обреченно сказал Платонов. — Хорошо, ладно... Хоп, майли. Пойдем.

Он шел и думал о том, что, по идее, убивать его, в сущности, не за что. Да и не похож этот главный инженер на убийцу... А Худайдода было за что? Платонов искоса посмотрел на Махмади. Нет, не похож. На артиста Калягина похож. А на убийцу не похож... За что убили Худайдода? Ведь не побили, не ограбили — убили! посадили в машину, отвезли... спасибо еще, что отвезли, а не на глазах у детей... и застрелили. За что? Может быть, задолжал? Да вряд ли — человек пожилой, семейный, с чего бы ему пускаться в авантюры?.. В политику полез? Тоже нет — какой из него политик!.. Просто досадил кому-то? Досадить легко кому угодно — соседу... знакомому... но разве за это убивают?.. Он снова покосился на Махмади — ну вылитый Калягин! А там — кто его знает...

Похож на убийцу, не похож, а все же Платонов старался идти отставая на пару шагов — чтобы Махмади все время был на глазах.

Через десять минут они поднялись на первый водораздел — и он с облегчением понял, что все так и есть, не врал главный инженер: внизу, в широком устье сая, по которому бежал ручей, стояли коричнево-красные ангары. Мостовой кран даже отсюда выглядел ржавым.

— Не спешите, — сказал Махмади, останавливаясь. — Что за машины... — пробормотал он. — Кто такие?

На площадке перед цехом стоял грузовой «ЗИЛ», открытый армейский «УАЗ» и черная легковушка.

— Иномарка, — определил Махмади. — Большие люди приехали!

Грузовик пустил клуб голубого дыма и подъехал задом к воротам ангара. Послышалось скрежетание тельфера. Из ангара показались несколько военных. Вслед за ними выезжал на цепях поблескивающий полированными гранями длинный камень.

— Мрамор, — негромко заметил Махмади. — Хороший камень. Белый.

Трое солдат, оставив оружие, забрались в кузов. Тельфер скрежетал, камень опускался.

Опустился.

Высокий человек в черном костюме и шляпе что-то указывал тем, что стояли в кузове. Они закрепили камень и спрыгнули.

Тельфер пополз назад в ангар.

— А, вон Садыков, — пробормотал Махмади. — Начальник цеха.

Садыков и человек в черном костюме долго жали друг другу руки. Когда рукопожатия кончились, человек в черном костюме повернулся и пошел к своей легковушке. Садыков что-то сказал вслед. Человек в черном костюме походя отмахнулся. Все захохотали. Садыков ораторским жестом протянул руку и стал горячо говорить. Человек в черном костюме приостановился, поворачиваясь. К Садыкову уже подбежали несколько вооруженных; через мгновение он упал и сложился пополам. Его неторопливо били ногами. Из ангара, остервенело крича и размахивая какой-то железякой, выбежал щуплый человечек в комбинезоне — должно быть, тот, кто управлял тельфером. Сделал он это напрасно, потому что его тут же повалили и взяли в сапожки. Человек в черном костюме нетерпеливо прикрикнул. Го-

гоча, вооруженные стали рассаживаться в «УАЗ». Грузовик разворачивался на площадке. Садыков лежал скорчившись. Щуплый кое-как поднялся, сделал несколько нетвердых шагов и опустился возле него на колени. Дверцы иномарки захлопнулись. Первым двинулся «УАЗ» с автоматчиками. Следом — иномарка. Грузовик скрылся за поворотом последним.

— Во-о-о-от... — протянул Махмади. — Хорошо, что мы опоздали... а, уважаемый?

— Да уж, — сказал Платонов, сглатывая слюну. — За что их?

— Сейчас узнаем... — сказал Махмади и вздохнул: — Надеюсь, они не вернутся.

Когда подошли к ангару, Садыков стоял закинув голову и прикладывал к носу мокрую тряпку.

— Во-о-о-ой! — сказал Махмади. — Что сделали, а?

Садыков сдавленно выругался.

Щуплый пожал им руки.

— От кого попало, Саня? — спросил Махмади.

— Замначальника ГАИ, — ответил тот, с отвращением сплюнув на землю. — Ишь сука какая...

Садыков что-то неразборчиво промычал.

— Я и говорю — суки, — повторил Саня. — Ишь чего... У него брата убили. Тоже, наверное, бандюга порядочный... Позавчера примчались — так и так, срочно... по высшей ставке! Мол, не обидим... Ну, был у нас один хороший камень в заначке... Берегли на крайний случай. Фрезу последнюю Садыков решил потратить... ради такого-то дела! Два дня уродовались. Сделали — игрушка, а не камень! А они вон чего... Не заплатили, сволочи.

И снова сплюнул.

— Зачем ему тебе платить, — прошамкал Садыков. — А, Махмади? Зачем им платить, если и так можно взять? Они же — власть!

Он отнял тряпицу от носа.

— Во-о-о-о-ой, что делается! — сказал Махмади. Он сел на камень и обхватил руками голову. — Что делается!.. Озверели! Беспредел!

— Даже Махмади говорит: беспредел! — неожиданно насмешливо заметил Садыков, рассматривая сгустки крови на тряпке. Он поднял кверху палец: — Махмади, который заведует кладбищем и имеет дело исключительно с мертвыми! Что уж говорить о живых!

— Разве на кладбище лучше? — обиженно возразил главный инженер. — На могилах баранов стали пасти! Ты понимаешь? Кому приятно, что на могиле баран пасется? Ты траву посадил, да? цветок посадил... а он пришел и все съел! Я сторожа спрашиваю: почему опять баран? почему не гонял? А он мне в ответ: Махмади, ты хочешь, чтобы меня убили? Я, говорит, стал гонять, прибежал человек вон оттуда, из кишлака... вынул из кармана пистолет: будешь гонять моих баранов, я тебя убью! Это, кричит, все равно русские могилы, они тут никому не нужны!.. А? Что, не беспредел?

— Да конечно! — рассмеялся Саня и закашлялся. — Конечно! Кому нужны?! Никому не нужны!

— Не-е-ет, так не надо говорить! — Махмади покачал головой. — Кто бы раньше мог так сказать?! Язык бы не повернулся! Как это — не нужна могила, если ты сам в такой будешь лежать?! Русский не русский, таджик не таджик — все в одну землю ложатся! — Он в сердцах нахлобучил на лысину тюбетейку. — Ну им самим-то все равно ведь хоть какой-нибудь порядок нужен будет, а? Сами когда-нибудь в могилы лягут! Ну что ж они делают!..

— Порядок... — сказал Саня. — Какой порядок?.. Скажешь тоже — порядок... Раньше мы тут в три смены работали... камень нам из Нурека возили... шестьдесят человек пахало... а теперь я да Садыков — вот и весь

цех. А!.. Пилить-то все равно нечего. Ты иди ищи... — он махнул рукой Платонову, — может, найдешь чего. Тут черта можно найти, если покопаться...

Платонов поднялся и стал бродить вокруг руин цеха, разглядывая обломки в надежде выискать подходящий. Ничего подходящего не попадалось. Заглянул в ангар. Там стояли огромные станки — величиной с одноэтажный дом. Насосы не работали, но все-таки где-то журчала вода. Он прошел гулкое помещение насквозь. После полумрака ангара солнце казалось гораздо ярче. Тут тоже валялись камни — большие, величиной с грузовик... поменьше... мелкие обломки... Он разглядывал каждый, пытаясь представить, что из него можно сделать. Все не то, не то...

Его не торопили. Когда Платонов подходил ближе, до него доносились голоса: мягкий — Махмади, скрипучий — Садыкова, хриплый — Санин. Слов он не разбирал. Махмади сидел подперев голову. На разбитом лице Садыкова застыло выражение угрюмой решимости. Саня курил, и табачный дым задерживался в его щетине. Саня был похож на истощенного бронзового Будду.

— Я нашел, — сдержанно сказал Платонов. — Вон там.

— Да ну? — удивился Махмади.

— Лабрадорит!

— Лаблабурит? Э-э-э-э. — Саня безнадежно махнул рукой. — Да ты чего! Это ж не мрамор! Лаблабурит!.. Не-е-е-е, лаблабурит не упилишь.

Садыков с сожалением кивнул.

— Нечем, — подтвердил он. — Не можем.

— Его пилить не надо, — сказал Платонов, ликуя. — Он готовый!

5

Они сидели на косогоре.

Солнце клонилось к закату. Когда оно выпутывалось из тонких пелен розовых облаков, кудрявые разнородные деревья кладбища (стекавшего все ниже к долине — туда, где мутнела бурая туча угрюмого Хуррамабада) просвечивались насквозь и казались вызолоченными. Над головой шелестела ярко-зеленая листва молодой акации; сиреневые соцветия иудина дерева, облепившие голые безлистые ветви, казались неправдоподобно яркими на фоне пенистого кружевного неба.

Вчера провозились до самого вечера. Саня и Махмади, обследовав камень, готовность его единодушно признали недостаточной. Дернули тельфером в ангар, в полировальный цех. Платонову Саня вручил большое ведро — чтобы лил воду тонкой струйкой на жужжащий диск. Сам стоял за рукоятями, щурился, налегая то вправо, то влево, чтобы диск елозил по всей поверхности. Крохи зеленой полировальной пасты он время от времени с матюками выскребал палочкой из пустой банки — со стеночек. Жужжали часа три, пока Саня, морщась, не признал, что вот так уже *больменьзурно.*

Снова тельфер — теперь к закрепленному горизонтально на полозьях перфоратору: высверливать в основании камня гнездо под арматуру.

— Готовый! — хрипел Саня, налегая на вибрирующий перфоратор. — Готовый! Его еще готовить и готовить! Это ж лаблабурит! Хуже него — только габбро! Это тебе не мрамор! Мрамор бы уже насквозь прошли!.. Не, ну ты гляди, а! Конечно, у него по шкале Мооса твердость шесть! Лей воду-то, лей!..

И опять тельфер, опять скрежет, опять опасное раскачивание на цепях...

В гравировальной Саня выкладывал латунные плашки с буквами, часто переспрашивая Платонова: «Так, что ли? Так? Ты смотри! Порежем — потом не заполируешь! Вечная история! То имя перепутают, то фамилию!..

Так, что ли?» Платонов, нервно поглядывая на блестящую черную, без единой царапинки поверхность, под которой блуждали сочные фиолетовые огни, без конца повторял про себя: «Платонов Юрий Александрович... Платонов Юрий Александрович...»; шевеля губами, букву за буквой раз за разом проверял набранный текст. «Смотри! — напрягал Саня. — В случае чего — не поправим! Это намертво!» Наконец заработал станок, и шарошка пошла по камню, повторяя очертания латунных букв...

Рано утром Махмади погнал туда трактор. Платонов ждал у ворот кладбища. Часам к десяти привезли блистающую на солнце глыбу. Коекак, едва не поуродовавшись, спустили ее с «Беларуси», положили на землю возле переплетения оград и ветвей. Потом, орудуя черенками от лопат, хрипя и мешая друг другу, вздымали по бесконечному крутому скользкому склону, по узким проходам между тесно стоящими оградами. Камень вырывался из рук, кренился, норовя обо что-нибудь ушибиться полированным боком. Позволять ему это — боже сохрани! — было никак нельзя, но однажды он по вине Платонова все-таки почти упал на острый угол стальной ограды — и тогда Саня подставил ногу и долго затем шипел и матерился, растирая ладонями голень. В конце концов они доволокли камень до нужного места... потом таскали песок, цемент, кирпичи... Возились с раствором, стяжкой... прилаживали арматуру...

Теперь солнце садилось, камень крепко стоял, а к утру цемент должен был схватиться вмертвую, и Махмади утверждал, что после этого памятник уже никакими силами не своротить с могилы.

Они сидели на косогоре, и все, что Платонов предусмотрительно захватил с собой утром из дому, было разложено и расставлено на вчерашней газете.

— Нет, хороший камень, хороший... Вообще, черный камень больше любят, — толковал Саня. От водки он как-то расправился, даже глубокие морщины справа и слева от носа чуть сгладились. — Черный камень есть черный камень. Черный камень, он тверже. Его работать приятней. Мрамор-то ведь что? Мрамор-то ведь чуть что не так, он крак — и готово, волоки на свалку! Потому что трещины в нем бывают. Так-то вроде не видно, а распилил — и развалилось. Особенно если просят тонкий... у-у-у-у, это вообще! Не напилишься! — твердил он свое, и пепел с чадящей сигареты падал куда попало.

Махмади тоже был доволен и расслаблен. Когда камень встал на свое место, Махмади вдруг утратил говорливость — может быть, признавая тем самым, что Платонову больше не нужны слова.

— Как я его заметил... — Платонов блаженно улыбался и преданно смотрел то на Саню, то на Махмади. — Не, я просто иду вот так... Гляжу — вроде как лабрадорит! Грязь смахнул — точно!.. Здорово мы его поставили, а! Здорово! Я вот так именно и хотел! Вот именно так!.. Именно так!.. Так что спасибо вам, — сказал он, вздохнув. — Спасибо. Давайте помянем отца напоследок... чего уж... И всех.

Солнце скрылось, и розовые лучи разбежались из-за горизонта веером по сиреневому небу.

Они неторопливо спускались по дорожке вниз, к выходу.

Платонов шагал молча. Он испытывал сладостное успокоение. Ему хотелось без конца повторять про себя: и как это я его углядел? как я его углядел? Вот ведь знал, что должно повезти, — и повезло! Камень лежал плашмя, оперевшись краем о какой-то обломок. Видимая его сторона была бугристой, грязной... Платонов прошел бы мимо, да вдруг упал на камень луч, как будто расчетливо направленный чьей-то заботливой волей, — и сверкнула фиолетовая вспышка!

— Что? — переспросил Платонов, невольно оборачиваясь.

Нет, никого не было за спиной.

СЕРГЕЙ ЗОЛОТУССКИЙ

*

У БЕЛОЙ СТЕНЫ

Герань

Герань на окне моем вовсе не символ мещанства,
То знак путевой, то российского фетиш пространства,
Смотрящий с косых подоконников в окна вагонов
В грохочущем сне деревенек пристанционных.

...И рябь на экране, опять телевизор контужен,
И делим мы с матерью скоро сготовленный ужин,
Незряче уставившись в жизни прожорливый ящик...
Ах, раньше была эта каша и гуще, и слаще!

Темнеет стремительно или уносится время?
Огни зажигает несметное смутное племя,
И в общем свечении явлен подлунному миру
Цветок родовой из окраинной нашей квартиры.

Но тронешь герань — бесприютный почувствуешь запах, —
Как лев геральдический, вставший на задние лапы,
Грозится когтями она нераскрытых соцветий
В последнем ряду уходящего тысячелетья.

Жалобы Буратино

Начинил меня шарманкой мастер сдуру,
Всю испортил моей жизни партитуру!
Ключик повернешь во мне торчащий —
Оживу я — деревянный, говорящий...

Хватят зубчиком за зубчик шестеренки —
Тянут проводочек медный, тонкий...
И качаю я печально головою,
И цветы шарнирною рукою
Предлагаю... только слышно скрежетанье:
«До свиданья!.. Здравствуй!.. До свиданья!»

Вкривь и вкось пружинки да гвоздочки?
Передачи, наковальни, молоточки?
Механизма самодурные причуды...
Ни к чему они совсем и ниоткуда!

Лучше б с места не сходя остаться древом,
Шелестеть бы шалопаям угорелым —
Чистое одно дарить дыханье,
Осеняя встречи и прощанья.

* *
*

Первомай прошел и День Победы —
По брусчатке гусеничный ход,
Тем смелей, нежнее руки Леды,
Цвет сирени звездчатый, как лед.

Здесь над Яузой гнилой и вдоль погоста
Пар вибрирует, насыщенный быльем,
Распирает буднично и просто
Городской больничный окоем.

Зелень поднялась — вся ниоткуда!
Над пересыхающей рекой
Выползки, как бледные сосуды,
Вожделеют влаги дождевой.

...Гром рокочет слева, сверху, справа,
Крупного калибра грянул град!
Страсть берет за горло величаво,
Словно бронетанковый парад.

* *
*

Все мы ляжем костьми,
кто за правое дело, кто просто так.
Все, кого видел — не видел,
встретил — не встретил.
Целое поколение ляжет... канет во мрак!
С незначительной разницей в десятилетье.

Птицы не сеют, не жнут — именно так! —
Зависти вовсе не зная черной и белой,
И тонкие пальцы сжимаются в жесткий кулак,
Что небу грозит и требует правого дела.

Вот уж в ловчую сеть заплетается тонкая нить...
Становись на крыло, улетай поскорей, Ариадна!
Ведь у нас коль любить — значит, жизни своей не щадить,
Слышишь? — Именно так! — Милосердие здесь беспощадно!

Отдирая ржавую кровлю,
находишь хрупкий скелет...
Когда ж ранят ладони торчащие гнутые гвозди —
«Нет, — восклицаешь ты, пьешь свою кровь,
вновь повторяя: — нет!
Вон уже вечной весной
пахнет дымящийся воздух!..»

Что есть истина?

Занавесь никнет в открытом окне,
Белая лошадь на фоне белой стены,
Да еще двое стоят в стороне...
(Вижу как будто со стороны.)

Спит кипарисная эта страна!
Слабую плоть — виноградная плеть
Здесь ублажает... и чаша полна!
Но одному из двоих — умереть...

...Марево, море, осколки стекла,
Скулы и губы давно запеклись...
Может, и души нам здесь обожгла,
Словно керамику звонкую, — высь?

...Пыль на сандалиях... Что же сказать?
Так много света, что тени встают,
Так много жизни, что время опять
Остановилось на самом краю.

...Так и стоим мы — ослеплены...
(Вот и вся истина — солнце в глаза!)
Где виноградная дремлет лоза,
Белая лошадь — у белой стены.

ЛАРИСА РУМАРЧУК

*

В ЛЕДЯНОЙ ГЛАЗОК

* *
*

Если от того комка плоти,
который мы называем жизнью,
отсечь сухие ветки скуки,
опухоли болезней,
метастазы тоски,
если срезать все это,
как ненужную бумагу
вокруг контура предмета
(так в детстве,
орудуя ножницами,
высвобождали из плена листа
домик или человечка),
то останется
совсем маленькое зернышко,
похожее на семечко,
затерявшееся
в пыльных складках кармана.

* *
*

Этой ночью мне приснилось:
к дому, сквозь лесок,
ты с бидоном керосина
шла наискосок.

Не одета, не обута,
голая почти,
шла и шла и почему-то
не могла дойти.

Что-то ныло и томило.
Март вступал в свой срок.
За тобою я следила
в ледяной глазок.

Бабушка и внучка

— Бабушка, бабушка, что это белое
бьется в руках у тебя?
— Курица, внученька, вот оголтелая,
перья как будто репья.

— Бабушка, бабушка, где же ты курицу
прямо живую взяла?
— Да у метро, на Каляевской улице,
тетка одна продала.

— Бабушка, бабушка, что же мы сделаем
с курицей этой, скажи?
— Сварим бульончика; крылышко белое
внучке. Насыпем лапши.

— Бабушка, как ты сказала — «бульончика»?
Да ведь живая она.
— Ладно, пускай поживет на балкончике.
Может, снесется... Весна!

— Бабушка, клюв у нее как у коршуна!
Бабушка, кровь на снегу!
— Внучка, беги, да скорее! Ах, боже мой,
больше держать не могу.

— Бабушка, ты не живая, я вспомнила!
— Глупости, ересь совсем.
— Бабушка, птицу из царства загробного
ты принесла. Но зачем?

— Не приносила! Живые — незрячие.
Как вас, слепых, уберечь?
Курица-коршун — твое настоящее.
Сбрось его, внученька, с плеч.

* *
*

Сбиться в стаю, сбиться в стаю,
чтоб крыло в крыло,
светлой ночью пролетая
снежное село.

Средь построек равнодушных,
вставших словно рать,
тень родимой развалюшки
сердцем угадать.

Может, кто-то и засветит
пыльное окно.
Но скорее в снег и ветер
будет нам темно.

Над картофельной ботвою
(в осень не сожгли)
пролетим, тоскливо воя.
Слышно ли с земли?

АНТОН УТКИН

*

СВАДЬБА ЗА БУГОМ

Повесть

Если шагать по-над Бугом православным берегом в сторону Домачева (если, конечно, вам случится шагать в тех местах), непременно дойдете до деревни Рогозно. Дорога вам ляжет болотами, а то полями, словно поседевшими от гречихи, позолоченными пшеницей или выбеленными просом. Между ними, как полинявший уж, медленно ползет мутный Буг, и согбенные ивы своими распущенными прядями мягко скользят по глади воды.

Дальше не миновать старинного брода; здесь облысевшие берега исты-каны коровьими копытами, измяты скрипучими колесами возов. Поверх этого теста желтеет или клок соломы, или кучки пшена, неровными бусами просыпавшегося из дырявого мешка. На той стороне откроется монастырь, голубыми облезлыми куполами глядящий в небеса.

У брода дорога пускает три побега: самый истоптанный тащится на тот берег, в Польшу, полукружием огибая деревянную белую стену монастыря, от него еще один, поменьше, упруго взбегает по пригорку к низким монастырским воротам; второй уводит дальше по берегу к мосту, а третий парой светлых песчаных лент теряется в сосновом лесу. Это и есть Олендарская дорога, по которой издавна шляхтичи ходили на Русь. Тут же, на развилке, и прочный дубовый крест саженей в пять осеняет бездумное блаженство природы.

Так и тянется дорога, в колеблющихся узорах дымчатых теней, под кронами огромных сосен, которые говорят с небом, царапаясь в облака крепкими иглами, а в ясную ночь дорога эта мерно переливается, посеребренная лучами луны. Вдруг лес расступается, и снова начинается поле, тут и там украшенное васильками, а посреди него гордо вздымается могучий дуб, увязший в разноцветье, широко, вольно разбросивший свои узловатые старые ветви. У его подножия шумит рожь, трется о его корявые бока и, повинуясь ветру, бежит от него волнами в разные стороны, подступая под самую опушку. Дорога теперь прижалась к непроницаемому окоему стволов и, как будто река, подчиняясь всем причудам русла, изгибает свой упругий стан, но, распрямившись, снова устремляется в нервную, трепещущую лесную тень.

Временами деревья раздаются редкими проплешинами, изредка мелькнет крохотное озерцо. Черная вода застыла в *ковбанях* и, как взгляд старика, не отражает неба. А на бережках, заросших сплошной малиной, у самой стоячей воды, словно замшелые камни, неподвижно лежат черепахи и только мигают выпуклыми задумчивыми глазами.

Потом попадаются полянки побольше, кое-где уставленные древними пчелиными колодами, а иногда эти серые колоды повисают в девственных изгибах молодых сосен. Дальше пошли хутора, и уже рукой подать до села; дорога петляет между лоскутными одеялами огородов, расползается

на тропинки, ныряет в низины, взбирается на возвышения и так, вразвалочку, впадает на главную улицу.

В летний день тихо на Олендарской дороге. Проскрипит телега несмазанной осью под чертыхания возницы, понукающего разморенную жарой лошаденку, или полусотня казаков, заброшенная сюда с хмельного Дона дремучей волею царя, огласит окрестность такой молодецкой песней, что воздух над обочиной задрожит, словно струна бандуры. Или звоны монастырских колоколов далеко разбегаются на просторе и еще раз отдаются издалека деятельным покоем и истомой июньского утра. В такой день звуки без труда находят путь наверх и легко утопают в небесных глубинах.

Или с Куптия, где раскинул свой темный шатер суровый дуб, разольются столь дивные песни, что даже казаки примолкают на минуту и, держась за пики, оборачиваются в высоких седлах, стараясь разглядеть неведомого певца, и слышно, как глухо рассыпается под копытами податливый песок дороги. Они роняют на грудь чубатые головы, и щемит у них сердце, и хочется им домой.

Кажется, то ангел Божий слетел с сияющих высей и славит земную благодать и вторит прелести мира легкими звуками серебряной трубы своей. Солнце, будто от избытка сил, валами перекатывается по небосводу, подминая нежные облака, и наполняет все так, что не поймешь, где остаются эти звуки — в безбрежном пространстве неба или смешиваются с самим светом, рассыпаясь на тысячи золотистых брызг.

Этот чудный голос доверчиво купается, переливается в солнечных лучах, звенит и кропит радостью и людей, и растения, а то вдруг оборвется, как нить на прялке, и затоскует об ушедших временах и наполнится такой неподдельной грустью, исполнится такой неизъяснимой печали, что случайный прохожий невольно остановится и, зачарованный, долго будет сидеть на теплой траве, вглядываясь в темную крону старого дуба. И слышится людям в этом далеком голосе вся правда времен, и когда этот голос внезапно сорвется, как капля, или нитью истончится в голубой лазури, тогда старики, опершись на палки, только качают седыми головами и сбрасывают слезы шершавыми ладонями и еще долго стоят так, вперив перед собой застывшие взгляды, а молодые задумчиво следят, как ветер расчесывает рожь невидимым гребнем.

— Ой, доченька, ох, серденько мое, — приговаривают тогда старухи темными провалами ртов, — почто же ты спеваешь такое грустное? Будет жить тебе тяжко.

— Кто поет это? — спрашивает какой-нибудь проезжий.

— То Евдося, дочка Иосифа и Марины из Рогозной, — отвечают ему и идут дальше, осторожно ступая по обманчиво мягкой песчаной дороге, оглядываясь на дуб.

В его густой тени, на высоком пне, стоит девушка и плетет венок из полевых цветов. Иногда она отрывается от работы и вскидывает быстрый взгляд на коров, лениво бредущих в траве. Она прислушивается к приглушенным жарою звукам их колокольцев и запевает снова. Сначала она поет негромко, потом песня выбирается на раздолье, к солнцу, и гуляет вместе с ветром над травами, а потом исходит глубиной, а проворные пальцы забываются вместе с ней и то и дело ломают хрупкие стебли лютиков. Старый дуб ласкает ее, как внучку, прохладой своих натруженных ветвей; весело и свежо у ней на душе, когда она видит море золотистой ржи, зеленые пятна лугов, светлую полосу дороги, по которой едут и едут телеги и возы и шагают разные люди, и, завидя путника, она вся отдается любимой забаве.

Утром ее песни звонки, она кладет их в мир лучезарным приветом, но когда светило начинает клониться, дугой проскользив по утомленному небосводу, в памяти возникают другие песни, и прелесть уже не плещется,

не переливается через край ликующей чаши, а тихо колышется в такт отходящему дню. Девушка спрыгивает с пня и торопливо погоняет коров засохшей за день ольховой веточкой, стараясь дотемна дойти до своей Рогозной. Сумерки падают на лес, она ускоряет шаги, боязливо косится на зловещие круги ковбань и чурается нависших над дорогой изломанных коряг. Еще мелькают между стволами осколки заката, шумно фыркают коровы мягкими влажными губами, а на *дрягве* уже занялись жабы, и хищная неясыть оглашает мрак жуткими воплями.

Дорога смутно белеет в полумраке. Евдося было запевает, но на быстром ходу голос дрожит, и ее пробирает безотчетный страх. Вместе с выползающим из лесных щелей туманом навстречу ей наплывает дымок, пуща смыкается за спиной островерхой черной аркой, над рваным ее краем проступила первая бледная звезда, дорога стряхивает с себя шорох последних шагов, и снова тишина растекается на много верст вокруг.

Той весной Семен стал ездить по Олендарской дороге из-за Буга за лесом. Жил он на польской стороне, в Бродятине, со стариком отцом и набожной незамужней сестрой, да и сам, хотя считал за собою уже тридцатый год, ходил не женат. А пожалуй, не было на Побужье завидней жениха: на оба берега точил он прялки, ладил сохи и мастерил все подряд. Росту в нем было около трех аршин, а волосы — как лен. Многие девушки засматривались на его русую голову, и не одной мерещилось в томительных снах, как нежно прижимает она ее к своей груди. Но Семен давно уже не водился с молодежью, не ходил на хороводы, а вечерами сидел у своей хаты и под писк комаров строгал какую-нибудь затейливую вещицу. Шли ли девки на вечерки — поравнявшись с его хатой, примолкали и только шептались, а едва миновав плетень, разражались смехом и шутками. Долго еще в темноте звенели их чистые голоса, и Семен провожал их улыбкой, а то откладывал свою работу и прислушивался к удаляющимся смешкам и песням.

Старый отец его хмурился, глядя на сына. «Ровно дед какой, — бормотал он, — что за притча бобылем жить?» — но Семен отмахивался когда со смехом, а когда и нахмурив брови.

Богомольная сестрица втайне держала сторону брата, хотя и ей самой не были вполне понятны причины подобного целомудрия. Многое из того, что обычно радует людей, казалось ей страшным, несмываемым грехом, и она жила строго и замкнуто. Сестра эта отличалась суровой, неприступной красотой, на люди выходила только молиться и то и дело являлась в монастырь, где пела в хоре с благочестивыми монашенками. Многие годы мучилась она тяжелой грудной болезнью и, несмотря на свои молодые лета, уже приготовила себе погребальные одежды и умолила брата выстрогать дубовую *труну,* которая бережно хранилась до приличного часа, словно была не гробом, а мельничным жерновом.

В воскресный день на перекрестье Семен останавливал свой возок, давая сестрице сойти, минуты две наблюдал, как она мелкими шагами преодолевает пригорок под красными монастырскими воротами, раза три кряду осенял себя крестным знамением, а потом спускался к броду и правил себе в город на ярмарку или за другой надобностью.

Однажды он ехал Олендарской дорогой. Солнце стояло в зените, лошадка выступала не спеша, да и сам возница понукал ее нехотя, уморившись на порубках. Раскаленный воздух подрагивал, гречиха застыла в сверкающем мареве. Семен съехал с колеи под сень сосен, распряг уставшую лошадь и растянулся на пересохшей хвое. По сосновым стволам в привязанные берестяные воронки сочились янтарные капли твердой смолы. В голубом небе лениво бродили облака, сосны сомкнулись высоко над головой, и их верхушки тихо колыхались в вышине. Незаметно Семен задремал.

Когда открыл он глаза, порыжевшее солнце уже повисло на западе, медленно проваливаясь в Польшу. С Буга тяжело прогудели монастырские колокола. Стреноженная лошадь топталась неподалеку, выискивая на белом песке под соснами редкие пучки молодой травы. Огромный дуб накрыл поле расплывчатой тенью, а ее косматая макушка наползла на песчаную дорогу, пустынно лежавшую перед ним. Свежий вечерний ветерок пробежался по гречихе, перемахнул дорогу и затерялся в подлеске. Вдруг среди говора природы, сбросившей душные оковы жаркого дня, возник смутный, неверный голос.

Казалось, робкая, застенчивая надежда выводила эти нежные трели; чудесные трели были напоены заботливой лаской и как будто исходили обещаниями неизведанного счастья.

Уже солнце низенько, уже вечер близенько,
Прибуде, кохане, до новой хаты хутенько.

Семен поднялся на ноги и оглянулся, стараясь понять, откуда доносится песня, но темная крона и густая тень надежно скрыли певца от его взоров. На глаза ему попались только коровы, которые разбрелись вокруг густого дуба и тоскливо бряцали своими колокольцами. Между тем пение не прекращалось, а обволакивало все вокруг, как тишина, вливаясь в самую душу и оставаясь там навсегда.

С той поры, когда случалось проезжать ему мимо Куптия, не раз он останавливал свой возок и, покручивая пушистый ус, пережидал жару. Если же Куптий стоял серьезен и тих, он возвращался домой хмурый и не разговаривал много ни с отцом, ни с любимой сестрой.

— То моя девка поет, — шутя кивал он на дуб, проезжая мимо Куптия в компании какого-нибудь знакомого попутчика.

— Дай бог, — степенно и недоверчиво отвечал попутчик, не понимая толком, в чем тут дело, и оба примолкали и ехали молча до тех пор, пока еще могли расслышать отголоски дивной мелодии.

— А что, бабушка, придет ли нынче учитель на музы́ки? — в тот же день спрашивала Евдося бабку Желудиху, сидя с ней под известным уже дубом.

— Сказывал, что придет, — с усмешкой отвечала та, глядя, как краска заливает щеки смущенной девушки.

— В прошлый раз подарил мне шелковую ленту, — вскидывая на старуху пытливый взгляд, скоро проговорила Евдося. — А когда стоит он за хороводом и смотрит своими грустными глазами, то уж словно обжигает все внутри, так и хочется то ли плакать, то ли смеяться. Вишь ты, как чудно...

Желудиха оправила белую *хустку* и покачала головой.

— Не ходила бы ты, Дуня, с кем попало.

— Что ты, бабушка, худого промеж нас ничего нет, — испуганно пробормотала Евдося.

— Худого-то нет, а и добра здесь не будет, — заключила старуха. — Разные дороги ваши.

— Почему так? — потупила девушка серые глаза.

— Эх, деточка, — возвысила голос Желудиха, — али я не была молода, не была красива? Когда входила в круг, ни один парень не мог устоять на месте. Из-за Буга свататься приезжали...

И вправду в молодых годах славилась Желудиха своей отменной красотой, а нынче жила на хуторе одна, промышляя тем, что держала множество свиней и шлялась с ними по дубравам. Через то и прозвали ее Желудихой. Когда ее свиньям вздумывалось навестить Куптий, Желудиха присаживалась с Евдосей, и так они сидели в его приветливой тени, пока свиньи не насыщались и не спешили прочь, к другой кормушке. Желуди-

ха всегда носила с собой длинную палку, срезанную из побега молодого ореха, и гоняла ею свою хрюкающую, беспокойно визжащую и грязную ораву. Сама она выглядела под стать своим свиньям: седые космы торчали, как клочки пакли, из-под небрежно повязанного платка, а блузка ее, казалось, годами не видела колодезной воды. Кусочки соломы и прочие менее приятные принадлежности свиного хлева облепляли обтрепанные края ее окончательно выгоревшей юбки, которая некогда — в незапамятные времена — могла считаться и нарядной, и опрятной.

В церковь Желудиха почти не заходила и чуралась людей. Евдосю же она любила за доброе сердце. Евдося, на заре гоня своих коров мимо покосившейся Желудихиной хатки, редкое утро не оставляла на съехавшем набок крылечке то горшок молока, то жменю мелкой сладкой груши или толику меду, а на праздник и кусок кулича, и крашеное яичко. За то и любила Дуню одинокая женщина и тешила ее рассказами о прошедшей старине.

Грустный вид Желудихи и юную Евдосю овеял тоской наперекор солнечному полудню. Она потихоньку запела:

Позарастали те стежечки муравою,
Где я ходыла когда-то девкой молодою...

А Желудиха, примостившись на пне, легонько раскачивалась, вслушиваясь в теребящие душу переливы голоса.

— Проспевала я свою долю, — прошептала Желудиха и, помолчав, прибавила: — Зависть да злоба людская тож наделали тут делов.

Точно что-то укололо Евдосино сердце при этих словах.

— Отчего мало радости, бабушка? — спросила она, закончив песню.

— Кто же скажет, голубушка, окромя Его, — вздохнула старуха и ткнула своей палкой в небо. — Видно, не для радости мы созданы.

«Что же счастье без радости?» — подумала Евдося; ведь она чувствовала себя вполне счастливой под светлым куполом небес. Молодое счастье наполняло всю ее, и сама она оттого излучала свет, и все вокруг радовались ей, как ласке щедрой природы, как давно забытой самой невинной из надежд.

— Счастлив будет тот, кого полюбит такая, — говорили старые люди, и улыбки из глубины души озаряли их морщинистые лица, когда она самим существом своим заставляла их ласково улыбаться и будила в них воспоминания — бледные, словно кусок застиранного ситца.

Девушка и старуха некоторое время сидели молча, задумавшись каждая своею думкой. Вдалеке, на песчаной дороге, едва заметно ползло темное пятнышко и постепенно превратилось в телегу, груженную бревнами.

— Кто это в такую жару таскается? — подала голос Желудиха. — То не наш, — прищурилась она.

— Не наш, — подтвердила Дуня, полезая на пень.

Они еще помолчали, провожая телегу, которая съехала к опушке и скрылась из глаз. Тут свиньи подошли к женщинам и принялись тыкаться перепачканными в земле рылами им в колени.

— От кепска доля! — вскричала Желудиха, хватая палку, и хорошенько прошлась по их тощим спинам.

Дни, один светлее другого, сменялись днями, и жизнь текла себе, как позеленевшая вода в Буге, а только приметили, что стал Семен заворачивать в Рогозно. Нет-нет да и поворотит коней на развилке, будто за какой нуждой. Был у него приятель в Рогозно, а только приятель последний узнавал, что приезжал Семен в деревню.

Когда-то давно, лет сто назад — нет, больше, больше, — здесь на болотах срубили себе охотники балаганы, да так и остались жить. Со временем к балаганам стали лепиться хутора, и мало-помалу зимовье разрослось

в доброе село. Аисты свили свои просторные гнезда на колесах телег, укрепленных людьми в мощных ветвях исполинских берез; яблони, груши и вишни тесно обняли беленькие хатки, на задворках поднялись стройные клуни, заваленные душистым сеном, и над крышами, накрытыми соломой и дранкой, нависли тонкие клювы колодезных журавлей. Со всех сторон деревню обступил лес, устланный мягким, словно пух, болотным мхом, по которому поросла непроходимая черника. На зыбкой дрягве залегли скользкие гати к далеким хуторам.

Евдосин двор — на том краю села, который ближе всего к Олендарской дороге. Там-то и стали узнавать высокий Семенов возок, по бортам весь покрытый зеленой чешуей потрескавшейся краски. Если не было на Куптии песен, он ехал прямо в Рогозно. Отец Дуни, Иосиф, только крякхтел от удовольствия в бороду, ибо начал кое-что смекать. «Что же, мужик справный», — думал он сам с собой и подмигивал своей Марине. И та спешила поднести гостю мятного квасу из погребца, хотя и жалко было отдавать любимую дочь.

Как приехал первый раз Семен в село, потащился было к приятелю, но повстречал на улице Иосифа.

— Ты, парень, слышал я, прялку можешь сточить? — приглядевшись и узнав его, спросил Иосиф.

— Могу. — Семен натянул поводья.

— Будь ласков, добрый человек, зайди до меня. Что-то колесо рассохлось, стучит, бабы жалуются.

Семен слетел с облучка, потому что за такую удачу готов был выточить и десять, и сто прялок и наладить все колеса, какие ни есть на белом свете. Он завел возок во двор и с замирающим сердцем двинулся к хате за старым Иосифом.

— ...смотри, смотри, — доносился из горницы девичий голос, — если по весне белые мотылки полетели, будет год молочный, если желтые первые полетели, будет медовый год, меду будет много.

Это Евдося, смеясь, поучала маленького брата своего, усевшегося на полу у ее ног. Сама она сидела на низкой скамеечке и ткала кросно. Легкие челноки, водя упругие нити, порхали в ее проворных руках. А сбоку от нее важно восседал большущий серый кот. При виде вошедших он сладостно изогнулся и, потеревшись о станину, чинно удалился. Чтобы не сглазить ее работы, Семен, по обычаю, взглянул на балек и, захватив у порога щепотку пыли, бросил на основу.

— Приспори, Боже, — произнес он.

Евдося, увидев незнакомого молодого мужика, примолкла и пристально склонилась над работой. Иосиф вытащил поломанную прялку на середину горницы, однако Семен во все глаза смотрел на девушку.

Теперь, как ни заезжал Семен в Рогозно, всегда улучал минутку, чтобы положить украдкой на край станины или конфету, или денежку, и после этого отходил шага на два и робко стоял под косяком. Но и денежки, и конфеты то и дело летели ему под ноги, сброшенные будто невзначай широким рукавом Евдосиной рубашки.

И тогда плелся он на двор, чувствуя на спине ее гневные взоры, валился в свой возок и ехал к себе за мутный Буг, понурив льняную голову. И горько ему, и сумеречно на душе, распустит он поводья и не смотрит на дорогу, а лошадь сама шагает и шагает к родному стойлу. А поравняется с опустевшим и онемевшим Куптием, то вспоминаются ему все печальные, вещие песни.

К закату Рогозно притихает, успокаиваются деревья и редко прошелестят листами под порывом несмелого вечернего ветерка. Ночная тьма уже

крадется по переулкам, и в густых сумерках хлопают калитки, брошенные беззаботными девичьими руками. Девки собираются стайками и, оглашая темную улицу веселым щебетом, спешат на вечерки.

Большая хата в самой середине села чисто выметена, девки, шутливо переговариваясь, сидят и прядут лен, а то затягивают хором песню, и, когда на короткие мгновенья наступает тишина, только прялки, составленные в круг, мерно шуршат узорными колесами. Окошки в светлице все завешены плотным ситцем, чтобы парни не подсматривали и не пугали страшными рожами, на которые были они большие проказники. Как выставят в синем окошке этакую размалеванную харю, такой визг поднимается, что хоть у околицы слышно.

Евдося пристроилась рядом с подружкой Устымкой, и девушки, придвинувшись друг к другу, шептали вполголоса свои нехитрые секреты.

— Повадился до меня один, из-за Буга, — говорила Евдося. — Когда быдло пасу на Куптии, всю дорогу мимо разъезжает, а тут уж стал до отца захаживать да матери в пояс кланяться. — Тут Евдося рассмеялась: — Выточил братцу свистульку такую, что и в Домачеве на базаре не купишь.

— Это бродятинский-то Семен?

— Он, — вздохнула Евдося и умолкла.

Некоторое время было слышно, как поскрипывают деревянные качели прялок под их легкими стопами.

— А ты и не рада?

— Отец и мать за меня пусть радуются, — тряхнула серьгами Евдося. — А только, ей-богу, зря он таскается... И принесла же нелегкая, когда я основу ткала, — продолжила она после небольшого молчания.

Устымка ужаснулась и прижала руки к груди:

— Небось наложила *перемоты?*

Ведь считалось, что появление постороннего во время снования грозит бедами и может навести на работу досадную порчу.

— Нет, — улыбнулась Евдося, — он, видно, *добрый на переход,* до солнца досновала, еще и остались клубочки.

— Разве же не люб тебе такой парень? — покачала головой Устымка.

— Да ведь я какая маленькая! Такую ли нужно этакому высоченному. — Евдося снова замолчала, а потом совсем близко нагнулась к подружке и жарко заговорила ей в самое ухо: — Устымка, Устымка, как подумаю, что не приведется повеселиться больше, как представлю, что не кружиться мне в хороводе, так и жизнь кажется немила. За такого пойдешь — и шагу со двора не ступишь, тоска заберет, кручина сгложет!

— Эх, Евдосечка, — потупила очи Устымка, — проспеваешь ты свою долю.

— А иначе жить зачем? — ненадолго задумалась Евдося и огласила широкую светлицу самой беззаботной из своих песен.

Последний день перед Купалой еще пряли, а поутру заскрипели крышки тяжеленных сундуков, и божьему свету явились наряды рукотворной красоты.

Едва сумерки коснулись деревьев и крыш, девки и молодицы, загодя украсившие косы полевыми венками, потянулись к Бугу и собирались около заводи, где под покрывалами согбенных ив темная вода дремала в пологих берегах. Только изредка по воде торопливо пробегался едва уловимый ветерок, возмущая ее червленую гладь, и река колеблющимися волнами тыкалась в выпуклые груди берегов. Между деревьями мелькали светлые пятна женских одеяний и слышались обрывки приглушенного разговора выходивших на поляну женщин.

К самой неподвижной затоке девки натаскали соломы и запалили огонь, окружив его неровным ожерельем. Каждая держала в руке клок, и

время от времени то одна, то другая нагибалась к костру, зажигала солому и бросала на воду, уже подведенную поволокой первого тумана. Пучки, ровно снедаемые пламенем, покоились на темной поверхности, озаряя ее трепещущими отражениями, и с протяжным шипением угасали.

Ветер пропал совершенно, ночь прояснилась. Высыпали звезды и легонько заколыхались на спокойной глади реки. В небо скользнула молодая луна и улеглась между ними в черную воду. Все предвкушало миг, когда небеса доверчиво открываются земле, навстречу несмелым надеждам ее обитателей. Природа замерла, но не уснула, и зачарованные люди затихли вместе с ней, внимая свершавшемуся таинству. Над водой было тихо — только соломенные купайла, потрескивая, догорали на ней.

Девки поснимали венки и, присев над водой, осторожно положили их на ее сияющую отблесками поверхность. Венки сбились в стайку, и понемногу их стало разносить течением. В какую сторону поплывет венок, туда и дивчина замуж пойдет, поэтому девушки сосредоточенно следили пока еще невнятное движение своих размокших цветов. Один венок все более отваливался от других и выплыл, покачиваясь, на протоку. Некоторое время он виднелся еще темным кольцом и пропал наконец во мраке противного берега, под навесом пышных зарослей.

Устымка дернула Евдосю за рукав и шепнула:

— Гляди, гляди, за Буг пошел.

Евдося сердито топнула ножкой и отвернулась от реки:

— Мало ли пригожих парней за Бугом!

— Есть и пригожие, — тихо ответила Устымка, — а он добрый.

— Зелено болото, зелено, чего так рано и полегло... — затянул чей-то печальный голос.

Негромкая песня поплыла над водами, вслед уносимым протокой купайлам.

Покатилась жизнь Семенова под гору. Мрачнее тучи, пасмурней ненастья рубил он у себя во дворе новую хату рядом со старой, отцовской.

— Нечто жениться надумал, кум? — щурился сосед.

Вместо ответа Семен водил головой туда-сюда.

— Для чего же строишься?

— Так, — не глядя бросал он.

Все оставшееся лето возил лес по Олендарской дороге, все оставшееся лето слышал любезные песни и каждый раз, подъезжая к одинокому дубу на Куптии, говорил или кому-то, или сам с собой:

— То моя девка поет.

Но уже не шутил и не улыбался, а только твердо сжимал губы и еще горше хмурил упрямые, насупленные брови.

Однажды вечером отбросил он в досаде какую-то поделку и пешком пошел за Буг. Дойдя до просторной поляны, на которой рогозненские парни и девки с незапамятных времен устраивали музыки, он сошел с дороги и, забравшись в кустарники, стал глядеть на поляну. На ней горячими языками кривлялся большой костер, соперничая с блеском золотой луны, которая уже воцарилась на небосводе в окружении зеленых созвездий. Вокруг костра пели песни и плясали под гармошку. Увидал он и учителя, который в накинутом на плечи форменном сюртуке, сложив на груди руки, стоял за хороводом и тоже слушал и смотрел. Свет пламени бросался в лица, как краска стыда, движения будоражили, как хмель, и что-то тревожило и возмущало душу в этой поздней пляске. Однако ж тщетно он выглядывал причину беспокойства — безмятежная ночь трепетала вокруг, благоухая изобилием лета.

Семену захотелось подойти поближе, но едва он сделал первый шаг, как из-под ног его раздался оглушительный треск — это в темноте он неловко ступил на пересушенный валежник.

Музыка на минуту прекратилась. Девки взвизгнули и со смехом забежали за парней. Парни прислушались.

— Тикайте! Медведь ломится! — в шутку закричал один из них и наскочил на испуганных девок, которые хохоча разлетелись от него в разные стороны.

— Полно! То пьяный Макарусь опять плутает, — сказала какая-то бойкая молодица, и гармонист еще безжалостней затерзал свою гармонь.

Макарусем звали Устымкиного брата — известного всем бездельника и безобразника.

Уж побледнело небо, когда все разошлись, и ночь замолчала. Тогда и Семен поплелся восвояси. До самого света сидел он на своей завалинке в глубоком раздумье, а когда солнце жарким полукругом поднялось над Бугом, он запряг лошадей и направился к броду.

Соседи смотрели ему вслед и думали так: «Ну, теперь пошла потеха», — и готовы были оглоблей лечь на дно его возка, чтобы все слышать и видеть и ничего, не приведи господи, не пропустить.

Была неделя — так белорусы называют воскресный день, — и Евдося не рано поднялась со своей кровати, а когда проснулась, выскочила на двор, приласкалась к утреннему солнышку, заглянула в темный колодец, подняла под яблоней несколько румяных яблочков и побежала порадовать Желудиху этим невинным подарком.

Положив яблоки, как обычно, на приступку ветхого крылечка, она не спеша зашагала к дому, наслаждаясь свежестью занимавшегося утра, и невольно привечала улыбкой все, что ни встречалось ей на пути. Когда же разглядела у калитки знакомую бричку, юркнула в сад и подкралась под низкое окошко.

Отец ее и Семен чинно восседали друг напротив друга за столом, на который Марина набросила праздничную скатерть и выставляла из печи горшки и макитры. Так сидели они до полудня, а потом отец поднялся, обошел хату, сказал что-то жене и, выйдя на крыльцо, стал кликать дочку. Евдося ни жива ни мертва съежилась под окном и спряталась за высокими стеблями мальвы. Не получив ответа, отец еще немного постоял на ступенях и вернулся в дом.

Через некоторое время она увидала, что все покинули хату и не на шутку отправились ее искать; девушка запрыгнула в курятник, опрокинула на себя пустое корыто, стоймя прислоненное к дощатой стенке, свернулась в клубок, подложила камушек, чтобы легче было дышать, и затаилась.

Поиски длились до вечера, несколько раз Евдося сквозь щель близко-близко видела носки отцовских сапог, слышала их скрип и тяжелый запах сала, которым они были вычищены, но Иосиф так и не догадался приподнять корыто. Пролежав под корытом с час, Евдося незаметно для себя заснула, а пробудилась тогда уже, когда добрые люди ложатся спать.

— Мала еще больно, — утешал Семена рассерженный и расстроенный Иосиф. — Не взыщи, Семен. Кланяйся отцу. Вишь ты, — покачивал он головой, — не сладилось у нас это дело. Вот упрямая девка! — грозно топнул он ногой, но продолжил уже потише: — Мала, неразумна. Пускай ее.

— И то сказать, — несмело вмешалась Марина, — ведь семнадцатый год только пошел девке. Где уж тут о свадьбах думать.

Семен молча вывел на дорогу свою упряжку, молча поклонился старикам, которые вышли проводить его за частокол, тряхнул вожжами и пошел не оглядываясь рядом со своей бричкой.

Он и сам не помнил, как миновал село, как пробирался лесом и вышел в поле, как сначала яростно, потом еле-еле шагал по песчаной доро-

ге, и как его новые сапоги по щиколотку утопали в зыбком песке, и как этот белый песок мучною пылью налип на блестящие, намазанные конопляным маслом голенища. А когда взглянул он на дуб, расправивший над полем свои широкие ветви, то чуть не разорвалось его сердце, и он застонал от бессильной и лютой печали.

Солнце еще высоко гуляло в небе, понемногу забирая к Бугу, и, ослабев, уже не палило нещадно. От реки повеяло прохладой, и дорога круто склонилась к ползучей воде. Семен приблизился к самому берегу и уставился в воду. Слезы пробежали у него по лицу и затерялись в повисших усах. Он был так рассеян, что, может быть, и зашагал бы вместо земли по воде, не залезая в свой возок, если бы вдруг знакомый и веселый голос не вывел его из тягостного раздумья.

— Э-ге-ге, что-то неладно у Семена, если он решил искупаться в кафтане, — произнес жизнерадостный голос.

Семен повел отрешенным взглядом и узнал хромого Шульгана.

Этот Шульган ходил вдоль Буга со скрипочкой по селам и городкам, пел и играл на свадьбах. Был он гультяем — беспечным, вечно веселым человеком. Все его знали, и он знал все на свете и исходил все дороги. Даже в Бялой Подляске певал он православные песни. Давным-давно был он в солдатах, и в неблизких тех краях, где вздыбились подоблачные горы и где бабы ходят в бесовских шароварах, покалечило ему ногу.

Давно уже не видели Шульгана около Домачева, с полгода пропадал он где-то за Бугом. Шульган приковылял поближе к Семену и заглянул в бричку. На его прокопченном лице выступило лукавое изумление. Он переложил свою скрипочку из правой подмышки в левую и освободившейся рукой почесал в затылке.

— Чудеса творятся на белом свете, — сказал Шульган, окинув взглядом белые от песка Семеновы сапоги, — бричка пуста, как погреб после свадьбы, а человек не садится и новых сапог не бережет. Что же ты там везешь, человек? — При этих словах Шульган еще раз заглянул в бричку.

— Я, Шульган, горе свое здесь положил, горе свое везу, — ответил Семен. — Потому и нет мне места.

— Или горе такое большое, что нет места?

— Большое, Шульган, — согласился Семен и скользнул глазами по глади воды. — Не знаю, довезу ли.

— Ты чего такой смутный? — спохватился Шульган. — Али эта *коро́сто* отказала тебе?

— Все ты знаешь, — усмехнулся Семен.

— Э, кум, чай, из Бродятина иду.

Распрощавшись с Семеном, Шульган быстро зашагал по дороге. Завидя его, мальчишки наперегонки пустились в село и огласили воздух радостными криками: «Шульган идет! Шульган идет!» Люди высыпали навстречу и наперебой зазывали знаменитого кобзаря, однако только перед Евдосиной калиткой он и остановился. Первым делом взял он девушку за руку, отвел ее под яблоню и сказал так:

— И это ты такого парня на этого сморкача поменяла?

Сморкачом он назвал бедного учителя, который, верно, и не догадывался, каким значением, по милости Евдоси, овеяно его скромное существо.

— Попомни мои слова: век проживешь, а лучше его не будет.

Так сказал хромой Шульган и оставил смущенную девушку. Тем временем Марина накрыла на стол, не забыв выставить полштофа горилки, и мужчины сели вечерять. А Евдося в полной задумчивости продолжала стоять под яблоней и стояла так до тех пор, пока темнота не покрыла землю. След окна, изнутри освещенного плошкой, упал на траву и дотянулся до самых ее ног. Некоторое время Евдося видела колеблющиеся тени отца,

матери, убиравшей посуду, и щуплый силуэт Шульгана. Потом несколько раз надрывно скрипнули дверные петли, огонек в окне вздрогнул и поник, и теперь уже непроглядный мрак заполнил все вокруг.

Девушка потихоньку вышла со двора и побежала на край деревни, к Желудихе. У нее она хотела испросить совета, и приласкаться смущенной душой к старой бабушке, и, может быть, услышать какую-нибудь былину.

Наступили те недолгие, но зловещие мгновенья, когда тьма безраздельно правит миром и даже праведники трепещут у святых образов. Подходило к полуночи. Небо набухло чернотой и тяжело навалилось на притихшую, настороженную землю. Путь к старухиному жилищу лежал через пролесок, который, проглотив светлую полоску дороги, чернел непроходимой стеной. Девушка ускорила шаги, и оттого песок то и дело насыпался ей в легкие кожаные чеботы. Дойдя до опушки, Евдося перекрестилась и зашагала по дороге еще быстрей, держась ее середины, куда не достигали нависшие ветви. Спустя самую малость впереди мелькнул теплый и приветливый огонек Желудихиной хатки.

Старуха, не смущаясь темнотою, возилась во дворе. Заслышав шаги и прерывистое дыхание своей любимицы, она набрала поленьев и вместе с гостьей прошла в хату.

— Что ты, любезная, бегаешь по ночам? — спросила она запыхавшуюся девушку и стала растапливать *грубку,* ибо было ей зябко и топила она понемножку даже летом.

Евдося скользнула на лавку и молча уставилась на появившийся огонь широко раскрытыми глазами.

— Погадай, бабушка, — наконец попросила она.

— Ой, ласточка, что толку в том гадании, — откликнулась Желудиха, прикрывая ржавую заслонку и подсаживаясь к столу. — Что будет, того не обойдешь, — вздохнула она.

— Приезжал сегодня на сговор, — сказала девушка, не отрывая глаз от неплотно затворенной заслонки, где уже вовсю билось расходившееся пламя. — А я от него под корыто влезла.

— От як! — Старуха круто повернулась на лавке, а Евдося поведала, как было дело.

Поначалу она говорила сбивчиво, но развеселилась и старуху насмешила, рассказав, как уснула под корытом. Та было ощерила рот беззубой улыбкой, однако тут же спохватилась.

— Ну, девка, дурная же у тебя голова, — озлилась она. — Не знаешь ты своего счастья.

— Отчего же, бабушка? — Евдосю оставили ночные страхи, и она смеялась так звонко, что казалось, серебряные колокольчики нежно закачались под низким потолком. — Скажи правду. — И она пропустила меж пальцев фиолетовую ленту, подаренную учителем.

Желудиха призадумалась.

— От, деточка, было со мною в молодые годы, — начала она. — Казачина тут был один полковой, о! Уж я на него засматривалась, так и себя не чуяла. Уж как кохал, как лелеял, и на конь сажал, и ленты в косы вплетал разноцветные. А мужики добрые свататься приезжали — куда там! Всех распугал. На Дон звал, взять обещался, да только натешился, а когда царь моргнул, так и след простыл этой хоругви... Всякое было. А что осталося? — Старуха взяла кочергу и поворошила угли.

За перегородкой, в хлеву, тихонько похрюкивали свиньи, грустно вторя своей хозяйке.

— Отчего люди бывают злые? — спросила Евдося.

За печкой начинал поскрипывать сверчок, и Желудиха прислушалась к его сухой трескотне.

— Иной и не захочет, а сделает, — отозвалась старая женщина. — Что в старину творилось! Хоть бы и у нас в Рогозной. Была я тогда еще и тебя меньше. Жила здесь такая Улена — от там, где сейчас Макаруся, брата Устымки твоей, двор, хатка ее стояла. До чего приветливая была, ласковая до чего. Умницей люди называли, отец с матерью нарадоваться не могли. А как спевала! Да только на язык была несдержанная. Жива была еще в те времена и старая Дарка — то лютая была ведьмища! На Ивана полотенцем, что сама ткала, росу собирала по тем местам, где коровы ходят, на выгоне, потом в хате в своей вешала, и та роса молоком стекала ей в цедилку. У людей молоко отбирала. Вот что робыли в старину... Раз сидели с бабами на вечерках, лен пряли. Да засиделись допоздна, время уже поздно стало. Вот бабы испугались идти потемну. Дарку уж больно боялись. Тут одна и говорит: «Уж скоро полночь, пора идти, пока Дарка своих чертей не распустила». А Улена возьми да и скажи: «Не бойся — верно, насыпала им полный гарнец маку али пшена, — до света будет работа, до зари не пересчитают». Узнала Дарка про эти слова — про мак да пшено — и невзлюбила девку. «Так будешь и ты считать, — говорит в сердцах, — не пересчитаешь». Кто-то доказал или сама как узнала, нечистая сила, этого ничего не знаю, а не прошло и месяца, как напали на бедняжку несчастья. Сядет ли прясть, так начнутся нитки рватиса, что не можно ни як ткати. Уже и плакала, и в церкву ходила к причастию — рвутся нитки. Звали и знахарок — никто не умел эти уроки скинуть. «Бесится, старая ведьма», — вот и весь сказ. В церковь ли пойдет — сидят на дороге ужи, в клубок сплетутся и шипят и смотрят глазами оловянными, дорогу заступают, не пускают в Божий храм. Еще и то лето не кончилось, повредилась Улена умом. Сидит, бывало, в посадке и иголок сосновых наберет, да и перекладывает из кучки в кучку. Это считает, значит... Вот и сбылось заклятье. Так девкой и померла и все иголки свои считала, да их в лесу сколько! — разве сочтешь?..

Старуха замолчала, а Евдосе до слез стало жалко бедную девушку.

— Разве не дал нам Господь ангелов своих, чтобы они хранили нас от беды, не допускали бы до несчастья? — задумалась она.

— Не знаю, милая, не знаю, хорошая, — вздохнула Желудиха. — Вроде оно и так, а может, и он, Господь-то, не надо всем власть имеет... А говорят этак: которые-де умирают девками — старшими там, молодшими, альбы только дивчина, — и они уже и есть русалки. В русальный же день выходят они из земли наверх и всю неделю русальную ходят по житу, по коноплям ходят. Первый день русальной недели бабы до солнца вывешивают под хатою сорочку, фартук и намытку. И все это висит до вечера. И каждая дочка придет до своей матери и возьмет, что ей нужно, и уже весь *тыждень* гуляет себе и свободно ходит. А которая мать не повесит, то этая русалка ходит недовольная и плачет.

— Зачем же они ходят, бабушка?

— Да, видно, Господь-то их жалеет, отпускает их, бедняжек, по земле походить, на красоту ее поглядеть... И как умерла Улена, так по ней мати с отцом горевали, уж такое горе, сердешные, мыкали, что и померла мати с тоски. А отец что же? Мужик, он и есть мужик — ничего не смекал повесить, никаких нарядов. Срамно девке-то голой бродить. Так она распустит русые свои косы, а косы ниже колен доставали — такие были косы, — да прикроется ими, и лицо закроет, чтобы люди не узнали, так и ходила да все плакала за отца. Или спевала что-нибудь грустное. Такая, как и ты, певунья была, — прибавила Желудиха.

— Какая сказка страшная, — прошептала Евдося.

— То не сказка, деточка, то быль, — глухо отвечала старуха, боком пихнула рассохшуюся дверь, и обе женщины вышли на крыльцо.

Окрестность неузнаваемо изменилась. Последний свет вытек на восточный край земли. Глянули звезды. Небо как будто распахнулось и за-

блистало сразу всеми своими драгоценностями. Ровное сияние месяца, повисшего над деревней, озарило разверстый свод струящимися волнами.

— А и страшно же было идти, — призналась Евдося, — а зараз как хорошо! Побегу через жито, так короче станет.

— По житу не ходи, — сказала Желудиха, опершись на свою палку и глядя ей вослед. — Не ровен час, русалку встретишь. Оно хотя и говорят, что на счастье, да только не забоялась бы, — пробубнила старуха себе под нос, но Евдося услыхала.

Поравнявшись с лесом, девушка остановилась.

Справа завиднелось жито, которое исполосовали длинные тени дерев. Евдося нащупала на груди гайтан и сжала в кулачке медный крестик. И боязно ей было, и страсть хотелось поглядеть на русалку; наконец любопытство взяло верх над осторожностью — девушка робко сошла с дороги, по пояс окунувшись в густую поросль. Она мелко ступала, нащупывая межу, как вдруг увидала прямо перед собою неизвестно откуда возникшую человеческую голову. Эта взъерошенная голова торчала из жита и, повернув лицо, уставилась на бедную девушку неподвижными глазами, жутко блестевшими в холодном лунном свете. Через секунду над этими глазами встревоженно заходили, захлопали ожившие веки, а еще через секунду молодой парень восстал из жита во весь свой исполинский рост и с нечеловеческим ревом бросился бежать не разбирая дороги. Евдося, от страха не чуя под собой ног, полетела в другую сторону, однако, как ни была напугана, никак не могла понять, по какой причине русалка приняла облик этакого детины. Она летела без оглядки и перевела дух только тогда, когда коснулась своей калитки; не снимая платья, юркнула в свою постель и долго еще лежала ни жива ни мертва, выглядывая в низком окошке гаснущие зарницы, пока сон не слетел на ее усталые вежды.

— Брат вчера опять загулял с казаками, — говорила Устымка Евдосе на следующий день, — и до дому не дошел, так на задах в жите и заночевал. — Она помолчала. — Русалку в жите видел. Самое время русальное. Ох, тьма их будет!

Евдося замерла:

— Какова же она собою?

— Сказывает, что на тебя похожая, — испуганно прошептала Устымка.

Евдося припомнила ночные страхи. Сердечко ее забилось сперва от неясного подозрения, а потом от веселой догадки.

— Так и я тую русалку видала! — воскликнула она.

Девушки некоторое время молча смотрели друг на друга озорными глазами, а потом прыснули заразительным смехом.

— А сказывали люди, — придвинулась к подружке Устымка, когда отсмеяла все смешинки, — что ведьма ходила по селу.

— Боже, Боже, — примолвила Евдося.

— Истинная правда. Улита вечор во хлев зашла, поглядеть, отчего корова размычалась, смотрит, а жаба огромадная к вымени присосалась и сосет, аж молоко на солому стекает. А коровенка жалобно так мычит, томится, бедная... Схватила Улита вилы и бросила в ту жабу, да не попала. А жаба лениво так — прыг, прыг — допрыгала до ворот, а с порога повернулась и посмотрела выпученными глазищами, что, Улита каже, так холодом всю и обдало. С места двинуться не могла, пока тая жаба проклятая не исчезла... Так и ушла, а если бы поранила, то и узнали бы, кто молоко отбирает.

И в самом деле, стало после Ивана пропадать молоко у коров, а у двух даже высохло вымя. От казаков позвали полкового ветеринара, но тот, сколько ни бился, не мог развести эту порчу. Бабы носили свечи в монастырь, святили, а потом жгли их в хлевах. Желудиха ходила по дворам и читала обереги, мужики втыкали в стойлах под стрехи свяченый дубец, а

свяченым же маком сплошь обсыпали захворавшую скотину. На Купалу дверь редкого хлева не была украшена веником свежей крапивы, которую после закапывали по углам.

В довершение всех напастей испортилась погода. Откуда-то натащило хмари, и низкие облака спеленали землю стойкой непогодой. Тучи с ворчаньем ползали по небу, время от времени обрушивая вниз потоки ливней. Сосны глухо шумели, сопротивляясь могучим ветрам. Дороги развезло, а Буг распух, раздался от обильных дождей в тесной ложбине русла и прихватывал берега разлившимися водами. Прекратились веселые музыки, надолго погасли хороводные костры и переливы гармоний. Кто была ведьма или волшебныца, так и не дознались и поэтому говорили разное.

Не скоро замерцало далекое солнце косыми лучами в белесой вышине. Непогода успокоилась, и с мокрых деревьев полетели к земле первые осенние листы. Небеса очистились, разметали остатки ненастья, и протяжные ночи снова засияли высоким челом.

Евдося рано уводит с Куптия своих коров и гонит упрямое быдло знакомой дорогой; последний свет еще ласкает душу, зато уж в потемках вся околица полна диковинными, страшными звуками. И кажется девушке, что вместе с ветром плачет в поле русалка, хочет пойти к родному двору, но не может и стенает пуще прежнего в беспредельной тоске. А после бедной русалки мерещатся ей прочие окаянные страсти, и она бросает тревожный взгляд на пшеничный огонек божницы, и сон слетает к ней тогда только, когда святые лучи донесут до ее испуганных глаз свою успокоительную силу. Ветер еще шире ходит за окном, еще ниже к земле сползает темное небо, и еше крепче укутывается девушка в стеганое одеяло, вкушая невинную сладость сна.

Потом притихает и снаружи; месяц — полночный владыка полумира — шлет сквозь небесные туманы привет беспокойно дремлющим долинам и латает прорехи облаков призрачным, приглушенным сияньем. Его голубые лучи рассеянно блуждают внизу по влажным полям.

И стоят в полях могучие дубы, и стоят на дорогах кресты и охраняют Русскую землю.

Миновало полгода. Земля надолго успокоилась под снежным одеялом; сковало морозами болота и черные ковбани, и сосны покорно и безропотно держали на своих ветвях округлые снега. Их пышные шапки улеглись в опустевшие гнезда аистов и обняли каждую крышу. Буг как заколдованный встал в своих излучинах, и глубоко ушли его холодные воды, поломанные желтыми льдами. Полозья саней взрезали подмерзшую корку обоих берегов, оставив на ней следы, натянутыми струнами разбежавшиеся по полям между запорошенных стогов, а те как будто съежились под мелкими зернами колючей поземки.

Но к Рождеству небеса раздались, и солнце каждый день каталось по сверкающим сугробам, меж голубых теней, а бесконечно чистые ночи блистали серебряной луной и ледяными россыпями звезд. Молодежь потянуло на гульбища и забавы. На богатую кутью парни водили по дворам ряженую козу, Шульган подыгрывал на скрипочке, а девушки пели песни-щедровки в чужих хатах, поздравляя старых дев, вдов и стариков. Тем, кто без причины не позволял щедровать в своих усадьбах, творили шкоды и бесчинства. У самых дверей лепили снежных болванов, вешали на деревья сани, затыкали печные трубы, чтобы в хаты шел дым. На *щедрец* девки, чтобы быть красивыми, кидали в кадки с водой медные пятаки и весь день умывались этой студеной водой. Колядники крали в домах все, что ни попадало под руку, а утром со смехом приносили обратно изумленным владельцам кто черевики, кто юбку или платок — словом, всякую мелочь. Особенно много крали подушек, потому что если девушка украдет подушку и ляжет на ней спать, то увидит суженого.

Так и Евдося с Устымкой сговорились раздобыть подушки. Сперва навестили учителя, который квартировал у бабки Сретицы. Пока бабка выставляла положенные пироги, бедного учителя девки так заморочили, что в наступившей веселой суматохе без труда умыкнули с его кровати одну из подушек — ту, что была поменьше. Потом всей ватагой потащились к Желудихе. Евдося вызвалась быть козой. Она облачилась в вывернутый наизнанку кожух и спрятала личико под размалеванной картонной маской с дырами для глаз и с торчащими бумажными рожками, а учителя одели бабой. Шустрые девки мигом напялили на него ветхую Сретицыну спидницу, а вместо груди заткнули его же подушку. Щеки и губы размалевали румянами так, что они даже в потемках горели пунцовыми блинами на радость всей компании.

С шумом повалили они по улице, залитой холодным светом далекой луны. Хрустящую зимнюю тишину уминал оглушительный скрип рассыпчатого снега, покрывшего валенки мельчайшим порошком.

Желудиха, привлеченная веселым гомоном, показалась на крыльце.

— Хозяйка, позвольте нашей козице погуляти, — не своим голосом пропищала Устымка.

— Будьте ласковы, — ответила Желудиха.

— Иди, коза, — обернулась Устымка к переодетой Евдосе, а та поклонилась и на четвереньках вошла в хату. За ней поспешили все остальные. У Желудихи потребовали квасу, а для «бабы» — горилки. Старуха, довольная тем, что ее не забыли, засветила себе лучину и полезла в клеть, а Евдося тут же стянула подушку и спрятала ее под своим кожухом.

Далеко за полночь девушки возвращались по домам, прижимая к груди каждый свою добычу. Фиолетовый купол неба трепетал над ними в крещенскомознобе, снег искрился под высокой луной. Устымка взяла себе спать подушку учителя, а Евдося — Желудихину.

В великом нетерпении Евдося взбила подушку и улеглась на нее румяным лицом. Разгоряченной девушке так хотелось поскорее увидать жениха, что уснуть она долго не могла и ворочалась, сминая чужую подушку и разметав по ней расчесанные косы. Сначала ей снилось все подряд: и маленький брат, и Желудиха, и даже толстый серый ее кот, — а потом в туманной грезе она различила исполинский дуб, Куптий, весь залитый щедрым солнечным светом, изумрудные травы, усыпанные сверкающей росой, а под дубом — бродятинского Семена. И снилось ей, будто и она с ним рядом, в тени и прохладе зеленого шатра, перебирает его льняные волосы, но только к ним прикоснется, как пряди превращаются в сосновые иголки и сыплются сквозь пальцы, а сам Семен плачет в лютом горе, заглядывая ей в глаза помутившимся взором, и не может сказать бесплотными губами, что́ причиной тому невыносимому плачу.

Утром Евдося и Устымка понесли вернуть подушки и по дороге рассказывали одна другой, что являлось во сне. Устымка видела горшок с пшенной кашей и почему-то тоже Евдосиного братишку, который, взобравшись на мохнатого шмеля, летал над селом, точно какая ведьма. Она погрустнела, потому что очень хотела узнать суженого, и слушала Евдосю, которая выступала еще сердитее.

— Под тем дубом, что на выгоне, — говорила Евдося, — привиделся. Чтобы мужик — и так бы плакал! В жизни такой кручины не видала. Страшно мне стало.

— Может, о тебе он плакал, — робко проговорила расстроенная Устымка.

— Что же это, — усмехнулась Евдося, — еще не сватался, а уже плачет?

— Может, не о себе он плачет, — еще тише повторила подружка.

— А обо мне что же плакать? — спросила Евдося.

— Кто знает? Все старики вон плачут да больно жалеют тебя, когда на Куптии поешь ты свои грустные песни.

— Чудно.

Подружки добрались до развилки и разошлись: Устымка направилась к Сретице и к учителю, а Евдося повернула до Желудихи.

Отстояла зима, прозвенела масленица, прослезилась Пасха. Вздохнувший Буг сбросил лед и погнал, понес его на своей ожившей спине, перекатывая в волнах беспомощные куски.

Учитель уехал, говорили, в Брест, в управу, и скоро самое имя его было забыто. Приехал новый учитель. Этот был нехорош собою, приземист и близорук, на девок не смотрел, а ночи просиживал при свече над мудреными книгами, которых навез с собою два сундука.

Молодая трава выступила из земли, и одинокий старый дуб, что стоял на Куптии, оделся первою листвой. Лето распустилось во всей свежести и ласке; обросшие ветви дерев манили прохладой.

Потом травы поднялись, распрямились и опять упали, помятые росами, а по лугам и полянам рассыпались головки первых цветов. Солнце высушило землю, а вместе с ним и Евдося осушила свои прекрасные глаза.

С Куптия снова послышались самозабвенные песни маленькой неугомонной певуньи. Дуб-исполин неохотно шевелил старыми ветвями, отгоняя буйный ветер, чтобы он не заглушал упоительные страдания родного голоса и не мешал услышать напрасные надежды давно канувших людей, сложивших эти песни слово к слову в незапамятные времена.

Свет властно овладел очнувшейся землей, и ночь походила на минутный обморок, на легкий сон расцветшей и неувядающей природы. В эти дни, казалось, свет вовсе не исчезал из поднебесья, а просто рассеивался ненадолго, и на его неугасающем полотне робко проступали бледные узоры июньских ночей. Длинные, тягучие вечера горели величественными закатами, и сгустки отошедшего солнца полосами залегали над далеким горизонтом.

В Иванову ночь снова гадали на водах, и Евдосе уже почему-то захотелось, чтобы ее венок, сплетенный на Куптии солнечным днем, поплыл за Буг, но он что-то размок и болтался у самого плеса, окунув в воду расплетшиеся стебли.

И снова печальная песня забрезжила тоской над тихими водами:

— Зелено болото, зелено, чего так рано и полегло...

И первый раз в жизни Евдосе сделалось грустно, и в первый раз не пела она вместе со всеми, а только слушала, как растекается над рекою старинный томящий напев.

После Ивана в Домачеве завязалась ярмарка. Субботним днем Евдося ехала с отцом на телеге покупать новую корову. Солнце объяло полмира, небеса разлетелись чисты и беззаботны. Строения едва видны в гуще кудрявых садов. Весело блещут кресты на голубых маковках, шпили костела тянутся в самое небо. Белым-бело от белорусских одежд, среди которых там и сям темнеют длинные лапсердаки евреев или пыльный подрясник батюшки или промелькнет черная, как вороново крыло, шевелюра цыгана. Армяне утирают пот с бронзовых лбов войлочными скуфейками, оглашая разогретый воздух гортанными возгласами, сутулые литвины теребят отвислые усы, волыняне щеголяют малиновыми шароварами, и важные поляки чинно ходят между рядов.

Словно забавляясь, ослепительное солнце то устремляется вниз, к земле, и, отталкиваясь от белоснежного полотна платьев и рубах, снова беспечно взмывает в вышину, растворяясь в голубой бездне. Под столами разливается пролитое молоко, пузатые мешки громоздятся один на другой, тут же летает пух; в тени навесов свалены грузные бочки, стиснутые но-

венькими обручами, на тонких *ятках* гирляндами развешаны нити сушеных грибов; пирамиды плетеных кузовков и корзинок испускают горькие ароматы молодой лозы, а еще дальше радугами разложены мотки разноцветных польских ниток. Торговля еще кипит вовсю, а уже где-то визгливо пиликает молдаванская скрипочка, а на другом конце, собирая народ, разливается гармония.

На площади посреди палаток сверкает смолистой крышей недавно перекрытая корчма, у низких дверей которой прямо на песке уже растянулись два-три счастливца, наскоро забывшиеся душным хмельным дурманом.

Иосиф посмотрел на корчму и вздохнул, с трудом выискивая в людском море дорогу для своих лошадей. Какой-то человек заступил им путь.

— Здорово, Иосиф, — сказал Шульган. — Торгуешь что?

— Корову купить приехали с дочкой, а то, — Иосиф огляделся и наклонился к Шульгану, — опять волшебныца *спир собрала*. После Ивана, хоть ты разбейся, другой год нету у коровы молока. Господи помилуй, что за напасть такая! Кабы дознаться, хто ж это робыть, а то не можемо дознаться, — развел он руками.

Шульган почесал в затылке.

— Зайдем, что ли, в корчму, — предложил он.

— И то, — подумав, согласился Иосиф. — Подожди нас, доченька, — обернулся он к Евдосе и протянул ей вожжи. — В горле сухо, як в поле.

И приятели зашагали к шинку. Евдося, зацепив вожжи за тычку, уселась поудобней, как вдруг целая ватага маленьких жиденков облепила телегу. Они вмиг подняли такой писк, что разогнали даже комаров, которые слетелись уже на площадь из близлежащих садов и надрывно звенели в затухающем гвалте субботнего вечера. Как известно, жидам по субботам нельзя работать никакую работу, и Евдося без труда смекнула, чего от нее хотят. С пятницы они заливают в котлах и чугунах разделанную пищу, котлы ставят на плиту, в печку складывают дрова, и в субботу остается только поднести лучину; вот для этого-то они и искали человека не своего племени.

— Пани, пани, будьте ласковы, — причитали жиденки, цепляясь за подол ее праздничной юбки и таща с телеги на землю.

Их жалобные просьбы, деловитые движения и серьезные личики заставили Евдосю улыбнуться. С веселым смехом она соскочила с воза и отправилась по еврейским жилищам, окруженная целой толпой семенящих детей, из числа которых несколько мальчиков постарше остались сторожить телегу. Пока отец сидел в корчме, Евдося обежала половину улицы, запаливая давно приготовленные печки.

— Це добре, це добре, — обрадованно приговаривали проголодавшиеся жиды, посылая ей вдогонку детей.

— Добрая пани, — настигая девушку, шептали те, совали ей в руки тощие селедки и стремглав бежали обратно к своим домикам, над которыми уже завились долгожданные дымки.

Сложив в фартук угощения, Евдося распрощалась с детьми, вспомнила о лошадях и поспешила на площадь.

Отец, озираясь на все стороны, уже стоял возле телеги и разговаривал с высоким молодым мужиком. Тут же находилась неизвестно когда купленная корова. Неподалеку Шульган дребезжал своей облезлой скрипочкой, притопывая мелодии здоровой ногой. Вслед за Иосифом мужик тоже оглянулся на Евдосю, и она узнала Семена.

Теперь уже не отчаяние, а тихая, покорная грусть исходила из его взора. Любовь как будто уже не горела неистовой страстью в печальных глазах, а мерцала ровно и обреченно, как горят обугленные поленья, с которых только что спорхнул огонь.

Невысказанная тоска этого взора поразила девушку, она смешалась и с перепугу протянула Семену скользкую селедку.

Чуть поодаль стояла его сестра, ожидая конца беседы. Как и обычно, она была облачена в строгое черное платье и оттого походила на старицу или схимницу. Завидев Евдосю, она проложила между ней и братом свой непроницаемый взгляд, а под осуждающим этим взглядом Евдося засмущалась еще сильнее. Да и сам Семен, словно сестра и впрямь обладала даром проницать неминуемые несчастья и провидеть грехи, отвернул голову то ли в досаде, то ли в смущении.

— Трогай, отец, а то и к ночи не поспеем, — сказала Евдося и забралась на телегу.

— Ничего, дочка, не спеши, — отозвался старик с добродушной усмешкой, — сегодня музыки, верно, до света не сникнут. Хватит тебе мороки.

Евдося опустила глаза, потому что при этих словах отца Савета еще пристальней засмотрелась на нее. Шульган же наблюдал все это не без лукавства, пощипывая струны своей скрипки продавленным смычком. Когда телега Иосифа тронулась, он снял с плеча скрипку и обернулся к Семену, а тот стоял неподвижно, точно прикипел к своему месту.

— Ну, теперь засылай сватов, — прищурился Шульган вслед удалявшейся телеге.

Заслышав такое, Савета только покачала опущенной головой.

— Все бы петь ей да в хороводы бегать, — негромко молвила она, оправляя черную косынку. — Поехали же, брат!

— Песня — то дар Божий, — помолчав, ответил Шульган и заковылял обратно в шумную корчму.

Тем же вечером Савета испекла две булочки и, дождавшись, пока брат уснул, спустилась к Бугу. Отыскав на берегу плоскинь, где течение не задерживает воду, Савета отдала булочки на волю реки. Быстрина подхватила их, и они, повинуясь ее бегу, пошли парой, что называется, *в згоде,* в согласии. С минуту булочки плыли ровно, и Савета шла за ними вдоль реки, накрытой пушистым туманом, поэтому она хорошо разглядела, как одна булочка встала под берег и перевернулась. Вторая же долго еще виднелась светлым пятнышком, а потом и она сгинула в далекой излучине, влекомая неумолимым движением сумеречной воды.

Утром Савета сказала брату весьма серьезно:

— Не бери, брат, эту девку. Она недолговечная.

Семен ничего не отвечал и только темнел лицом, когда его отрешенный взгляд сталкивался с неопалимой твердостью сестры. За Буг он ездил реже и реже, но и в его сердце горело неугасающее пламя, и чувство, такое же прочное, как старый дуб, живущий на Куптии, взывало к неутоленной любви.

Как-то вечером он снова услышал дразнящий призыв, истекший в отходивший день покорностью и страстью:

Уже солнце низенько, уже вечер близенько,
Прибуде до мене, кохане, хутенько...

Тем же вечером, когда дотлевал над Бугом закат, окрашивая его плоские волны тревожным багрянцем, Семен спросил Савету:

— А что, сестра, где мои новые сапоги, которые привез я на Пасху из Домачева?

Савета пошла в клеть и достала с полки сапоги.

— Принесла бы, сестра, масла, помазать сапоги, — заметил ей Семен.

Савета вышла за маслом.

С минуту брат и сестра молча смотрели друг на друга. «Что же, неймется, брат?» — как бы спрашивали холодные, подернутые тонкой укориз-

ной глаза Саветы. «Лучше девушки не сыскать, нет другой такой на свете», — отвечали глаза Семена и излучали непреклонную решимость.

Всю ночь напролет Савета провела под лампадами и еле слышно шелестела святыми молитвами, а едва заря розовым светом подарила народившийся день, Семен нарядился как умел: обул новые сапоги, на голову поместил ненадеванную смушковую шапку, подвязал красный шелковый кушак, запряг возок свой парою гнедых и отправился в Рогозно.

Когда Семен приехал в Рогозно, то уж сидел на лавке одесную старого Иосифа. Но теперь Марине сделалось жалко отпускать дочку, и она причитала, подбирая слезы расшитым полотенцем.

— Раненько ей, голубушке, замуж идти, — подвывала Марина.

— Уймешься ты или нет, чертова баба? — вскричал Иосиф, затыкая уши. — А то, видит Бог, не отдам девку!

Угроза возымела действие — Марина утихла, и теперь только изредка неровные всхлипывания содрогали ее костлявые плечи. Здесь же, под образами, и сладили это дело.

Свадьбу, вопреки всем обычаям, играли почти сразу, на разлог. Радовались все до такой степени, что у хромого Шульгана от беспрерывной игры онемели привычные руки, и даже Желудиха, хлебнув вина, развеселилась и пошла в пляс, после чего незаметно завлекла невесту на покуть и прошептала:

— Люби его, как он тебя.

— Люблю, — отвечала девушка, потупив очи.

Одна Савета не улыбалась и не горячила себя ни вином, ни радостью и только мучила брата неспокойными глазами.

— Эх, не мути душу, сестра, — весело сказал ей Семен. — Ведь всю жизнь еще жити.

Савета вздохнула.

— Похвалилась девка соткати, — с горечью обронила она, — да не похвалилась сносить.

Зажили в новой хате, на польском берегу. Буг теперь оказался рядом и серебристою рябью виднелся между прибрежных дерев.

Савета хорошо поладила с невесткой, а их старый отец, коротавший век на полатях, и вовсе принял ее как дочь. За доброту, с которой Евдося ходила за ней во время постоянной хвори, Савета весьма скоро отплатила ей и неподдельной привязанностью, однако страхи свои не оставила и таила тревогу под спудом. Когда случалось стоять им вместе в монастырском соборе пред выпуклыми досками иконостаса, Евдося молилась бесхитростно и неискушенно, и ее молитва, чистая, как ключевая водица, была не слово, а глаза. Савета же молилась истово и искусно, прося у Бога заступы и защиты сама не зная от чего. Не в силах совладать со своей нечаянной мудростью, она по-прежнему хмурилась, когда вечером Евдося беззаботно шла танцевать вместе с бродятинскими девками и молодицами, среди которых она скоро стала первой запевалой. Добрый Семен отпускал ее без звука, да и сам порою, усмехаясь над собой, ходил за ней и стоял за хороводом, следя влюбленными глазами забавы своей ненаглядной, как некогда любил это делать и безымянный городской учитель. Иные бессовестные девки с задорным смехом и его тащили в круг, но он отмахивался и отбивался отчаянно, и обыкновенно кончалось тем, что Семен спасался чуть не бегством под оглушительный девичий смех.

— Срамницы вы, а не бабы, — дразнил он девок.

— Смотри, Евдося, закружим твоего мужика, — хохотали девки и бренчали витыми серьгами, обещая новые шалости.

Семен шел домой и там, на излюбленной завалинке, со счастливой покорностью поджидал жену, и ночи, которые пережигал он глазами во время ожидания, никогда еще не казались ему столь диковинно прекрасными

и полными неизведанного смысла. Тянулись ли они часами, проносились ли мгновением — все ему было интересно и равно...

Однажды — дело было ближе к вечеру — Савета встретила Евдосю у колодца, когда та, наскоро принарядившись, собралась на танцы. Хотя и уставшая, Евдося светилась счастливой улыбкой. Несколько русых прядей выбились из-под белого платочка и в беспорядке раскидались по загоревшему лбу, а нарядная юбка была забрана выбитым белым фартучком. Савета погрустнела лицом и сказала, глядя ей в светлые глаза:

— Не ходила бы ты, Евдосечку, на музыки. Вельми грех большой.

— Почему, сестрица, грех? — спросила девушка. — Разве грешно радоваться и веселиться?

— Не все людине веселиться, — отвернув голову, молвила Савета. — Накажет тебя Бог.

Евдося удивилась еще больше:

— За что же ему наказать меня? За то ли, что радуюсь чудными его творениями? За то ли, что дивлюсь на них и надивиться не могу? Разве же злой он такой, Бог? Ужели прогневается он невинным танцем, звонкою песней? Я чай, и он радуется и смеется с нами, когда смотрит с высот своих, как хорошо и счастливо у нас на душе. Не затем ли выпускает он на небо ясные звездочки и луну, чтобы разогнать мрак и осветить нам землю для наших радостей!

Савета угрюмо молчала.

— А мы разжигаем костры, чтобы мог он лучше разглядеть наши хороводы, — продолжала взволнованная девушка, стараясь прочесть на неподвижном Саветином лице хоть какой-нибудь ответ.

— А есть на свете сила темная, — сказала наконец Савета, — в каждую душу она заглядывает. Никого не пропускает...

Внезапный и сильный порыв ветра пробежался по двору, возмутив даже воду в полно налитых ведрах, а уключина журавля издала жалобное скрипение. Евдося взглянула на небо, кое-где уже прикрытое летучими облачками.

— Ох, не было бы дождя, — воскликнула она, — а то сено несложенное лежит. Пойду скажу Семену.

Савета некоторое время стояла еще у колодца задумавшись, а потом ушла к себе в хату и появилась вскоре в черном как уголь платье и в таком же платке и отправилась в монастырь к вечерне.

Тем временем облака распухали на глазах. С монастырской звонницы донесся глухой бой, как если бы сами колокола тревожно оповещали землю о ненастье.

Несколько времени спустя Семен собрался в Домачево продать четыре прялки, которые сточил еще зимой.

— Если до ночи не приеду, так считайте, на второй день остался, — сказал он жене и сестре, поставил прялки в возок, покрыл их рогожей и уехал.

С самого утра Савета кашляла сильнее обычного. К вечеру этого дня она вымылась и обрядилась. Вечер же занялся чудесный.

Тени от строений и деревьев сначала вытянулись во всю длину, потом пропали, уступив место негромкому и ровному освещению. Стерня за домом порозовела, и окошки хат, словно лужи, высверкнули прощальными лучами уходящего солнца. Задевая верхушки сосен, оно подвигалось к западу, обнажая хрустальную грудь небес. На небосводе то здесь, то там возникало смутное, неверное мерцание первых нетерпеливых звезд, полумрак крадучись надвинулся на землю, и уже ночь раскинула свой трепещущий шатер.

Савета лежала у себя в горнице поверх новой колючей *радюжки,* которую достала из «смертного» сундука, и прислушивалась, не загремит ли вдали Семенов возок, не звякнут ли удила, не зафыркают ли лошади. Несколько раз она справлялась у Евдоси, вернулся ли брат, и снова надолго закрывала глаза, уводя из мира свои взоры, не замутненные страхом греха.

Осторожные шаги Евдоси на мгновение привели ее в себя. Она подняла обмеревшие веки и увидела над собой перепуганное лицо растерявшейся девушки.

— Евдосечка, — твердым голосом сказала она невестке, — я нынче умру.

— Господь с тобой, сестрица! — пролепетала Евдося. — Что ты говоришь?

— Семена только жду попрощаться. Дождусь — и отойду.

Евдося перекрестилась и присела на скамейку рядом с ней. Савета надолго замолчала и снова приспустила веки. Евдося сидела у ее изголовья, прислушиваясь к ночной тишине, следя ее ровное дыхание. Однако Савета не спала. В окно заглянула луна и позолотила внутренность горницы сказочной позолотой. Евдося не отрывала глаз от Саветиного лица, такого прекрасного и молодого. Несколько раз она забывалась и склоняла усталую головку, и на груди ее тихонько ударялись друг о друга мониста и пацеры. Лунный свет, распластавшийся на дощатом полу, переместился. Глаза Евдоси закрылись сами собой, и желтое пятно на полу стало уже не пятно, а словно поле дозревшей ржи. По этому полю, утопая в спелой тяжести колосьев, шла она сама; распущенные волосы свободно струились вдоль тела и широкими прядями накрывали лицо. «Русалка ходит по житу», — думает Евдося и открывает глаза — а видит лежащую Савету и лунную дорожку, забравшуюся уже на высокое ложе умирающей и еще выше — на сплюснутые бревна стены. Тишина стучит в ушах, и Евдося опять окунается в рассеянную дымку сна под призрачное жужжание ночи.

Наконец какое-то легкое, почти неуловимое движение спугнуло дрему с глаз девушки. Савета чуть повернула голову и заговорила так:

— Евдося, Евдосечка, перед предвечным престолом прошу тебя: не ходи ты на музыки, не ходи на бесовские пляски. Семен — он что? Ведь так любит тебя, что и слова поперек не положит. Не было бы беды...

В облике Саветы явилось нечто такое, что было различимо даже во мраке лунной ночи. Ее заострившиеся черты еще хранили природную красоту и темным недвижимым слепком запечатлелись на стене, помазанной луною. Лицо озарилось голубоватым сиянием, и было непонятно, игра ли это прихотливого небесного луча или обещание скорого и неминуемого блаженства. В предчувствии новой жизни губы ее плотно прилегли друг к другу темной чертой.

Евдося придвинулась к ней:

— Сестрица.

Савета не проронила ни слова.

— Видишь ли ты светлых ангелов? — прошептала она.

Но сестрица ничего уже не отвечала, и похолодевшая ее рука беспомощно повисла поперек кровати, доставая до пола тонкими восковыми пальцами.

Время, словно волны речной песок, любое горе по крупице утаскивает в свои недосягаемые кущи.

Над могилой Саветы прямо встал крест, потом потемнел от дождей и покосился, и маленькие древоточцы начали обреченную работу, испещрив его могучую стать затейливыми узорами своих ходов.

Под самым погостом, подмывая крутояр и плеская в порывистых волнах отражения крестов, извивается Буг.

Течет он, медногрудый, тесно ему в берегах своих. Ивы склонились над ним и скорбно лопочут длинными листьями. Их ветви похожи на грустные пальцы, ласкающие уходящее время, стремящиеся хотя на одно мгновенье задержать его размеренный бег.

Но они бессильны, эти гибкие тоскующие кисти, и время вплетается в говор волны и уносит бог весть куда все, что было дорого, под неразборчивое ворчанье коричневой пены.

Стали жить без Саветы. На музыки Евдося больше не ходила, поминая Саветин наказ, а радовала мужа простыми домашними радостями. Он же, когда уставший садился за ужин, никак не мог оторваться от желанной и, садясь к столу, баюкал маленькую девушку на своих сильных коленях.

Из-за Буга к дочери приезжала Марина, неизменно прихватив с собою сладких гречишных *бобов,* которых напекала в ночь перед отъездом целую торбу.

— Ах, доченька, — не оставляла она слезных своих жалоб, — почто отдала тебя так далеко, рано. Каюся, что не могу тебя видети. Хоть на праздник приезжай до матери.

Евдося слушала мать и сама безмерно тосковала по своим близким да по беспечным танцам под луной, в щемящем дух просторе летней ночи, а еще сильнее скучала по Куптию, где стоял одиноко старый дуб и, как слепой великан, тщетно открывал широкие объятья своих богатырских ветвей.

Раз под вечер Семен отвез Евдосю в Рогозно погостить и уехал обратно за Буг — присмотреть за немощным отцом да задать скотине. На подъездах к деревне видели, как парни раскладывали на поляне большой костер. Несколько молодиц в праздничных нарядах бродили у опушки, срывая луговые цветы.

Не успела девушка еще наговориться как следует с родными, как прибежала подружка Устымка, разодетая для танцев.

— Евдосечка, готова ли ты? Музыки вот-вот начнут!

Но Евдося грустно покачала головой.

— Куда мне идти? — нерешительно промолвила она. — Все наряды-то дома остались.

— Что за беда! Ух весело же будет сегодня. Казаки придут и девки из Новоселок, — прибавила она.

— Негоже, дочка, ходить тебе в хоровод, — вмешался Иосиф. — Прошло твое время. А ты, шептуха, — сказал он Устымке, — шла бы одна да не сбивала бы с толку.

— Ой, диду, — рассмеялась Устымка. — Что худого рядышком постоять, на людей посмотреть!

Евдося продолжала упрямиться, но что же поделаешь, когда душа так и просится в круг. Да и отец махнул рукой.

— Что же, — согласился он, — иди, коли невтерпеж, да позору мужу не принеси.

Евдося опустила глаза и тихо произнесла:

— Вы и скажете. Мне ли не знать?

— Ничего, дочка, — застыдился Иосиф, — это я так.

Устымка торопила и торопила, и Евдося отправилась в чем приехала, не сменив одежды. Она шепнула что-то на ухо подружке, но та ответила:

— И-и. Кто там разглядит? Побежали скорей.

По дороге Устымка пересказывала деревенские новости и жаловалась на брата.

— Что ни день, то пьян, а трава сохнет, — сокрушалась она тоненьким голоском. — А молока-то как не стало после Яна, так и об сю пору нету у коров. Опять волшебныца спир собрала. Сегодня, говорила отцу кума, ведьму понесут из села.

Девушки, подобрав юбки, спешили по темной деревенской улице к поляне, на которой уже вовсю извивался косматыми языками огромный костер, осыпая собравшуюся вокруг молодежь снопами рассыпчатых искр. Девки держались кучками, перекликаясь и пересмеиваясь с парнями, стоявшими вразнобой; иные, подбоченясь, поглядывали на девок и кричали им что-то веселое через расходившийся огонь, другие, помоложе, держались в сторонке, сгрудившись и молча оглядывая поляну. Кое-кто из парней пробовал было прыгать через костер, но тот был слишком велик и жарил смельчаков чудовищным жаром. Уж наступила настоящая ночь, и густая красная луна, скупо озарив небесную твердь, низко свесилась над лесом — огромная и круглая.

Наконец завозилась гармония, заныла скрипка, и девки первыми пошли в пляс. От костра было светло, и в скрипаче, ковылявшем с места на место, Евдося с радостью узнала хромого Шульгана.

При виде музык Евдосю охватил настоящий восторг. Забыв обо всем на свете, она жадно и трепетно вбирала звуки и движения танцоров. Тут и Устымка сорвалась с места и устремилась в самую гущу. Вскоре образовался хоровод, обнявший сверкающую пирамиду костра и медленно топтавшийся вокруг него. Инструменты тоже замолчали на секунду, затаившись, но тут же настроились и начали разгонять мелодию, как разгоняют сани с плоской вершины горы. Хоровод пошел быстрее, однако по-прежнему его ход оставался тяжел и размерен. Только когда с силою выстрелил в костре влажный ствол и взлетел небывалый фонтан раскаленных брызг, он закружился. Евдося подошла ближе и притоптывала ножкой. Знакомые девки с радостью узнали ее и на все лады зазывали принять участие в начавшейся забаве, однако она шутливо отмахивалась, хотя душа ее готова была выскочить из груди и лететь в круг и отвечать на каждый призывный звук гармонии ловким движением ненасытного танца.

Тем временем Семен добрался до дому. Тяжелая луна, налитая, как тыква, виднелась между черных треугольников крыш усадьбы. Это зрелище сдавило ему грудь, как и тогда, когда впервые следил он танцы своей Евдоси. Томимый жгучим чувством, Семен не распряг возка, а, быстро исполнив все дела, вывел коней обратно на Олендарскую дорогу. Луна еще увеличилась. Огромным шаром, словно заходящее солнце, она водворилась над деревней, как будто выдавив с небывало темного неба робкие остатки зари.

Уже затемно Семен подъехал к броду. Неслышная река блеснула из-за черных стволов широкими струями. На спуске лошадки стали дружно спотыкаться и всхрапывать, потряхивать головами и бить копытами мягкий берег. Из-под самых их копыт уж серебристой нитью пересек песчаную дорогу и сполз в прохладную воду. Уж поплыл, перебивая течение, и Семен отчетливо видел его головку, которая неподвижно и гордо вздымалась над водой впереди гибкого, извивающегося тела. Лунный свет лизнул узкий его глаз, безучастно обращенный к повозке, и на мгновение Семену показалось, что это не глаз, а маленькая корона, золотыми рожками венчавшая продолговатую мордочку, зловещей молнией сверкнула между водой и небом. Осенив себя знамением креста, Семен зажмурил глаза, а когда снова посмотрел на реку, не только короны, но и самого ужа не разглядел. Семен слез на землю и, взяв в повод упрямых лошадей, потянул их в воду, однако не сделали они и нескольких шагов, как у брички подломилась ось. Семен стал возиться с поломкой, а рассмотрев, в чем дело, полез в бричку за топором. Топора в положенном месте не оказалось. Семен обсмотрел весь свой возок и, не доверяя красной луне, решил засветить огонь. Топора как не бывало, точно черт его унес. Достав огниво, он запалил было трут, но тот без единой искры выпал из рук. Семен присел и

долго шарил руками по земле, но не нашел ни трута, ни огнива, словно они растворились в темноте.

Он подошел к самой воде и стал рядом с лошадьми. Подневольная волна застенчиво коснулась сапог. Звезды холодно заглянули ему в глаза, словно требуя покорности. Лошади в сбруе осторожно переступали ногами, покусывая удила и опустив грустные морды. То и дело они встряхивали понурыми головами, и тогда пряди гривы легонько гладили Семеново лицо, и ему казалось, что кони жалеют его, сострадают теплыми глазами, в которых недобро шевелился свет низкой луны, хищно плывущей над прибрежным лесом. Прикрыв веки, они заржали негромко-слабо, и ближний вдруг покачал головой и выронил из-под морщинистого века тусклую старческую слезу.

Из лесу на яркий свет хороводного костра, покачиваясь, вышли два парня и встали рядом. Это был Устымкин брат Макарусь и с ним подвыпивший казак. Костер исходил жаром и выхватывал из мрака лицо за лицом. Приятели тупо водили пьяными глазами, как вдруг Макарусь оживился:

— О, и русалка здесь, — кивнул он на Евдосю и повел было дальше осоловевшим взглядом, но снова повернул к девушке свою лохматую голову. — Давай пошутим, брат? — негромко сказал он казаку.

Тот уставил в него опухшие непонимающие глаза и заломил фуражку.

— Ты на меня смотри да пособляй, — сказал ему довольный собой Макарусь. — Тут ума не надо.

С этими словами он неслышно подкрался к Евдосе и пристроился у ней за спиной. Казак, шатаясь и тяжело сопя, поплелся следом. Евдося была так зачарована пляской, что даже глазом не повела в их сторону. В мгновение ока Макарусь взметнул верхнюю Евдосину юбку и завязал узлом над ее головой.

— Будешь жидятам печки палить! — прошипел он.

Они с казаком подхватили Евдосю с двух сторон и с разгону внесли в круг, вытолкав ее к самому пламени. Хоровод сомкнулся и закружился еще быстрее. Евдося бросилась на руки танцующих, но руки не поддались и, потакая веселой шутке, протащили ее за собой. Она оторвалась и снова очутилась в самой середине, у костра. Сцепление людей закружилось еще бешенее, еще самозабвеннее — так дико, что казалось, вот-вот оторвется от земли и вихрем устремится в черное небо. Костер неистово взвивался, выбрасывая один за другим змеящиеся языки пламени. Нечеловеческая сила огня вторила жестокой забаве и обжигала багровыми бликами мятущуюся фигуру обезумевшей Евдоси. Корча гримасы, огонь высветил следы крови на исподней юбке и как будто беззвучно хохотал в самые очи своей случайной жертве. Кто-то засвистал пронзительно и страшно.

— Глянь, рубашное! — истошно закричал какой-то дурень.

При этих словах хоровод распался, девки, закрывши лица платками, завизжали. Все сбилось, смешалось, скрипка замолкла, гармония захлебнулась и шумно выпустила воздух.

Евдосе удалось наконец освободиться от юбки, и она стремглав помчалась к лесу. Около самой опушки она споткнулась и упала, встала, побежала опять. Несколько девок, поумнее, смекнули, в чем дело, и бросились вдогонку. Шульган, смешно подпрыгивая, подскочил к Макарусю и, тыча своим костылем в его глупую, осоловевшую морду, закричал не своим, каким-то бабьим, порванным голосом:

— Сгубил девку, изверг бесстыжий! Но и тебе не жить на свете! Не снесет тебя земля!

Парни выхватили из костра палки и горящими били казака. Костер развалился — сделалось темно. Привели Евдосю. Ее черты дышали безумием. Кровавые отблески луны прыгали в ее зрачках. Она молчала и

словно не видела никого и никого не узнавала и вдруг зашлась леденящим смехом, вскинув лицо к мерцающему небу. Вокруг нее снова сложился хоровод, но теперь это был уже неподвижный, мертвый круг, кое-как составленный из притихших людей. Евдося делала шаг, и на шаг пятились люди, охватившие любопытством ее маленькую фигурку. Парни и девки молча стояли, испуганно отступая от каждого ее движения, словно освобождая место для неведомого и страшного, беззвучного, танца.

Евдося заглянула в каждое лицо, а потом села на землю и принялась рвать траву, складывая к себе в фартук травинку за травинкой. Тут всем стало ясно, что она повредилась умом. Девки запричитали сперва тихонько, потом все громче и тревожнее. Парни, косясь на девушек, насупленно молчали. Хмель мигом слетел с Макаруся, и он сгинул впотьмах.

Долго еще гвалт раздавался на поляне: озабоченно перекликались потерявшие друг друга знакомцы, всхлипывали сердобольные девки и возбужденно говорили парни, — потом все успокоилось, и снова раздались смешки и даже звуки поцелуев. Разбросанные угли догорали на утоптанной траве, и надрывные рыдания неутешной Устымки оглашали то место, где еще недавно пели и веселились люди, заглушая сосредоточенные шорохи ночи.

Той же ночью *понесли из села ведьму.* Бабы из лоскутов и латок сшили чучело и, насадив на тычку, понесли к Бугу. Там, на берегу, побрали палок и разбили его на шматки, а шматки побросали в воду, и неумолимая бурлящая волна потащила их в черные омуты.

Иваново сонейко ходыло, ходыло,
Ой, раненько зашло, наоколо обойшло
На Ивана. Летала видьмэшчо с Киева до Киева
На Ивана, на Ивана.

Закончив петь, бабы молча смотрели, как извилистый Буг влечет за собой безвольные ветви ив и ужом серебрится под низкой багряной луной.

С этих пор Евдося все больше пропадала за деревней, забираясь в самые чащобы. Она бегала по топкой чернике, со смехом перепрыгивая с кочки на кочку, или ходила под соснами, собирала рыжие и ломкие иголки, складывала их в фартук и несла через дорогу, под дуб, что стоял на Куптии. В его тени, беззвучно шевеля губами, она считала и насыпала иглы ровными кучками, и случайный прохожий никогда больше не слышал на Олендарской дороге щемящих и чудесных песен.

Старый дуб еще пуще бережет ее от палящего солнца и беспокойного дождя: ни одна капля не проберется между его угрюмо сдвинутых, насупленных лап, ни один непрошеный луч не пронзит его густую крону, и едва прикоснется, упругая ветка отбросит его назад, в голубую стихию беспечной радости.

Под дубом находил ее Семен и выкладывал из узелка снедь, поглаживая бессильной ладонью изборожденный морщинами ствол старого дерева; и дуб горевал вместе с ним корявой душой.

Ночами она распускала свои русые косы и ходила по нескошенному житу и подставляла лицо лунному свету, высасывая безумными очами его тайную, живительную силу. «Русалка по житу ходит», — говорили люди.

Так она провела две годины и тихо отошла на третье лето.

Похоронив жену, Семен вырыл в соснах глубокую яму и опустил туда при луне короб добра, а сверху положил рало. После этого заколотил хату и вечером ушел с Шульганом в Польшу, избыть кручину среди чужих людей.

Говорили люди, что в этот день некая курица прокричала петухом и стало большое ненастье. В дуб, что стоит на Куптии и поныне, ударила черная молния и опалила половину свирепым огнем; другая же половина

осталась нетронутой, потому что небывалый ливень затушил пожар. Так он и остался — одна половина приветливо зеленеет, а сквозь зелень листвы тянутся к небу изломанные обугленные ветви.

Под его осиротевшую кровлю порой забредает Желудиха со своими свиньями. Желудиха сидит и шуршит неразлучной ореховой палкой в нападавших листьях. Глаза ее пусты; едва разжимая тонкие бледные губы, она тихо напевает купальскую песню:

Зелено болото, зелено,
Отчего так рано и полегло...

Рассказывали также, что утром в небе над Бугом явилась Богородица. Солнце озарило землю от края до края, и с прозрачных высей пролился грибной дождь, нежный, как кружево. «Божья Матерь плаче», — говорили старики, обращая взоры к нерукотворному образу скорбящей девы. Слезы катились по бледному ее лицу. Смешавшись с нитями слепого дождя, они умыли травы и злаки и весь крещеный мир, убирая землю для новой любви.

ДМИТРИЙ АВАЛИАНИ

*

ГУТТАПЕРЧЕВЫЙ МАЛЬЧИК

* *
*

В траве на дне травы
На самом дне травы
Я спал отдавшись лону
Когда подобно башенному звону
По скорлупе огромной головы
Ударил дождь и в бок меня и в спину
И понял я какой я страшно длинный —
На мне зрачки как бабочки открылись
И удивились — о, как удивились!

* *
*

Как в доме 10-этажном
12 кнопок в лифте непонятны
так для чего нам воздух необъятный
снующим по делам своим бумажным

Когда ж метелицей жемчужной
охвачен вдруг, я вижу рой надвратный
я ощущаю душный эмират мой
как дом недолговечный и ненужный

Но я не прав и разве дух безбрежный
объявши дом тщедушный неопрятный
не должен сделать благодатным
и твой восторг и поиск сути нежной

* *
*

Птица в воздухе и в клетке
одинаково свободна
сбил ее охотник меткий
и зажарил труп холодный

Чтобы стало все теплее
мы едим друг друга ложкой
ты во мне, потом в тебе я
как пейзаж внутри окошка

Как мороженого летом
просит смерти — жизнью сытый
прочь сережки, эполеты
здравствуй, сумрак под ракитой

Но скелет стуча костями
как рояль желает звука
над застольем, над гостями
в уши нам гудит как жук он

* *
*

И в жизни сей хреновой
случается денек
когда как лист кленовый
шикарно одинок
летишь себе в пространстве
забыв про то да се
японец икебанский
какой-нибудь Басё
И кто тебя поймает
пусть исповедь поймет
А осень полыхает
а птицам в перелет

* *
*

Не суди, не сужу —
не из страха, что буду судим
Не убий, не убью —
не из жути, что буду казним

Хорошо, что пространство есть:
можно в сторону просто убресть
Нет, говорят, брось
и в тебе то, что в нас, есть

* *
*

У Никитских ворот
граф без шубы сидит
и щека его так же
все так же ржавея горит
И позора не смыть
и другой не подставить щеки
оттого что давно уже нет
той пощечины давшей руки

Я хотел бы поставить пощечине памятник той
ни гранитный ни бронзовый
ни серебряный ни золотой
чтобы шустрый фонтан
бил всегда из лоскутной зеленой земли
чтобы мимо плывя
отдавали салют корабли

* *
*

Голова зажата в круге
носит тяжкие вериги
строит мысль кожуру
Сердце словно кенгуру
хочет выпрыгнуть из книги
жить на воле на ветру

Но ни флюгер
но ни шлягер
без бедекера не могут
нужен герб на каждом флаге
а не то затянет в омут

Нужен контур сектор вектор
и кондуктор в небесах
Дайте облаку бюстгальтер
и чтоб ангел был в трусах
в пейсах Бог
держал бы посох
и трава с глазами в росах
или Кришна в барбарисах
в кадре айсберг или Ойстрах
в треуголке бы Хеопс
при волах бы волопас
гуру с гурией роллс-ройс
Господи помилуй нас

Не уйти от очертаний
Без рисунка ни черта нет
Цвета льющиеся волны
света луч зигзаги молний
превращаются в лимоны
в образ в рыбу на столе
в Насреддина на осле

* *
*

Я сталкиваюсь с тем
Что голос в телефоне холодеет
С годами он становится мертвее
Когда среди столов
упершись в камень спин
Мои зрачки дрожат на грани взрыва
Я набираю номер голубятни

И глядя сквозь окно на желтый под светилом город
Скрывающий под каменной громадой
Сплетенные клубки моих глухих собратьев
Я спрашиваю: голубь, как живешь?
С годами он становится как мрамор
Почти неотличим от телефона

* *
*

Хорошо сидеть на кубе
если девочка на шаре
можно даже быть в мундире
или в черном клобуке

Если кто-то там летает
что-то машет и порхает
можно даже быть как дуб
с черной птицей на руке

* *
*

Что надо, чтоб летать?
Все лишнее убрать,
как пуля в воздухе скользя
Но взмыть желая ровным быть нельзя

Как шершень будь взъерошен и шершав,
широким парусом дубрав
взлохмаченным всевидящим орлом
ловящим ветер вздыбленным крылом

И вы стрижи чьи линии ясны
и ласточки достойные всех призов —
не обойтись вам без карнизов
и не взлететь без помощи стены

речных откосов, дырчатою брынзой
над рябью нависающих волны

* *
*

Нечаев не вечен
не чающий вод Силоама
но тише об этом нам это пока незнакомо

Незнанье огромно
а знающий где-то за рамой
но кажется только что жизнь без окна беззаконна

Бессонные нити
все вяжут в единственный узел
ты их не заметил
но если бы очи ты сузил

* *
*

Как продышишь перо
разве что оперенье отгрызть
пусть не свиток
пророческой пищи полегче
да и жизнь нынче что
произносится попросту жисть
на простом скобяном
привокзальной толпы диалекте
Стать бы ласточкой
к жести карниза прильнув
из ума не выходит
лишь сердца перо бы коснулось,
гуттаперчевым мальчиком
флорентийской комедии-буфф
пронестись над толпой
разогнув приходскую сутулость

* *
*

Та женщина, что только не дает
и больше ничего не совершает
такую тягу в небо создает
что кажется орган невидимый играет

Та женщина которая дает
и этим никуда не возвышает
такую муку в душах утишает
что в ножны нож обратно зло кладет

* *
*

Октябрь мой лицейская игра
засесть за пир как бы со всеми в сборе
в межвременном услышать разговоре
в глухом бору напевы комара

Вот таинство вот вежество пера —
хрустальный звон с лесоповалом в хоре
в преображении в фаворе
нет разницы что завтра что вчера

Не сетуй же что вызван до утра
что воронье хрипит о нэвэрморе
Грядущего волнуемое море
всегда с тобой, судьба сколь ни хитра

Ни тяжесть лба ни крутизна бедра
ни камень воском дышащий в соборе
не утолят ничьей душевной хвори
пока не взглянешь в мощь добра

* *
*

Кота шипенье, гуся и змеи —
лавины тихое начало
хотя труба еще не прозвучала
хоть не сошли составы с колеи

Сейсмограф ни к чему
Смотри как в дни твои
наружу лезет все что тьмы искало
срывает нежность покрывало
и на свету рокочут соловьи

Покоя нет теперь как ни зови
все дышит провозвестием обвала
свеча уже затрепетала
качнулись головы Ваала
и вот уж их — как не бывало:
бегут потока мощные струи

КРИСТОФ РАНСМАЙР

*

БОЛЕЗНЬ КИТАХАРЫ

Роман

13. Во тьме

Мак в этом году поднялся в изобилии, а значит, засорил все поля. Даже картофельные и капустные участки, обрывистые виноградники и самые сухие и твердые клочки земли, из которых моорцы пытались извлечь хоть какой-то урожай, были сплошь в алых брызгах, с алой каймой от великого множества алых цветков мака-самосейки.

Но одна только кузнечиха знала, что этот мак означал *кровь* и был знамением Богоматери. Это *Она* разбросала по земле шелковистую алость, чтобы ежедневно напоминать последнему из ее сыновей: среди многих неотмщенных мертвецов в моорской земле похоронена где-то на берегу или в каменной осыпи и та жертва, что убита не бандитами, не на войне и не в гранитном карьере, а *его* рукой... *Пречистая Дева Мария, смилуйся над ним и будь ему заступницей* — так кузнечиха начинала и заканчивала каждое свое бдение перед алтарем, который устроила у себя в комнате для восковой фигурки Девы Марии из пустых жестянок от печенья и обернутых в серебряную бумагу костей животных, — *и приведи моего сына вновь в Царствие Твое.*

С того дня, когда мать Беринга увидела, как самый кроткий из ее сыновей исчез вместе с Собачьим Королем в туче пыли, поднятой «Вороной», ворота усадьбы стояли настежь. Ведь в первую ночь, которая миновала в отсутствие наследника, над камышами пожарного пруда явилась полька Целина и сказала, что Матерь Божия велела день и ночь держать ворота нараспашку — для возвращения блудных сыновей. Кузнечиха, ослабевшая от многих дней поста и изнурительных ночных бдений перед своим алтарем, все равно бы не сумела без помощи Божией Матери закрыть тяжелые, скребущие по щебню створки, а ее полуслепого мужа ни ворота, ни усадьба со времен Большого ремонта совершенно не интересовали. *Это* был уже не его дом. И тот, кто покинул этот дом без единого слова, выпачканный смазкой, в кожаном фартуке, вместе с собачником, которому покровительствуют оккупанты, уже не был его сыном.

Одну ночь и один день наследник отсутствовал, лишь на следующий вечер он ненадолго вернулся. Без фартука, в чужой одежде поднялся в сумерках на вершину холма, пешком, как грешник, и кузнечиха воспрянула было духом, решив, что он наконец-то понял знамения Божией Матери и вернулся, чтобы совершить покаяние и очистить свой дом от случившегося. И она с распростертыми объятиями устремилась ему навстречу.

А он только протянул ей сетку с белым хлебом и консервированными персиками, отвел ее руки и вопросы и прошел мимо. Она поспешила за ним в

Продолжение. Начало см. «Новый мир», № 7 с. г.

дом, вверх по лестнице, в его комнату. Он был немногословен; присел на корточки возле шкафа, вытащил на пол фибровый чемодан без замков, запихнул в него кое-что из одежды, ненужные вещи бросил обратно в шкаф, а напоследок снял со стены фотографию, изображавшую его самого и братьев у пароходной пристани; с рамки все еще свисала выцветшая траурная лента. Фотографию он тоже сунул в чемодан, потом обвязал его проволокой и объявил: *лошадь я возьму с собой.*

— Ради всего святого, мальчик мой, — прошептала кузнечиха, — ты хочешь уехать от нас? Куда? Куда ты собрался?

В Собачий дом. Наследник собрался в Собачий дом и пошел с чемоданом в конюшню. Только когда он, седлая норовистую лошадь вьючным седлом, разорвал куртку о шип подпруги, кузнечиха увидела у него за поясом пистолет. Самый кроткий из ее сыновей носил оружие! Разве ж эта проклятая штуковина не разлетелась в клочья под ударами отцовой кувалды? Разве она, кузнечиха, не видала своими глазами, как по мастерской жужжали стальные пружины и обломки металла; ведь она схоронилась тогда от этих обломков за поленницей, *тогда,* смывая кровь с каменных плит дорожки. Выходит, время в конце концов повернуло вспять и теперь восстанавливало все разбитое, и не только уничтоженное понапрасну — оно восстанавливало из жужжащих обломков и это вот оружие, которое торчало у сына за поясом? Неужели Матерь Божия *вот так* вняла ее молитвам и просьбам все уладить и исправить?..

— Избави тебя от когтей сатаны, — прошептала она, не смея дотронуться до него, — ради всего святого, что стало с тобою...

— Успокойся, — сказал он. — У меня есть работа на вилле, харчи и кров. Успокойся. Вы не будете ни в чем нуждаться. Я должен уйти. Не торчать же всю жизнь тут, в кузнице. Я пришлю вам все необходимое. Успокойся. Я ведь буду приходить.

Так он и ушел в Собачий дом и лошадь со двора свел. Мать стояла в воротах и смотрела ему вслед, точно одним только взглядом можно было вынудить его вернуться. Спиной она чувствовала взгляд мужа, старик сидел, как всегда, возле кухонного окна. Она чувствовала его взгляд, различавший лишь *свет* и *тьму,* и даже в эту страшную минуту не захотела обернуться к нему и сказать, *кто* исчез там, за воротами, во мраке.

Наследник давно уже спустился к берегу и пропал из виду, и давно уже стих цокот копыт, а она все стояла у ворот и глядела в ночь. Когда от долгого стояния невыносимо разболелись ноги, она, охая, доковыляла до пожарного прудика и села в один из автомобильных остовов среди камышей. В джипе без колес и руля она ждала чуда, ждала явления Целины: вот сейчас полька воспарит над водами и скажет, что теперь делать. Она прождала всю ночь. Но душа польки осталась сокрыта в камышах и безмолвна. И Матерь Божия никакого знака тоже не подала. Водоем остался тих и черен и на рассвете явил ей только собственное ее отражение.

Услыхав, как муж из открытого кухонного окна требует спички, чтобы затопить плиту, кузнечиха наконец поднялась и вдруг — даже без Целинина совета — сообразила, как дóлжно поступить: надо пожертвовать собой. По примеру святых и мучеников, которые тоже жертвовали собой и тем несли душам спасение.

Незаметно вернулась она в дом, тихонько открыла люк подпола и тихонько закрыла его за собой, сошла по каменным ступенькам вниз и села на глинобитный пол между двумя пустыми бочонками. В такой же тьме, в какой она в ночь моорской бомбежки произвела блудного сына на свет, она подарит ему теперь вторую жизнь. В подполе замаранного кровью дома возьмет на себя его вину и на голом полу, без кровати, без теплого одеяла, без света станет всею болью сердца молиться за него по четкам. Из глубины станет без устали, упорно молить небо о милости для наследника, до тех пор пока ей не явится Целина или сама Матерь Божия не сжалится над нею и не скажет наконец: довольно, твое дитя вновь принято в сонмы спасенных.

Но на сей раз Богоматерь была неумолима. Снова и снова перебирала кузнечиха бусины четок, и шептала во тьму молитвы, и давала отпор всем соблазнам, всем уговорам и угрозам мужа, который лишь на второй день после исчезновения, после долгих поисков и бестолкового топтания по дому, нашел ее среди бочонков. Она не поднялась на свет Божий. Не захотела вернуться в мир.

В первые недели ее затворничества старик часто ощупью спускался к ней во тьму, где оба наконец-то были одинаково слепы. Лампу он с собой не брал, лампа уже давно была ему без надобности. Он приносил хлеб, цикорный кофе и холодную картошку. Хлеб и воду кузнечиха принимала. От кофе, одеял и всего прочего отказывалась наотрез. Старик заботился о том, чтобы она не умерла с голоду. Отнес ей одежду и ночной горшок, когда вонь стала невыносимой. Он смирился.

Она держалась стоически долгие недели и месяцы, противоборствовала даже злым духам, которые в первые морозные ночи то и дело манили ее во тьме призраком комнатной печки. И даже когда *Бразильянка* в покрытых снегом башмаках спустилась к ней с чаем, сдобным пирогом и весточкой из Собачьего дома, она прервала свои молитвы лишь на минутку, чтобы сказать: уходи, исчезни. Пока ее наследник сам не принесет покаяния и пока Матерь Божия хранит молчание, она, кузнечиха, должна бдеть. Холода она уже не чувствовала.

В декабре кузнец трое суток провалялся в лихорадке и в подпол спуститься не мог — он лежал, пылая в жару, на кухне и видел между ножками стульев и стола тени кур. У него не было сил прогнать их из кухни. И они бродили в поисках корма по холодному дому и склевывали с мебели плесень. Но даже в эти долгие дни он не слышал из подпола ни одной жалобы, из глубины вообще не долетало ни звука.

В новогоднюю ночь случился налет на моорский угольный склад, угольщик получил тяжелое ранение и скончался, не дожив до дня Трех святых царей, — только после этого старик с превеликим трудом, изодрав себе все руки, наконец-то закрыл ворота; они уже прямо-таки вросли в землю. Кузнечиха в своей ночи слышала хруст щебня и скрежет петель. Ее это уже не трогало. Там, наверху, закрылись ворота перед ее блудными сыновьями. А Богоматерь опять смолчала. Там, наверху, было явлено, что небеса забыли дом кузнеца.

14. Музыка

Первой проверкой для Беринга на вилле «Флора» стало преодоление страха перед собачьей стаей: псы глаз с него не спускали, поначалу, когда он обходил дом и парк, с рычанием бродили за ним по пятам и не нападали, пожалуй, лишь потому, что Амбрас заставил каждого из них принять нового обитателя дома как *неприкосновенный объект:* взяв руку Беринга, он провел ею по их мордам и губам, насильно сунул эту руку каждому в пасть, а сам тихо, но настойчиво приговаривал: *он свой, свой, свой...* под конец же *прошептал* в чуткие, настороженные уши, что убьет любого пса, который дерзнет вонзить клыки в эту руку. Затем он всучил Берингу набрякший кровью мешок и велел накормить собак.

(Лили — Лили! — в общении с собаками такие угрозы не требовались. Направляясь с визитом во «Флору», она, конечно, из осторожности оставляла своего сторожевого пса, белого лабрадора, возле метеобашни, но, бесстрашно смеясь, доверялась даже самым здоровенным амбрасовским собакам, позволяла напрыгивать себе на плечи, затевала возню, дразнила их и приводила в раж, а потом наконец кричала: *все, хватит!* и делала рукой знак, которому зверюги подчинялись мгновенно, как приказу своего Короля.)

Со страху перед псами Беринг в эти дни впервые зарядил свой неразлучный пистолет, и когда Амбрас насмешливо называл его *телохранителем,* он и

впрямь думал о защите, правда о собственной, твердо решив защищаться от клыков стаи с помощью этого оружия.

Уже сама тяжесть пистолета настолько успокаивала его в эти дни, что он приближался к собакам все смелее и смелее. Они, конечно, не слушались его, но уже опасались щерить клыки. А он, хотя и не любил этих зверюг, был им едва ли не благодарен за то, что они понимали его решимость и не нападали теперь, даже когда он приходил среди ночи с полной корзиной озерной рыбы и шел по темному дому, который был отныне и его кровом.

Минула не одна неделя, прежде чем Беринг нашел *свое* место в Собачьем доме. То он ночь напролет лежал без сна на матраце в библиотеке, а собаки глаз с него не сводили; то пытался заночевать на лавке возле холодной кухонной плиты; то, впервые в жизни оглушив себя двумя стаканами ячменного виски, до рассвета ворочался на раскладушке, что стояла на веранде.

В конце концов он провел спокойную ночь без сновидений на диване в бывшей *бильярдной,* полной лунного света комнате в верхнем этаже, наутро перенес туда свой фибровый чемодан и прибил к стене фотографию, на которой был снят сам вместе с пропавшими братьями. Из большого полукруглого эркерного окна его нового прибежища моорский ландшафт казался еще не открытым, нехоженым краем — прибрежный камышник, озеро, ледники и обрывы высокогорья, ни дорог, ни человеческого следа. Далекие террасы каменоломни и ветхий лодочный сарай виллы из этого окна были не видны.

Собачий дом располагался под сенью огромных сосен максимум в часе ходьбы от Моора, и все же Берингу иной раз чудилось, будто слышит он не шум ветра в игольчатых кронах, а прибой незримого моря, которое отделяло его теперь от наследства и от прежней жизни.

Путь назад, в кузницу, был отрезан: когда через неделю после ухода он, сунув в багажник «Вороны» коробку с дефицитом, явился на холм, отец забросал его камнями. Камнями по блестящему лаку лимузина! Он подал машину назад, на безопасное расстояние, вышел, все еще полагая, что это недоразумение, отцова слепота, и опять направился к старику, со своим *благотворительным пакетом* в руках, перечисляя вслух, что там у него в коробке... Но старик продолжал швырять камни и ледышки — бессильные снаряды, пролетавшие далеко мимо цели, — и, будто не слыша всех этих перечислений *лавандозого мыла, ментоловых сигарет* и *лосьона для бритья,* знай выкрикивал: *Убирайся!*

Не задетый ни одним камнем, Беринг оставил тогда коробку на щебеночной дорожке (и с тех пор лишь украдкой подбрасывал подарки и провизию к воротам кузницы, пока Лили в конце концов не вызвалась раз в месяц доставлять его посылки с виллы «Флора» на Кузнечный холм. От *Бразильянки* старик принимал все и никогда не интересовался, кто снабжает его этакой роскошью).

В Собачьем доме было много такого, чем другие дома приозерья никак не могли похвастаться: консервированные морские деликатесы, арахисовое масло, бразильское какао, бельгийский шоколад и целлофановые пакетики с пряностями — гвоздикой, лавровым листом и сушеным чилийским перцем...

На кухонных полках хранились лакомства с армейских складов и с черного рынка, а в необитаемых анфиладах комнат и в салонах, где бродили одни только собаки, хозяин же дома иной раз не появлялся месяцами, истлевало наследие без вести пропавших жильцов: гобелены с зимними фламандскими пейзажами и охотниками на снегу, кожаные кресла и диваны, изгрызенная псами обивка которых клочьями свисала с подлокотников и спинок. Мраморная ванна в одной из ванных комнат верхнего этажа была до половины засыпана мусором и обвалившейся штукатуркой, в разворованной библиотеке на звездчатом наборном паркете шуршали листья, которые штормовой ветер заносил в выбитое окно...

Однако и здесь куда больше, чем все деликатесы и обветшалая роскошь утраченного времени, Беринга привлекали машины и технические тайны: ска-

жем, поющая в деревянном сарайчике турбина, которая извлекала электроэнергию из ручья, бегущего через парк в озеро, так что в иные вечера дом сиял во мраке, точно празднично освещенный корабль; кроме того, радиоприемник, из которого по определенным дням в определенные часы слышались голоса Армии, голоса камнеломов в карьере — и треск и шорохи тишины между их сообщениями, приказами и вопросами. А еще — *телевизор,* один из трех во всем приозерье...

Но если два других телевизора стояли под замком в помещениях для собраний моорского и хаагского секретариатов и лишь раз в неделю являли жадным взорам публики черно-белые мелодрамы, картинки американской жизни, а иногда престарелого Стелламура, жестикулирующего на трибуне, украшенной цветами и звездно-полосатым флагом, то в пустой библиотеке виллы «Флора» телеэкран нередко мерцал как бы сам для себя, показывая разве что собачьей стае погодные карты военной телестудии или затянутых в мундиры дикторов, которых электронная вьюга помех превращала в искрящиеся фантомы.

Впрочем, среди технических чудес виллы «Флора» больше всего завораживал Беринга отнюдь не этот деревянный ящик с экраном, такими штуками он в свое время уже любовался в секретариатах, они были ему не в новинку; его притягивало как магнит и не отпускало другое: аппарат из комендантского наследства, который после отъезда майора Эллиота пылился на одной из застекленных веранд между двумя обтянутыми тканью динамиками, — *проигрыватель.*

Амбрас нисколько не возражал, когда Беринг отремонтировал *этот хлам,* вновь соединил перегрызенные кабели, залатал обтяжку и перепаял контакты, а потом часами отрешенно сидел перед динамиками, слушая одни и те же записи, ведь бóльшая часть эллиотовских пластинок, долгие годы валявшихся на веранде, без конвертов, в зимней сырости и летнем зное, пришла в полную негодность.

Дел у Беринга было по горло: он сопровождал Амбраса в каменоломню, чинил всякую механику, прибирал дом, рыбачил в Ляйсской бухте, шоферил на «Вороне», ездил то в лес, то вдоль побережья, — но как только случалась передышка, сразу же предавался музыке, которую Эллиот оставил в наследство Собачьему Королю.

Кстати говоря, имя этого наследства Амбрас и узнал лишь от своего телохранителя и опять-таки лишь благодаря телохранителю сам мало-помалу стал получать удовольствие от этих новых звуков в своем доме, так непохожих на скверную игру духового оркестра каменотесов и на трескучие марши свекловодческих товариществ. Вот почему он не протестовал, когда Беринг — при первом после его переселения визите Лили на виллу — включил на полную громкость соло электрогитары и так переполошил собак, что иные из них даже начали подвывать.

— Что тут у вас творится? — смеясь воскликнула Лили.

И прежде чем Беринг успел ответить, Амбрас крикнул:

— Это рок-н-ролл!

15. Keep movin'[1]

Бронеавтомобиль побывал в Мооре чуть свет проездом из Ляйса, оставив на стенах, воротах и деревьях цветные пятна афиш: морской синью и золотом блистала одна из них на обшарпанной, окруженной зарослями маков афишной тумбе у пароходной пристани, вторая была наклеена на доске объявлений прежней комендатуры, поверх поблекших листовок и приказов, текст которых

---

[1] Вперед, двигайся! *(англ.)*

было уже невозможно прочитать, ну а тот, кто шел по набережной, видел такие же афиши на каждом третьем или четвертом каштане. Золотые буквы на синем фоне:

CONCERT.

Friday. В пятницу. В старом ангаре. После захода солнца.

Даже притвор запущенной часовни ляйсской общины кающихся и тот был обклеен этими афишами. Морская синь с золотом. Краски были на удивление яркие, и едва бронемашина скрылась из виду, как уличная ребятня (да и не только ребятня) спешно кинулась их отклеивать и с обрывками бесценной добычи разбежалась по укромным местам... Но если бы при такой жажде красок и редкостной бумаги хоть один-единственный из здешних обитателей улучил минутку и, прочитав текст, поделился с кем-нибудь новостью, она безусловно мигом облетела бы всю округу, как и любое другое известие.

Концерт! В пятницу в ангаре на старом моорском аэродроме после долгого перерыва наконец-то опять будет шумно и весело. Шумно и весело от *песен* некой *группы,* отправленной верховным командованием в гастрольное турне; она давала концерты не только в казармах, но и в самых глухих деревушках оккупационных зон, чтобы, по замыслу мироносца Стелламура, возбуждать интерес молодого поколения побежденных и привлекать их на сторону победителей.

Первый из таких концертов состоялся много лет назад, еще под присмотром майора Эллиота, и мало чем отличался от стелламуровских торжеств в каменоломне. Старый аэродром, расположенный над озером, в защищенной от ветров горной долине, проработал в годы войны очень недолго и впоследствии служил посадочной площадкой разве что воронам да перелетным птицам, а ангар тогда (как и теперь) был единственным неразрушенным помещением, которое могло вместить зрительскую публику из приозерья.

По приказу Эллиота импровизированную сцену и пробитую минными осколками крышу затянули транспарантами, на которых красовались афоризмы Стелламура вроде *Никогда не забудем* и проч. А у ворот этого концертного зала, все еще пятнистого от камуфляжной краски, поставили громадную армейскую палатку, где сразу на нескольких экранах демонстрировались кадры кинохроники; неозвученные, склеенные в бесконечную ленту, они снова и снова показывали ровные линии бараков в каменоломне, снова и снова штабель трупов в белой кафельной комнате, печь крематория с открытой топкой, шеренгу узников на берегу озера, а на заднем плане всех воспоминаний, снова и снова, заснеженные, и прокаленные солнцем, и мокрые от дождя, и обледенелые стены моорского карьера... Тот, кто хотел попасть в ангар, к сцене, должен был волей-неволей пройти через эту мерцающую палатку.

Однако с тех пор как Эллиот уехал, а армейские части были переброшены из приозерья на равнину, транспаранты в дни концертов уже не развешивали и кинопалатку не ставили, даже стелламуровские торжества пришли в упадок, превратились во все более малолюдные церемонии мелких общин кающихся, которые потому только и не распались, что Армия хоть и была далеко, но тем не менее поддерживала артельную жизнь *всех* кающихся. Ни моорский секретарь, ни Собачий Король и никто иной из доверенных лиц оккупационной администрации не обладал ныне достаточной властью, чтобы, как бывало раньше, согнать чуть не поголовно всех жителей приозерья на «торжество» в гранитный карьер или в палатку, полную жутких кадров кинохроники.

И в конце концов от давней пышности поминальных и покаянных обрядов остались лишь эти концерты, которые в зависимости от усердия и прихоти уполномоченного офицера проходили один-два раза в год, а то и реже и не будили уже никаких воспоминаний о войне. И выступали на сцене ангара отнюдь не давние *биг-бэнды,* не оркестры в военной форме, под чью музыку,

под трубы и кларнеты, люди могли, прошмыгнув сквозь ужасы кинопалатки, танцевать *фокстрот*. Теперешние музыканты танцевали сами!

Точно одержимые, они скакали и метались среди извивов кабеля и пирамид акустических колонок, вырывая из своих инструментов звуки, достигавшие аж до ледников высокогорья: стаккато ударных, бравурные соло тенор-саксофона, завывающие глиссандо электрогитар... Усилители, подключенные к смонтированному на армейском грузовике дизель-генератору, превращали барабанную дробь в оглушительный гром, а целая батарея прожекторов, работавшая от того же генератора, заливала исполнителей белым, как известка, светом, какого больше нигде в приозерье не видывали. Громовые каскады песен обрушивались на детей Моора и после часами звучали у них в ушах, вызывая бурю неистового восторга.

Моорский крикун Беринг с его тонким слухом был покорен этой музыкой после первого же *концерта.* Много времени спустя и задолго *до* выступления того или иного *armyband* он грезил об их голосах и выстукивал пальцами их ритмы на жестяных ведрах, на столах, даже во сне. А порой, стоя в шалой толпе возле сцены и упиваясь мощным звучанием, соскальзывал в глубь своего прошлого, в темноту кузницы, и вновь покачивался, парил в колыбели над куриными клетками, крикливый младенец, измученный своим чутким ухом и от звона и грохота внешнего мира спасавшийся бегством в собственный голос.

В сокровенных глубинах большой музыки ему незачем было надсаживать легкие и глотку, перекрывая кошмарный шум окружающего мира, — там он находил тот необыкновенный, странно схожий с его первозданными криками и птичьими голосами звук, что облекал его словно панцирем ритмов и гармоний, дарил защиту. И хотя громкость исполнения временами грозила порвать барабанные перепонки и секунду-другую Беринг вообще ничего не слышал, он даже в этой внезапной, звенящей тишине *чутьем угадывал* таинственную близость другого мира, где *всё* иначе, не как на моорском побережье и в горах.

Немногие английские слова, запомнившиеся ему на уроках в армейских палатках и в голом, неуютном классе, *вокабулы,* которые он узнавал в песнях какого-нибудь ансамбля, увлекали его по *highways* и *stations* в безбрежные грезы; для него и для таких, как он, здесь пели о *freedom* и *broken hearts,* о *lonelyness*, и *power of love,* и *love in vain*... И герои этих песен жили в дальней дали, где все было не просто лучше, но еще и *в движении,* а время не стояло и не текло вспять, как в Мооре. Там, *далеко,* были города, а не только руины; широкие, безупречные улицы, рельсы, бегущие к горизонту, океанские гавани и *airports* — а не только изрешеченный осколками ангар да заросшая чертополохом и бузиной насыпь, которая уже не одно десятилетие блистала отсутствием рельсов. *Там* каждый мог ходить и ездить куда угодно и когда угодно, не нуждаясь ни в пропуске, ни в армейских грузовиках, ни в повозках, и уж тем более путь к свободе для него лежал не через заминированные перевалы или дорожные шлагбаумы контрольных постов.

Keep movin'! — воздевая руки, кричал в микрофон певец на одном из летних концертов, этакий «Спаситель» в слепящем свете прожекторов, высоко над восторженной толпой в темноте перед сценой, высоко над головами публики, заключенной в стенах Каменного Моря. *Movin' along!*

Когда Беринг за рулем «Вороны», за рулем *своего* детища, впервые отдался горячке движения *вперед* и скорости, рожденная из песен, из рева этих ансамблей тоска показалась ему вдруг вполне утолимой: *Keep movin'.* Вперед — и поминай как звали! — хотя бы и всего лишь по усеянной выбоинами щебеночной дороге, хотя бы и всего лишь по аллее гигантских сосен до холма, откуда виден разве что Слепой берег.

С тех пор как проигрыватель опять работал, Лили бывала в Собачьем доме чаще обычного. Являлась она всегда под вечер и вместе с иным меновым товаром порой привозила с равнины новые пластинки, но неизменно уходила еще дотемна и на ночь никогда не оставалась.

Беринг зорко наблюдал за своим хозяином и Бразильянкой во время их меновых гешефтов, но ни в одном жесте, ни в одном слове не обнаружил ни намека на то, что их связывало нечто большее, нежели странная доверительность и стоическая симпатия. Обсуждая ли дела, оценивая ли опасность бандитского налета, говорили они между собой всегда оживленным, а то и насмешливым тоном, который снимал чрезмерную многозначительность и даже опасность превращал в нечто заурядное и нестрашное.

За несколько дней до объявленного концерта Лили предложила Собачьему Королю крупный, с вишню, мутный изумруд и две коробки патронов для пистолета, который *Телохранитель,* как Амбрас теперь без тени насмешки именовал кузнеца, постоянно носил за поясом, спрятав под курткой или под рубашкой.

За изумруд — под Амбрасовой лупой его туманно-неуловимые вростки набрали четкости и превратились в *кристаллический сад* — Лили просила географические карты, которые можно было достать только в архивах Армии, а за патроны — место на сцене во время пятничного *концерта* и двух охранников-каменотесов, чтобы проводили ее из дома до ангара. Наверняка ведь и на сей раз (как всегда) не обойдется без пьяных шаек.

— Карты я тебе достану. Место на сцене тоже, считай, твое. А вот каменотесы совершенно ни к чему, — сказал Амбрас и локтем подтолкнул Телохранителя, который как раз резал собакам мясо, — мы сами тебя проводим.

Беринг думать забыл про свое отвращение к этому липкому мясу, на миг в его ушах вновь грянул вопль восхищенной публики, целый ураган голосов, увлекший его за собою на последнем концерте: бешеный, прямо-таки исступленный ритм ударных — и танцующий гитарист, вихрем мечется и скачет вдали, по сцене, как бы заключенный внутри конуса света, который неотступно следует за ним, превращая каждое его движение в летучие тени. Словно желая освободиться из этого узилища, танцор в конце концов под неистовый грохот барабанов сорвал гитару с плечевого ремня, схватил обеими руками за гриф, вскинул над головой, точно дубинку, шваркнул об пол и по щепкам, обломкам и петлям металлических струн умчался из света в черную глубину сцены, а секунду спустя появился снова, исступленный бегун, *летящий* навстречу своей публике, и с криком, утонувшим в буре голосов, ринулся вниз, в обезумевшую толпу!

Но он не канул во мрак, не исчез среди сотен лиц, а поплыл по волнам воздетых рук, и казалось, будто держали его вовсе не ликующие дети Моора, будто вовсе не они уберегли его от удара о покрытый трещинами бетонный пол: он *парил.* Парил в своем искристом костюме, словно добыча в колышущихся щупальцах актиний на морском дне.

Место на сцене! В пятницу он увидит эти головоломные танцы, эти пикирующие полеты, этих парящих кумиров как никогда близко; а самое главное — в джунглях проводов, летучих огней, усилителей и акустических колонок, средь яростных волн великой музыки, он будет рядом с этой женщиной, рядом с Лили, где-то в ночи.

Когда же Беринг наконец оторвал глаза от кухонного ножа в своей руке и мясных клочьев собачьей жратвы, чтобы отыскать взгляд Лили, она уже направилась к выходу. Потом он услыхал шаги мула на щебеночной дорожке и едва не побежал за нею вдогонку. Псы плотным кольцом обступили его, жадно требуя мяса, и он не рискнул пойти им наперекор.

16. Концерт под открытым небом

В тот вечер, когда должен был состояться концерт, Лили, верхом на своем муле, появилась в сосновой аллее — красивая, как языческая царевна из иллюстрированной кузнечихиной Библии. Она припозднилась. Амбрас и Беринг нетерпеливо поджидали ее на открытой веранде в нижнем этаже Собачьего дома. «Ворона» стояла наготове, облитая вечерним солнцем. Клюв капота, ко-

ваные маховые перья на боковых дверцах и даже хищно растопыренные когти на решетке радиатора сверкали как в первый день после Большого ремонта. Во второй половине дня Телохранитель только тем и занимался, что проверял работу «птичкиных» клапанов, чистил свечи зажигания, шлифовал контакты, полировал замшей лак и хромированные детали. Дверцы машины были распахнуты. На заднем сиденье дремал кудлатый терьер, который внезапно поднял голову и насторожил уши, когда всадницу еще скрывала глубокая тень огромных сосен.

Лили чуть подсеребрила прядь волос, на шею надела несколько ниток речного жемчуга, уши украсила длинными, до плеч, подвесками из тончайших серебряных цепочек, на рукавах кожаной куртки развевались прихваченные стальными пряжками пучки сине-алых птичьих перьев и конского волоса. Казалось, незримая механика связывала размеренное колыханье этих цацек с кивающей головой мула, на налобнике у которого был прикреплен такой же плюмаж. Мул не спеша поднимался в гору. На седельной луке покачивалась кожаная сетка, а в ней дудел-пошелкивал транзистор, *Лилина музыка,* под звуки которой она частенько путешествовала безопасными дорогами; шлягеры экзотических коротко- и средневолновых радиостанций — в других, еще худобедно работающих, приемниках озерного края вместо них слышался обычно только свист.

Беринг следил за приближением всадницы в хозяйский бинокль, но от бешеного сердцебиения картинка в линзах дрожала и расплывалась.

— «Гречанку» видали? — крикнула Лили, выехав из темной аллеи и кратчайшим путем через ежевичник направляясь к веранде; мул, флегматично подчинившись нажиму ее пяток, продирался сквозь чащобу. — Не пароход, а точь-в-точь спасательная шлюпка после морского сражения.

Примерно за час до захода солнца и начала концерта «Спящая гречанка» еще пыхтела по неспокойному озеру в виду Собачьего дома, совершая обычный рейс из приозерных деревушек в Моор. Вечернее небо было безоблачно, однако ветер, налетавший короткими резкими шквалами, будоражил воду, покрывал ее пенными гребешками. Шумный плеск волн в камышах доносился до самой виллы.

В бинокль Беринг мог достаточно близко рассмотреть медленно маневрирующий пароход — палубы сплошь были черны от пассажиров. Под рваным султаном дыма «Гречанка» опять шла к моорской пристани, пятый не то шестой раз за этот день. Концертная публика начала собираться сразу после обеда, и с тех пор ее наплыв продолжался в ритме швартовок парохода, который привозил очередную порцию людей, устремлявшуюся к старому аэродрому.

Четыре джипа, бронетранспортер, бронеавтомобиль и четыре армейских грузовика с аппаратурой гастрольной группы и дизель-генератором прибыли туда еще накануне вечером. Вооруженный взвод сопровождения с трудом сдерживал любопытных, не подпуская их к кострам и палаткам музыкантов. В своем энтузиазме дети Моора грозили взять лагерь штурмом. Они осаждали машины, молотили кулаками по радиаторам и бортам, распевая обрывки тех песен, которые им хотелось *непременно* услышать завтра на концерте.

— Мне пришлось сделать крюк, — сказала Лили и спрыгнула с мула. — Военный патруль перекрыл набережную. Обыскивают сумки, проверяют документы, слепят людей фотовспышками. Не стоит нам ехать к ангару на вашей птичке. У шлагбаума на дороге к аэродрому алкаши уже сейчас дерутся, а не нападают только потому, что там просто несусветная давка.

Толкотня и давка на крутой щебеночной дороге к аэродрому была знакома Амбрасу не хуже любого другого препятствия на пути к ангару. Два года назад, когда был концерт, у старого шлагбаума выстроилась целая шайка бритоголовых с цепями, кастетами и топорами и попыталась собрать с проходящих *музыкальную мзду.* Результат — стычка с военной полицией, трое раненых

и один покойник... Амбрас знал все, что касается самого́ концерта, числа зрителей, возможных нарушений, несчастных случаев, потасовок или пожаров. С тех пор как в ангаре стали проводить такие концерты, он следил за ними как безучастный наблюдатель, ибо Армия требовала отчета о мероприятии, написанного моорским секретарем и скрепленного подписью управляющего каменоломней. Сейчас он забрал у Беринга бинокль и скользнул взглядом по набережной.

— *Мы* пешком не пойдем. Мы поедем. — Он свистнул, подзывая пепельного дога.

Когда Беринг запустил мотор «Вороны», мул, щипавший траву возле прудика с кувшинками, в ужасе метнулся в сторону. Руль был прохладный, сухой, и Беринг только теперь почувствовал, как вспотели ладони. Лили сидела с ним рядом, на переднем сиденье. Впервые с той минуты, когда распутывала узел на его кожаном фартуке, она была так близко. Амбрас расположился сзади, вместе с догом, который, едва машина тронулась с места, водрузил башку ему на колени.

На старой, обычно малолюдной проезжей дороге, что высоко над озером, по краю обрывистых склонов, вела в *Самолетную долину,* в этот час тоже царила суматошная толкотня; из всех уголков озерного края стекалась к ангару публика. Уже через несколько километров «Ворона» наглухо застряла в процессии, стремившейся навстречу все более ярким огням.

Путники жадно разглядывали и даже украдкой ощупывали крылатый «студебекер», но друзей у владельца машины было тут не больше, чем в каменоломне и вообще в Моорe. И защитой от кулаков и камней служил Собачьему Королю и его «Вороне», пожалуй, не страх людей перед ним самим или перед его армейскими покровителями, а прежде всего дог. Боковые стекла Амбрас почти совсем опустил, и огромная башка зверюг как на пружине выскакивала то из правого, то из левого окна, пес рвался с поводка и своим злобным басовым лаем создавал для машины то пространство, какого Беринг требовал короткими сигналами клаксона.

Даже солдаты военного патруля, остановившие их у деревянного моста, чтобы со всех сторон подивиться на «птицемобиль», рискнули потрогать хромированный клюв и кованые когти, только когда Собачий Король закрыл окна и вылез из машины. В разговорах с патрулем Амбрас невзначай указал жестом на Беринга (или на Лили?), засмеялся и что-то сказал, но что именно — Беринг не расслышал из-за оглушительного лая. Не предъявляя документов и не получив даже той контрольной отметки, которую всем будущим зрителям ставили на тыльной стороне руки самое позднее у въезда на аэродром, Собачий Король вернулся в машину, и они поползли дальше.

В пути они на сей раз говорили мало. Толпа нехотя расступалась перед ними и плотно смыкалась позади, прямо за бампером, так что красный отсвет габаритных огней играл на лицах пешеходов. Местами выбоины на дороге были до того глубоки, что солдаты, сопровождавшие оркестрантов, пометили их жердинами и сучьями, чтобы предупредить идущих следом о ловушках. Объезжая эти зияющие провалы, Беринг порой устраивал на дороге такую тесноту, что пешеходы, которым ступить было некуда, поднимали возмущенный крик и хлопали ладонями по ветровому стеклу. Замахнуться на машину Собачьего Короля не просто ладонью, а чем потяжелее и здесь никто не смел.

Когда Амбрас неожиданно наклонился вперед и тронул Беринга за плечо, тот, целиком погруженный в свое по-черепашьи медленное, сантиметр за сантиметром, лавирование, от испуга так сильно вздрогнул, что клювом «Вороны» столкнул в колючие заросли какого-то ряженого человека с набеленным лицом.

— Шут с ним. Езжай дальше, — сказал Амбрас. И, помолчав, добавил: — Эта штуковина при тебе?

Штуковина. Собачий Король редко называл вещи своими именами. Машина — *эта штуковина.* Радио — *эта штуковина.* Телевизор, стеклорез, кар-

бидный фонарь, перфоратор — эта *штуковина,* та *штуковина.* Только для своих собак он постоянно изобретал новые, нередко заковыристые клички, ласкательные и бранные, менявшиеся, впрочем, настолько быстро, что зверье больше ориентировалось по всегда одинаковой, особой высоте голоса или свиста, каким он их подзывал. Но из осторожности они *все* поднимали голову, хотя Амбрас имел в виду лишь одного из них.

— При мне? Какая штуковина? — Беринг и на службе у Амбраса от названий отказываться не желал. Как же это без названий?! Ведь самая крохотная деталька какого-нибудь механизма и та вместе с названием имела свое определенное назначение... И хотя за минувшие недели он уже привык разбираться в хозяйских *штуковинах,* равно как и в скупых его жестах, при случае он все же пытался мнимо недоуменными вопросами вырвать у Амбраса название. Большей частью, правда, такие попытки кончались тем, что ему же самому и приходилось назвать предмет, который имел в виду Собачий Король.

— Какая штуковина, говоришь? А чем, по-твоему, можно вообще произвести впечатление на этих вот горлопанов? Метелкой для пыли? Ну, так при тебе эта штуковина или нет?

— Тут она, — сказал Беринг, на миг коснувшись рукой спрятанного за поясом пистолета. До сих пор Амбрас ни разу про оружие не спрашивал.

Поездка затянулась. Не будь на дороге людей, она заняла бы полчаса, не больше. Но в эту пятницу они добрались до горного плато, где находился аэродром, очень не скоро — когда солнце давным-давно зашло. Вдалеке уже были слышны пробные инструментальные пассажи, гулкий рокот бас-гитары. Ворота ангара купались в слепящем свете прожекторов. А у этих ворот бурлила толпа — черная река силуэтов и пляшущих теней. Похоже, здесь собралась не одна тысяча людей.

Взлетно-посадочная полоса старого аэродрома была самым широким и хорошо сохранившимся участком *шоссейной дороги* из известных Берингу во всем приозерье: за минувшие недели он трижды приезжал по этой безлюдной долине на плато, чтобы на несколько секунд разогнать «Ворону» до скорости, немыслимой на моорской щебенке. Но взлетная полоса, которая мчалась тогда ему навстречу, словно река из внезапно открытого шлюза, сегодня была густым и медлительным людским потоком — и где-то в нем затерялась «Ворона», безвольная щепка, черепашьим шагом ползущая к ангару.

— Что-то я не припомню... — Лили не договорила, потому что каждый в машине подумал об одном и том же: никто из них не мог припомнить, чтобы на концерт собиралась такая прорва народа, и ведь этот наплыв был связан с одним-единственным именем, которое красовалось на всех афишах, а теперь, выведенное электрическими лампочками, мерцало над воротами ангара:

PATTON'S ORCHESTRA.

Невероятный ажиотаж, который вызвало это горящее, пронзаемое вспышками имя, даже моорского секретаря, казалось, поверг в полную растерянность. Бурно жестикулируя, он внезапно вырос перед ними, бурно жестикулируя, указал им место на импровизированной стоянке машин армейской колонны, а по дороге через заблокированное солдатами пространство бестолково суетился и поминутно твердил, что такая прорва народу в ангаре нипочем не поместится, это немыслимо, и он, когда еще только начало смеркаться, переговорил с военной полицией, так что зрители разместятся под открытым небом, а сцена останется под крышей.

Сцену — подмостки на стальном каркасе, обвешанном светящимися спиралями и маскировочными сетями, — передвинули к открытым раздвижным воротам, и на ней еще толклись техники, все как один в форме. Пустой ангар на заднем плане, превратившийся теперь в резонатор, полный огромных летучих теней, прямо-таки вибрировал от пробных пассажей.

Телохранитель моорского секретаря проводил Собачьего Короля и его свиту на залитую слепящим светом сцену и указал, где они могут расположиться. *Места на сцене* представляли собой тесные закоулки между футлярами от инструментов, усилителями и акустическими колонками, в полумраке, далеко от рампы. И теперь они, так или иначе испытывая неловкость, стояли там, как вдруг со всех сторон грянул пронзительный свист — истинный кошачий концерт: публика желала наконец лицезреть своих кумиров.

Patton's Orchestra! В зонах оккупации не было имени (не считая разве что имени мироносца) более славного — и более скандального. Благодаря вечерним шоу, транслируемым по средам всеми армейскими теле- и радиостанциями и достигавшим всех секретариатов, песни этой группы стали гимнами и шлягерами, их распевали в самых отдаленных медвежьих углах, и они вызывали бурю восторга, даже когда доносились из динамиков сквозь хрип и треск помех.

Bandleader, тощий гитарист с длиннущими, до пояса, волосами, заплетенными в косу, окрестил себя и свой «оркестр» в честь славного танкиста, генерала *Паттона,* и девиз, каким он украсил барабаны ударных инструментов и брезент тех автофургонов, в которых под армейской защитой и по армейскому найму разъезжал сквозь Ораниенбургский мир, — этот девиз его *фэны* затвердили куда лучше, чем стелламуровские лозунги: *Hell on Wheels.*

Там, где Паттонов *Ад на колесах* очертя голову мчался на сцену, рвал к себе инструменты и для настройки «долбал» несколько оглушительных тактов, бушевало ликование — никакая другая музыка подобного безумия не вызывала. *Hell on Wheels!* стало боевым кличем, который, бывало, не на шутку пугал даже тяжеловооруженных солдат взвода сопровождения, ведь нередко за ним следовали бури восторга, практически неотличимые от всеобщего бунта. Тогда в воздухе летали камни и бутылки, железные прутья и горящие флаги...

Бог весть какие такие эмоции возбуждали в головах и сердцах своей безрассудно восторженной публики *Генерал Паттон* и его музыканты — но публике этой удержу не было, и утихомирить ее зачастую удавалось только силой. Однако ж, несмотря на побоища в залах и массовые потасовки возле сцены, не было случая, чтобы кто-то из комендантов хоть раз запретил выступления Паттона: ведь в оккупированных областях эти концерты, бесспорно, превращали всякое недовольство в неистовое, но в конечном счете безобидное ликование. Вдобавок концерты Паттона словно магнитом притягивали и шайки из Каменного Моря и разрушенных городов. Прикинувшись горластыми, размалеванными мелом фэнами, иной раз пробирались к самой сцене даже бритоголовые из тех, что были в розыске, и там попадались подчас в ловушку военной полиции.

Поток зрителей, стремившихся через летное поле к ангару, еще не иссяк; Амбрас сердито распекал моорского секретаря, речь шла о неотправленной партии камня; Лили и Беринг молча стояли рядом, завороженные громадным, ярко освещенным сценическим пространством, которое раскинулось перед ними, — и вдруг, без всякого объявления, начался концерт.

Человек в пятнистом камуфляже — вроде бы техник по звуку, ведь он только что сосредоточенно настраивал гитару, — повторил несколько тактов, все ускоряя и ускоряя темп; ударник, только что со скуки позванивавший треугольником, неожиданно вскинул руки — и барабаны грянули бешеной дробью... Это был сигнал. Тотчас же на освещенное пространство выскочили трое ряженых — сплошь в амулетах, лица раскрашены мелом, гитары в руках, словно шпаги. Бас-гитарист подал знак — и могучий аккорд заглушил все прочие голоса.

Лили схватила Беринга за плечо и что-то крикнула. Ему пришлось наклониться ухом к ее губам как никогда близко, чтобы в конце концов разобрать:

— Это... не... Паттон. — Ее рука, мгновение покоившаяся на его плече, соскользнула, и он не посмел ее задержать.

Это был не Паттон. Это была прелюдия — выступление группы, о которой никто никогда не слыхал, ни в вечерних телешоу по средам, ни в *хит-парадах* коротковолновых радиостанций. Но хотя сольные фразы у них нередко получались рыхлыми, а то и вовсе распадались на диссонансы, публика все же мало-помалу начала притопывать в такт, факелами и горящими сучьями выписывая в ночи огненные знаки. А когда прелюдия завершилась неистовым воплем инструментов и голосов и безымянные исчезли так же внезапно, как и появились, свет прожекторов померк до тлеюще-фиолетового. И сумрак, в котором лишь кое-где взблескивал микрофон или хромированный металл, *кричал,* требуя Паттона.

Но вот вспыхнул один из прожекторов; конус света упал из ночи на сцену и, скользнув мимо Беринга, выхватил из темноты человека с синим от татуировок лицом. Он бежал. Бежал, когда прожектор осветил его, и продолжал бежать в конусе света по сумеречной сцене, таща за собою шнур микрофона и на бегу выкрикивая имя, которое, усиленное до пределов возможного, прокатилось над толпой и над всем летным полем: *General Patton and his Orchestra!*

Беринг видит, как бегун хватается за какие-то воображаемые рычаги. Он отводит, отжимает их вниз и отскакивает назад, в глубину сцены, откуда теперь со всех сторон, средь молний магниевых вспышек, выбегают паттоновские музыканты. Семеро мужчин и четыре женщины. Публика знает их всех по именам.

Они прижимают к себе инструменты и микрофоны, точь-в-точь как все это видели по средам на экране, и, хотя никто вроде бы не подавал им знака к вступлению, начинают играть одну из самых знаменитых песен Паттона, да в таком бешеном темпе, что зрители у их ног не в состоянии ни подпевать в такт, ни даже просто притопывать.

Потом музыка опять умолкает — так же резко, как началась. Лишь хор безнадежно отставших от нее фэнов невнятно гудит еще секунду-другую, после чего снова вспыхивает прежнее бестолковое ликование, среди которого на сцену последним из участников выходит *Генерал Паттон.*

Паттон не бежит. Он шагает. Идет прямо на Беринга, а тот бледнеет и, затаив дыхание, невольно норовит забиться поглубже в тень акустических колонок. Но там уже стоит Лили. Амбраса нигде не видно.

Какой он маленький, этот Паттон.

Маленький?

Паттон проходит мимо так близко от Беринга, что тот мог бы дотронуться до него вытянутой рукой. Паттон скользит по нему взглядом, смотрит сквозь него и идет дальше, навстречу ликованию. Тень на фоне сияния прожектора — таким видит его Беринг; Паттон шагает навстречу толпе, которая тянет к нему целый лес рук, а тот, кто, как Беринг, стоит среди проводов и черной аппаратуры, вполне может решить, что все эти руки тянутся к *нему.* Или к Лили.

Они требуют нас, едва не кричит он, *они требуют нас!*

Но Лили не сводит глаз с тени Паттона. Далеко впереди, среди ликования, занял он свое место. И там, на самом краю сцены, поднимает руку, будто желая утихомирить восторженный рев, однако потом всего лишь козырьком подносит ее ко лбу, обводит взглядом море энтузиастов внизу и наконец до ужаса мощным голосом, который никак не вяжется с его обликом, кричит: *Good!* — и после долгой паузы, позволив толпе откликнуться громовым эхом, продолжает: *evening!*

Good evening! Такому, как Беринг, вполне достаточно этого крика, чтобы узнать неповторимый голос, который он так часто слышал по телевизору в моорском секретариате, из трескучих радиоприемников и, наконец, на пластинке из все той же коллекции майора Эллиота. Но *по-настоящему* не слышал еще никогда.

Те из фэнов, кто полагал, что теперь Паттон подхватит сумасшедший темп своих товарищей и снова раздует прерванную было бурю звуков, вдруг с изум-

лением слышат его одного. Паттону довольно возвысить голос, и с первой же нотой он — высоко над ревом толпы и всяким шумом внешнего мира, совсем один. Он поет.

Далеко от своих музыкантов и так близко от воздетых рук толпы, что иные хватают его за ноги; сжимая в кулаке микрофон, в сопровождении одной-единственной гитары, отчего весь прочий сверкающий арсенал оркестра кажется странно ненужным, Паттон кричит, поет, говорит, шепчет, выдыхает длинные мелодичные фразы, мнящиеся Берингу строфами какой-то *lovesong*. Во всяком случае, *он* слышит слова, само звучание которых волнует его и заставляет думать только о присутствии Лили, о ее руках, чье легкое прикосновение ему уже знакомо, о ее губах, совершенно незнакомых.

Этой песни в приозерье до сих пор не слыхали. Ликование утихло, сменилось тишиной, в которой голос Паттона звучит еще более мощно. И он сам, огромный, словно выросший от собственного голоса — даже фэны такого не ожидали, — стоит, сияя в темноте.

Беринг зябко ежится, хотя вечер теплый и безветренный; всякий раз, когда он погружается в прекрасные звуки, трепет сердца превращает его кожу в птичью, гусиную. Ему так хорошо, что даже страх берет: а ну как прекрасные звуки вот сейчас отпустят его, бросят. (И сколько же раз потом, очнувшись, он волей-неволей опять оказывался в дребезжащем мире, чуточку смешной, с встопорщенными там и тут волосками, — как всегда после какого-нибудь глубокого переживания.)

Но на сей раз зябкая дрожь не прекращается, и звуки не отпускают его, и ничто не выталкивает его обратно, во внешний мир. На сей раз прекрасные звуки еще и набирают силу и влекут за собой другие голоса, прежде всего бас-гитару — темнокожая гитаристка начинает вторить песне Паттона, сперва медленно, затем почти неприметно убыстряя темп. Словно тугая, длинная тетива гудит под пальцами лучника и не рвется — басовые ноты мчатся вдогонку за голосом Паттона, неотступно преследуют его по ступенькам причудливых пассажей, то вверх, то вниз, учащаются, подбираются все ближе.

И Беринг тоже карабкается вверх, и бежит, и скачет, а в конце концов *летит* вослед рукам темнокожей женщины и вослед голосу и становится совершенно невесомым — как в те мгновения, когда пробует уследить в хозяйский бинокль за стремительными фигурами птичьего полета, пока вовсе не теряет почву под ногами и не бросается очертя голову в вихри небес. Паттон поет.

Беринг летит. С закрытыми глазами выписывает петли в небесах и плывет меж облачными грядами, когда чьи-то руки мягко увлекают его к земле — но не *вниз*, не в трескучий мир, а в гнездо. Руки в черной коже, прохладные и гладкие, точно крылья, обнимают сзади его плечи, обвивают шею. А к спине льнет теплое, легкое, как пушинка, тело, покачивается вместе с ним в ритме паттоновского голоса.

Ему нет нужды видеть серебряные браслеты на запястьях и чувствовать на шее прикосновение тончайших цепочек-подвесков, он и без того знает, что это Лили. От ее дыхания птичья его кожа становится еще шершавее. А потом он прислоняется к ней, и она поддерживает его, покачивает. Так было в начале его времени. Так он парил во тьме кузницы, укрытый в голосах пленниц кур. Что же ему сделать, чтоб не растоптать ничего в этом раю? Никогда еще он не обнимал женщину. И не знает, что делать. Только бы голос, который держит их обоих в этом паренье, не умолк, не перестал петь.

Hell on Wheels! Паттон словно *разбудил* песней свой оркестр, а разбуженные словно почувствовали за спиной эту парящую, тревожную умиротворенность и тотчас вспомнили о своем девизе — внезапно все инструменты разом обрушиваются на паттоновскую мелодию, с такой силой кидаются на его голос, что он тонет в могучем наплыве звуков, но уже через долю секунды снова выныривает из этого прилива. Беринг *видит* водяную птицу: она плывет среди валов, и каждый раз, как волна, увенчав себя белопенной короной, но-

ровит рухнуть на нее, похоронить, она взлетает, развеивая крыльями пену. Воодушевленный мощью, с какой этот голос проникает даже сквозь грохот ударных, Беринг и сам наконец словно поднимается ввысь и набирает силу — теперь ее достанет, чтобы взять руки Лили и высвободиться из их объятия.

Он поворачивается к ней, к ее лицу, и глаза ее вдруг оказываются совсем близко, так близко, что он, как тогда, при первой встрече, невольно опускает взгляд. Эта невозможная близость смущает его. Чувствуя, что его видят насквозь, он против воли закрывает глаза и как бы в порядке самообороны, собственно, лишь затем, чтобы избежать этого прекрасного, тревожащего взгляда, дерзает совершить то, на что до сих пор отваживался только во сне, только в грезах.

Ощупью он притягивает Лили к себе, целует в губы. И в следующий миг, чувствуя между своими губами и на сомкнутых зубах ее язык, находится в глубинах сновидения.

Теперь Лили в свою очередь высвобождается из его объятий. Хотя она отпрянула едва ли на один шаг и по-прежнему держит его руки в своих, она вновь далеко, так далеко, что он тоскует по ней и вновь жаждет ее тревожной, волнующей близости.

Но она не желает. Он что-то сделал не так. Наверняка не так. Он пугается. Теперь *необходимо* посмотреть на нее. Но в ее глазах нет укора. Какая тишь разлилась в душе. Только сейчас он слышит бурю ликования: там внизу до самого края ночи волнуется поле вскинутых рук. И все эти руки летят навстречу *им*. Незримые в черной глубине сцены, они держатся за руки, крепко держатся друг за друга. Песня Паттона кончилась. Дети Моора восторженно аплодируют.

Теперь Лили отпускает Беринга из плена своих глаз и ладони свои отнимает, оборачивается к Паттону и, высоко подняв руки, начинает вместе с толпою хлопать в ладоши: *More! Еще! More! More!..*

Такой Беринг не видел ни одну женщину. Он еще чувствует на губах влажность ее языка и выкрикивает ее имя. И она слышит его. Слышит и смеется ему навстречу: *More! More!* Обхватывает пальцами его запястья, резко тянет их кверху. Пусть он тоже аплодирует! И будет совсем-совсем близко, сердцем у ее груди. Она не выпускает его запястья. Хлопает в его ладоши. Он и вправду поцеловал ее.

И тут что-то в нем разрывается и всплывает из той пучины, куда был погружен взгляд Лили. Один из давних, утраченных голосов. Ведь он *хочет,* хочет включиться в общий крик — и вытягивает шею, как тогда, снежным февральским утром, вытягивает шею словно птица, словно курица. Но из горла, распахивая рот, рвется не квохтанье, не сиплый клекот, а человеческий крик. Он торжествует. Кричит, как не кричал еще никогда, и два голоса — ее и его — сливаются в один восторженный вопль.

17. Дыра

Дети Моора, Хаага и Ляйса, конечно же, готовы были в эту пятничную ночь стоять до изнеможения и хоть до рассвета надсаживать глотку, требуя от Паттона и его группы все новых и новых песен... Но далеко за полночь музыканты вдруг исчезли в черной глубине ангара (а оттуда незаметно скрылись в свои палатки) и больше на сцену не вышли, при том что буря оваций не стихала. Потом погасли прожекторы. Аппаратуру демонтировали уже при свете нескольких тусклых ламп.

На летном поле пылали костры и факелы. Полчаса с лишним публика хором негодовала по поводу исчезновения музыкантов, затем люди потянулись восвояси, поначалу еще громко выражая недовольство, а после уж только глухо ворча. Иные из тех, кто, зажатый в толпе, ковылял сквозь ночь домой, к озеру, имели при себе карманные фонарики, но до поры до времени прятали

эту драгоценность, доставали ее, когда отделялись от общего потока и продолжали путь в одиночку, — незачем ведь испытывать судьбу и бросать вызов освобожденной в экстазе вместе с прочими эмоциями жажде искусственного света, электрогитар и других знаков прогресса.

Большинство *инцидентов,* упомянутых секретарями в отчетах перед Армией, происходили в таких и подобных ситуациях именно по дороге домой. Ибо во внезапной тишине после бури, после столь неистового восторга и упоения давние законы и правила Ораниенбургского мира как бы на время упразднялись; запреты не имели значения, грозные кары никого не пугали. Многое из случавшегося в первые часы после концерта случалось в один миг и без оглядки на последствия.

Впрочем, на этот раз толпа вела себя на редкость мирно для такой ночи. Словно *Ад на колесах* сам отбушевал за своих поклонников, лишь кое-где происходили мелкие стычки между враждующими группировками «кожаных», но до побоища дело не дошло. Несколько разбитых носов, несколько зуботычин, но ни кастеты, ни цепи, ни ломики в ход пущены не были. Паттоновская охрана и военная полиция взяли под стражу с десяток подозрительных типов из публики, ни единого разу не применив огнестрельное оружие.

В потемках людская толпа казалась совершенно беспорядочной, но при всей беспорядочности неторопливо, почти благостно ползла прочь из Самолетной долины. И за арестованных никто, кроме двух-трех пьяных корешей, вступаться не спешил; так они и стояли прикованные наручниками к борту бронетранспортера, дергали свои оковы, выкрикивали заверения в невиновности, бранились, а шагавших мимо поклонников Паттона ничуть не интересовало, кто это такие: мародеры, спекулянты или находящиеся в розыске убийцы, — они сожалели только, что и этот вот концерт закончился.

Сонная Лили, сидя на переднем сиденье «Вороны» под защитой дога, дожидалась Беринга, а он искал своего хозяина — на армейской автостоянке, возле сцены и, наконец, в толпе, без всякого плана, наудачу. Завороженный голосом Паттона и нежностью Лили, он лишь незадолго перед тем, как погасли прожекторы, заметил, что Амбрас исчез. А ведь на протяжении всего концерта он пребывал в полной уверенности, что Амбрас стоит в густой тени кулисы, шагах в пятнадцати от них. Выходит, там стоял *не* Амбрас? Но один-то раз он вроде бы почувствовал взгляд Собачьего Короля и попытался увлечь Лили в темноту, шепнув ей на ухо: «Он на нас смотрит».

«Кто смотрит?»

«Он».

«Амбрас? А чем мы ему мешаем? Он только со своими псами целуется».

А потом Лили была близко-близко, и над их объятием бушевала музыка Паттона, и он забыл — *забыл!* — о том, о чем после своего водворения в Собачьем доме не забывал еще ни на миг, — о присутствии хозяина.

Теперь он пробивался сквозь текущий навстречу людской поток и все больше терзался тревогой при мысли, что здесь, в потемках и толкотне, какая-нибудь шайка пьяных «кожаных» могла узнать в Амбрасе управляющего каменоломней, друга и доверенное лицо Армии... Сколько же времени минуло с исчезновения Амбраса? Может, на сцене он ошибся, и та фигура в тени была незнакомцем, а то и врагом.

Но если именно Собачий Король видел, как его Телохранитель среди акустических колонок и усилителей ослеп от нежности и стыда, то смотрел он наверняка не на тайные ласки обнимающейся парочки, а прежде всего на их *руки;* может, ничего, кроме этих вскинутых, переплетенных, счастливых рук, и не видел! Ведь та балетная легкость, с какой Беринг, и Лили, и тысячи других фэнов поднимали сегодня ночью свои руки высоко над головой, обращая их в огромное колышущееся поле, Амбрасу была совершенно недоступна... Амбрас был калека. И Беринг знал его тайну.

Блуждая в толпе, он как наяву вновь слышал грохот каменоломни. Это случилось прошлым утром. Взрывной заряд подорвали слишком рано. И на них с Амбрасом обрушился град каменных осколков.

В туче песка и каменной пыли они помчались к конторскому бараку. Амбрас, чертыхаясь, пинком распахнул дверь и стряхнул с плеч песок. Потом достал из тумбочки щетку, наклонил голову и приказал Берингу вычесать песок из его волос.

«Я с этим нынче не справлюсь, — сказал Амбрас. — Когда погода меняется, я стою под дождем или в снегу, а руку поднять вверх не в состоянии».

Перемена погоды? День был солнечный. Только ветер помалу крепчал. Эта пыльная голова, с которой от первого же прикосновения посыпалась перхоть, вызывала у Беринга отвращение, и вообще, он не любил такого близкого контакта с мужчинами. Даже отца, который уже не видел себя в зеркале и которого кузнечиха причесывала по воскресеньям роговым гребнем, он сам не причесывал никогда. Волосы!.. Он механик, шофер, кузнец — или всего-навсего вооруженный парикмахер?

Хотя приказ Амбраса привел его в ярость, он не стал возражать и принялся осторожно водить щеткой по этим жестким, как проволока, кое-где уже седым волосам, будто причесывая кусачего пса.

Плечи Собачьего Короля побелели от каменной пыли и от перхоти, а Беринг все работал щеткой и, занимаясь этим скучным, унизительным делом, начал догадываться, что как бы мимоходом доверенная ему тайна означала: *Телохранитель* — вовсе не насмешливое прозвище.

Собачий Король не шутил, называя его своим Телохранителем. Амбрас не мог поднять руки над головой, не мог схватиться врукопашную с врагом и имел все основания скрывать от Моора такой изъян. Если армейский фаворит выкажет слабину, то скоро отступающая все дальше власть оккупантов ему не поможет.

Лишь часом позже — они сидели в конторском бараке перед разобранным дефектным перфоратором и слушали, как порывы ветра гонят песок по гофрированному железу крыши, — он наконец отважился спросить хозяина: *Что с вами, что это за хворь такая?*

«Это моорская болезнь, — ответил Амбрас, — на Слепом берегу ее многие подхватили».

«В карьере? На каких работах?»

«Не на работах. На раскачке».

Раскачка. Swing. Беринг знал название этой пытки по большой, как плакат, крупнозернистой фотографии, которую вместе с другими мемориальными материалами показывали в армейских выставочных палатках и на иных стелламуровских мероприятиях. Плакат изображал огромный бук, а на широко раскинувшихся нижних его сучьях висели пятеро узников в полосатых робах. Страшное зрелище. Руки у них были связаны за спиной, а через путы пропущена веревка; на ней-то их и подвесили, на ней они *раскачивались*. Муки несчастных были описаны на английском и немецком языках в нижней части плаката, но Берингу запомнилось только это слово и его перевод: *swing*.

«Если ты смотрел охраннику в глаза, — сказал Амбрас утром в конторском бараке, надевая на большой палец крепительное кольцо разобранного перфоратора, — просто в глаза, понятно?.. У тебя не было права смотреть ему в глаза, ты должен был всегда смотреть в землю, понятно? А иной раз достаточно было скользнуть по нему взглядом... или с перепугу слишком долго пялиться на мыски его сапог и не снять вовремя шапку... или ты мог поплатиться за то, что способен стоять только скрючившись, а не по стойке «смирно», когда он, дав тебе пинка, орет: *Смотри на меня! Смотри на меня, когда я с тобой говорю!* Таких вот и даже куда меньших провинностей было достаточно, чтобы услышать: *На раскачку! Явишься после поверки.* И ты начинал считать минуты, и считал до тех пор, пока тебя в конце концов не волокли под дерево.

Там тебе заламывают руки за спину и связывают веревкой, и перед лицом кошмара, который ждет впереди, ты, как едва ли не все до и после тебя, начинаешь кричать, умоляя о пощаде. А потом они на этой веревке вздергивают тебя на сук и лупят, чтоб ты раскачивался словно маятник... а ты... ты с криком, и с Божьей помощью, и всеми силами стараешься удержаться в каком угодно наклонном положении, чтоб, Боже упаси, не произошло то, что как раз и происходит: тяжесть собственного тела тащит твои связанные за спиной руки вверх, все выше и выше, и у тебя уже нет сил, и твой же чудовищный вес выкручивает эти руки назад, задирает над головой, пока кости не выскакивают из суставов.

Звук при этом такой, какой ты если и слыхал, то разве что в мясной лавке, когда мясник отрывает одну от другой кости туши или ломает сустав; так вот: у тебя звук такой же. Но этот хруст и треск слышишь ты один, потому что все остальные — и скоты, еще сжимающие в кулаках веревку, на которой вздернули тебя на сук, и товарищи по несчастью, которые покуда целые и невредимые глядят на тебя снизу, а завтра или уже минуту спустя будут болтаться здесь же, — все остальные слышат только твои вопли.

Ты качаешься в лютой боли (никогда бы не поверил, что можно испытывать ее и не умереть!) и вопишь (до сих пор ты даже не предполагал, что у тебя *такой* голос!), и никогда, никогда в жизни тебе уже не поднять руки так высоко над головой, как в этот миг.

А если одному из этих заблагорассудится сделать тебя полным калекой, он хватает тебя за ноги, и виснет на них всей своей тяжестью, и раскачивается вместе с тобой. Эта чаша, — сказал Амбрас, — меня миновала, но только лишь эта».

Впервые Беринг слышал, как бывший узник лагеря при каменоломне рассказывал о своих муках. В армейских демонстрационных палатках и на школьных уроках в первые послевоенные годы о пытках и ужасах на Слепом берегу всегда рассказывали стелламуровские *проповедники* (в ту пору моорцы называли их между собой именно так), но не жертвы этих пыток. И на «праздниках» в каменоломне или искупительных церемониях у пароходной пристани *освобожденные* оставались безмолвными и безликими, так что Беринг, да и вообще многие дети Моора думали порой, что лагерники никогда не имели собственного голоса, а лица у них всегда были застывшими мертвыми масками, как на армейских плакатах у голых трупов, кучей наваленных возле бараков или же сброшенных в глубокие ямы: таких фотографий с избытком хватало и в демонстрационных палатках, и на школьных уроках истории, а в процессиях общин кающихся ими зачастую были обвешаны *сандвич-мены.*

Много времени прошло, пока Беринг и ему подобные наконец уразумели, что не все несчастные из барачного лагеря исчезли в земле или в огромных кирпичных печах крематория, некоторые уцелели до настоящего времени и жили, как и они, в этом самом мире. У этого озера. На этом берегу. Лишь когда Собачий король и другие давние *зебры,* сменив свои полосатые робы на армейские шинели и летные куртки, по заданию Армии и под ее покровительством взяли в свои руки управление каменоломней, и свекловодческими товариществами, и солеварнями, и секретариатами, да и все прочие ответственные посты тоже заняли, — лишь тогда молодое поколение даже в самой глуши приозерья поневоле признало, что *прошлое* еще отнюдь не миновало.

Но воспоминания о времени, которое было до них, наводили скуку на детей Моора. Разве *они* имели отношение к черным флагам на пароходной пристани и к развалинам лагеря возле каменоломни? А к посланию Великой надписи в карьере? Пусть инвалиды войны и *возвращенцы,* если им охота, возмущаются стелламуровскими мероприятиями и протестуют против *правды победителей* — для Беринга и таких, как он, все мемориальные ритуалы, проводимые хоть по приказу Армии, хоть по инициативе искупительных обществ, были не более чем мрачным спектаклем.

Ведь то, что дети Моора видели на плакатных щитах и слышали на одобренных миротворцем *уроках истории,* был просто-напросто Моор — разваливающиеся бараки, облепленные ракушками сваи пароходной пристани, каменоломня, руины. Все это они и так знали. Им *хотелось* увидеть совсем иное: многополосные шоссе Америки, по которым рядами катили машины вроде той, на какой здесь, в приозерье, ездил только комендант, а позднее Собачий Король. Небоскребы острова Манхэттен, где была резиденция Линдона Портера Стелламура; море! — им хотелось увидеть море, а не пожелтевшие черно-белые фотографии Слепого берега. Статую Свободы у входа в Нью-Йоркскую гавань и полый факел в ее поднятой руке — вот что им хотелось увидеть, а не исполинские буквы Великой надписи: *Здесь лежат убитые — числом 11 973...* Конечно. Мертвые лежали во всякой земле. Но у кого же в третьем десятилетии Ораниенбургского мира еще не пропала охота считать трупы? По Великой надписи расползался мох.

С той минуты, как закончился концерт, Беринг ни разу не наткнулся ни на пьяных боевиков, ни на «кожаных», но продирался сквозь давку все решительней и бесцеремонней. Если с Собачьим Королем что-то стряслось, вилла «Флора» снова отойдет к Армии, а он сам отправится назад в кузницу. Медлительность толпы бесила его. Кулаками он расталкивал поклонников Паттона, которые совсем недавно были ему прямо как родные, и выкрикивал имя хозяина. Но здесь это имя вызывало лишь злобные взгляды, и как он ни упирался, толпа все равно несла его с собой.

Стоянка машин сопровождения казалась далекой черной крепостью во мраке, когда он наконец обнаружил Собачьего Короля. Амбрас стоял прислонясь к обросшему травой боку ржавой автоцистерны, а вокруг толпились какие-то люди, и на лице его трепетали отсветы горящих сучьев и факелов. На первый взгляд, он целиком ушел в созерцание жутковатого спектакля, что разыгрывался тут с его участием. Семь не то восемь *ирокезов* (так звали бритоголовых, которые оставляли на голове узкую полосу волос, выкрашенную в пронзительно-красный цвет наподобие петушиного гребня), точно фехтовальщики, делали выпады в его сторону и тотчас отскакивали назад, тянулись к нему факелами, но не дотрагивались, не обжигали, только что-то орали — может, спрашивали о чем-то, может, поливали бранью, не поймешь. Амбрас не отвечал и вообще никак не пробовал защититься. Просто стоял и смотрел на них. Какой у него усталый вид.

И *это* — Собачий Король? Друг Армии, который мог вершить суд и объявлять в приозерье чрезвычайное положение? Непобедимый? Тот, кого Моор до сих пор боялся, ведь одной зверюге он проломил череп обрезком железной трубы, а другой голыми руками свернул шею. Этот усталый человек?

«Собаки... как же вы тогда сумели укокошить собак?..» — спросил Беринг минувшим утром в конторском бараке, и Амбрас не дал ему объяснить, что спрашивает он не про моорскую сплетню, что в тот вечер он сам, холодея от страха, сидел в одичавшем винограднике возле ограда виллы «Флора» и своими глазами видел победу над сворой — изредка видел и сейчас, когда закрывал глаза.

«...этими руками, ты имеешь в виду? Собаки цепями не дерутся, — сказал Амбрас. — И не налетают сверху, как птицы. Собаки не принуждают тебя задирать руки вверх. Они напрыгивают снизу». Пес, который прыгнет на *него,* добавил Амбрас, и теперь обречен на смерть.

Беринг приближался к хозяину медленно, слишком медленно. Толпе не было дела ни до его возбуждения, ни до воплей ирокезов с факелами, ни до пленника, лицо которого снова и снова исчезало в пляске огня. Завязнув среди каких-то перепачканных сажей типов, тащивших с собой раненого, Беринг изо всех сил работал локтями и вдруг поймал взгляд Амбраса — Собачий Король смотрел на своего Телохранителя поверх двух-трех десятков голов.

Неужели вправду смотрел?

Так или иначе, Берингу показалось, что он не только поймал взгляд хозяина, но и прочитал в нем вопрос, приказ, и он невольно нащупал за поясом пистолет.

От него требуют *этого?*

Взгляд сказал *да.*

И он с такой поспешностью выхватил оружие из-под куртки, что рубашка зацепилась за спусковой крючок и порвалась. Когда же пистолет оказался на виду, у него в руке, был он теплым на ощупь, согревшимся от тепла его тела, и все-таки чужим, совершенно новым и не привел на память ни выстрелы апрельской ночи, ни гаснущее лицо врага.

Беринг освободил рычаг предохранителя, отвел салазки, услышал, как патрон выбросило из обоймы в ствол, и вскинул вверх *свое* готовое к выстрелу оружие — показал его угрюмому миру, посреди которого, ожидая помощи, стоял его хозяин.

И вдруг перед ним возникло пустое пространство, пространство ужаса, и стало быстро расширяться в нарастающем гомоне голосов: *Гляньте, он вооружен, берегитесь, вон тот парень — у него оружие, да ведь это кузнец, у него оружие...* Толпа расступилась перед ним, как воды Чермного моря на гравюре в кузнечихиной иллюстрированной Библии, которую он столько раз рассматривал.

Люди, море... весь мир отпрянул от него во мрак. *Бегите отсюда, в укрытие! Тут псих с оружием!* Что могут факелы и горящие сучья, что могут камни, дубинки и голые кулаки против блестящего вороненого пистолета в его руке?

Пьянящее ощущение — шагать через это густое пространство к недвижному Амбрасу, лицо которого все больше тонуло в тени и во тьме: факелы, а с ними и свет отшатнулись от него. Кто шел с огнем, бросил его, затушил или затоптал, чтобы не стать для человека с оружием освещенной мишенью. Слепцы в неожиданно наставшей ночи, участники огненного спектакля, напирая друг на друга, всем скопом шарахнулись в темноту.

Беринг подобрал один из брошенных факелов и поднял его над головой. Кто теперь швырнет камень или отважится хотя бы погрозить ему кулаком? С огнем в одной руке и пистолетом в другой он шел на подмогу хозяину.

Собачий Король стоял в полном одиночестве, когда он наконец очутился с ним рядом.

— Вам ничего не сделали? Вы... вы не ранены? — В этот миг он чувствовал себя невероятно сильным, а голос все равно дрогнул.

— Жив пока, — сказал Амбрас. — Эти болваны меня бы не тронули.

— *Не тронули?* — Берингу почудился звон осколков его торжества. Он смущенно спрятал пистолет и затолкал под ремень рваную рубашку. — А я? Что я должен был сделать?

— Ничего. Да ладно тебе, — сказал Амбрас, — ты все сделал правильно. — Потом он спросил о Лили.

— Она ждет в машине.

— А пес?

— И пес при ней.

На обратном пути к автостоянке летное поле пустело с такой быстротой, будто Телохранитель Собачьего Короля распахнул где-то в ночи ворота, шлюз, через который поток концертной публики стремительно хлынул к берегу озера. По дороге Амбрас говорил мало.

Почему он ушел со сцены, почему очутился в гуще толпы?

Не хотел там наверху оглохнуть.

Если не считать машиниста какого-то свекловодческого товарищества, который решил выпросить у управляющего каменоломней пропуск на равнину и, размахивая руками и тараторя, тащился за ними следом до самого ангара, больше никто им дорогу не заступил. Да и этот проситель, хотя Берингу лишь

силой удалось отвадить его, задним числом струхнул, когда через день-другой до него дошли слухи, что Собачий Король сделал молодого моорского кузнеца не просто своим шофером и не просто работником, а еще и дал ему оружие и приказал стрелять по нападающим.

Возле ангара Беринг еще час с лишним ждал Амбраса, который сидел в армейском бронеавтомобиле, беседуя с неким капитаном. Телохранитель озяб, переминался с ноги на ногу, но первым вернуться к «Вороне» все-таки не рискнул. Из большой освещенной палатки долетали громкие возгласы и смех, ему почудилось даже, что он узнал голос Паттона. Водитель бронеавтомобиля угостил его сигаретой, но потом опять напялил наушники и уставился в пространство, ведь Беринг не понял ни его шуток, ни замечания насчет концерта.

Когда Амбрас наконец вылез из кабины и зашагал к «Вороне» (Беринг светил ему фонариком), от него пахло шнапсом. Дог, точно изваяние, восседал на водительском месте, а Лили спала, прислонившись к нему, — и проснулась, едва Беринг открыл дверцу. Пес не издал ни звука. Беринг выпроводил его на заднее место, занял свое место за рулем и запустил мотор.

Как называлось то чувство, какое он испытывал по дороге домой, — *счастье?* Лили сидела рядом и на плавном повороте, когда машина выезжала с автостоянки, прислонилась к нему, точь-в-точь как недавно к догу, и не протестовала, когда он украдкой погладил ее по руке. А сзади сидел Амбрас, поглаживал свою собаку и мог засвидетельствовать, что Беринг, бывший моорский кузнец, способен выручить из опасности не только себя, но и самого могущественного человека в приозерье. И вдобавок в ушах все еще звучала музыка Паттона!

Летное поле было безлюдно. Только по его краям фары «Вороны» высвечивали порой какие-то фигуры: они сидели у костра или, завернувшись в одеяла, лежали в траве. Хмельной от счастья, Беринг не мог устоять перед соблазном этой широкой бетонной полосы, лишь кое-где взломанной колючим кустарником, и нажал на акселератор. Глухое ворчание дога утонуло в реве мотора. Ускорение придавило Лили к его плечу. Взлетная полоса мчалась из черной бесконечности ему навстречу и уходила назад, туда, где он впервые поцеловал женщину и спас хозяина. Кустарник по обочинам известково-белой лентой улетал прочь из поля зрения.

— Ты с ума сошел? — послышался за спиной голос Амбраса. Лили, похоже, спала. «Ворона» с ревом летела сквозь ночь.

Лишь через несколько секунд Беринг медленно отпустил педаль; еще секунда — и он перенес ногу на тормоз, чувствуя в этом почти неуловимом промедлении силу, которая уже не имела ни малейшего касательства к оружию у него за поясом. Потом он нажал на тормоз и так решительно сбавил скорость, что голова пса съехала с колен Амбраса и ударилась о спинку сиденья. Амбрас не сказал ни слова, а вот Лили резко выпрямилась, тихонько рассмеялась, локтем подтолкнула Беринга и прошептала: *Куш!*

Почти в самом конце взлетной полосы, там, где в последний военный год истребители-бомбардировщики развивали максимальную стартовую скорость, отрывались от земли и круто взмывали вверх, чтобы не разбиться об отвесные скалы Каменного Моря, — там «Ворона» медленно съехала по колдобинам на старый грейдер. Сызнова началось неуклюжее лавирование среди выбоин, ям и промоин. Теперь и эта дорога была пустынна. Паттоновские поклонники оставили на маркировочных жердинах и сучьях лохмотья бумаги и одежды, отчего иные из этих предупреждающих знаков стали похожи на огородные пугала. Лохмотья бились и трепетали на холодном ветру с озера, махали Берингу. Ночь становилась бурной.

Ломота в плечах, вероятно, все же не обманула Собачьего Короля, и погода действительно менялась. Склоны вроде как уже в тучах? Видимость ухудшалась. Усталый от напряженного вглядывания в разбитую, ухабистую дорогу, Беринг потер глаза. Помнится, когда ехали в горы, выбоин было не так мно-

го. А сейчас? Сколько же их — черными тенями возникают вдруг в луче фар, и далеко не все помечены жердями. Иногда он прижимал машину к самому краю пропасти, потому что иначе было не проехать.

— Куда тебя несет? Осторожно! — прошептала Лили и невольно схватила его за локоть, когда автомобиль очередной раз вильнул, чтобы не угодить в яму. Но скоро Лили опять разморило, она перестала следить за дорогой и уронила голову ему на плечо. Амбрас в потемках разговаривал с догом и ездой не интересовался.

Отчего так плохо видно? Все подернуто какой-то странной мутью — наверно, от пыли, которую подняла «Ворона»? Не иначе как ветер задувал эту пыль внутрь машины, сквозь щели и вентиляционные клапаны? Вот только что Беринг отер глаза тылом руки, а их уже опять застят слезы; он отчаянно напрягался, стараясь рассмотреть, что́ там на дороге — яма или просто тень.

Хотя, возможно, в этих расстройствах и обманах зрения виноваты всего-навсего тусклые фары «Вороны». Во время ремонта он так и не нашел им замены. А правильно ли он вообще едет? Нет-нет, все в порядке, дорога та самая. И где в Мооре взять новые фары? Вот о чем Собачьему Королю стоило бы спросить капитана. Или, может, Лили сумеет достать их на равнине?

Размышляя об этом, Беринг медленно и незаметно ехал прочь от своего счастья. Он повернулся к Лили, но свет был до того тусклый, что он распознал ее лицо только со второго взгляда. Она боролась со сном. Устала ничуть не меньше, чем он.

И тут сон в одну секунду как рукой сняло, Беринг и думать о нем забыл, когда впереди тенью разверзлась яма, не помеченная предупреждающим знаком, — разверзлась до того неожиданно, что он чуть было не посадил в нее машину. Он резко затормозил, так что Лили только чудом не врезалась лбом в ветровое стекло. Что произошло с Амбрасом и догом, Беринг не видел, но слышал, как хозяин сердито воскликнул:

— ...что такое? Что с тобой?

— Яма.

— Где? — спросила Лили.

Внезапно Беринг прямо обмер, дыхание перехватило, в голове пустота: он оторвал взгляд от дороги и перевел его на Лили, а эта тень, эта яма *двинулась за его взглядом,* выскользнула из луча фар, взлетела вверх и черным пятном затемнила лицо Лили. Тень двигалась *вместе* с его глазами. Яма зияла не на грейдере, а в его взгляде! Если он снова оборачивался к дороге, эта дыра повторяла движение его зрачков; если неотрывно смотрел в конус света фар, тень снова замирала на дороге, овальное пятно, не столь четко очерченное и не столь черное, как настоящие западни и выбоины, однако ж почти от них неотличимое. Его взгляд, его мир был продырявлен.

— Где? — опять спросила Лили. — Где тут яма?

— У тебя галлюцинации? — спросил Амбрас. — В чем дело?

— Ни в чем, — ответил Беринг. — Так, пустяки. — И поехал дальше, прямо на эту дыру в своем мире, которая отступала перед ним и с каждым движением его глаз, точно блуждающий огонек, плясала то по дороге, то по темным скальным кручам, то над бездной, а все же постоянно была в поле его зрения, словно указывала путь обратно к озеру. И он следовал за этим знаком, невидимым для других, следовал за ним в ночь, безмолвно и растерянно.

18. Песье логово

Ночь была короткая. На востоке гребни и вершины Каменного Моря уже купались в лучах зари, когда «Ворона» наконец-то свернула на набережную и покачиваясь направилась к черным от копоти стенам водолечебницы.

Ветер, уже не порывистый, а ровный и теплый, рвал и разгонял тучи над озером. Над отвесными скалами Слепого берега вставал ясный, наполненный

птичьим гомоном день раннего лета. Но дыра, сквозь которую в мир Беринга вторгался мрак, не сомкнулась и при свете дня.

Дог так и не убрал свою башку с колен Амбраса, который молча сидел на заднем сиденье, а в водительское зеркальце Беринг не мог разобрать, бодрствует Собачий Король или спит. Беринг зябко ежился, хотя и чувствовал тепло Лили, спавшей у него на плече. Он мертвой хваткой вцепился в баранку, словно это была единственная и последняя опора в громыхающем мимо ландшафте, который убегал назад, в Ничто, по обе стороны дороги.

Лили проснулась, когда «Ворона» затормозила перед метеобашней. Белый лабрадор — *ее* собака — с лаем метался по прибрежному лугу. Амбрас вынужден был придержать своего дога за цепь. Сквозь оглушительный лай он крикнул Лили *доброе утро.* Потом ладонью закрыл своему псу глаза и тихонько сказал: *Всё, хватит.* В ту же секунду дог замолчал. А лабрадор, шалея от радости, по-прежнему скакал вокруг машины.

Кофе? Может, Лили все-таки прокатится с ними до виллы «Флора»? Лили не хотела есть, она только устала. И больше никуда не поедет. Лабрадор щелкал зубами, пытаясь куснуть шины.

Злющие псы не дали им толком попрощаться. Лили пальцем провела Берингу по щеке, нарисовала незримую волнистую линию, знак, которого он не понял, вылезла из машины и поспешно захлопнула за собой дверцу, чтобы не провоцировать дога к нападению на ее стража. Амбрас отпустил цепь и рассмеялся. Лабрадор вихрем налетел на хозяйку, и не успела она оглянуться, как он вскинул передние лапы ей на плечи и вмиг облизал лицо.

— Чего ты ждешь? — спросил Амбрас, похлопав Беринга по плечу.

Лили отперла висячий замок, сняла цепь с обитой железом двери и вошла в башню; на них она больше не оглянулась, только, уже невидимая в темноте, кликнула собаку.

Беринг подал «Ворону» назад, примял заросли жгучей крапивы и попытался одной рукой оттолкнуть на заднее сиденье дога, который яростно кидался на ветровое стекло, норовя достать лабрадора. А тот, без ошейника и без цепи, напился илистой воды из лужи и наконец устремился в дом, следом за хозяйкой. *Место!* — сказал Амбрас, и Беринг ощутил, как остывают собачьи слюни у него на руке.

Когда «Ворона» уже катила по сосновой аллее к вилле, солнце поднялось над горами. В последние дни Беринг постарался заровнять выбоины на подъездной дороге — горы песку и щебня лопатой перетаскал; поэтому ехать можно было совершенно спокойно, без нервотрепки, вот и он сейчас успокоился. Теперь, если он на секунду-другую зажмуривал левый глаз, из поля зрения, конечно, многое исчезало, но исчезало и пятно. Стало быть, второй глаз был цел и невредим. *Невредим.*

Собачья стая тесным кольцом окружила вернувшихся; молчком, виляя хвостами и вывесив языки, псы проследовали за ними по коридорам виллы на кухню. Там еще до того, как Амбрас велит затопить плиту и сварить кофе, Берингу предстояло приготовить корм для собак, и от усталости он порезал себе руку. Кровь капала на свиные желудки и обрезки мяса, капала на овсянку, которую он собирался смешать с мясом, забрызгала каменные плиты кухонного пола. Самые голодные из стаи обнюхали кровь, но сперва втянули язык в пасть, чтобы не дотронуться до нее.

Амбрас появился на кухне как раз в ту минуту, когда Телохранитель тряпкой и холодной водой пробовал унять кровотечение. Грязную тряпку Собачий Король велел немедленно снять, после чего обработал порез йодом, забинтовал и закрепил повязку лейкопластырем из армейской аптечки. Потом он разложил по мискам собачий корм, опорожнил печной зольник, помог Берингу затопить плиту и сам сварил кофе.

Амбрас, который в теплое время года ночи напролет проводил на веранде, в плетеном кресле, окруженный своими псами, похоже, и после этой бессон-

ной ночи ни капельки не устал. Беринга он на весь день отправил отдыхать, а сам в сопровождении одного только пепельного дога пошел к лодочному сараю и там запустил сигнальную ракету: таким сигналом он иногда вызывал паром прямо к вилле и после прямо с гнилых мостков прыгал на борт. Паромщик, по обыкновению, дожидался управляющего возле моорской пристани и ответил на его сигнал протяжным гудком сирены, который разнесся над бухтой, проник в коридоры виллы «Флора» и в глубины Беринговой усталости. Потом понтон отчалил от берега и взял курс на лодочный сарай в зарослях камыша.

Беринг одетый лежал на своей постели в бильярдной и с открытыми глазами грезил под музыку проигрывателя — о концерте Паттона и объятиях Лили. Темное пятно в глазу казалось теперь пустяковым изъяном, который наверняка бесследно исчезнет — стоит лишь хорошенько выспаться. Про глубокий порез на руке он уже успел забыть. Даже когда он закрыл глаза, а темное пятно так никуда и не делось, продолжало плясать в том пульсирующем туманном багрянце, каким становится под веками утренний свет, ему уже не было страшно. Усталость глушила любой страх.

Под бешеную барабанную дробь из пыльных динамиков в изножье постели Беринг уснул, и снился ему вихрь, летящий в какое-то отверстие, снился сток, дыра, где, крутясь, исчезала небесная лазурь. Оставалась только кромешная чернота. Он не проснулся, когда пластинка кончилась и игла адаптера, выскочив из спирали бороздок, стала выписывать беспорядочные круги, сопровождаемые ритмичными щелчками. Между тем ветер снаружи утих. Щелчки иглы звучали в тишине монотонно, как тиканье часового маятника, а Берингу грезились прыгучие шарики, ярко вспыхивавшие в черноте и вновь угасавшие.

Вилла «Флора» была в эти утренние часы обителью тишины и покоя. Собаки дремали в тени веранды, лениво валялись на ступеньках наружной лестницы, что вела в парк, или бродили по коридорам — но ни одна не лаяла. Порой казалось, будто они, насторожив уши, прислушиваются к дыханию Беринга. Все было тихо, даже когда на пригорке по ту сторону обросшего плющом заграждения из колючей проволоки, которое по-прежнему окаймляло виллу, появился сборщик хвороста. На таком большом расстоянии этот человек, конечно, не видел, что семь не то восемь собак следили за каждым его движением, и не слышал, что они продолжали глухо рычать, когда он со своей заплечной ношей давным-давно, даже не заподозрив об опасности, пропал между деревьями. Солнце поднялось высоко над парком. Птичьи голоса слышались все реже и наконец умолкли в полуденном зное. Наступало лето. День перевалил на вторую половину. Беринг спал.

Первое, что он *увидел,* пробудившись под вечер, было, разумеется, черное пятно. Дыра. Она не исчезла. И как он ни изощрялся: и мигал, и веки тер, даже окунал голову в полный до краев умывальный таз и то открывал, то закрывал глаза под водой, пока от нехватки воздуха взгляд вовсе не помутился, — дыра не исчезла ни в этот вечер,

ни на следующий день,

ни через неделю,

ни через две...

Правда, в размерах она не увеличилась.

Если Амбрас в эти недели спрашивал его о плохо зарастающем порезе на руке, разговаривал с ним или просто смотрел на него, Беринг неизменно опускал голову, опасаясь, как бы Собачий Король не заметил пятна в его глазу. Он начал отвечать на вопрос вопросом и отвлекать внимание хозяина от своей персоны, мимоходом упоминая о поврежденной лапе одной из собак, заводя речь о какой-нибудь запасной части, необходимой для «Вороны», а то и попросту показывая на пустую шаланду возле берега, на приближающегося всадника или столб дыма на Слепом берегу: *Что там происходит? Вы ждете посе-*

тителя? Это не секретарская лодка? Он отвлекал Амбраса так ловко, что при всей недоверчивости тому даже в голову не приходило, что Телохранитель прячет от него глаза и своими вопросами старается всего-навсего не допустить его к некой тайне.

Энергичная, зачастую неугомонная бдительность, с какой Беринг хранил свою тайну, в конце концов заставила Амбраса уверовать, что Телохранитель теперь необычайно осмотрителен и проявляет необычайный интерес ко всем делам виллы «Флора». Амбрас относил эту энергичность за счет того, что Беринг полностью свыкся с жизнью Собачьего дома. А говоря по правде, Беринг привыкал к дыре в своем мире, к изъяну, который в иные дни докучал ему больше, в иные — меньше и от которого он не знал лучшего средства, нежели умолчание: шофер с дырявым взглядом! Работник, механик... телохранитель с дырявым взглядом! Слепым в Собачьем доме наверняка места нет.

А Лили... Лили он, возможно, и доверил бы свою тайну, разумеется, доверил бы — но в эти дни и недели она заходила на виллу, как обычно, только от случая к случаю, с короткими послеобеденными визитами. Вела с Амбрасом всегдашний обмен, однако же никогда не пыталась остаться с Берингом наедине и делала вид, словно они никогда не обнимались и не целовались. Если он подходил чересчур близко, она улыбалась, вскользь роняла какую-нибудь фразу или трепала его по щеке, как собаку, — и отшатывалась от него.

Однажды Беринг все-таки ласково дотронулся до нее — они с Амбрасом сидели на веранде, а ему велено было принести из кухни графин с вином, и после он так нагнулся над столом, что одной рукой мог погладить ее по спине, — она хотя и не увернулась от прикосновения, но как ни в чем не бывало продолжала разговаривать с Амбрасом, а в сумерках, на прощание, посмотрела Берингу в глаза таким пустым взглядом, что он поневоле усомнился в своих воспоминаниях. Эту ли женщину он держал в объятиях? Она же сама подошла к нему, обняла за плечи, увлекла туда, где он теперь без сна томился по ней тоскою.

В сравнении с той дырой, которую пробила в его жизни загадочная отчужденность Лили, дыра в глазу утратила всякую важность, и в иные дни он даже ухитрялся, сам того не сознавая, восполнить отсутствующий, затемненный слепым пятном фрагмент своего мира — и тогда *видел* собачью башку, видел камень, прядь Лилиных волос или вростки в изумруде под Амбрасовой лупой, видел там, где *на самом деле* была одна только тьма.

— Она приходит, когда *ей* хочется, и уходит, куда *ей* хочется. Пускай приходит и уходит по своей охоте, оставь ее в покое — или ты сделаешься помехой для нее, — сказал Амбрас однажды, когда они с Берингом сидели после обеда на веранде, изучая план каменоломни, а над виллой собиралась гроза. Надвигающееся ненастье заставило их раньше обычного вернуться на «Спящей гречанке» к моорскому берегу. Для понтона с его низкой осадкой волна на озере была уже слишком высока. Амбрас как раз обводил красным контуры участка, где в ближайшие дни будут идти взрывные работы, когда из-за колючей проволоки им помахала Лили; она вела своего тяжело навьюченного мула к озеру, по тропинке вдоль границы парка. *Она приходит, когда ей хочется, и уходит, куда ей хочется. Оставь ее в покое.*

Даже на крытой веранде напор предгрозового ветра был так силен, что от сквозняка разложенный на столе план горных работ временами вздувался пузырем, волной и опять опадал. Берингу было велено придавить бумагу стаканами и пустыми бутылками. Но он не слышал распоряжений Амбраса. Он видел только Лили и слышал только шум сосен.

Небо над Каменным Морем налилось чернотой. Во вспышках молний стремительные тучи казались кораблями, маяками, дворцами и сказочными существами исполинского театра теней. Лили опешила. Жестом отказалась, когда Амбрас, взмахнув рукой, предложил ей место на веранде. Его жест мог означать бокал вина, приглашение совершить меновую сделку или просто по-

болтать. Но Лили все это не интересовало. А Беринг так задумался, провожая ее взглядом, что Амбрас даже постучал циркулем по столу и по чертежу, чтобы напомнить ему о пластах породы и шпурах. *Оставь ее в покое.*

Последний раз Лили заходила к ним четыре-пять дней назад. Похоже, она шла с перевала, с равнины. Из казарм. Первые капли застучали по стеклам веранды. Не было бы града. Блеклая желтизна, проглядывавшая в разрывах черных туч, внушала такие опасения. В камышовых зарослях пылали на двух платформах огни штормового предупреждения, при том что все шаланды, плоскодонки и плоты — а их-то огонь и должен был отозвать к берегу — давным-давно стояли у причалов. Пустынное озеро шумело как море.

С какой уверенностью Лили вела мула по крутой тропе! Далеко впереди молния ударила в воду, и животное с испугу заартачилось, но тотчас же словно бы кивнуло, когда Лили обернулась и крикнула ему какие-то успокоительные слова. Беринг почудилось, что он услышал ее голос сквозь шум сосен и волн.

Некоторые псы, увидев Лили под грозовым небом, пришли в такое возбуждение, что продрались сквозь ежевичник и сиганули через колючую проволоку, чтобы поздороваться с девушкой и приласкаться. Но Лили продолжала свой путь, не обращая внимания ни на грозу, которая с минуты на минуту обрушится на Моор, ни на бурную радость собак.

Амбрас штриховал окантованные красным участки взрывных работ, снова полностью сосредоточившись на своем карьере, меж тем как мысли Беринга все еще были на тропе, возле собак, возле Лили. Он видел, как она наклонилась к догу и потрепала его по шее, по ушам, и ощутил ее руки на *своей* шее, в своих волосах, да так живо, что даже мурашки по коже побежали.

К собаке Лили была нежнее, чем к нему. Она слишком торопилась, чтобы хоть немножко свернуть с дороги или по крайней мере поискать на вилле укрытия, — но с собаками говорила, смеялась и что-то шепнула догу. Потом выпрямилась, натянула повод и быстро зашагала дальше. Гроза добралась до моорского берега. Ветер рвал кроны сосен в аллее, многоголосым гулом наполнял лестничную клетку виллы, длинными струями сдувал пыль с набережной на пенные гребни волн. Но град, обещанный по радио армейскими синоптиками, так и не состоялся. Дождь и тот свинцово-серой мглой развеялся высоко над виллой. На белом известняке наружной лестницы бледнели, высыхая, узоры первых капель. Должно быть, град тоже выпал в другом месте.

Лили исчезла из виду и была, наверно, уже на подходе к своей башне, когда дог вернулся на веранду и, заползая под стол, стащил на пол план карьера. Амбрас сердитым окриком прогнал пса в дом — тут только Беринг наконец вышел из прострации, нагнулся за чертежом и, тщательно расправив, снова разложил его на столе.

— Не так, — сказал Амбрас. — Переверни. Я сижу вот здесь. И каменоломня должна быть внизу, а небо — вверху. Где у тебя глаза? Ослеп, что ли?

Оставь ее в покое. Почему, черт возьми, ради этих барбосов Лили даже под градовой тучей задержалась, мало того, гладила их вонючую шкуру, однако прошла мимо большущего проема в проволочном заграждении и ему, Берингу, руки не подала? После недельного отсутствия просто небрежно махнула ему рукой и пошла дальше. Лили! Он ведь целовал ее. Она что же, забыла? Совсем забыла?

Беринг однообразно повторял свои вопросы и укоры, обращаясь к Лили в монологах или просто в мыслях, — но когда сталкивался с нею в Собачьем доме, на пароходной пристани или в базарный день среди дощатых лавчонок моорских рыбаков, торговцев птицей и капканщиков, не мог связать и двух слов. Сконфуженно ухмылялся и брякал что-нибудь такое, за что яростно себя бранил уже минуту спустя, как только опять оставался наедине со своей нерешительностью. Иной раз он начинал мямлить и заикаться, даже когда всего лишь спрашивал у Лили, не расседлать ли ее мула, пасущегося у прудика с кувшинками.

Только когда *она сама* затевала разговор, просила щепотку соли для мула, спрашивала, как дела в кузнице, любопытствовала насчет коршуна, кружившего над соснами, или насчет механизмов двигателя внутреннего сгорания, он порой легко и непринужденно включался в беседу. И тогда секунду-другую верил, что она вновь идет ему навстречу. И рассказывал ей о своем подслеповатом отце, о костяке крыльев хищной птицы, о принципе силовой передачи и о невозможности вернуться на Кузнечный холм.

Однажды за таким разговором он и согласился, чтобы она относила старикам на Кузнечный холм *благотворительные пакеты* — продукты, мыло и записки, накорябанные на пожелтевших каталожных карточках из шкафов конторского барака. Но стоило Берингу собраться с духом и легонько до Лили дотронуться или всего-навсего посмотреть ей в глаза, как она тотчас отворачивалась или отодвигалась. Ни разу она не была такой, как тогда, в ночь концерта.

Чем он ее обидел, что сделал не так, почему она опять чуждалась его? День за днем ждал он урочного часа, когда наконец потребует от нее ответа, пусть даже после этого она еще больше от него отдалится. Но летние недели проходили одна за другой, и в итоге от множества невысказанных вопросов остался один-единственный. Незаметно и упорно этот вопрос вторгся во все упреки, во все помыслы о Лили и терзал его даже во сне. Правда, этот единственный вопрос был обращен уже не к Лили, а исключительно к нему самому, к его бдительности, с какой он теперь во время визитов Лили на виллу следил за каждым ее движением, почти забывая о дыре в своем мире, о слепом пятне в глазу.

Эта женщина, единственная, которую он держал в объятиях и целовал, избегала его оттого,

что Собачий Король
был ее тайным
и настоящим любовником?

Оставь ее в покое. Ведь так сказал Амбрас. Такова была *его* воля, а не воля Телохранителя. Оставь ее в покое. Он же ничего ей не сделал! От стыда и страха перед отставкой ни малейшего упрека не смел высказать. Всегда оставлял ее в покое и нипочем бы не дерзнул дотронуться до нее, если бы *она сама* не обняла его тогда. Еще и теперь в ушах у него стоял легкий звон ее браслетов. Он помнил все, с мучительной ясностью. Вспоминал ее объятия, сидя с Амбрасом над планами гранитного карьера и глядя на очертания фундаментов давным-давно разрушенных бараков при камнедробилке. Вспоминал, стоя с Амбрасом между вагонетками на пыльном пароме, вспоминал, нарезая собакам мясо и лежа ночью без сна, вспоминал, устало просыпаясь утром. Он ведь оставил ее в покое. Но его покой, *его* душевный мир пошел прахом.

Теперь, когда Бразильянка и Собачий Король торговались при нем о ценности какого-нибудь изумруда и его меновом эквиваленте, изучали под лупой *чистоту* камня и восторженно рассуждали о дымчатости, о жидкостных включениях и трещинах, о черных ядрышках, отростках, орторомбических призмах и великом многообразии форм призрачных садов в недрах самоцвета, Берингу в каждой их фразе, в каждом непонятном слове мерещились зашифрованные любовные послания, и в самых что ни на есть незначительных жестах он искал скрытого подтверждения своих догадок.

Иногда он слышал их смех, *думал,* что слышит смех, спускаясь в погреб виллы за вином или за куском рокфора... Они что же, смеялись над ним? Над обманутым в игре? И однажды, прохладным и ветреным июльским днем, эти бесконечные вопросы доконали его: он сломался.

За двое суток до того, ночью, поблизости от Ляйсской бухты снова был налет на хутор, одного человека убили и неизвестно сколько ранили, и в это летнее утро Амбрас велел Берингу проверить и, если надо, отремонтировать замки виллы «Флора», а потом укрепить все оконные ставни и сквозные отверстия стальной лентой. Оставив его с этим поручением, Собачий Король свистом подозвал дога и еще четырех собак и отправился в каменоломню.

Первые часы этих ремонтно-оборонительных работ, на которые уйдут дни, а может, и недели, Беринг занимался обмером окон и дверей, подсчитывал, сколько понадобится материалов и каких именно. При этом он раза четыре прошел мимо двери бывшего музыкального салона, мимо двери Амбраса, но ни на миг возле нее не задержавшись, ведь ставни этой комнаты нижнего этажа и так *были* железные, а дверь вела в коридор, не наружу, не в заросли.

Когда же он все-таки нажал латунную ручку этой двери, осторожно, словно опасаясь застать там спящего или караульщика, то в душе оправдывал свое вторжение шумом, доносившимся изнутри, — звук походил на удары кувалды. Дверь была не заперта.

Если бы Собачий Король самолично не запретил псам нападать на Беринга, собаки, лежавшие на полу в коридоре, вряд ли бы дали ему прикоснуться к этой ручке даже кончиками пальцев. А так они только встали и воззрились на него — он распахнул дверь и шагнул в темноту.

В музыкальный салон Беринг заходил всего один раз, три недели назад, помогая Амбрасу перетащить из этой сумрачной комнаты наверх, в библиотеку, вышитый, изъеденный молью диван. Когда они отодвигали тяжеленную махину от стены, ненароком оторвался лоскут обивки — лев из бисерной пряжи, лежащий на кувшинках, в окружении птичьих стай; даже в гриве у него и на лапах сидели птицы, будто причесывали его своими клювами. Придавленный тяжестью дивана, Беринг тогда ничего толком не рассмотрел, лишь чутьем угадал, что за много лет он первый посторонний, вошедший в эту темную комнату.

И нынче, летним днем, здесь тоже царил полумрак. Широкие деревянные жалюзи были опущены, как тогда, и застучали, когда он вошел, а порванные собаками и временем парчовые занавеси надулись парусом — и вдруг стало очень светло, до того светло, что Беринг испуганно схватился за пистолет. В следующий миг вокруг опять была темнота. Громыхала всего-навсего одна из железных ставен. Порывы ветра то распахивали ее, то с лязгом захлопывали.

Свет.

Тьма.

Свет.

Беринг просунул руку между планками жалюзи, подтянул створку к себе и запер на шпингалет.

Тьма.

Дверной проем у него за спиной стал ослепительно белым и, точно лампа, светил в святая святых резиденции Собачьего Короля. Эта дорожка из дневного света вела от двери к нише. Там стоял узкий шкаф в рост человека, с десятками выдвижных ящичков, передние стенки которых были украшены интарсиями: над круглой ручкой каждого ящичка сидела, лежала или распевала какая-нибудь вырезанная из шпона птица. Хотя дерево где растрескалось, где покоробилось от колебаний температуры и от сырости, Беринг сразу, с первого взгляда узнал *своих* птиц: тут и королек, и черный дрозд, и деревенская ласточка, и канюк, и ястреб-перепелятник... птицы приозерья.

Под засохшей пальмой у окна стоял рояль, который уже десятки лет никто не открывал. На него был наброшен маскировочный брезент, заваленный сверху стопками бумаг, одеждой и книгами. Одно из латунных колесиков на точеных ножках рояля отломалось — не иначе как при попытке выкатить трофей из салона. Следы этой попытки глубокими царапинами избороздили паркет. С тех пор инструмент стоял чуть наперекос, и сдвинуть его с места было невозможно.

Рояль да шкаф — вот и вся мебель. Ни стула. Ни стола. Ни кровати. Голые стены. В эркере, где раньше был диван, лежали матрацы, армейские одеяла и несколько подушек, а рядом — небрежно свернутые географические карты, военные журналы, исписанные листы бумаги.

Беринг чуть что не обнюхал смятую постель на манер легавой собаки — подушки, колючие одеяла, снял с простыни несколько волосков, присмотрелся к ним на свету, однако же здешние запахи ничем о Лили не напоминали,

не пахло тут ни ее духами, ни кожей плетеных браслетов, ни сине-алыми пучками перышек на плечах ее куртки, ни тем дивным духом камышей, дыма и лаванды, каким веяло от ее волос. Он бы учуял даже едва уловимый его след.

Волоски на простыне оказались собачьими. И воняло здесь только псиной. Неужто на этой постели и правда спали одни собаки, согревая ночами своего Короля? Не комната, а сущее логово. Псарня.

Странно, глядя на Амбраса, не скажешь, что он живет в такой мерзости запустения. На своей одежде он не терпел ни потертостей, ни пятен. Раз в неделю Беринг отвозил в Ляйс целый мешок грязного белья. Там одна женщина, работавшая на обжиге извести, чинила, стирала и гладила одежду Собачьего Короля — за два куска мыла или пакет растворимого кофе. (Беринг любил эти *бельевые поездки,* потому что тогда Амбрас на несколько часов отдавал «Ворону» в полное его распоряжение и не спрашивал потом, куда еще он ездил — скажем, в горы, в безлюдную Самолетную долину, а там, словно во хмелю, гонял по взлетной полосе.)

Если Лили вообще бывала в этой псарне, следов она не оставила. Рассохшиеся дощечки звездчатого паркета дыбились под ногами у Беринга и со звонким щелчком падали на место. Собаки сидели возле двери, на свету, и в ответ на каждое движение незваного гостя прядали ушами. Беринг бродил в убогой пустоте, избегая глаз стаи. Ему было стыдно. Он сейчас обманывал человека, который вызволил его из кузницы. Обманывал хозяина. Но ведь он должен был подтвердить либо развеять подозрение, точившее его жизнь.

Исписанные листы, которые он нашел на рояле и возле постели, содержали одни только вычисления, длинные столбцы цифр — и ни единого слова. Что до большинства книг — английских романов и английских же трудов о войне, — так он даже заголовки не сумел разобрать. И сколько ни встряхивал и ни ощупывал одежду на рояле — летную куртку, просмоленный дождевик, застиранные джинсы, — из карманов не выпало ни малейшей улики тайной любви. Пыль дорог и пыль каменоломни, вот и все.

Теперь шкаф. Шкаф! За каждой узорной птицей, в каждом ящичке Беринг обнаружил выложенное марлей и ватой гнездышко, а в нем — камни, ничего, кроме камней: необработанные изумруды, аметисты, розетки пирита, розовые кварцы, опалы и осколки нешлифованных рубинов, тускло-багровые, точно свернувшаяся кровь, на белом фоне. Такие находки привозила с гор сюда, в приозерье, только Лили, но она сбывала свои камни любому, кто предлагал за них достаточно денег или менового товара. На узких, в палец шириной, ярлычках были указаны лишь названия камней, место находки, дата меновой сделки. На некоторых Амбрас пометил и во что они ему обошлись: *6 топографических карт, масштаб 1:25 000; 1 флакон йода; 2 карбидные лампы; 1 патронная лента.* Зачем Лили понадобились шахтерские лампы? А патронная лента?

Только когда Беринг оставил шкаф и, ползая на четвереньках по постели, открывал и закрывал разбросанные среди подушек книги, поднимал одеяла и даже разостланные под матрацами — чтобы уберечься от сырости — картонки: вдруг найдется-таки какой-нибудь спрятанный или утерянный знак? — он наткнулся на эту фотографию. Она лежала у самой стены, оборотом вверх, и там была надпись. Беринг взял снимок, поднес к свету — на простыню дождем посыпался песок и чешуйки побелки. В зубчатом краешке фотографии торчал гвоздь, которым она была прибита к стене в изголовье постели. Там легкой тенью еще виднелись ее контуры. Стена, усеянная пятнами сырости и кристалликами селитры, была такая рыхлая, что гвоздь выломался из штукатурки — то ли от сквозняка, возникшего, когда Беринг вошел в комнату, то ли просто под тяжестью бумаги.

Беринг долго, очень долго не переворачивал фотографию, потому что надпись на обороте, крупные, размашистые буквы, была сделана рукою Лили. Наверняка рукою Лили. Вот она, улика, а он не смеет посмотреть на нее.

Северный полюс, пятница.
Целый час ждала тебя во льдах.
Где ты был, милый?
Не забывай меня.
Л.

Не забывай меня. Л.

Лили.

Когда же Беринг наконец медленно, словно решающую карту в игре, перевернул фотографию, он увидел лицо совершенно незнакомой женщины. Она смеялась. Стояла в снегу и махала рукой незримому фотографу.

У Беринга точно гора с плеч свалилась, и в своем удивлении он не услышал, что собаки у двери поднялись и даже не тявкнув выбежали наружу. Так, молчком, они устремлялись только навстречу своему Королю.

Беринг не услыхал шагов в коридоре, не увидел тени, упавшей в дверной проем. Стоя в этом собачьем логове, спиной к миру, он рассматривал тронутый плесенью снимок.

Это была молодая,
смеющаяся
и совсем незнакомая женщина.

19. Смеющаяся женщина

В каком году выпал этот снег? Кому эта женщина смеялась? Кому так радостно махала рукой? Амбрасу?

Амбрас.

Беринг сам едва не рассмеялся, когда положил фотографию на смятую постель и присыпал ее щепоткой побелки и песка, чтобы все осталось как было. Потом отошел к черному окну и еще раз проверил запор, словно громыхающая от ветра створка была единственной причиной, которая побудила его зайти в это песье логово, словно ничего другого он здесь и не делал.

Внезапно холодный металл запора, точно раскаленная кузнечная болванка, обжег ему пальцы, и он отдернул руку, услышав голос:

— Добрый день, сударь.

Амбрас говорил медленно, как бы скованный огромной усталостью, говорил ему в спину.

Беринг обернулся.

Амбрас стоял в дверном проеме, человеческая тень в белом прямоугольнике, а позади толпились собаки, отирались о его ноги, не решаясь войти, ведь и Король остался на пороге.

— Вы... вы уже вернулись?

— Знаешь, как в лагере поступали с тем, кто рылся под тюфяком товарища? — услышал Беринг голос тени. — Просто *рылся,* понимаешь? В поисках хлеба, сигарет, картофелины, вообще чего-нибудь такого, что можно сожрать или хотя бы выменять на жратву. Ему устраивали темную, — продолжала тень, — накидывали на голову одеяло. А потом каждый узник мог лупцевать этот узел, пока не иссякнет ярость или силы либо пока старшой не велит перестать. В моем бараке, милок, это была ярость ста с лишним мужчин.

Но сколько бы человек его ни лупили — сто или только тридцать — сорок, — охрану он не звал, понятно? Охрана приходила, когда хлебокрад был уже так избит, что не мог выйти на перекличку. Вот когда приходила охрана. Я видел, как они приходили, милок. Видел, как они за ноги волокли избитого на плац. Мы стояли там в снегу. Длинной шеренгой стояли в снегу, по стойке «смирно», и хлебокрад должен был ползти мимо нас к крематорию.

Они заставили его ползти, ползти у наших ног по снегу, словно крематорий был для него *спасением.* Идти он уже не мог. А охранники все время рядом с ним, и над ним, и следом за ним, подгоняют пинками и прикладами; у

одного еще и бич был в руках. Но у крематория щелкнул вовсе не бич. За сугробом хлебокрад исчез из виду. Последнее, что я видел, были его белые подошвы. Он полз босой... А ты? Что ты здесь ищешь, милок?

Беринг взялся за шпингалет ставни. Железо опять было холодным, как раньше, в тишине до возвращения хозяина. Железо сказало ему, что он успокоился. Он отвернулся от тени и опустил шпингалет. Ставня распахнулась. В логове стало светло. Тень на пороге превратилась в Собачьего Короля, который вскинул руку, словно защищая глаза от света. Потом тяжелая ставня грохнула по стене.

— Ничего я не ищу. И ничего не крал. Ставня. Она была открыта. И хлопала от ветра. Вы забыли запереть ее перед уходом. Грохот было слыхать аж в лодочном сарае. Я ходил туда за напильником, услыхал грохот и сперва было подумал: вор! — но сразу же вспомнил про собак. Собаки наверняка бы его сцапали. А оказалось, ставня тут громыхает. Ну, я ее и закрыл.

С какой легкостью слова, лживые слова слетали с губ. Он врал, хотя понятия не имел, как долго Собачий Король простоял в дверях, наблюдая за ним. Может, Амбрас видел, как он выдвигал ящички птичьего шкафа, как разглядывал гнездышки с камнями? А может, видел и как он поднял фотографию незнакомки и положил ее на прежнее место, присыпав песком и побелкой?

Беринг не задумывался об этом. Просто *говорил*. Врал. Рассказывал, что собаки чуть не бросились на него, когда он открывал дверь музыкального салона, хвалил их бдительность, а потом добавил:

— Мне что, в другой раз дожидаться, чтоб ветер все тут переколотил?

Он чувствовал себя вполне уверенно. С каждым словом Амбрасова рассказа о хлебокрадах, о «темных» и шеренге узников в снегу его уверенность только росла. Амбрас ему поверит. Собачий Король так глубоко увяз в своих воспоминаниях, что забыл о нынешней реальности, видел только хлебокрада, а ведь Телохранитель искал в давнем музыкальном салоне улики тайной любви.

— Зачем же ты опустил шпингалет, если только что его закрывал? — сказал Амбрас. — Запри ты наконец эту окаянную ставню.

Пожалуйста, можно и запереть.

— А теперь тащи свой инструмент. Надо ехать...

— Я хотел бы спросить у вас... Можно?

Амбрас молчал.

— Почему вы вернулись?

— За тобой, — сказал Амбрас. — Паром стал на якорь в Ляйсской бухте, мотор сломался, не тянет.

— Паром? Я... я имею в виду не сейчас, не сегодня. Я хотел спросить... почему вы вернулись *сюда*. На озеро, в Моор. В каменоломню.

Беринг уже было решил, что чувство уверенности обмануло его, испугался, что зашел-таки слишком далеко, и вместо ответа ждал грубого окрика, но Амбрас после долгого молчания вдруг наклонился к одной из собак, взял в руки ее морду, приподнял пальцами губы, будто проверяя клыки, а потом сказал, больше собаке, чем Телохранителю:

— Вернулся *обратно,* в каменоломню? Я не возвращался. Я *был* в этой каменоломне, когда в первые годы стелламуровского режима скитался среди развалин Вены, или Дрездена, или какого-нибудь еще до основания разрушенного города. Я был в этой каменоломне, стоило мне хотя бы просто услышать лязг молотов и долот или просто увидеть, как кто-то идет по лестнице с грузом на спине — хотя бы с рюкзаком картошки. Я не возвращался. Я никогда отсюда не уезжал.

Амбрас отпустил собаку, выпрямился и невидящим взглядом посмотрел Берингу в глаза — Телохранитель без труда выдержал этот взгляд.

— Ну, давай. Тащи инструмент. Паром снесло в бухту чуть не с середины озера. Машина только плюется да чадит и не тянет даже против самого слабенького течения. Паромщик понять не может, в чем дело.

— А вы? Вы-то как добрались до берега?

— Рыбак один подвез. На плоскодонке. Минувшей ночью они взяли в Ляйсской бухте больше рыбы, чем за последние две недели.

Ящик с инструментами казался Берингу в этот день легким, как пушинка, хотя обычно он с трудом дотаскивал его до транспортера в каменоломне, и до машинного отделения «Спящей гречанки», и до дизеля в сарае виллы «Флора». Портрет незнакомой женщины снял с его плеч такую тяжесть, что все ему было сейчас легко. На время он даже про дыру в своем взгляде забыл. Тем не менее по дороге к лодочному сараю он молчал и, только сделав сотни две гребков, рискнул опять воспользоваться новой, диковинной свободой и продолжить разговор, выходивший за пределы привычных каждодневных вопросов, которые затрагивали лишь внешнюю сторону жизни. Проникнув в «песье логово», он как бы одновременно проник и в сокровенное нутро своего хозяина и теперь вправе двигаться там столь же безнаказанно, как в сумраке музыкального салона. По дороге в Ляйсскую бухту, равно как и во всех прочих совместных поездках на лодке, хозяин и работник сидели спиной друг к другу, каждый сам по себе: Амбрас — на носу, на ящике с рыболовными снастями, устремив взгляд вперед, к Ляйсской бухте, где, еще незримый, стоял в камышах понтон. Беринг горбатился на веслах. Налегая на них, он смотрел назад, на моорский берег, на лодочный сарай, на причальный бон. С каждым гребком оставшиеся там псы делались все меньше и меньше. Разочарованный их лай как бы мало-помалу переходил в далекий, слышный только в коротких паузах между ударами весел хрип чихающего дизеля.

Хозяин и работник не видели друг друга и на протяжении двухсот с лишним гребков ничего друг от друга не слышали. Но когда Беринг наконец высказал вопрос, который до этого часа и по многим поводам произносил только *мысленно,* ему почудилось, будто собаки застыли и уже не уменьшались, хотя лодка скользила по озеру все дальше.

— Почему, — спросил Беринг в пустоту удаляющегося моорского берега, — почему вас тогда упрятали в лагерь?

Он говорил громко, говорил в плеск весел и волн, которые стихающий ветер швырял в борта. Беринг хотя и не оглянулся на Собачьего Короля, но отчетливо видел его перед собой: Амбрас опустил одну руку в струящуюся назад воду; Телохранитель чувствовал с правого борта легкое противодействие, каким даже столь маленькая лопасть, как ладонь, замедляла ровное скольжение. А вот теперь Амбрас вытаскивает руку из воды — Беринг услышал чмоканье капель, противодействие стало слабее, исчезло совсем.

«Почему вас тогда упрятали в лагерь?» *В лагерь. Почему людей вообще хватали в квартирах, комнатах, садах или каких-нибудь уединенных прибежищах в глуши и упрятывали в лагерь? Почему полумертвые от голода строительные отряды поставили возле камнедробилки и в других карьерах ровные ряды бараков, а прямо за ними крематории?*

На почти забытых уже *викторинах* и в *часы вопросов и ответов,* которые проводились на моорском плацу по случаю каждого стелламуровского праздника, днем раньше и днем позже, офицер информационной службы постоянно талдычил такие вопросы в мегафон или писал их на огромной грифельной доске. За *правильный* ответ — его тоже надо было отбарабанить в мегафон или написать мелом на доске — любой из участников этих мероприятий мог получить выигрыш: пачку-другую маргарина, пудинг-полуфабрикат или блок сигарет без фильтра. Даже и теперь изрядно поредевшая община каждую пятницу собиралась в моорском секретариате послушать радиопередачу, в которой вперемежку с музыкальными заставками и докладами по военной истории задавали все те же давние вопросы. Тот, кто, черкнув давний ответ на открытке полевой почты, посылал его в адрес этой армейской радиостанции, становился участником лотереи, сулившей мелкие выигрыши и даже поездки в дальние зоны оккупации. Курьер, раз в неделю отвозивший почту из Моора на равнину, был обязан доставлять такие открытки бесплатно.

Беринг тоже, бывало, тайком заполнял для матери такие открытки (отец не должен был об этом знать) и относил их в секретариат; один раз он даже выиграл каталог американских лимузинов, а в другой раз — талон на посещение бейсбольного матча в самой большой равнинной казарме. Но отец не допустил, чтобы его сын или вообще кто-то, кем *он* мог командовать, разъезжал в воинских эшелонах его прежних врагов. Талон по сей день лежал вместо закладки между цветными иллюстрациями и схемами двигателя в том выигранном каталоге — единственной книге, которую Беринг принес из кузницы в Собачий дом.

Почему вас тогда упрятали в лагерь? Здесь, в лодке, посреди озера и в виду Слепого берега, вопрос этот странным образом прозвучал не как в радиовикторине; на вопросы викторины любой из моорцев мог ответить хоть во сне.

Беринг частенько видел Собачьего Короля в бешенстве, однако не замечал, чтобы он когда-нибудь повышал голос и уж тем более орал. Амбрас и теперь не орал, но первые фразы его ответа прозвучали так яростно, что рыболов, пересекавший на некотором отдалении их курс, с любопытством поднял голову.

— Потому что я сидел за одним столом с некой женщиной и спал с нею в одной постели. Потому что проводил с этой женщиной каждую ночь и не собирался с нею расставаться. И потому что я пальцами расчесывал ей волосы. Они были длинные, волнистые, а моя рука в ту пору, видишь ли, еще не утратила подвижности. Ничто и никогда не скользило так сквозь мои пальцы, как эти волосы. Позднее я видел такие только в лагере, в помещении, где были кучей свалены льняные мешки с отрезанными косами, локонами, прядями — сырьем для матов, париков, матрацев и Бог знает для чего еще...

Тогда, в ту ночь, я тоже расчесывал ей волосы, а она спала и не просыпалась от моих прикосновений. Уже развиднелось, но до рассвета был еще целый час, а может, и больше, мы лежали в постели, я как раз подумал, что надо бы закрыть окно — голуби во дворе очень уж расшумелись; и тут начался этот крик, стук и молотьба по двери — будто камнепад: *Открывайте! Немедленно!*

Амбрас говорил уже так тихо, что Беринг перестал грести и обернулся. Собачий Король ссутулясь сидел на носу, на ящике с рыболовными снастями, и говорил куда-то в воду — и на обтрепанной зелени его куртки, прямо под лопатками, большое, заметное, плясало Берингово слепое пятно, дыра. Собачий лай на берегу смолк, а из ляйсских камышников уже совершенно отчетливо доносился и тотчас глохнул треск мотора.

— Только этот адский шум, ор и стук в дверь разбудили ее, — сказал Амбрас. — От испуга она так резко поднялась и села на постели, что прядка волос осталась в моих пальцах. Она вскрикнула от боли, и я крепко обнял ее, и сам как бы искал в ней опору, и думал: они ломятся не к нам, не в нашу дверь, и нужны им не мы, наверняка не мы. Я знал, что они всегда приходят на рассвете. Приходят, когда ты, погруженный в сон, совершенно беззащитен, приходят, когда ты далеко-далеко и все же куда доступнее, чем в любое другое время.

Ломать дверь им не понадобилось. Я тогда частенько забывал с вечера запереть ее. Так было и на сей раз. Они просто (просто!) нажали на дверную ручку — и очутились посреди нашей жизни. Четверо. Все в форме. А у нас только простыня. Больших усилий им стоило оторвать нас друг от друга. Они лупили нас резиновыми дубинками по голове, по плечам и орали: *Господин Амбрас в постели с жидовской шлюхой! Ах ты мразь! С жидовской свиньей трахаешься!*

Она не проронила ни слова. Потеряла дар речи. Ну, не знаю, словно и не дышала, как изваяние. Последнее, что я слышал из ее уст, был тот болезненный вскрик, когда она резко подскочила и у меня в руках осталась прядка ее волос. Они били нас, в восемь кулаков, в восемь рук, силясь оторвать друг от

друга. Но она не проронила ни слова. Только смотрела на меня. Я плохо видел, кровь заливала глаза. Они вытолкнули ее на кухню, швырнули вслед ворох одежды. Пускай оденется, *будет готова.* Платья валялись повсюду — на стульях, на диване. До поздней ночи у нас была съемка, для одной текстильной фабрики. Свет, камера — все еще стояло здесь.

Она позировала мне в каждом из этих новых платьев, и увезли ее, наверно, тоже в одном из них; я точно не знаю. Ведь когда она вышла из кухни и наклонилась за туфелькой, один из этих за волосы рванул ее вверх и гаркнул: *Жидовские шлюхи ходят босиком!* В этот миг остальные упустили меня из виду. Пинками и затрещинами они сбили меня с ног, но я кое-как поднялся на четвереньки, из последних сил схватил штатив фотоаппарата и треснул этого мерзавца по коленкам. Я успел увидеть, как ее волосы выскользнули у него из кулака. А потом у меня на лбу что-то взорвалось. Очнулся я уже в камере, под маской из засохшей крови, по-прежнему без одежды.

Каким маленьким, прямо-таки хлипким казался Телохранителю в эти минуты понурившийся, ушедший в себя Амбрас. Собачий Король, могущественный, наводящий ужас на весь Моор, словно бы вновь превратился в давнего, довоенного, долагерного фотографа — пейзажиста и портретиста, остаться которым ему было не суждено.

— По-моему, она вышла из кухни в красном платье, — сказал Амбрас, впервые за все время оглянувшись на Беринга, — и было это, по-моему, одно из тех летних платьев, в которых она не любила сниматься: на ее вкус, они были слишком крикливы. Красное платье... Возможно, мне так почудилось, от крови, заливавшей глаза. Все было красное. Все капало. Все растекалось. В ту пору только и знай твердили насчет *крови — кровосмешение, нечистокровный, чистокровный, кровавые жертвы.* А мне эта кровь попросту заливала глаза.

— А эта женщина? Где она теперь? — спросил Беринг и подумал о Лили. Он все время думал о Лили, видел, как она в красном платье выходит из темной кухни, как подонок в мундире дергает ее за волосы.

— Лишь через три года я смог начать поиски, — сказал Амбрас. — Через три года и четыре лагеря я смог наконец вернуться туда, где мы потеряли друг друга. Конечно, в американском полевом госпитале я слышал о страшных бомбежках и о пожарах, которые бушевали в Вене, но совершенно не представлял себе, где еще можно начать поиски. И дом, в котором мы жили, и улица, и вообще весь город были грудой развалин.

Когда настал мир, я поначалу много копал — разыскивал черепки, одежду, эмалированную посуду, уцелевшие обломки нашей жизни, а уж потом искал только медный провод да латунь. Единственный след, который я нашел в картотеке Красного Креста, был адрес ее сестры. Эта сестра в свое время вышла замуж за этакого *чистокровного,* чистопородного кобеля и пересидела войну в каком-то швейцарском санатории. Ее розыски, как и мои, оказались беспомощны и безрезультатны. У сестры была ее фотография и письмо из лагеря в Польше. Но эта последняя весточка содержала давно знакомые фразы: *Я здорова. Все у меня в порядке...* Такие фразы писали по приказу. Мы у себя в бараке тоже их писали. Такие фразы писали домой даже те, кто назавтра сгорал в крематории. Все мы были здоровы. У всех у нас все было в порядке.

На фотографии была она — стоит в снегу и смеется. Из-за этого я поссорился с ее сестрой. Снимок принадлежал мне. Я сделал его зимой, перед ее исчезновением. Она стояла в снегу и смеялась. Снимок принадлежал *нам,* мне и ей. Не одну неделю он был воткнут в деревянную раму кухонного зеркальца. Как-то раз она использовала его вместо открытки, черкнула мне на обороте несколько слов. Все свои записки, даже самые простенькие, она писала не на листках блокнота, а непременно на каких-нибудь открытках или фотографиях, которые в изобилии валялись у нас повсюду. Однажды она умудрилась оставить мне «депешу» на яблоке: дескать, приду позже обычного. Этот снимок она, видимо, захватила с собой в то утро, когда ей швырнули на кухню

ворох одежды, и к сестре он попал вместе с письмом из лагеря. *Я здорова. Все у меня в порядке.*

Сестра не хотела отдавать снимок. А копию сделать негде: на весь квартал ни одной фотолаборатории. В конце концов выручил меня армейский фотограф из тех, что снимали тогда для стелламуровских фото- и киноархивов пустые бараки, печи и каменоломни. Он сделал нам копию, даже *две* — сестра потребовала переснять и исписанный оборот, ее почерк, записку, адресованную мне. Но оттиск вышел такой нечеткий и темный, что она спросила, не смогу ли я скопировать почерк от руки. Тогда она отдаст мне оригинал. Я попробовал. Как сумел, изобразил надпись карандашом, единственный раз написал письмо самому себе.

Целый час ждала тебя во льдах, написал я. *Где ты был, милый?* — написал я. *Не забывай меня.*

В тишине, наступившей после его рассказа, Амбрас вдруг стал коленями на сырое дно лодки, перегнулся через борт, зачерпнул горстью воды и с ожесточением умыл лицо, словно вот только что весь в пыли после взрыва в каменоломне вернулся домой. Когда он затем выпрямился, с него капало; Беринг взялся за весла и несколькими гребками вывел лодку на прежний курс к Ляйсской бухте. Их снесло течением.

Фотография. Незнакомка. Беринг уже не мог вспомнить лицо той женщины. Ему достаточно было увидеть, что это незнакомка. Тревожила его сейчас только собственная небрежность: он положил снимок на постель в музыкальном салоне, бросил не глядя, не проверив, остались ли на том снегу, в котором стояла и смеялась навеки пропавшая, следы его утренней возни с железными замками и шпингалетами виллы «Флора». А ну как черный отпечаток пальца на этом снегу или мазок машинного масла с прилипшими металлическими опилками выдадут его с головой? Руки-то до сих пор в смазке и опилках.

Он погружал тяжелые весла глубоко в воду, и смотрел, как круговые волны и вихри на воде от его гребков быстро убегают назад, и успокаивал себя мыслью, что в этом песьем логове любой след всегда можно счесть не только следом вторжения постороннего человека, но и следом собаки. После его трудов над дверью в сад порог был густо усеян мелкими железными опилками. Теперь, поди, у всех собак эти опилки на лапах.

Телохранитель выгребал энергично и так быстро, будто с каждым ударом весел по воде хотел не только приблизиться к ляйсским камышникам, но и убраться подальше от воспоминаний Амбраса. При том, что день выдался прохладный и густая облачность мало-помалу спускалась к границе лесов, с Беринга градом лил пот. Не переставая грести, он пытался стереть с лица струйки пота, прижимал щеку к плечу и всякий раз украдкой косил глазом на Амбраса. Тот не двигался. Молчал, и не смотрел на него, и никакого знака не подал, даже не помахал в ответ, когда у края ляйсских камышников возник груженный вагонетками со щебнем понтон, а на нем черная, размахивающая руками фигура — паромщик; он суетился, что-то кричал — не то здоровался, не то спрашивал что-то, а они были пока слишком далеко, чтобы расслышать, — потом опять склонился над дощатой загородкой размером с собачью будку.

Там, в этом *машинном отсеке,* то и дело захлебываясь, стучал мотор, который Беринг с отцом много лет назад сняли с грузовика, напоровшегося на допотопную противотанковую мину, и поставили на *камневозный понтон.* Именно тогда он на практике постиг, как превратить автомобильный мотор в судовой движок, а впоследствии, в ходе бесчисленных профилактик и ремонтов, этот неуклюжий восьмицилиндровый двигатель мало-помалу сделался одной из *его* родных машин.

Паромщик, похоже, еще не оставил попыток запустить мотор. Через неравные промежутки времени из выхлопной трубы, которая, словно флагшток,

торчала из кожуха движка, вылетал сгусток черного дыма, превращавшийся на ветру в мохнатый плюмаж.

Что бы там ни вышло из строя: дроссельный клапан, всасывающий циклон, фильтр, — Беринг издалека увидел, что отчаянные попытки паромщика машине только во вред, и закричал:

— Глуши! Глуши мотор, идиот!

Амбрас не обращал внимания ни на паромщика, ни на крики Телохранителя. Он поднялся на ноги, выпрямился в лодке во весь рост, как на картинке из кузнечихина календаря, но по-прежнему молчал. Лодка скользила по тончайшей, переливающейся всеми цветами радуги нефтяной пленке, которая рвалась под ударами весел и снова смыкалась в кильватере. Испуганные плеском весел, из камышей взлетели два баклана, чайки и лысухи.

Лодка с глухим стуком ткнулась в обшивку понтона, и паромщик наконец-то заглушил мотор, швырнул в дощатую загородку черную ветошь, протопал между вагонетками навстречу прибывшим и, пока Беринг крепил швартов к вбитому в борт железному кольцу, начал чертыхаясь расписывать загадочное повреждение: Черт бы ее побрал, эту машину! Вонючка хренова! Прямо посреди озера вдруг зачадила, будь она неладна, и перестала тянуть, обессилела, чертовка, и все тут... А этот дерьмовый понтон, набитый дерьмовыми камнями, как нарочно, угодил в Ляйсское течение и сошел с курса, несмотря на полный газ! А ведь у моорской пристани дожидается грузовик, черт его подери, единственный на этой неделе, и, хоть с грузом, хоть порожняком, он во второй половине дня, еще до вечера, уйдет обратно на равнину, иначе *нельзя,* нужно до захода солнца миновать контрольные посты.

Амбрас отстранил перепачканную маслом руку разъяренного мужика, быстро шагнул из лодки на понтон, оборвал болтовню паромщика, бросив:

— Отвяжись от меня! — и жестом указал на Беринга: — Ты ему рассказывай.

— Так ведь я и рассказываю *ему!* Ему!

Но Беринг не слушал. Он уже был наедине со своей машиной. Стоя перед открытой загородкой, запустил мотор и слышал лишь то, что доносилось из нутра этого вибрирующего, черного от смазки механизма. С каким самозабвением склонился он к рядам цилиндров — точно стук дизеля только и мог оградить его от воспоминаний о бешеном стуке в дверь квартиры, оградить от воспоминаний об ударах дубинок, что обрушились на застывшую в объятии пару, и об исчезновении женщины в красном платье. Грохот поршней все оттеснял в область неслышимого, в том числе и болтовню паромщика. Эта болтовня была просто пустяковым шумком за спиной.

Еще в бытность кузнецом, стоя в мастерской перед сломанной машиной, а не то распластавшись на спине под каким-нибудь тягачом, *сдохшим* посреди свекловичного поля, Беринг неизменно предпочитал послушать, что́ говорит сама машина; рассуждения взбешенного или растерянного ее «эксплуататора» были ему без надобности. Что бы ни сообщали *машиновладельцы* за долгие часы ремонта — туманные догадки о причине поломки или же свои подробные жизнеописания, — все это никак не могло сравниться с явственным дребезжанием клапана, визгом клиноременной передачи или треском разболтанного уплотнительного кольца. В этом многообразии всевозможнейших рабочих шумов, которое для мира конских упряжек и ручных тачек было попросту (достаточно редким) рокотом мотора, для чуткого уха раскрывалась оркестровая гармония всех звуков и голосов механической системы. У каждого голоса, каждого пусть даже самого неприметного шороха этой системы было свое недвусмысленное значение, позволявшее делать выводы о том, хорошо ли функционируют ее стучащие, пыхтящие или посвистывающие детали.

Беринг вслушивался закрыв глаза. Он весь был внимание. Распутывал клубок перемешанных, наслаивающихся друг на друга шумов, добирался до начала каждой звуковой нити и *слышал* конструкцию машины. Точно слепой, он

прощупывал топливопроводы и железные детали, которые много лет назад сам же и выковал по причине отсутствия запчастей, открывал и закрывал втулку для выпуска воздуха, слушал клокочущее дыхание машины в масляной ванне воздушного фильтра, тянул за трос, прибавляя газу, и снова отпускал, откручивал от цилиндров подводящие трубки и выдувал из них пронзительные звуки — все было в полном порядке, ни одной грязевой пробки, дизельное топливо беспрепятственно пульсировало в машине.

Воздух! Вот в чем дело. Мотору не хватало воздуха. Он не мог продохнуть. Чадил, кашлял, пытаясь глотнуть кислорода, пока поршни не замерли без движения, а топливо сгорало так скверно, что высвобождалась одна лишь копоть, но не сила. Странно только, что *на холостом ходу* мотор не показывал никакого дефекта, не стучал, не чихал, не плевался черной сажей. Зато если Беринг тянул за трос газа до упора, чтобы извлечь из движка всю его мощь, выхлопная труба выстреливала сгустком дыма. Именно тогда и разносился над озером лающий металлический кашель — и вместо того чтобы описать на воде кипящую брызгами богатырскую дугу, понтон вяло поворачивался на туго натянутой якорной цепи, словно демонстрируя камышовнику и затаившимся там чайкам, бакланам, белым цаплям и лысухам свой мертвый груз: вагонетки, полные коренной породы — зеленого, раздробленного в щебень, взорванного и разбитого гранита; это был щебень для насыпей и дорог, что где-то строятся и куда-то ведут, только не сюда, не к этому озеру, не в эти горные долины, не через перевалы Каменного Моря. Каждый камень этого груза, медленно кружащего под серым небом в ляйсском камышовнике, напоминал о моорском бездорожье и оторванности от большого мира, о пустой железнодорожной насыпи, о грейдерах и проселках, по которым никуда не уйти.

Недуг машины Беринг установил, как только разнял крепежные кольца на воздушном шланге, который закачивал грязный наружный воздух в камеру фильтра, в бурлящее масло, откуда очищенный воздух всплывал в черных пузырях и впрыскивался в огонь цилиндров. Этот шланг соскочил с головки всасывающего циклона и, как ампутированный орган, провалился в металлическое нутро. Выудив его, Беринг обнаружил столь пустячную поломку, что паромщик, который как раз в ту минуту сворачивал самокрутку, настоящего ремонта вовсе не заметил.

Стоя спиной к ветру, паромщик прикрывал ладонью пламя спички и пытался закурить, когда машина неожиданно взревела во всю свою былую мощь. Порыв ветра дунул курильщику в горсть и погасил огонек. С удивленным возгласом, тотчас перешедшим в перхающий смешок, паромщик обернулся к Берингу:

— Как же это?.. Как ты его?..

Собачий Король сидел в рулевой рубке и едва приподнял голову, когда понтон начал рвать якорную цепь. Тень перепуганной стаи чаек скользнула по камышам и вагонеткам. Кильватерная струя вскипела пеной.

Беринг отпустил трос газа и в затихающем реве на миг отдался во власть того дивного, быстролетного чувства облегчения, которое охватывало его только после решения какой-нибудь механической проблемы, и ни удержать его, ни продлить было невозможно. В такие мгновения было безразлично, искал ли он решение часами, сутками или затратил на поиски всего-навсего несколько минут, — как только под его руками поврежденная механическая система опять начинала работать безупречно, он испытывал нечто сродни той победной легкости, какую угадывал лишь у взлетающих птиц. Ему бы только оттолкнуться от мира, и тот уплывет у него из-под ног.

Нынче на пароме все кончилось мелким вмешательством: дефект таился в воздушном шланге. Изоляционное покрытие на внутренней его поверхности начало отслаиваться и местами уже висело лохмотьями. В слабом воздушном потоке холостого хода эти лохмотья трепетали и развевались, не препятствуя сгоранию топлива, а вот на полном газу становились подобием заслонки кла-

пана, которая, точно ладонь, накрывала разинутую пасть воздушного фильтра и душила в цилиндрах зажигание.

Берингу даже не пришлось спускаться в лодку за инструментом, ящик так там и остался. Широкого лезвия складного ножа оказалось вполне достаточно, чтобы выскрести из шланга пересохшие лохмотья изоляции, а потом закрутить винты крепежных колец.

Понтон покачивался в камышах, готовый плыть дальше. Паромщик, стоя возле дощатой загородки, поминутно восклицал: *Лучше, чем было!* Мотор работает лучше прежнего. Но Амбрас, с виду безучастный, восседал в рулевой рубке на стопке пустых мешков и листал заляпанный соляркой *фрахтовый журнал.* Паромщик заспешил, ему не хотелось понапрасну терять время. Кашляя и отплевываясь, будто хворь машины после ремонта перекинулась на него, он скрючился над якорной лебедкой и поднял из озера железного паука. Беринг едва узнал изъеденную ржавчиной, облепленную ракушками штуковину. А ведь он и сварил этот якорь в первый год своего ученичества, сварил из траков разбитого танка, снабдив четырьмя железными щупальцами с крючьями на концах.

Когда этот цепной железный паук лязгнул о бортовую обшивку, Беринг увидел свое детище в черной оплетке дырявого взгляда, в трепетной оболочке из мрака, увидел сквозь эту тьму, как серебристые, тонкие струйки сбегают по сварным швам и каплями падают в озеро. Острия щупалец он тогда без чужой помощи и подсказки отковал в форме крючьев. А швы-то с огрехами. Теперь бы он заварил их куда лучше. Но времена «швейных» работ миновали. Наверняка и навсегда. Он был вооружен. И жил в Собачьем доме. Горн был потушен.

Не вставая с мешков, Амбрас бросал Телохранителю команды: *Эй! Поди сюда. Слушай!* Он, Амбрас, останется здесь. Есть кой-какие дела на пристани и в моорском секретариате. А Беринг пускай возвращается на виллу и опять займется шпингалетами и дверными замками, и — *слышишь!* — чтоб не совал нос в те комнаты, куда его не приглашали.

В голосе Амбраса не было уже ничего от той надломленности, что слышалась в нем во время рассказа, в лодке. Он опять звучал резко и холодно, как в дни покаянных сборищ на плацу или из мегафона в каменоломне.

— Я только запер ставню! — крикнул Беринг, перекрывая рев мотора, и спрыгнул в лодку. — Я ничего не трогал. *Ничего!*

Но Собачий Король говорил с Телохранителем так, словно сожалел, что в минуту слабости доверил ему не только тайну своего увечья, но и без вести пропавшую любовь. Говорил таким ледяным тоном, словно одна эта поездка в ляйсские камышовники и показала ему, что растрогать Телохранителя способна скорее уж сломанная механика, но не сломанная жизнь: после стольких речей, листовок и посланий великого Линдона Портера Стелламура, после несчетных покаянных и поминальных церемоний в глухих приозерных деревушках и на Слепом берегу этот первый и единственный из моорских мужчин, которого Амбрас удостоил своим доверием, тоже предпочел слушать стук и грохот машин, а не голос памяти.

20. Игрушки, простои и разорение

Ранней осенью этого года и во время уборки свеклы в октябре немногочисленные машины приозерья стали выходить из строя по причине всевозможных поломок. Намертво вгрызались друг в друга зубчатые ободья, ломались маховики, распредвалы и поршневые кольца, однажды утром даже стрелки больших часов на пристани, звякнув, отвалились от циферблата и канули в озеро; не щадил износ и простенькие обоймы для подвески труб, и шплинты, и регулировочные винты, и стальную ленту. То на лесопилке, то в свекловодческом товариществе, то на камнедробилке снова и снова приходи-

лось на целые дни, недели, а порой и навсегда заменять якобы незаменимый грузовик воловьей упряжкой, а вконец изношенный транспортер — лопатами, тачками и голыми руками.

Машины! Год от году машины становятся все ненадежнее, говорили в пивнушке у пристани, в моорском секретариате и вообще повсюду, где заходила речь о простоях и о беге времени. Кто рассчитывает пахать тракторами и убирать урожай паровыми жатками, тому вскорости впору будет камнями питаться. Лучше уж кляча в хомуте — и вперед через поле по щиколотку в грязи, чем без горючего и запчастей, но на мощном тягаче...

Большие надежды, воспрянувшие было весной, когда спустили на воду «Спящую гречанку», не сбылись: «Ворона» Собачьего Короля так и осталась первым и последним лимузином, который громыхал по моорской щебенке. Рядом с прогнившими кабриолетами в гаражах бывших господских дач стояли мулы и козы, а обитатели приозерья и все, кто поневоле жил под сенью Каменного Моря, по-прежнему добывали и свои машины, и запчасти к ним либо на свалках армейской техники, либо в «железных садах» вроде того, что глубже и глубже врастал в одичавшую землю на Кузнечном холме.

Новым в приозерье было и оставалось только старое: каждый кусок металлолома, будь он хоть узлом завязан, хоть ржавчиной разъеден, надлежало поместить в масляную ванну, вычистить щеткой, отшлифовать, выправить напильником и кувалдой и снова пускать в ход, пока износ вообще не поставит крест на использовании и не останется утиль, годный разве что на переплавку. «Железные сады» вокруг домов и усадеб неуклонно росли, но количество полезных запчастей в них столь же неуклонно убывало, а хаагская плавильня, единственная на все приозерье, давала низкосортный металл, который с очередной переплавкой еще больше терял качество и прочность.

Вдобавок и профилактический уход, и ремонт, и превращение лома в огненно-текучий расплав, который надо было отлить в новые формы, требовали сноровки и особого инструмента, каким располагали весьма немногие мастеровые. Каждый из них волей-неволей был и кузнецом, и механиком, и слесарем, а то и литейщиком; иные хуторяне дошли до того, что уже почитали их как этаких шаманов, которые, всего лишь починив дизель-генератор, могли поднять усадьбу в залитую электрическим светом современность, а могли и снова утопить ее в потемках минувшего.

Самым широко известным и популярным из этих *механиков* все еще оставался молодой моорский кузнец — по крайней мере до нынешней осени. Хотя он и отказался от своего наследства и скрылся в Собачьем доме, но в первые недели и месяцы новой службы был вполне достижим даже за колючей проволокой виллы «Флора», и его нет-нет да и вызывали чинить поломанные машины. Однако именно теперь, когда простои и аварии резко участились, он головы не поднимал, если кто-то окликал его через колючую проволоку: *Кузнец, пособи, а?!* С тех пор как стал чуть ли не сиамским близнецом Собачьего Короля и прямо на глазах у одного камнелома в карьере даже башмаки шнуровал этому армейскому шпиону и щеткой вычесывал пыль из волос, чертов кузнец и на имя-то свое не отзывался.

Окрестные машиновладельцы, в том числе ляйсские и хаагские, долго не оставляли попыток подарками и просьбами выманить его из виллы «Флора» обратно к верстаку, к горну и наковальне, обратно в «железный сад» высоко над озером. Сколько раз эти просители торчали у колючей проволоки виллы «Флора» с маковыми рулетами, с копчеными лещами, с большущими кусками шпика, с корзинами груш и грибов, поджидая, чтобы кузнец вышел на веранду, подъехал на «Вороне» или появился на дороге от лодочного сарая, обок Собачьего Короля. Некоторые притаскивали с собой в мешке сломанные детали машин и нарывались на собачьи зубы, когда норовили подсунуть эти штуковины на подъездную дорогу: может, кузнец хотя бы мимоходом бросит на них взгляд, а то и совет какой даст. Однако ж кузнец, которого теперь и па-

ромщик, и работяги в каменоломне звали между собой *Телохранителем,* не поддавался ни на просьбы, ни на посулы. Только по особому распоряжению Собачьего Короля или когда проситель умудрялся уговорить Бразильянку замолвить о нем словечко, он изредка соглашался исправить какой-нибудь механизм. Всем прочим машиновладельцам он категорически отказывал, иных гнал прочь, пригрозив, что спустит собак, а не в меру настырного солевара, который трое суток кряду подкарауливал его утром на пристани с электрогенератором от грузовика, он так резко оттолкнул, что бедолага оступился и навзничь рухнул в воду.

Беринг не желал больше заниматься железным хламом своих кузнечных лет. Конечно, страсть ко всякого рода механике была в нем неистребима, но запущенные моорские машины, эти мутанты, эти железные уроды, прошедшие великое множество переделок и за десятки лет ломаные-переломаные всякими руками и ручищами, демонстрировали ему теперь в первую очередь собственный его изъян: пристально и пытливо вглядываясь в разъеденные корпуса двигателей, в треснувшие головки цилиндров, в покрытые нагаром свечи зажигания, в намертво спекшиеся шестерни и ржавые шарниры, он больнее и горше, чем при любой другой работе, ощущал слепое пятно, дыру в своем мире.

Возможно, так происходило просто из-за того, что дни становились короче, из-за общей нехватки света или из-за прямо-таки несокрушимой облачности этих недель, но вместо причины механического дефекта, вместо болтов, пружин и отверстий он иногда видел только это неизбывное слепое пятно в своем глазу. Когда в такие часы еще и какой-нибудь нетерпеливый машиновладелец пялился ему через плечо и терзал расспросами о продолжительности ремонта, злосчастное пятно в глазу, бывало, расползалось тучей сажи. С каждым неудачным ремонтом, с каждой допущенной ошибкой — а такое случалось, когда машиновладелец наблюдал, как он глядит в пустоту и ощупью ищет крохотные детальки, — росла опасность, что дыра в его мире не останется тайной для других.

Только занимаясь *своими* собственными, хорошо знакомыми механическими созданиями, он не нуждался в свете дня, а уж тем паче в соколиных глазах. Сломайся «Ворона», генератор на вилле «Флора» или механизм его пистолета, он вслепую отыщет любой изъян, распознает его просто по звуку — и вслепую же все исправит. За многие, многие часы филигранной механической работы он удлинил обойму пистолета и тем увеличил его огневую мощь до двадцати с лишним выстрелов, и слепое пятно ему при этом особых неудобств не доставило.

Ведь как ни малы были детали какого-нибудь механического устройства, над которым он тайком трудился в сарае Собачьего дома, — если тьма скрывала от него некое отверстие, он руками *видел* то, что нужно, или *слышал* ослабевшую пружину, люфт шарнира; зрение было тут без надобности. Ему казалось, будто нынешней осенью кончики его пальцев день ото дня набирают чувствительности, а слух — безошибочной, подчас болезненной остроты, и поэтому он начал при каждом удобном случае надевать перчатки, а бурными октябрьскими ночами, когда вся земля вокруг стонала, гремела и выла, точно какая-то органическая машина, стал затыкать уши ватой и воском.

В иные дни, когда в одиночку громыхал на «Вороне» по взлетной полосе старого аэродрома и в мгновения наивысшей скорости отдавался иллюзии полета, он порой на несколько захватывающих секунд добровольно отрекался от зрительного образа мира, закрывал глаза и летел вперед в ни с чем не сравнимом восторженном упоении. Через четыре-пять ударов сердца он открывал глаза, всегда у той же облезлой черты ограждения, — слепого пятна словно и не было. Тогда взлетная полоса лавиной растрескавшегося асфальта, грохоча и бушуя, мчалась сквозь него, будто сам он был бесплотен, как воздух, который его нес.

Моор не узнавал этого кузнеца, этого Телохранителя: парень бросил на произвол судьбы свое наследство, и душа у него не болела, когда «сдохший» тягач ржавел на поле во время жатвы, зато он частенько находил время шастать на «Вороне» в Самолетную долину и пускать на ветер солярку, гоняя взад-вперед по взлетной полосе. Кто-то из овечьих пастухов якобы видел однажды, как кузнец стрелял там наверху по шайке сборщиков цветного металла, которые налетели на него возле ангара и решили задержать — дубинками и железными прутьями: он, дескать, на полной скорости палил из открытого окошка по мародерам, обвешанным мотками кабеля и медного провода. Промазал, правда. Никого не ранил. Но стрелял не раздумывая. И неудержимо умчался прочь на своей «Вороне».

Каменотесы и камнеломы, которые на борту «Спящей гречанки» ежедневно переправлялись на Слепой берег, а вечером, на обратном пути, частенько глушили шнапс, только и судачили что о кузнецовом преображении, тема эта была воистину неисчерпаема: ясное дело, парню куда приятнее прокатить Бразильянку на «Вороне» по набережной или доставить ее от водолечебницы к Собачьему дому и обратно, это вам не горн раздувать. Бразильянка вертит мальчишкой как хочет. К празднику урожая он ей, вишь ты, ветрячок поставил на крыше метеобашни, да не простой, а с музыкой: в зависимости от силы ветра эта штука вызванивает на металлофоне первые три такта трех разных песен и вдобавок зажигает ветроупорную лампу. Или вот ночью в канун Дня поминовения усопших запустил над виллой «Флора» электрического змея — это хитрое устройство из прутьев, проводов и парашютного шелка повергло в панику процессию кающихся, которые с поминальными свечами шествовали вдоль камышовых зарослей, и довело собак до полного исступления. От их воя, считай, половина Моора до утра глаз не смыкала. А еще дня через два-три среди сосен в парке Собачьего дома шныряли механические куры не то фазаны из бумаги и проволоки — игрушечные птицы!

Этот ненормальный *в игрушки играл* на вилле «Флора», меж тем как моорские машины одна за другой выходили из строя и останавливались, даже механизм потерявших стрелки пристанских часов превратился в уляпанную птичьим пометом голубятню. А Собачий Король еще и полную свободу действий ему предоставил: и «Вороной» он распоряжается, и пропуска подписывает, и над работами в карьере иной раз надзирает, а управляющий знай посиживает на складном стуле возле конторского барака и горы в бинокль обозревает.

Но где бы в Мооре ни заходила речь о кузнеце и его преображении, непременно возникали споры по поводу того, кто же довел его до этих безумств: Бразильянка, твердили одни, Бразильянка, больше некому, она ведь пускала его к себе на метеобашню, а до сих пор туда ни один из моорских и соваться не смел. А лошадь, которую парень привел из кузницы в Собачий дом, кто у него выманил? Опять же она. Бразильянка эта. Только свистнет — он мигом тут как тут. Теперь вот она разъезжает на его лошади по своим контрабандистским тропкам, а мул тащится следом, с вовсе уж неподъемным грузом. Поди, хорошо расплатилась за лошадь-то! Ясное дело, от *этакой* платы и камнеломы, и каменотесы, и свекловоды не отказались бы.

Бразильянка? Ну что чепуху-то молоть! — говорили другие. По сути, сманил кузнеца с холма не кто иной, как Собачий Король, он один. Этот беглый арестант и сам ненормальный. Сперва сделал кузнеца аккурат таким же, как его кобели, коварным, нерадивым и злобным, а потом выставил его как заслон между собой и всем миром. И теперь... попробуй-ка даже просто *поговорить* с управляющим — не тут-то было! Мимо этого Телохранителя нипочем не пройдешь. Он, видно, должен ограждать хозяина не только от пьяных боевиков и мародеров, но вообще от *всех,* кто вздумает по дороге в каменоломню или в секретариат спросить о чем-нибудь или изложить жалобу.

Приозерная глухомань полнилась слухами и домыслами, но Амбрас не обращал на них ни малейшего внимания. Пускай Моор болтает, а если угодно,

хоть мотыги себе кует из обломков «сдохших» машин — Собачьему Королю эти слухи были, как видно, столь же безразличны, как и простаивающая техника и вообще вся современность. Амбрас страдал не от современности.

Осень выдалась необычно холодная, сырая, и боль в плечах донимала его сильнее, чем при всех переменах погоды, случавшихся со дня пытки. Иной раз он был как парализованный — Телохранитель волей-неволей не только причесывал его, но и помогал ему одеваться и раздеваться. И даже когда горящие огнем суставы позволяли Амбрасу поразмыслить о странном поведении Беринга, он воспринимал отвращение, с каким парень в последнее время относился к ремонту до предела изношенной сельхозтехники, совсем иначе, нежели Моор, — он видел в этом признак растущего благоразумия, симптом затухания упрямой механической страсти, которая начиналась и кончалась на свалках. Пока Беринг держал на ходу генератор виллы и мотор «Вороны», а при необходимости и руки Амбрасу заменял, он был волен помогать приозерным машиновладельцам или гнать их взашей и мастерить ветрячки и подвижные модели птиц, чтобы собаки потом в клочья драли всех этих бумажных кур. Такие забавы порядку в Собачьем доме не помеха. Боль, боль в его, Амбраса, суставах — вот что по-настоящему разрушало этот порядок, а в первые ноябрьские дни даже грозило порой вконец его запутать.

Иногда Амбрасу помогала Лили. Если она приходила на виллу «Флора» в часы приступов боли, он соглашался, чтобы она опрыскала и растерла ему плечи спиртовой эссенцией из моховых спор, арники и ветреницы и тем погасила жгучую боль.

В такие дни Беринг видел не только метины пытки на обнаженной спине хозяина, лиловые полосы рубцов, старые следы палочных ударов и хлыста... Прежде всего он видел пожилого человека, мерзнущего в холодной кухне и страдающего от боли. А еще видел руки Лили, кружащие по этой испещренной шрамами коже, — это не были руки возлюбленной. Ведь при всей бережности ее прикосновений Лили просто помогала этому мерзнущему человеку, помогала, как и тот, кто вычесывал из его волос каменную пыль. Здесь не было ласки, только давняя дружба между Собачьим Королем и его *приятельницей с берега.* Или не более чем сострадание?

Амбрас молча сносил все Лилины манипуляции, когда однажды морозным днем Беринг впервые увидел его таким поникшим, таким обнаженным на кухонном стуле. Держа в одной руке стеклянный флакон, а в другой — тряпицу, Лили как раз наклонилась над ним и капала на спину жидкость; тут-то и вошел Беринг. Бурыми, путаными струйками эссенция растекалась по Амбрасовым шрамам. Не колеблясь и не раздумывая, словно выполняя приказ, Беринг шагнул к Лили, взял у нее тряпицу и начал промокать ручейки на этой израненной спине. Лили остолбенела, но только на мгновение. Потом она кивнула, приняв помощь Телохранителя.

После этой внезапной, безмолвной послеполуденной близости Беринг начал мало-помалу отдавать себя во власть Лили. Он открывал ей свою тоску, вызываясь под всяческими предлогами то проводить ее из виллы «Флора» домой к озеру, то отвезти на «Вороне» до берега, или в Моор, или еще куда-нибудь. В надежде еще раз приблизиться к волшебству концертной ночи он предлагал ей все, что имел и чем мог распоряжаться, и теперь, вооружившись тряпицей, приходил ей на помощь всякий раз, когда она пыталась облегчить Амбрасу боль. Он сделал для нее защитные решетки на окна в нижнем этаже метеобашни, подковал мула, который по дороге через Ледовый перевал потерял две подковы, а когда Лили дней шесть-семь не появлялась в Собачьем доме, отвел к водолечебнице свою лошадь, привязал ее к перилам Лилина обиталища и крикнул наверх, что у него нет времени ходить за скотиной, с «Вороной» забот хватает, и поэтому лошадь он дарит ей. А увидев, как она восхищается подвижной моделью крыла хищной птицы, которую он показывал ей на веранде, к следующему разу приготовил новый сюрприз: в сосновой аллее на подходах к вилле навстречу Лили выпорхнул механический фазан.

Однажды, сопровождая Амбраса и моорского секретаря в инспекционном обходе, он отыскал в развалинах гостиницы «Бельвю» металлофон. Секретарь вспомнил, что этот погребенный под кирпичными обломками музыкальный автомат когда-то до войны вызванивал отдыхающих к завтраку, обеду и ужину. Хотя закон о мародерстве касался и любого металлолома, найденного в развалинах, Амбрас позволил Телохранителю забрать эту штуковину с собой, а была она большая и тяжелая, вроде железной швейной машинки. За верстаком в сарае виллы «Флора» Беринг наладил музыку, потратив на это всего один вечер. Услышав непритязательный перезвон, Лили только посмеялась над душещипательными мотивчиками; тогда он еще много вечеров кряду колдовал над валиком, и в конце концов автомат стал наигрывать первые такты трех песен *Паттоновского оркестра.* Теперь Лили захлопала в ладоши и тотчас предложила в обмен бинокль — он даже заикнуться не успел, что это подарок.

Сделка состоялась, и металлофон водворился между стропилами метеобашни, но уже в виде хитроумно усовершенствованного механизма, который умел вызванивать и штормовое предупреждение: Беринг подсоединил металлофон к ветрячку, и в зависимости от силы ветра тот не просто включал мигалку, а еще и вращал валик, потому-то из руин водолечебницы звучали над озером те или иные песни. Штормовой сигнал был виден и на Слепом берегу, а музыка при восточном ветре долетала аж до ляйсских камышников.

После первых же октябрьских бурь Моор возненавидел этот перезвон. Мало того что он всегда предвещал ненастье, это бы еще полбеды, так ведь в нем громко, на всю округу, разносилось доказательство, что у Беринга вполне бы достало сноровки еще до белых мух наладить все поломанные машины. Но в эти холодные недели Телохранитель трудился для одной только Лили. Проведя без сна две-три ненастные ночи, Лили попросила отсоединить металлофон от ветрячка и установить его в комнате, на большом кофре под картой Бразилии, точно на алтаре. Беринг сделал как велено.

В половине ноября иные из деревенских машиновладельцев решили обойтись своими силами и начали растаскивать заброшенный «железный сад» и запчасти из мастерской на Кузнечном холме. Они совали старому кузнецу копченую рыбу, шнапс и плесневелый табак, а не то образки Девы Марии и святые реликвии для его жены, помешавшейся на Богоматери, — и забирали смазанные подшипники, наборы шурупов и болты из нержавейки. Кузнец, ощупью бродивший по дому за такими визитерами, усматривал в этой меновой торговле, которую вел с полнейшим отсутствием деловой хватки, прежде всего кару для наследника: вот и пускай все его добро, все эти бесценные запчасти пропадут пропадом, разойдутся среди всяких там скотников да щебенщиков!

Сборщики металлолома живо пронюхали, что старик берет в обмен за железо все, что ни дай. А он напивался выменянной рябиновки и спирта и потом, сидя на наковальне, часами распевал солдатские песни; копченую рыбу, образки Девы Марии, посеребренную ключицу какого-то мученика и прочее он относил в подпол, жене. Кузнечиха в путах своих четок сидела на глинобитном полу, с пьяным не разговаривала, ни к реликвии, ни к рыбе не прикасалась. За ночь крысы либо куницы утаскивали гостинцы.

Когда Лили с благотворительными пакетами из виллы «Флора» раз в месяц поднималась на Кузнечный холм, в этих пакетах там словно бы и нужды не было, а кузнец громко рассуждал сам с собою. Видеть он ее не видел, да и слушать давно не слушал, хоть она с ним, бывало, и заговаривала. Иногда в кладовке обнаруживались пакеты прошлого месяца — так и лежали нетронутые. Раз по десять, а то и больше повторяла она какой-нибудь свой вопрос, тогда только старик наконец отвечал, говорил: *Все путем, ничего не надо, все у нас есть, барышня. Спасибо, что зашли...* (Пускай эта Бразильянка видит, что человеку, прошедшему Сахару и войну, ничего не надо от убийц и перебежчиков, пускай доложит там, в Собачьем доме, что последний моорский кузнец, не в пример своей полоумной жене, ничегошеньки от наследника не ждет.)

Полки с запчастями быстро пустели, а «железный сад» растащили еще до первого снега. Под конец даже наковальня исчезла в тележке сборщика металлолома. Кузнецу было все равно. Хоть растаскивай усадьбу по винтику, как сломанную машину, — наследник-то не вернется. В доме царил ледяной холод. Куры иногда несли яйца в хворосте, который без дела лежал в дровяном ларе. Плиту сутками не топили.

Когда последняя попытка уговорить жену выйти из потемок закончилась неудачей, кузнец махнул на все рукой, а в итоге бросил топить и железную печурку, которую за неделю до Рождества сам же оттащил в подпол. Там внизу, в глубине, воздух как бы не испытывал температурных колебаний, словно вода на дне озера, — летом он не раскалялся, в мороз не остывал, хотя, несмотря на суровую зиму, когда быстрые горные речки и те замерзли, а хаагский водопад превратился в этакий памятник самому себе, кузнецу иногда казалось, что во тьме подпола становилось день ото дня теплее, день ото дня приятнее. Спускаясь туда, чтобы наполнить женин кувшин водой, а продуктовую корзинку — съестным, он, бывало, с полчасика и поболе сидел на корточках между бочонками и слушал, как жена шепчет свои молитвы. И чувствовал тогда уют и тепло, *наверху*-то он об этом давно уж забыл, в этом снежном свете, который виделся ему всего лишь чугунно-серым отблеском.

Когда под Новый год он три дня лежал хворый, в жару, и куры в поисках корма топтались по его перине, какой-то сердобольный посетитель протопил в горнице изразцовую печь.

Старик что-то невнятно бормотал, но посетитель так и не понял, с какой стати нужно тащить в подпол воду и хлеб, однако ж в уплату за то, что протопил печь, прихватил три бутылки шнапса, коробку подковных гвоздей, топор и овчинный полушубок, а на прощание рассказал болящему, что во время налета бритоголовых был убит моорский угольщик.

— Знали бы эти плешаки, что ты тут один-одинешенек за печкой лежишь! — говорил посетитель. — Скажи спасибо, что они про это не ведают. Собачий Король велел облаву устроить на мерзавцев, радиограмму на равнину послал, а Телохранителя отрядил на собрание, чтоб объявил всем: мол, карательная экспедиция на подходе...

Кузнец не очень-то понимал, о чем ему рассказывают, но согласно кивал.

Через десять дней после кремации угольщика — она была совершена по обряду общины кающихся перед каменными буквами Великой надписи и закончилась развеиванием пепла над озером — на моорской набережной появилась армейская колонна в белых маскхалатах. Во время состоявшейся перед секретариатом церемонии подъема флага Беринг насчитал больше восьми десятков солдат. Базовый лагерь, по обыкновению, разместился в руинах гостиницы «Бельвю», и в ближайшие дни большие и малые отряды методично прочесывали округу. Угольщиковых убийц они, правда, не нашли, но в заброшенных соляных копях под Ляйсом взяли под стражу семерых бродяг, а у лесной дороги в Самолетную долину совершенно случайно обнаружили склад боеприпасов, оставшийся с военных лет: многие тонны забытых артиллерийских снарядов, ручные противотанковые гранатометы и мины из арсеналов врага, побежденного десятилетия назад. Вход в пещеру был запорошен снегом и почти не виден под слоем промерзшей земли, а расчистили его только потому, что не в меру бдительный сержант принял обледенелый лисий капкан у обочины за взрывное устройство и поднял тревогу.

С согласия Амбраса и вопреки протестам моорского секретаря, который опасался непредусмотренного ущерба и пострадавших, капитан, осуществлявший командование карательной экспедицией, приказал взорвать этот склад, и целых три дня по заснеженным улицам Моора, гремя цепями противоскольжения, разъезжал армейский джип. Из укрепленного на крыше динамика беспрерывно тарахтели военные марши и предупреждение, что двадцать второго января, в одиннадцать ноль-ноль, произойдет большой взрыв и ожидается

мощная ударная волна. Окна следует выставить или хотя бы открыть, а оконные проемы забить досками; самим же моорцам лучше всего укрыться в подвалах и иных убежищах. Размеченный красными флажками пустырь от опушки леса до окраинных домов Моора весьма опасен, поскольку ничто там не гасит ударную волну, и по этой причине объявляется запретной зоной — доступ туда категорически воспрещен. Если к моменту взрыва кто-нибудь окажется на открытом месте вблизи от этой зоны, ему необходимо лечь в снег и открыть рот, во избежание разрыва барабанных перепонок.

Утром двадцать второго января, в день св. Винсента Сарагосского, Моор точно вымер — ни людей, ни животных, лишь метельная круговерть гуляла по улицам. «Спящая гречанка», засыпанная снегом, стояла у причала; даже работы в карьере были прекращены.

Около одиннадцати прояснилось. Воздух мерцал и искрился, насыщенный крохотными ледяными кристалликами; ни звука, ни движения кругом, словно никакого взрыва и не предвидится. Когда из-за туч выглянуло солнце, все окрест полыхнуло таким блеском, что Собачий Король, едва не ослепнув, заслонился рукой; вместе с Берингом и двумя армейскими агентами он стоял у заколоченного досками окна моорского секретариата и в узкую смотровую щель глядел на голый склон (до него было без малого два километра), где через несколько минут воздвигнется огненный купол. Четыре его пса кемарили в тепле возле железной печурки, которая высилась в полумраке этакой черной колонной.

Секретарь нервничал. Поминутно шуровал в топке, угощал гостей кофе без сахара и сушеными яблоками и твердил, что направит протест на равнину, верховному командованию. Армейских агентов он пригласил в свою закопченную контору, чтобы они воочию увидели взрыв и засвидетельствовали возможный ущерб; Амбрас пытался успокоить его: дескать, на *этаком* расстоянии моорским домам вообще ничего не грозит. Заграждение — совершенно излишняя предосторожность. Немножко ветра моорцам не повредит.

Беринг чувствовал на лбу теплое прикосновение ослепительного зимнего света, проникавшего сквозь смотровую щель внутрь их бункера, и поначалу решил, что цепочка крохотных фигурок, внезапно возникшая вдали, у самой границы запретной зоны, — это солдаты. Наверно, заканчивают подготовку к взрыву и вот-вот опять исчезнут среди сугробов. Но взгляд в бинокль сказал другое: это процессия кающихся, да-да, она самая, ее ни с чем не спутаешь — двадцать, двадцать пять, тридцать человек в полосатых робах, с измазанными сажей лицами. И никакого убежища вокруг — разве что слепое пятно в его глазу; с флагами и транспарантами они направлялись прямехонько к снежному полю, словно красные флажки, трепетавшие там на ветру, как раз и указывали им дорогу.

— Что это за кретины прутся в зону? — спросил Амбрас, забирая у Телохранителя бинокль.

— Их там десятка три, не меньше, — сказал Беринг. — Как минимум три десятка. Может, эти, из Айзенау.

— Ага, из Айзенау! — упавшим голосом воскликнул секретарь.

Пожалуй, и впрямь эти, из Айзенау. Айзенауские соляные копи находились в Каменном Море на такой высоте, что в тамошнем поселке, вероятно, не слыхали предупреждения о взрыве. Снегу навалило столько, что в последние дни вряд ли кто спускался оттуда к озеру, а уж моорцам тем более не с руки тащиться в этакую даль, чтоб рассказывать приозерные новости... Определенно айзенауские, больше некому. Пробились через заносы. Они всегда приходили двадцать второго января, в день святого Винсента, из своей соляной долины на Слепой берег, возлагали венки к подножию Великой надписи и на каждой каменной строке зажигали целые букеты факелов. Как напоминание о том, что комендант барачного лагеря при камнедробилке был уроженцем Айзенау и однажды двадцать второго января лично отправил в заминированную штольню девяносто участников неудачного побега, а затем приказал ее взорвать.

Остальных узников лагеря привели тогда к устью штольни, и они, построенные шеренгами, стояли на морозе и смотрели, как беглецов загоняют в гору. Потом «погонщики» вышли наружу. Потом несколько минут было тихо. А потом черная каменная пасть штольни вдруг *взревела,* изрыгая на строй заключенных обломки скал и пламя, и могучая ударная волна разметала их ряды. Когда дым рассеялся и ледяная пыль сыпалась на очевидцев, пасть уже сомкнулась навеки.

— Вот кретины, — повторил хаагский агент Армии и покосился на Собачьего Короля, словно ожидая одобрения. Кающиеся успели меж тем далеко углубиться в «красную» зону.

— Поболе трех десятков будет, — сказал агент и вполголоса досчитал почти до сорока. О предупреждении айзенауские, может, и не слыхали, зато про солдат слыхали, потому и явились такой многочисленной группой. Армия попрежнему благоволила к *стелламуровским процессиям* и порой премировала их участников топливом, сухим молоком и батарейками.

— Давай бегом, — сказал Собачий Король своему Телохранителю. — Если можешь, давай бегом туда, останови их, чтоб дальше ни шагу. Скажи, пускай зароются в снег. А ежели они молятся и поют, пускай рот не закрывают. Скажи им: пускай рот не закрывают.

Устремившись из сумрака секретариата в слепяще-яркий зимний день, Беринг не думал ни о кающихся из Айзенау, ни об ударной волне, ни об угрозе осколочного дождя. Он думал о лице Лили, о ее глазах, о ее взгляде, который полетит ему навстречу, когда Амбрас станет рассказывать ей, как он бежал по снегу. «Надо было видеть его... — возможно, скажет Амбрас. — Надо было видеть, как он мчался по сугробам к этим кретинам».

Снег был сухой и зыбучий. В иные сугробы Беринг проваливался по пояс и, добежав до красных флажков, вконец запыхался. Ему казалось, что на таком расстоянии кающиеся наверняка услышат его, и он начал кричать. Но в этакую стужу и из-за одышки голос его был слишком слаб для здешнего белого простора. Хотя над головой раскинулось безоблачное синее небо, ветер срывал снежную пыль с гребней сугробов, окутывал ею Беринговы крики и уносил туда, откуда он явился. *Стойте! Остановитесь! Остановитесь, черт вас возьми!* Кающиеся не слышали. Упорно шагали навстречу незримому вулкану.

Делать нечего, придется идти за ними, в глубь запретной зоны. Вот болваны! Увлекают его в грозную бурю, под град осколков. Теперь он все же страшился могучей бури, ведь однажды, после того неудачного взрыва в карьере, притом без всякого предупреждения, им с Собачьим Королем уже довелось пережить удар этой стихии. Тогда ему повезло, он всего-навсего вычесывал пыль из волос хозяина. Но тот камнепад, поди, пустячок по сравнению с адом, который грянет с минуты на минуту. А назад разве повернешь? На глазах у свидетелей, собравшихся в моорском секретариате, на глазах у Собачьего Короля, неотрывно наблюдающего за ним в бинокль? Поворачивать уже поздно. До измазанных сажей лиц вдалеке теперь ближе, чем до наблюдателей за заколоченными окнами секретариата. *Давай бегом, если можешь.* Собачьему Королю хотелось, чтобы он продемонстрировал на этом белом просторе свою силу? Надо идти вперед.

Ковыляя по сугробам, пытаясь бежать, он выхватывает из снега красный флажок и отчаянно размахивает им в воздухе. Добирается наконец до следов, оставленных процессией, но и по этой дорожке, которую быстро заметает снегом, продвигается вперед крайне медленно. Дышать нечем — крикнуть невозможно. *Одиннадцать часов.* На моорской колокольне бьют часы; с такого расстояния звуки эти все равно больше похожи на удары молота по наковальне, чем на колокольный звон. После заключительного удара, в тишине между завывами ветра, Берингу уже слышны песнопения кающихся, он останавливается перевести дух, а голоса по-прежнему нет. *Давай бегом, если можешь.*

Лишь теперь он вспоминает, что голос-то ему вовсе не нужен. Со злости, что никак не догонит процессию, он рвет из-под меховой куртки пистолет,

вскидывает его высоко над головой и стреляет в зимнее небо. Если гром выстрела не только переполошит этих болванов впереди, но и выдаст Армии обладателя огнестрельного оружия — пускай, ему все равно. Главное, чтобы эти там остановились, чтобы унялась одышка и чтобы миссия, возложенная на него Собачьим Королем, была выполнена.

Ну наконец-то: кое-кто из кающихся оглядывается, смотрит на озеро, на Моор. На него.

Беринг опускает пистолет и машет флагом. Хочет крикнуть, но из горла опять вырывается лишь сипенье. Процессия нерешительно останавливается, все глядят на вооруженного человека, который пошатываясь бредет к ним. Пьяный, что ли? Кающиеся перехватывают древки своих флагов, держат их точно копья. Чего ему надо? Вдруг это налет? Вдруг сейчас из-за снежного укрытия выскочит целая шайка, набросится на поминальные реликвии? Неужели флаги и транспаранты опять будут сожжены, а ведь на них только слова великого Стелламура: *Помнить вечно. Не убивай.*

Налет?

Вряд ли, он ведь один.

И никто за ним следом не идет.

Но у него оружие.

Когда Беринг добирается до перемазанных сажей, пистолет уже спрятан под меховой курткой, древко флага служит ему сейчас всего-навсего опорой, вместо трости. Скрюченный от одышки, он с трудом выдавливает из себя:

— Ложись! В снег... Все в снег...

Больше он ничего сказать не в силах. Проходят минуты, целая вечность, просто зло берет! — кающиеся обступают его, и наконец-то до них доходит смысл предупреждения.

Взрыв?

Они знать не знают о взрыве. Единственный взрыв, о котором они слышали во время этого шествия к Слепому берегу, был тот, давний, случившийся много лет назад; о нем говорилось в литаниях и молитвах.

Я опоздал, с удивлением думает Беринг, *опоздал ли?* Ведь уже двенадцатый час. Он смотрит на кающихся: они опускаются в снег, медленно, неловко, потому что окоченели от холода, и с открытым ртом, в точности как велел Собачий Король. Только их флаги и транспаранты еще трепещут, словно паруса тонущего корабля над стылой зыбью. Между сугробами, у подошв белых волн, ветра почти нет. Снежные вуали вьются над скорчившимися и лежащими — клочья пены. Одиннадцать давно миновало. Но вокруг по-прежнему недвижная тишина.

Сколько же времени проходит в ожидании беды? Минуты? Час? После Беринг так и не сумеет вспомнить. Сраженный усталостью, он лежит на морозе вместе с чернолицыми и чувствует себя в безопасности — в этой заметенной снегом ямке посреди чистого поля он в полной безопасности, как в гнездышке. Над головой — прозрачно-синее зимнее небо, впереди — искристый горб белой дюны из спрессованных ветром кристалликов: вот такая же тишь и сияние царят, наверно, и в тех парящих садах, где свет, преломляясь, сплетается в хризантемы и астры, внутри тех кристаллов, что хранятся у Собачьего Короля в ящичках птичьего шкафа. Беринг лежит в гнездышке из света и думает о Лили, лежит оцепенелый, как древнее, заключенное в янтаре насекомое, которое сберегает свой облик на протяжении эонов, — он, пожалуй, и задремал бы, если б главный молельщик рядом с ним не поднялся, отряхивая снег с полосатой робы, и не сказал:

— Мы тут замерзнем. Вы так и рассчитываете, что мы замерзнем?

Замерзнем? Беринг мороза не ощущает. Он сам будто часть стужи, бесстрастно наблюдает, как люди в робах один за другим встают из укрытия, из снега, одергивают, поправляют истрепанную одежду. Процессия подбирает свои флаги, уже намереваясь продолжить литании и чтение бесконечных спис-

ков имен из лагерных журналов регистрации смертей, — и вот тут небо, прозрачно-синее зимнее небо над волнами, и сугробами, и дюнами, вспыхивает огнем.

В один миг высоко над белым простором вздыбливается купол, пламенный свод, огненная цитадель. Замирает в безоблачной синеве. А затем, вместе с грохотом, который бьет не из небесных высей, а словно бы из раскаленного нутра земли, обрушиваются мрак и ураган: под валом снега, земли и камней багровая цитадель гаснет, тонет в могучей волне, которая с воем и свистом мчится на кающихся, свет исчезает, вокруг только тусклая серость. Стаей перепуганных птиц несутся впереди этого потопа обломки дерева и камня. Комья льда, глыбы промерзшей земли, булыжники — все, что секундой раньше казалось холодным и несокрушимым, теперь невесомыми, свободными от власти тяготения пушинками скачет, и кружится вихрем, и разлетается в пространстве.

Никто и ничто не может противостоять этой буре. Ураган подхватывает главного молельщика, и знаменосцев, и каждого, кто вылез из затишья ложбины, — подбрасывает их вверх, одного как бы неуверенно, другого резко, со всей силы, но после швыряет всех в колючий, льдистый снег, а следом кидает переломанные древки, порванные флаги.

Странное дело, среди этого бешеного рыка Беринг отчетливо слышит характерный — ни с чем не спутаешь! — шипящий треск: рвется ткань транспарантов. Ударная волна — или упавший человек? — перевернула Телохранителя на спину, отодрала руки от лица. С открытыми глазами он лежит среди урагана и видит, что дыра в его мире всего лишь смехотворный лоскуток большой тьмы, всего лишь одно из несчетных слепых пятен, роящихся вокруг и соединяющихся в огромную бездну, огромный мрак, из которого в следующую же секунду непременно прорвется зимнее солнце.

21. Открытые глаза

Явление Богоматери и Пресвятой Девы грянуло как разрыв авиабомбы, а шум крыл небесного воинства, низошедшего на землю следом за нею, был почти неотличим от грохота артиллерийской канонады... У кузнечихи звон стоял в ушах, она сидела в своем темном подполе и под гром давно желанного чуда невольно вспоминала о шуме сражения. Возвращение Девы Марии звучало как ночная моорская бомбежка.

Хвалебных гимнов на сей раз не слыхать. И гуслей не слыхать, и трубного гласа. Только грохот, будто само небо раскололось. И все же кузнечиха не сомневалась: Mater dolorosa[2] наконец вняла ее молитвам. Звезда Морей, Царица Небесная воротилась. Но пришла она теперь не средь звуков музыки сфер, а в шуме мирском, ибо Моор, и Хааг, и все приозерье должны услышать то, что́ она возгласила самой преданной своей служительнице: *Довольно!* Довольно молиться, довольно каяться. Блудный сын, мальчуган, наследник, вновь принят в сонмы спасенных.

От великого света, осиявшего это послание, от хвостатых звезд и лучистых венцов кузнечиха узрела лишь слабый отблеск, проникший в ее подземелье сквозь щели в крышке люка, через который обычно ссыпали в подпол картошку, свеклу да капустные кочаны.

А Богоматерь? Отчего она не спустилась к ней в глубину? Отчего небесное воинство расточало свой блеск там, в верхней пустыне, вместо того чтоб позлатить одиночество кающейся? Кузнечиха поняла и улыбнулась. Пресвятая Дева желает, стало быть, чтобы служительница ее вновь поднялась к свету дня, ввысь, к *Ней*. Ведь уже довольно.

---

[2] Мать скорбящая *(лат.)*.

Острая боль, пронзившая сердце, и мучительная одышка на лестнице — это были последние недомогания на пути к свету, последние казни в конце великого покаяния. Лишь здесь, на крутом участке пути, еще лютует боль и перехватывает дыхание, но дальше, дальше все станет легко, бесконечно легко. Пречистая наверняка поджидает ее у пожарного пруда, парит над камышами.

Пруд был скован льдом. Камыши засохли, стебли изломаны ветром. Кроны деревьев, крыши Моора, заросли кустарника — все, что считанные минуты назад гнулось под тяжестью снега, теперь было голо, пусто, избавлено от всякого бремени: ударная волна мощнейшего после ночной бомбежки взрыва смела снег с древесных сучьев и ветвей, с крыш домов и сараев, обнажив убожество побережья. Но кузнечиха, выйдя из двери хлева на улицу, видела все это по-другому. От долгого сидения во тьме у нее в глазах плясали пурпурные и сине-зеленые тени, казавшиеся ей цветами. Цветы в черных кронах деревьев. Пресвятая Дева повелела деревьям расцвести средь зимы. Где бы *Она* ни явилась, всегда наступала весна.

Грохот явления сменился теперь тишиною, на окраинах которой, где-то далеко-далеко, лаяли собаки. Там, в снежно-белой дали, рвались в небо пламена, пылал беззвучный костер, пламена, без единого шороха. Но пруд! Пруд был пустой, воды его — сплошной лед.

Какая усталость охватила кузнечиху на свету, какая беспредельная усталость. Цветочное чудо смело снег с деревьев и крыш, но не с деревянной скамьи, что стояла у стены дома, по-прежнему белая и зимняя. На эту скамью старуха и села, опустилась на снежную подушку, прислонилась к ледяной стене. Цветы мало-помалу блекли.

Этот далекий пожар, видно, и был тем могучим сиянием, что проникло к ней в подпол и освещало ей путь из глубины в верхний мир? Долго кузнечиха не сводила глаз с опадающих пламен, тщетно пытаясь различить в огне фигуру Царицы Небесной. Сияние медленно опускалось в голую землю, и с ним опускался долу ее взор, пока в глазах не отразилась всего лишь угасшая пустыня, опушенная черными деревьями и ветвями.

Через день после взрыва Берингов отец впервые за много месяцев проковылял со своего холма вниз, в Моор, оставляя в заснеженных улочках пьяный зигзаг следов. Временами его так шатало, что он поневоле останавливался, цепляясь за стену, за флагшток на плацу, и лишь через несколько минут продолжал свой путь. Он не обратил внимания ни на армейскую колонну возле секретариата, которая готовилась к выступлению, ни на торговца дровами — тот оторопело поздоровался с облучка своей повозки и начал было рассказывать, что вчера процессия кающихся из Айзенау с барабанами и трубами забрела в зону взрыва и только чудом дело обошлось более-менее благополучно, насчитали всего несколько раненых.

— И твой сын, — кричал с облучка торговец вдогонку кузнецу, — этот ненормальный, конечно, опять был тут как тут.

Старику понадобилось несколько часов, чтоб выбраться из Моора, оставить позади террасы виноградников, прибрежную дорогу и, одолев для сокращения пути утомительную лестницу, добраться до ворот виллы «Флора». Псы сию же минуту сбежались к воротам и с яростным лаем стали бросаться на кованые прутья. Проклиная злобных бестий, он молотил палкой по решетке, попытался отворить створку и без колебаний шагнул бы прямиком в зубастые пасти стаи, но, к счастью, прибежал Беринг. Парень утихомирил псов, трех самых свирепых посадил на цепь и подошел к воротам, хотя и не открыл их пока.

— Что тебе нужно?

Разделенные коваными листьями, коваными ветками и прутьями, стояли они друг против друга, странно похожие: раненный в войну и пострадавший вчера. Шальной осколок (а возможно, просто подбитый гвоздями башмак еще

одной жертвы ударной волны) наградил Беринга отметиной на правом виске, исчезавшей далеко под волосами, и тем добавил ему сходства со стариком, у которого шрам багровел на лбу — знаком войны.

Утомительный путь к Собачьему дому отрезвил старика. И все же он неловко шагнул назад и едва не оступился, когда Беринг отворил ворота.

— Ну что тебе нужно?

Старик видел лицо сына точь-в-точь как все другие лица — подернутый густой тенью овал и в нем темные пятна глаз — и сказал этому неотличимому от других лицу:

— Она сидит около дома. Утром я не нашел ее в подполе. Понес ей хлеб и молоко. А ее нет. Искал-искал — и на кухне, и у ней в комнате, и в хлеву. Потом нашел на улице. На лавке. Она умерла. И ты должен ее похоронить. Ты убил ее.

Больше он не говорит ничего. Ни у ворот, ни на обратном пути в кузницу, который впервые со времен войны проделывает в автомобиле, а сел он в автомобиль потому лишь, что устал. Дважды наследник спрашивает его о последних днях матери. Может, она не только молилась да перебирала четки, но и что-то еще говорила? Старик и сам не знает, однако от сына это утаивает. Не хочет больше с ним разговаривать и не станет, никогда. Оба молчат, сидя рядом на переднем сиденье «Вороны», будто лязг цепей противоскольжения заменяет все, что еще можно было сказать.

Дорогу к усадьбе замело глубоким снегом. От цепей толку чуть. Молча они бросают «Ворону» перед высоченным, в рост человека, сугробом и по свежим еще следам старика взбираются к дому. Беринг все замедляет шаги и наконец, словно выбившись из сил, останавливается на полпути, увидев мать, сидящую на лавке у двери хлева. Снегопада ночью не было, но ее все равно запорошило — она белая то ли от инея, то ли от улетевшего, выпавшего кристаллами телесного тепла. Она белая как снег.

Когда он в конце концов подходит ближе, очень-очень медленно, то видит, что глаза ее по-прежнему открыты. И рот тоже открыт, будто она, как и он сам, как айзенауские кающиеся, просто выполняла приказ Собачьего Короля и ждала большого взрыва, огненной бури, молча и с открытым ртом.

Беринг не сумел закрыть матери ни глаза, ни рот, когда около полудня положил ее в гроб, в ящик, сколоченный из сосновых досок, которые он в прошлом году, в почти забытой жизни, хотел пустить на ремонт курятника.

Пока он пилил и сколачивал, отец, по обыкновению, сидел на табуретке у кухонного окна, уставившись вниз, на моорские крыши, и не ответил на вопрос о лопате. Сборщики металлолома все выгребли подчистую — в кузнице не нашлось даже чем вырыть могилу.

В полдень Беринг вернулся на виллу «Флора» взять из сарайчика кирку и лопату; Собачий Король сидел в большом салоне у докрасна раскаленной печки — разглядывал в лупу осколочек янтаря. Он и головы почти не поднял, только кивнул, когда Беринг с лопатой и киркой вошел в салон и попросил до завтра отгул и — второй раз в этот день — «Ворону». Амбрас был так увлечен изучением нового экспоната своей коллекции, что вроде бы пропустил мимо ушей даже рассказ о заиндевевшей покойнице. В янтаре обнаружилось редкостной красоты органическое включение — златоглазка, застигнутая на взлете каплей смолы, да так и замершая. Беринг вскинул на плечо шанцевый инструмент и пошел было прочь. Собачий Король поднес янтарь к свету: Стой! Один вопрос, один-единственный, потом Телохранитель может идти. *Сколько лет?* Каков, по его мнению, возраст этой мушки в камне?

Беринг покорно отставил лопату и кирку, покорно взял лупу и почувствовал, как слезы набегают на глаза, а что ответить — не знал, только пробормотал: *Ну, тогда я пошел...*

— Сорок миллионов, — сказал Собачий Король, — сорок миллионов лет.

На обратном пути в холодный отцовский дом Берингу пришлось съехать в глубокий сугроб, чтобы пропустить уходящую армейскую колонну, и потом он

едва сумел вывести «Ворону» на береговой грейдер. Кое-кто из солдат, глядя на переваливающийся с боку на бок птицемобиль, громко зааплодировал. Во вчерашней суматохе вокруг раненых айзенаусцев, которых доставили на перевязку в армейские палатки, ни капитан, ни сержанты не спросили про выстрел, прозвучавший незадолго до взрыва в «красной» зоне.

Колонна пропахивала в зимних снегах широкий след, и Берингу очень хотелось рвануть за нею прямиком до водолечебницы, но он удержался. Вместо этого, лязгая цепями, доехал до секретариата и сообщил о смерти матери. Окна конторы были до сих пор заколочены. Секретарь поставил печать на свидетельство о смерти и сказал, что для похорон нынче, пожалуй, поздновато... Или нет?

— Нет, — сказал Беринг.

Так, может, привезти из Хаага народного миссионера или хоть проповедника моорской общины кающихся? Секретарь не понимал, отчего такая спешка. А духовой оркестр?

Ни проповеди, ни оркестра. Телохранитель отказался от всего, что положено по обычаю. Ему нужны только один-два помощника, чтобы вырыть могилу, и еще двое, чтобы нести гроб.

Уже смеркалось, когда Беринг и трое работяг из свекловодческого товарищества опускали гроб в словно бы бездонную глубину. Пеньковые веревки были для этой могилы слишком коротки.

— Что будем делать? — спросил один из работяг.

— Отпустим веревки, — сказал другой.

Троица была здорово навеселе. За бутыль шнапса и шесть десятков *армейских сигарет* они всю дорогу с Кузнечного холма до моорского кладбища шагали рядом с «Вороной» и следили, чтобы кое-как привязанный гроб не свалился с крыши автомобиля, могилу они копали по очереди. Когда напоследок подошел черед Беринга, они отошли в затишье, к каменному, освещенному свечами поминальному дому возле часовни Воскресения, пустили по кругу бутыль и сигареты из светлого табака, которые в Мооре можно было обменять практически на что угодно. Потом бутыль опустела, они шатаясь снова подковыляли к могиле и обнаружили, что этот псих из Собачьего дома целиком исчез в яме. В отсветах двух погребальных факелов комья земли вылетали из глубины и падали в отвал, который уже был куда выше любого могильного холма на этом кладбище.

Беринг не слышал смеха работяг. Один в яме, он, задыхаясь и рыдая, долбил эту землю киркой и лопатой, пока зимнее небо над головой не превратилось в тускнеющий, окаймленный черной глиной прямоугольник; и внезапно по плечу ударил снежок, а один из работяг, про которых он и думать забыл, крикнул ему, смеясь, с края этого неба:

— Эй! Ты кого хоронить-то собрался? Лошадь?

Работяги вытащили этого психа из ямы, дна которой было уже не видать. Потом они все, наклонившись над нею, смотрели, как гроб исчез в темноте, закачался на слишком коротких веревках, но вот первый из них отпустил эту треклятую веревку, за ним второй, третий, только Телохранитель так и держал в руке свой конец, — гроб с шумом рухнул в глубину. Еще через долю секунды хлестнули по дереву веревки. И все стихло.

Даже пять молельщиц, стоявших у подножия глиняного отвала, и те на миг прервали бесконечные апелляции к мученикам и святым и осенили себя крестным знамением. В этот вечер они украсили поминальный дом свечами и ветками, в надежде, что капитан из карательной экспедиции, как все его предшественники, проинспектирует моорские мемориалы и, быть может, вознаградит их старания растворимым кофе. Но вместо капитана на кладбище прикатила эта басурманская машина с гробом кузнечихи — впрочем, тоже какое-никакое разнообразие.

Вместе с молельщицами скорбели у могилы двое бродяг, собиравшихся заночевать в часовне Воскресения, а пока что гревшихся возле свечек поминаль-

ного дома. На глоток шнапса и сигареты из запасов могильщиков они уповали понапрасну. А еще тут было человек пять любопытных, которые вообразили, что в гробу на крыше «Вороны» лежит Собачий Король, и отправились за погребальной процессией на кладбище.

Еще прежде, чем могилу засыпали и утоптали глину в массивный холм, все эти «скорбящие» разошлись. Работяги тоже сочли, что за шнапс да сигареты надрываться особо не стоит, и, кое-как закидав яму землей — мол, для женской могилы и так сойдет, а дальше пускай этот псих сам старается, — ушли по домам. Беринг не сказал ни слова.

Он думал, что давно уж остался здесь один, как вдруг среди покосившихся от ветра крестов и могильных плит с неразборчивыми эпитафиями увидел поодаль, в трепетном свете факелов, отца — и рядом с ним Лили.

Лили, как бы успокаивая, положила руку на плечо старику, потом отошла от него, направилась к Берингу, словно хотела что-то ему сообщить, и сказала:

— Я отведу его домой. — Она взяла перепачканные глиной ледяные руки Беринга в свои и стала их согревать дыханием. Когда же он отнял у нее руки, потому что хотел закрыть ими лицо, она обняла его. Не в силах вынести эту близость, он растерянно шагнул было к отцу, но Лили мягко удержала его: — Не надо. Он заговаривается. Я *сама* провожу его.

Отец об руку с Бразильянкой исчез среди крестов, а Беринг меж тем выдернул из сугроба погребальные факелы и воткнул их в могильный холм, напоминавший теперь земляные пирамиды, которые общины кающихся сооружали на полях давних сражений и на месте разрушенных лагерных бараков и до сих пор в годовщину заключения мира украшали факельными коронами. Потом он устало сидел в снегу и счищал с инструмента глину, чтобы на обратном пути не замарать мягкие сиденья «Вороны».

Когда он наконец покинул кладбище и медленно катил по каштановой аллее и по набережной навстречу своему будущему, почти все окна в Мооре были темны. В эту ясную безлунную ночь, что раскинулась над горами и обратила озеро в бездонный провал, каждый был сам по себе — полуслепой кузнец на своем голом холме; Лили, которая там, наверху, разогрела ему суп и ушла, Лили в своей башне и Телохранитель в Собачьем доме. В эту ночь он лежал на полу большого салона, чувствуя со всех сторон теплые собачьи тела, и во сне прижимался к серому хозяйскому догу.

Перевела с немецкого **Н. Федорова.**

(Окончание следует.)

ПУБЛИЦИСТИКА

СЕРГЕЙ ЗАЛЫГИН

*

КУЛЬТУРА, ДЕМОКРАТИЯ И ТОТАЛИТАРИЗМ

Заметки

«Демократия и культура» — под таким примерно названием в последнее время в печати появляется множество выступлений. И это понятно: к тому толкает авторов все то, что называется нынче (к месту, а чаще — не к месту) современной российской демократией.

Нужно, однако, заметить: ну а где, в самом деле, в чем, в каких понятиях искать ответы на наши вопросы, если не в понятиях культуры? И что прежде всего следует по поводу подобных культурологических статей сказать?

Во-первых, отметим, что авторы занимаются в своих поисках не столько культурой как таковой, сколько бесконечным цитированием — кто, где и когда из авторитетных умов о культуре сказал.

Во-вторых, едва ли не все эти выступления пронизаны одной мыслью: даешь демократию, а уж она-то, безусловно, выдаст на-гора культуру!

Эта тенденция, будучи выражена и с большой эрудицией, и очень культурно, все равно остается некультурной. Более того — неприемлемой по отношению к культуре. Я вовсе не имею в виду упрекать кого-то персонально, речь идет о сложившейся нынче ситуации, в которой надобно подать и свой голос.

На мой взгляд, это, в общем, странное представление, будто демократия чуть ли не обязательно предшествует культуре, очень странная предусматривается последовательность: сначала демократия, потом — культура. Методология явно хромает хотя бы потому, что культура исторически появилась гораздо раньше демократии, когда этого понятия — в нынешнем его смысле — и вовсе не было. Лишь спустя долгое время культура произвела на свет демократию, но никак не наоборот.

Если иметь в виду государственные формации, именно культура (включая и науку, и технику) обуславливает смену рабовладельчества феодализмом, феодализма капитализмом и неудачную попытку социализма сменить капитализм. Эту неудачу следует объяснить еще и тем, что социализм, обладая политической идеей, не обладал своей собственной культурой, полагая, что она сама собой явится в результате революции. Но как показала дальнейшая практика, социализм дальше соцреализма не пошел. И это при том, что никто и никогда не поносил своих предшественников и всю предшествующую культуру столь же грубо и бескультурно, как это делал социализм.

На этот случай социализм обзавелся собственными теориями соцстроительства и коммунистического будущего, в то время как все предшествующие социальные и государственные формации приходили и уходили как бы сами по себе, в результате изменения культур, а вовсе не в силу чьих-то замыслов и фантазий. Фантазий, которые к тому же ни много ни мало объявляли себя началом истории человечества, полагая, что начинают-то они чуть ли не с нуля.

А ведь в истории нуля нет. Во всяком случае, он нам неизвестен и не будет известен никогда. Практика социализма была противоестественной: едва человек становился руководителем своей партии, как тут же он объявлялся и «выдающимся» теоретиком, и «основоположником». Не говоря уж о Ленине, и Сталин становился таковым, и Хрущев, и Брежнев. Да ведь и Горбачев не избежал, куда там. И Ельцин клонит туда же. А новая русская демократия тоже считает себя неиссякаемым источником культуры.

Большая беда! Теории, срочно разработанные аппаратными помощниками по первому требованию первого лица, — разве это не беда?

Демократия-то как явление политическое — временна, а постоянство (относительное) она может обрести только в недрах культуры.

Одна из основных задач демократии (вопреки ложному понятию «советский народ») — создание приемлемых условий существования и сосуществования разных слоев и прослоек общества, если на то пошло — разных его сословий.

Но тут, однако же, надо вернуться к исходным понятиям, прежде всего к понятию культуры.

Трудное дело. Гораздо более трудное, чем сбор цитат на этот счет, значительная часть которых не столько уточняет, сколько размывает это понятие.

Но ничего не поделаешь — придется прибегать к цитатам. Хотя бы и к самым ходовым.

К энциклопедическим.

Если Даль в 1881 году говорил достаточно кратко и вразумительно, что культура (в том смысле, который нас интересует) есть «образование умственное и нравственное», то последние наши словари и энциклопедии выдают на эту тему большие статьи и все равно не могут управиться. Тема-то все усложняется, все размывается, все больше требует изъяснений и расшифровки, поскольку культура действительно все разнообразнее воздействует на человечество.

И вот уже «Словарь русского языка» 1982 года, сто лет спустя, из кожи лезет, чтобы довести до сведения читателя, что же все-таки представляет собою это понятие:

«1. Совокупность достижений чел-го общества в производственной, общественной и духовной жизни... 2. Уровень развития, степень развития какой-то отрасли хозяйственной или умственной деятельности... 3. Наличие условий жизни, соответствующих потребностям просвещенного человека... 4. Просвещенность, образованность, начитанность...» и еще 5, 6, 7 — уже в специальном, а не в общем смысле, не в том, который нас, собственно, интересует.

В Большой Советской Энциклопедии (1953) существование понятия единой «культуры» отрицается, зато на многих страницах излагается, что есть «культура социалистическая»: что это «высшая форма культуры, впервые сложившаяся в Советском Союзе после победы Великой Октябрьской социалистической революции в ходе строительства социализма», и «коммунистическая идейность, народность, гармоническое сочетание советского патриотизма и пролетарского интернационализма», «преемственность лучших, прогрессивных завоеваний культуры всех времен и народов, национальная форма, в которой выражено социалистическое содержание». «Социалистическая культура проникнута пролетарским, социалистическим содержанием».

И т. д., и т. д. в том же духе, как я уже сказал — на нескольких страницах.

Никак не вспомню, что же все-таки я думал, читая всю эту абракадабру в те, 50-е годы? Вернее всего — ничего не думал.

«Советский энциклопедический словарь» (1990) в общем-то повторяет словарь выше уже цитированный, — «Словарь русского языка» 1982 года, добавляя «от себя», что культура — это «возделывание, воспитание, образование», «исторически определенный уровень развития общества, творческих сил и способностей человека», а также «сфера духовной жизни», «мировоззрение, способы и формы общения людей». Увы, все это ничего определенного в по-

нятие культуры не вносит. Ничего более определенного, чем краткое объяснения Владимира Даля: культура — это есть «образование умственное и нравственное».

Лучше же и конкретнее всего культура чувствует себя, когда она воспринимается как история человечества, как неотъемлемая ее часть.

История человечества тоже ведь перестает быть историей без истории культуры. Тем более прискорбно бескультурное ее изложение.

Культура...

Слово и вообще-то умнее и мудрее нас, и мы, если бы захотели, могли бы в течение всей своей жизни рассматривать и изучать мудрость одного-единственного слова нашей речи.

Слово мудрее нас как раз в той же самой степени, в которой человечество мудрее своего единственного, отдельно взятого поколения, а все то, что мы называем развитием и прогрессом человечества, зиждется на консерватизме слова, на его постоянстве, пусть и относительном, а все-таки постоянстве. Зиждется на культуре слова.

Если представить себе, что каждое поколение создавало бы для себя свой собственный язык, — какое развитие, какой прогресс и какая культура могли бы возникнуть и развиться? Какая вообще могла бы состояться человеческая жизнь?

Развитие от поколения к поколению языка, пополнение умственного багажа каждой нации — это и есть прогресс, при котором слово успевает не только за практическими деяниями людей, но и за их надеждами.

Я нынче потому и надеюсь на будущее своей страны, что, при всех наших потерях, русский язык — несмотря на все потери — все равно остается самим собой. Вот уж если мы потеряем наш язык, тогда потеряем и Россию.

Величие языка заключается не только в его саморазвитии, но и в способности ассимилировать слова чужих языков, оставаясь при этом национальной речью.

В свое время, когда русский язык мог быть ассимилирован языком татарским, — этого не произошло, немецким и французским — не произошло. И не произойдет! — в это можно верить. Хотя кое-кто и сомневается: дескать, уж очень много иностранных слов внедрилось в наш язык в связи с переходом от социализма к капитализму. Но это не в первый раз такое положение, не в первый раз мы сопрягаем российские начала с западными понятиями.

Вот и слово «культура» — не нашенское, а в то же время очень и очень наше — куда мы без него?! Мы уже давно вложили в него свой собственный, национальный смысл, сумели это сделать благодаря неисчерпаемым возможностям родного языка, а значит, и нашей Родины, народа нашего.

Мы способны воспринимать значение слова «культура» не только в русском, но и в мировом контексте. Скажем: «культура французская», «культура японская», «культура эфиопская», — скажем так — и тотчас поймем, о чем речь, к чему нас призывает наш собеседник.

И вот уже я не могу отказать себе и в ссылке на дорогих мне мыслителей, в частности на Н. М. Бахтина (брата Михаила Михайловича).

Он пишет в сборнике своих статей, эссе и диалогов «Из жизни идей»:

«Созданная человеком культура, в силу и в меру своего совершенства, оказывается независимой от человека и перестает с ним считаться. Это и есть основная антиномия культуры».

Здесь можно спорить о деталях, об оттенках, но самое-то важное, на мой взгляд, то, что Н. М. Бахтин включает культуру в тот ряд результатов человеческой деятельности, который становится ему, человеку, уже неподвластным. Так оно и есть — и вот уже часть культуры, наука, не спрашивает нас, хотим мы ее или не хотим, да ведь и искусство, которому мы придаем столь личностное, столь субъективное значение, в то же самое время стихийно уже по одному тому, что мы не можем его предугадать, хотя бы и на ближайшее будущее. Технику — еще как-то можем, а искусство — нет.

Слово «культура» вполне очевидно умнее нас, хотя те же коммунисты — и не только они — измыслили себя умнее и Бога, и культуры. Пора бы нам всем-всем отчетливо узреть свой собственный шесток, хотя шесток — тоже изделие рук человеческих, мужицких.

Культурной может быть любая деятельность человека, кроме одной — преступной, при том, что преступление — это высшая форма эгоизма, его апогей. Преступления бывают изысканные, едва ли не гениальные, но даже и эти качества преступления не делают его принадлежащим культуре. Именно культура способна провести черту между деятельностью преступной и деятельностью созидательной. Под этим углом зрения уже скоро культуре, прежде всего правовой, юридической, придется разбираться с Россией, с нашей современностью. Нелегкий предстоит ей труд.

Заметим также, что культура порой прихвастывает своим модернизмом. Но ведь она мало чего стоила, если бы не давние, давние догмы, которые имел в виду и Даль, утверждая, что нравственность — неотъемлемая часть культуры. Не будь в ее распоряжении Шекспира, Пушкина, Гёте, Рафаэля, Галилея, вполне вероятно, не было бы и ее, по крайней мере в нынешнем объеме и виде. Тем более — не будь Библии, Корана и других вероисповедальных книг.

Культура сильна не столько своим модернизмом, сколько своим консерватизмом, которого она нередко стесняется, который ее конфузит настолько, что, кажется, ни один словарь на этот конфуз и не ссылается, обходит этот факт стороной.

Но это очень некультурно — забывать свои собственные истоки.

Следует предположить, что древние догмы, дошедшие до нас, вероятно, некогда тоже были модерном по отношению к культурам эпох предшествующих. Но это дела не меняет, это слишком медленный процесс.

В то же время культура — это прежде всего преемственность, она и начинается как раз с того времени, с которого ее преемственность стала осуществляться как очевидность.

Культура состоит, всегда состояла, из двух, будем говорить, частей, границы между которыми можно установить лишь условно. Это культура бытия (если хотите — жития) как такового и культура изображения бытия, отношения к бытию — искусство. Оно же, искусство, воплощает особенности национального мышления.

Две части культуры и составляют целое. И плохо, если они разобщены, хотя бы так, как это имеет место в России.

Культура нашего бытия несравненно уступает культуре его изображения, а этот дефицит пополняется из других, уже межнациональных, источников, что менее органично и более случайно, хотя и неизбежно.

Мы чувствуем случайность и неустойчивость собственной культуры в таких областях, как экономика, политика и государственность. Да ведь и в культуре нравственной тоже. Ну а если имеет место вакуум, зазор, тогда он неизбежно заполняется тем или иным «анти» — антикультурной мафией, коррупцией, мошенничеством, антидемократией. И с этим нам нельзя не считаться, никак это не учитывать. Однако же это положение до сих пор учитывает нас, а не мы его.

Мы изображаем жизнь прекрасно, гениально и через Глинку, через Чайковского, Шостаковича, через Врубеля, Васнецова, Пушкина, Толстого, Станиславского, Комиссаржевскую, Шаляпина, но до предмета изображения, каков он есть на самом деле, не добираемся. Если же доберемся — ахнем от изумления: совсем не то, что мы думали!

Фантастическая нация, ни один Жюль Верн такой не придумал, только Господь Бог и оказался способен.

...Немалое значение имело еще и запоздание, с которым были открыты наши университеты. Это запоздание обошлось нам слишком дорого. С университетами мы отстали от Европы на несколько веков и, хотя преподавали

хорошо, все равно не наверстали, даже открытием множества «университетов» марксизма-ленинизма.

Петр Первый прорубил окно в Европу, опять-таки опоздав века на два-три, а это привело к проблеме «Россия — Европа». Проблему эту мы и нынче чувствуем день и ночь, хотя бы в том, что сегодня задрав штаны бежим за западным капитализмом, усваивая в первую очередь все его недостатки и пороки.

И сегодня наши западники терпеть не могут славянофилов, а славянофилы — западников, несмотря на то что и те и другие прошли через коммунизм, зато коммунисты нынче нежно пристали к славянофильству, которое они еще вчера предавали проклятию (за исключением периода Отечественной войны). И уже верховодят патриотизмом. Какие они коммунисты, если никем не будут руководить? Никого себе не подчинять?

Одна из самых существенных бед, которая возникает из этой бесконечно длящейся временности наших отношений между собой, проистекает из-за отсутствия культуры государственности, давно усвоенной Западом.

Нет у нас подлинной культуры государственности, и когда-то мы ее обретем как нечто устойчивое, для культуры в целом органическое? То у нас насильник Ленин, то верный его ученик палач Сталин, то Хрущев объявляет, что «нынешнее поколение советских людей будет жить при коммунизме», то Брежнев, день и ночь соревнующийся с США по степени вооруженности, то миротворец Горбачев возвещает, что с сего числа мы государство демократическое.

А ведь это нелепость: демократизма, демократического образа мышления, демократического образа жизни не может быть по объявлению сверху вниз.

Демократизм как система государственная может прийти только снизу вверх; у нас же снова и снова попытка все сделать наоборот. Результат — уродливый демократизм, проистекающий и из убеждения в том, что сперва нужно создать демократию, а уж она несомненно даст нам культуру. Обязана дать, душа из нее вон! В том числе и культуру бытового поведения.

По существу же дела, у нас все еще царит дух произвольного, внеисторического коммунизма. Мы от «наоборот» не ушли, а в ряде случаев к нему приблизились.

В самом деле, что изменилось в тех людях, кто, будучи всю жизнь коммунистами, на закате своих лет объявили себя демократами? Ну, предположим, коммунист круто изменил свою политику. Но ведь отнюдь не исключено, что поворот-то совершен не на сто восемьдесят, а на триста шестьдесят градусов. Кто там эти градусы мерил?

В чем заключается психология коммунизма? В том, в частности, что коммунист ставит идею выше практики, выше реальности, это доктринер, который не предвидит реальных последствий своих «идейных» действий.

Ленин называл Октябрьскую революцию самой бескровной революцией, а затем четыре года безжалостно уничтожал контрреволюцию (то есть российских патриотов) в Гражданской войне. Он решил построить социализм в два счета и ввел военный коммунизм. Уже через год выяснилось, что военный коммунизм ведет Россию и самих коммунистов к полному краху, и тогда в срочном порядке был объявлен нэп. Но для нэпа вовсе не нужна была ни Октябрьская революция, ни Гражданская война, ни военный коммунизм.

Сталин объявил страну социалистической, а то, что это был социалистический ГУЛАГ, его ничуть не волновало.

Почему и до сих пор возможны все эти скоропалительные метаморфозы? Да потому, что психологией-то, культурой, образованием, не только умственным, но и нравственным, все наши вожди, как и десятки, сотни миллионов наших граждан, не обладают, в свое время нравственность была подменена у нас одной-единственной — коммунистической — идеей, которая возвышается над практикой, над реальностью. И это в то время, как истинная культура очень даже реалистична. И — исторична.

Что предлагает Зюганов вместо нынешней и в самом деле так и не состоявшейся демократии? Он и сам не знает — что. То ли советскую власть, то ли коммунистическую диктатуру с ГУЛАГами, то ли социал-демократию. Он этого вопроса не касается в своих чуть ли не ежедневных выступлениях. Ему важно прийти к власти, «а там видно будет», как говаривал Ленин.

Коммунистическая методология вполне допускает личную вражду между коммунистами Ельциным и Зюгановым, но вовсе не противоположные методики практической деятельности. Откуда ей взяться-то, новой и реалистической методике, если действующие лица вышли из одной строжайшей школы коммунистической методологии?! Царит убеждение, что идея выше действительности. Эта идея требует от человека сначала видеть то, что должно быть, а уж потом то, что есть. То есть теряется реализм. Эта потеря и сделала в свое время коммунизм столь продолжительной фикцией.

При этом, может быть, Хрущев, Брежнев или Ельцин когда-нибудь всерьез изучали Маркса? Если бы изучали, так они неизбежно подвергли бы марксизм критике, а то ведь никто никогда на этот счет ни слова.

Что Ельцин и его окружение поняли и понимают в рыночной экономике? Еще меньше, чем в экономике социалистической. Вот и начали с ваучеров. Что и когда они предвидели? Никогда ничего. И сейчас не предвидят, хотя и ставят целью через четыре года сделать из России «процветающее» государство, обещают по-коммунистически безответственно. Обещают, обещают, обещают. А какая может быть рыночная экономика, если до сих пор в государстве нет земельного законодательства? Спекуляция, мафиозность и коррупция — такое положение дела кого-то и устраивает, но что значит приватизация собственности без собственности на землю? Можно земельную собственность до поры до времени лимитировать, но обойтись без нее нельзя.

В бывшем колхозе приватизируется кирпичный скотный двор, и каждый «собственник» выламывает из его стен свою долю кирпичной кладки. Такова реальная «рыночная» экономика.

Мы оказались в периоде, когда, по А. А. Исаеву, экономисту прошлого века, «власть принадлежит худшим. Эти худшие, проникнутые своекорыстными стремлениями, действуют неумело, нерадиво и недобросовестно во всех областях, куда правительство вступает со своим авторитетом... издается бесчисленное множество законов, органы управления производят огромное количество работы... Но большая часть этой работы совершенно бессмысленна».

Польша, Чехия, Словакия выбрались же из советского социализма без особых потерь. И по-своему выкарабкиваются Китай и Вьетнам, в котором ежегодный прирост производства составляет 13 процентов — столько же, сколько было в России в последнее десятилетие перед Первой мировой войной.

* * *

Политика, нуждаясь в культуре, то и дело принуждает ее к подчинению: откровенному или скрытному, но все-таки подчинению. Особенно если речь идет о тоталитарной политике.

Так происходит уже потому, что культура беспартийна, а значит, и гораздо ближе к природе и к природности, чем политика. Политика как раз та сфера, которая отдаляет человека от натуры — и от норм и от мер не только мышления, но и поведения, заданных нам самой природой.

Осознание человеком себя как создания природно-культурного, когда культура и природа находятся в неразрывном единстве, — только в этом надежда на дальнейшее существование. Без этого шансов нет. Во всяком случае, даже меньше, чем, скажем, у волков и зайцев.

Культура то и дело сводит свою собственную роль исключительно к той или иной деятельности в области искусства, науки, быта. Но ведь она не толь-

ко отрасль деятельности, не только отрасль знаний, но и первопричина того, что человек есть человек, она возвышает его в любой деятельности, возвышает, но не отчуждает от мира (если это — культура подлинная).

* * *

Еще слово «культура» обозначает породу растения или животного, тот генетический ряд, к которому оно относится, ту искусственную селекцию, в результате которой порода и породность возникли (культура пшеницы, культурные породы домашнего скота, например).

Кстати говоря, селекция животных и растений аналогична селекции духовной. Эта последняя тоже занимается селекцией догадок и замыслов, идей и идеологий, а демократия не что иное, как результат именно такого рода селекционной работы.

И та и другая селекция ничего не уничтожает, она создает и за счет вновь созданного вытесняет предшествующее, а история задним числом ставит свои оценки: плохо, хорошо, очень плохо, очень хорошо. История строга, ничто не избежит ее оценок, в том числе и культура. Именно история обеспечивает самосуждение (и самоосуждение) культуры в целом, доброта же культуры по отношению к самой себе — это и ее грех, и ее преимущество.

Природа обязывает нас быть уже потому, что мы есть. И дело человека — найти себя морально в пределах этой обязанности, так же как дело и долг любого живого существа — всеми силами, данными ему природой, сопротивляться смерти. Даже червяк и тот сопротивляется смерти.

Истинное призвание человеческой культуры — укреплять и развивать это сопротивление.

* * *

Возвращаюсь к российской истории: судя по всему, мы, только-только приблизившись к как бы предначертанной нам последовательности, к той памяти, которой обладает культура, сейчас же кидаемся прочь, в сторону.

Существует в нашем обиходе такое выражение — «вот так история!». И верно: каждый случай жизни может быть вписан в большую или малую историю. Однако же правильнее было бы говорить не «вот так история!», а «вот так культура!». История слишком привязана к хронологии, она без хронологии ничто, культура в этом смысле свободнее и шире, для нее достаточно указания на эпоху, в которой происходит событие, тот или иной факт, а то и этого не требуется.

Да ведь и историк, отметившись хронологически, начинает «от себя», в соответствии с собственной культурой, комментировать событие. А что представляет собою этот комментарий, если не явление культурное?

То же и в науке: если научное достижение не сопровождается культурным осмысливанием последствий — это уже не наука, а техника. Часто и не техника, а ремесло. Часто — не ремесло, а трудовой навык, и не более того.

Нечего и говорить о явлениях искусства — они-то плоть от плоти культуры, но здесь ошибка может состоять прежде всего в том, что само-то искусство начинает воображать, будто оно и есть нечто самое главное в культуре, что только оно и вправе ее представлять. (Дайте свободу театру — и театр тотчас создаст демократию!) Такое самомнение тоже есть не что иное, как грубое бескультурье, примитив, вредный и недостойный примитив. Тоже — потеря чувства меры.

Для демократического государства даже лучше, если между ним и культурой возникнет некоторое отчуждение — именно в этом отчуждении проявится его культурность и демократичность. В случае, если и культура вдруг начнет вырождаться, деградировать, государство опять-таки не теряет лица, оно остается ни при чем.

Конечно, государству обидно: оно культуру подкармливает, а культура от него независима, да еще его же и критикует. Но иного не дано. Без этого и государство не государство, а концентрационный лагерь.

* * *

Если же культура и сама захочет называться «культурной политикой», или «теорией социализма-коммунизма», ничего хорошего из этого не выйдет. Имея в виду единственность своего собственного мышления, большевики не могут обойтись без таких прилагательных к слову «культура», как «передовая», «пролетарская», «идейная» и т. д., — а это для культуры губительно. Тем более, если культура воспринимает подобные прилагательные как нечто естественное. Мне пришлось однажды присутствовать на вручении государственных премий, и там один очень видный киносценарист (удостоенный) бил себя на кафедре в грудь: «Бейте нас! Вы мало нас бьете, отсюда и все наши беды!» Должен сказать, что очень высокие представители ЦК КПСС и те были заметно смущены.

* * *

Мне также представляется, что среди самых разных искусств, которые включены в понятие культуры, мы упускаем еще один вид искусства — искусство философии, логики. Логика владеет общими понятиями так же, как прозаик или драматург своими персонажами.

Библия взяла на себя задачу, которую может взять только она, и никто больше: так же как отдельный человек не помнит ни момента своего рождения, ни первых двух-трех лет своей жизни, так и человечество никогда не вспомнит и не постигнет своего происхождения (его история принадлежит легенде, в данном случае — библейской, великой и неподвластной материализму, в том числе и научному). Библия взяла на себя задачу не только Начала, но и Конца, предсказав Антихриста. Наука в свое время сочла это бредом, но прошло время — и оказалось, что наука своими руками создала эту «фигуру», этот образ в виде экологической угрозы, теперь уже неизбежной.

И вот уже я, если это имеет какое-то значение, оправдываю суровый суд клерикалов[1] над Галилеем: подсудимый Галилей вторгнул реальный — слышимый, видимый, обоняемый и осязаемый — мир в мир ирреальный, невидимый и неслышимый, но все равно существующий, в мир математики и физики, в мир невидимого электричества, в мир тоже невидимого, но уже расщепленного атома. Наверное, техническая революция была действительно неизбежна, была написана на роду человечества, но то, что мы о ней еще пожалеем, уже жалеем, сомневаемся, — это так.

Уж очень мы любим земные блага и благоустройство, не хотим поступиться ни малой долей цивилизации, а за любые блага надо платить. Тут налоговая служба работает как надо. Тут и культура разводит руками — а что же ей-то делать? Она тоже виновна!

Римское право — источник (хотя, может быть, и не первоисточник) культуры государственной — предусмотрело гражданское существование человека в условиях именно государственности, хотя в ту пору еще никто не сказал, что это «научно обоснованное право». Не научными теориями научных институтов право было обосновано, а реальностями своего времени, и вот оно сформулировало принципы юриспруденции последующих времен. И ведь как интересно: Азия развивалась помимо европейского римского права, но, в общем-то, и азиаты, раньше или позже, приближались к законам права римского.

Если на то пошло — в науке действительно нет того нравственно догматического начала, которым, при всей своей независимости, при всей своей сво-

[1] Да что там «я оправдываю»! Ныне уже католики извинились перед Галилеем!

боде, обладает культура в целом, и это губительно. Наука становится только цивилизацией, и ничем больше, она начинает противостоять культуре в целом. Нынче многие ученые это чувствуют и включают в круг своих интересов культуру: и искусство, и религию, те ее догматы, которых им не хватает.

Другая часть ученых делает другой выбор и включается в политику, но таких значительно меньше, и, как показывает опыт, включение это по большей части временное, эпизодическое и малопроизводительное.

Само собой разумеется, что вовсе не обязательно каждому деятелю культуры и каждому ученому знать Закон Божий назубок, но культура не должна больше противопоставлять себя религии — настало время и ей почувствовать религию как начало своих собственных нравственных представлений, как указание на то, каким должно быть культурное поведение, если уж не повседневное, так в принципе, включая науку. Выяснилось, что культура и религия отнюдь не враги. Взаимопонимание имело место и в прошлом, достаточно вспомнить Ньютона, Ломоносова, того же Галилея, позже Ивана Павлова, но Двадцатый век снова прошел в жестких спорах, в нетерпимости, хотя похоже, что это в последний раз. Культуре далеко не все может нравиться в религии, и наоборот, но вот здесь-то и требуется демократия, демократическое согласие.

* * *

А какие великие открытия сделаны человеком ради собственной культуры! Какую радость, какое самоутверждение приносила человеку, скажем, география! Открыть новый материк — это же что-то несказанное! Пройти мимо великого — в привычке человека, и все-таки трудно себе представить, что испытывали Колумб и Магеллан, совершив свои плавания, возвестив Пиринейскому полуострову, а затем и всей Европе о том, что существуют еще и другие материки, заселенные пусть и другого цвета, но людьми, с руками-ногами, с головой, покрытой волосами, с ушами-глазами, которые так же делятся на мужчин и женщин, точно так же родят детей. Вот только ни в Америке, ни в Австралии люди не догадались пуститься в океан в сторону Европы под парусами. Хотя Бог его знает, может быть, и пускались, только Европу для себя не открыли, предоставили Европе открыть их.

От плавания Колумба и Магеллана до плавания Беллинсгаузена с Лазаревым на шлюпах «Восток» и «Мирный», открывших последний, хоть и безжизненный, материк — Антарктиду (который, однако, имеет столь исключительное значение в формировании среды обитания человека — климата Земли), человечество могло пребывать в состоянии надежды на дальнейшие открытия в пределах своего собственного дома — Земли. Началось это состояние давно — с тех пор, как люди одной пещеры открыли существование людей другой пещеры, по ту сторону горной гряды.

Не знаю, кому как, а мне и сегодня радостно за тех людей, за тех путешественников. Увы! Подобных открытий больше не будет, география сменилась ландшафтоведением, распалась на географию экономическую, политическую и т. д. География Земли сменилась космосом, но это — не то, в этом слишком много неживой пустоты.

* * *

Спор между западниками и славянофилами — это спор о культуре прежде всего: откуда и куда культура идет? Это если и география, так сугубо политическая. Однако стоило бы этот спор решить в области культуры, и тем самым определены были бы и направления экономики и политики не только внешней, но и внутренней. Конечно, это не значит, что наступила бы благодать, но наступление периода некой определенности было бы.

И тут уместно вспомнить, что русский гений Пушкин, которого никак нельзя упрекнуть в «ортодоксальном» западничестве, в свое время, в рецензии на книгу Полевого «История русского народа», сказал:

«Горе стране, находящейся вне европейской системы».

История Пушкина подтверждает.

Оба американских континента и Австралия были открыты, заселены, освоены и получили свою цивилизацию от Европы.

И Азия, и отчасти Африка усвоили от Европы гораздо больше, чем Европа от них, весь мир использовал европейский опыт, начиная от покроя одежды и кончая основополагающими научными достижениями...

Конечно, и Европа — далеко не идеал, а где он, идеал-то? В конечном счете — в чем он?

Можно себе представить мир китаизированный, японизированный, индонизированный, монголоизированный, но представления эти все-таки не внушают нам ни доверия, ни даже сожаления о том, что они не сбылись. Хотя бы потому, что самая короткая дорога — это знакомая дорога, а знакомству с дорогой мы все равно обязаны Европе. Приемлемый, а вероятно, и самый оптимальный вариант.

Европа в общечеловеческой современной цивилизации и культуре — первая. Может оказаться, она будет первой в очередности и при кончине человечества.

Петр Первый прорубил первое крупногабаритное окно в Европу — российское окно, потому он и стал Великим, а мы такие окна с тех пор прорубаем, прорубаем — а чаще заколачиваем, — неся большие потери.

По крайней мере, именно так получается у нашей нынешней евроазиатской государственности.

И тут, по логике вещей, дело опять-таки за культурой. Только мы-то с этой логикой опять-таки не в ладах.

* * *

Нынешнее первейшее назначение культуры — стать экологической. Иначе говоря, объединить науку, замкнувшуюся в себе, с общественным сознанием и с религией, технику — с логикой нашего дальнейшего существования, искусство — со здоровым прагматизмом и с менее надежным, но оптимизмом.

Настало время все это делать кому-то. Кому же, как не культуре?

Больше некому. Может быть, культура, цельная, для этого и явилась еще во времена наскальной живописи, а то и раньше?

* * *

Собственная история для России никогда не была историей как таковой, не всегда и политикой, зато была набором политических казусов. Политические страсти-казусы растаскивают нашу историю на клочки.

Для Германии существовал и существует авторитет Бисмарка, для Франции Наполеон (ввергнувший страну в великие бедствия) тоже остается великой личностью, для Англии — Гладстон; для России общепризнанных авторитетов в ее истории не было. Хотя Петру Первому и Екатерине Второй и были присвоены титулы Великих, это не мешало считать Петра Первого не столько великой, сколько злостной и спорной фигурой, именно на этом имени завязалась борьба и ненависть между западниками и славянофилами.

Политики-историки — а это достаточно вредная, хотя и повсеместная, двуликость — так и не решили, кем же была и Екатерина Вторая — великой царицей или великой распутницей?

Но если даже самые ожесточенные критики русской действительности всех времен не могли себе позволить сомневаться в том, что Россия — великая страна, значит, кто-то это величие представлял?

Народ?

Кто только не «будил» русский народ! И декабристы, и народовольцы, и эсеры, и эсдеки, и коммунисты, но вот наступил конец двадцатого столетия — а где же наш народ? Бюрократия — да, ни к чему не способное, кроме обещаний (по Исаеву, цитировавшемуся выше), правительство — да, коррупция, мафиози — да и да, журналисты — да, — а где же народ? С его осмыслением собственного опыта? И что значит его реальное отсутствие на современной политической сцене? Что значит тот факт, что народные избранники в Думе бросают все свои государственные дела, как только разговор заходит об их собственном жилье? Что значат фигуры Жириновского, Коржакова, Илюшина, Лебедя? Во всяком случае, кто-кто, а народ этого не знает, все еще не способен понять. Не хватает культуры, как общей, так и политической. Хватает авантюризма. Горбачев объявил народ демократическим — хорошо. Зюганов объявляет народ советским — тоже ладно.

В искусстве еще в недавнее время народ исторически просвещал Пикуль, а в политике несколько раньше — Ленин с «Государством и революцией», Сталин с «Кратким курсом истории ВКП(б)». И так всегда, так исстари было: на одного Ключевского десяток Нечаевых и прочих народоубийц, сотни самозваных просветителей и правителей.

Просвещение в России, первые же выпуски первых русских университетов преподносили народу не только государственных деятелей, но и крупных нигилистов. Не было у нас исторической точки опоры, не было другого авторитета, кроме критика. При том, что никто так легко не обещает (даже и сам не зная, что именно), как Критик. И Зюганов, и Лебедь обещают нынче ни много ни мало, а все сразу, хотя что они могут создать? Ничего, кроме очередного перераспределения тощих, доведенных до минимума жизненных благ.

Нет у нас реформаторов, выведены они под корень. Промелькнули было имена в эпоху царствования Александра Второго — Александр Третий тут же свел их на нет.

При Николае Втором появились Столыпин, Витте, Кривошеин — Николай Второй вкупе с террористами их тоже отстранил.

Пришли большевики — те вообще всякую реформаторскую деятельность в одночасье сменили на революционную теорию, и вот уже более ста лет, как порода эта в России не имеет никакого значения, вывелась подчистую.

Нынче есть у нас Солженицын. Затеяв «Исследования новейшей русской истории», он хочет содействовать «очищению русской истории от наростов лжи», помочь «выяснить затоптанную истину о последних веках России». Создал огромный, всеобъемлющий труд «Красное Колесо», но в нашей Думе демократ-коммунист-милитарист Нуйкин и либерал-демократ Жириновский в один голос заявили:

— Не нужен нам Солженицын — устарел. Нам без него лучше!

Он скучный! Он длинный!

А некто Алексей Бурыкин, литератор (?), ему и всего-то двадцать восемь годков (из молодых, да ранний), выступил в «Независимой газете» от 4 декабря 1996 года, обвинив Солженицына в «эзоповом языке». «Свершилось!» — восклицает автор «карт-бланша», — а что, собственно, свершилось? А то, что Солженицын, выступая в печати, зачем-то не обругал Ельцина. Вот такие бурыкинские «свершения» — это в нашем обществе события, зато русская история, изученная и пересмотренная Солженицыным, молодому «литератору» нипочем.

Недалеко же мы на подобных «свершениях» уедем, притом неизвестно, в какую сторону — вперед или назад. Вернее, все-таки назад.

И вот что по нашему времени существенно: этот «карт-бланш» хоть и ничтожная, а все-таки склока. Так что заявка «литератором» подана в масть.

* * *

Лет сто — сто пятьдесят тому назад грамотное население России составляло каких-нибудь 10 — 15 процентов? И чем меньше был этот процент, тем сильнее действовал на умы населения нигилизм: все не так, все надо начинать сначала! Все с нуля! Это исконный нигилизм.

У Толстого кто-то, не помню кто, спрашивает мужика на паромной переправе:

— Ты царя признаешь?

— Признаю! — отвечает мужик. — Как не признать — царь сам по себе, я сам по себе!

Так ведь это же самый лояльный, самый умный и демократический ответ, самая достойная точка зрения, и ее-то и надо было разрушить нигилистам. Чем ниже культура народа, народной массы, тем вольготнее действовать нигилистам, тем ближе к ним желанный нуль, кем бы эти нигилисты ни были — Чернышевскими, Нечаевыми или Лениными — Сталинами, — всем — об этом уже говорилось — нужен нуль.

Чем безграмотнее, чем непросвещеннее народ, чем меньше он связан с государством, чем труднее складывается обстановка в государстве, тем труднее им управлять, хотя тем больше охотников управлять. Не правда ли, странно? Управлять, начиная с нуля?

И тем энергичнее действует нигилизм. Именно так обстоит дело нынче, и давно уже оно так обстояло.

Ключевский писал о царствовании Николая Первого, что в то время «бюрократия представляла единственное в мире правительство, которое крадет у народа законы, изданные высшей властью; этого никогда не было ни в одну эпоху, кроме царствования Николая I, и, вероятно, никогда не повторится». Ошибся глубокоуважаемый Василий Осипович — это повторилось, с той разве разницей, что теперь и высшая власть вместе с рядовой бюрократией крадет у народа законы, ею же самой буквально на днях изданные, а народ приносит колоссальные жертвы ради выскочек из партийной среды, ради выскочек из среды собственной.

Дело доходит до крайнего абсурда: государство не имеет ни сил, ни умения собрать налоги с тех, кто задолжал ему триллионы, десятки триллионов, и теперь облагает налогами тех, кому оно должно, кого уже разорило, отобрав у рядовых граждан их вклады в Сбербанк, кому не может выплатить зарплату, кого оно бросило на произвол судьбы, на произвол мафиози и своих чиновников вкупе с мафиози.

Или: государство распродает собственное имущество — казалось бы, у него должна быть лавина денег. Но нет, ему нечем заплатить за труд своим гражданам — и вот уже, чтобы получить заработанные полгода тому назад деньги, шахтеры объявляют голодовку под землей. Невиданно! Никогда еще мир не знал подобных «перестроек», никогда обещания президента и его подручных не были столь безответственны.

Мы все еще надеемся: вот приедет барин...

А откуда ему приехать-то? Из 14-й армии? В 14-й, может быть, сформировалась культура русской государственности? Или в университетах марксизма-ленинизма? Или в президентской охране? Или в «Матросской тишине»? Ну, если уж ни Петропавловка, ни Шлиссельбург не сформировали такой культуры, куда там «Матросской»!

Но если бы еще лет пять продолжалась на Руси столыпинская реформа, еще поработало бы земство, земские школы, больницы и страховые общества, тогда не было бы в стране революций — ни Октябрьской, ни даже Февральской. Ленин это прекрасно понимал и очень торопился: стоит пропустить момент — и не наверстаешь никогда, не будет нуля.

Ну а так как он это умел — момента не упускать: он был мастер не упускать, — так как революция творилась руками безграмотных людей, я и десять

лет спустя после Великого Октября из 5-го и 6-го классов бегал по улочкам бывшего губернским города Барнаула, ликвидировал неграмотность.

Была у меня на обучении на Третьей Алтайской улице, рядом с Дунькиной Рощей, семья сапожника — сам сапожник, его жена и его дочь-девица. Сапожник был страшный р-р-революционер, жена знала, что царя больше нет, больше ничего из «политики» не знала, дочь и этого не ведала, ей было все равно. Я научил их читать по складам и писать печатными буквами ЛЕНИН, и они тут же перешли в категорию грамотных. Очень гордились! Гордились и ждали барина. Вот уж приедет — наведет порядок, с ними, теперь уже грамотными, барину будет нетрудно ввести в России окончательный порядок вместо беспорядка, устроенного в свое время императором Николаем.

* * *

Ну конечно же император Николай Второй был виноват в революции. Человек высокообразованный, обаятельный и мягкий, он так и не мог представить себя в роли монарха конституционной монархии (на что не однажды ему намекал английский посол Бьюкенен: «Император обладал многочисленными качествами, благодаря которым он с успехом мог бы играть роль монарха при парламентском строе»).

Но как это случается с людьми слабохарактерными, в чем-то император был безнадежно упрям. Думы он разгонял одну за другой, не находя общего языка с кадетами. Он решил, что до последнего вздоха должен утверждать в России самодержавие в соответствии с абсолютистскими заветами своего отца Александра Третьего.

Грамотность не сапожническая моего ученика, а даже и высокая — это еще далеко не культура: для культуры нужна грамотность историческая, нужна преемственность, а вот чего у нас нет — так это, повторяю, преемственности.

Россию, страну без преемственности, и всегда-то было нетрудно соблазнить неким *началом*. Социалистическим, капиталистическим, славянофильским, западническим — это уже вопрос другой, прежде всего — НАЧАЛО! То есть все тот же нуль.

Ни политической культуры, ни демократии в нашей истории так и не было, мы в этом отношении были неграмотны, были сапожниками, и вот мы решили ни много ни мало шагнуть из самодержавия непосредственно в коммунизм. Сегодня — здесь, завтра — там, как у Фигаро. Чего там время-то зря тратить?

А что такое социализм?

Россия (кроме очень малой группы людей) и не подозревала, что социализм — это такой «империализм», который и не снился имперскому тоталитаризму.

И это не какое-то недоразумение, не случайность — везде так обернулось, где социализм вступил во власть: и в СССР, и в Китае, и на Кубе, и в Югославии, — везде это государственный тоталитаризм, господствующий над личностью, над семьей, над обществом, над любой человеческой деятельностью — частной, семейной, общественной, экономической, психологической, бытовой. Полная мобилизация в этих целях настоящего, прошедшего и, само собою, — будущего.

* * *

Или еще: тоталитаризм — это прежде всего стремление к единомыслию, внедрение единомыслия в жизнь — в государство, в народ, в общество, в семью и в каждую, каждую личность. И даже — в культуру. И даже — в демократию. И культуре, и демократии есть над чем задуматься. Сообща.

Двадцатый век — век тоталитаризма, и вот уже осуществлялось то самое страшное и невероятное, что может возникнуть в сознании человека, — передел мира.

При этом мир мог погибнуть, тоталитаризм мог кончить самоубийством — это не имело значения в случае, если мир подвергается переделу.

Первый круг — это Первая мировая война, и она не только не отвергла человечество от его самой эгоистической идеи, которая только может быть, но и еще приблизила его к ней: при жизни одного поколения возникает Вторая мировая война и чуть-чуть было не возникла третья.

Сценарии двух мировых совпадают в деталях: сначала Германия и Россия — союзники, затем — враждующие стороны; в обоих случаях Германия капитулирует. Одни и те же генералы воюют друг против друга в двух войнах, и не только генералы, но и солдаты.

Еще не кончилась Первая, когда в мир вступила совершенно новая формация — социализм, обещавший людям и свободу, и равенство, и братство.

Но то обещания. На деле же социализм взрос из империализма, усвоив его методы и способы общения с миром, со своим собственным народом — прежде всего.

Ленин так же, как и Вильгельм Второй, если еще не в большей степени, был заинтересован в поражении России, он знал, что только в побежденной и униженной стране найдут отклик его идеи социалистического братства, в стране же победительнице ему делать нечего. И вот уже Вильгельм Второй отправляет Ленина в запломбированном вагоне в Россию как своего едва ли не самого близкого союзника.

Далеко не все русские социалисты захотели стать предателями своей страны: например, Мартов, когда Ленин отправился в путь по маршруту, указанному штабом Вильгельма, при посредничестве известного авантюриста Парвуса, отказался от этой поездки: «Проехать в Россию в качестве подарка, сделанного Германией русской революции, — значит ходить перед народом с парвусовским ореолом».

Но Ленин поехал. И блестяще выполнил свой долг перед Германией, опять-таки заимствуя опыт германского генерала Эриха Людендорфа: трудовую повинность, рабочие лагеря и многое другое, — так что до сих пор остается неясным вопрос: кто же все-таки был первым практиком социализма — Людендорф или Ленин? Кто был лучшим педагогом — Людендорф, воспитавший Гитлера, или Ленин, воспитанником которого оказался Сталин?

Тоталитаризм Двадцатого века, независимо от того, капиталистический он или социалистический, сумел подчинить себе культуру, науку прежде всего, и вот уже технический гений сегодня изобретает оружие невиданной силы, оружие массового уничтожения, а завтра выступает как яростный поборник мира. И наоборот: солдаты и генералы, призванные защищать свою Родину от нашествия оккупантов, тут же сами становятся оккупантами в чужих странах. Сразу же вслед за Второй они готовы были начать третью мировую войну — все из тех же тотальных побуждений (Кубинский кризис).

Человек — существо эгоистическое, а тоталитаризм — это апогей эгоизма, и СССР, выиграв войну, еще долго не демобилизовывал свою армию (было подсчитано: чтобы сбросить вчерашних союзников в океан, потребуется не более двух-трех недель). Может быть, овчинка стоила выделки? Может быть, карточная продовольственная система, миллионы жертв репрессий в среде интеллигенции и крестьянства будут перекрыты блестящими военными победами?

И вернее всего, так и решилось бы дело, если бы не подвели единомышленники-коммунисты. В течение всей войны Морис Торез, Долорес Ибаррури, Броз Тито, Пальмиро Тольятти, проживая в общежитиях III Интернационала в непосредственной близости от Кремля, готовились возглавить коммунистические правительства своих стран сразу же после победы Советской Армии, иначе говоря, им была уготована роль великого Ленина, блестяще сыгранная им в конце Первой мировой войны.

Увы! — дело коммунизма не было подхвачено в странах-победительницах (исключение составила Югославия), не справились с партийным заданием обпеченные столь высоким доверием Сталина и его эмиссары.

Пришлось ограничиться рамками «социалистического лагеря» — но и там дело не обошлось без военного вмешательства социалистического Советского Союза, войска которого подавили восстания и беспорядки в Польше и ГДР, в Чехословакии и Венгрии.

Социалистическому тоталитаризму никто не смел противостоять достаточно решительно. Никто, кроме него самого. Так, может быть, распад социалистического тоталитаризма научит человечество противостоять любому тоталитаризму?

* * *

На коммунистов не производит никакого впечатления, что сегодня неторопливая Швеция гораздо ближе к социализму, чем мы, страна, которая под социализмом прожила семьдесят лет, а теперь только и делает, что догоняет капитализм.

Если бы не лозунги «догнать и перегнать!», «уже догнали, уже перегнали!», которые всегда есть обман, компартия не была бы вынуждена объявлять перестройку и еще постояла бы у власти, но поспешность, свойственная тоталитаризму как никому другому, коммунистов подвела. И еще подведет, уж это точно. Ведь всякое неторопливое, продуманное и в какой-то мере культурное решение для коммунистов не что иное, как оппортунизм. Ведь, по существу, их роль — быть вечными оппозиционерами, как это и происходит во всех демократических государствах, а не стоять у власти, как происходило у нас.

Да что там — «происходило»? А разве не происходит нынче?

* * *

Мир оказался не приспособленным к воплощению коммунистической идеи, следовательно, эта идея была фантастической, и более того — антиидеей, отвергающей и религию, и даже социал-демократизм — все на свете, кроме самой себя.

Нынче же коммунизма нет даже и для самого себя — поскольку он не обладает уже ни «Апрельскими тезисами», ни трудами под названием «Государство и революция», «О продналоге», нет и трудов другого комгения — «Марксизм и национальный вопрос», «Марксизм и вопросы языкознания», нет «Краткого курса истории ВКП(б)».

И хорошо, что нет: людьми руководит сложная и запутанная практика, а не бредовые теории.

Очень странно, однако, что коммунисты, народные патриоты, защитники народа, люди, повсюду утверждающие, что именно они-то и выражают народное мнение, все, как один, приходят в исступление, как только поднимается вопрос о необходимости всенародных референдумов и в России, и в Белоруссии по поводу союза этих государств: никаких референдумов, и баста! Это — лишнее! Это — вредное! Это — антинародное!

Право же, более чем странно!

Справедливости ради нужно сказать, что в противоположном лагере дело обстоит едва ли лучше.

Если уж в ближайшем окружении нашего Президента то и дело обнаруживаются элементарные мошенники и коррупционеры, которые, кроме всего прочего, разработали для него программу чеченской войны, если ни один из этих мошенников так и не оказался под судом (и, видимо, не окажется), то какое моральное право мы имеем кому-то и что-то советовать?

У нас считается, что союз Россия — Белоруссия — это пример подражания для всех остальных наших соседей, членов СНГ.

А если наоборот, если этот пример всех оттолкнет? Если, обнимаясь с Белоруссией, мы теряем Украину? Тоже ведь может быть.

Коммунизм — это сила тоталитарная, организованная для революции, но никак не для эволюции. Перестройка это еще раз доказала.

Именно поэтому, стоило только пошатнуться СССР, как вслед за ним пошатнулся и весь остальной «социалистический лагерь», и не только он, но и республики бывшего Советского Союза — ни в одной из них камня на камне не осталось от правоверного советивизма, настолько он был скомпрометирован, так он был подточен до основания. Кем скомпрометирован? Опять-таки самим собой, своим собственным тоталитаризмом, своей собственной идеологией, а вовсе не «происками» наших внешних «врагов».

* * *

Несколько слов о дореволюционном российском авторитаризме.

Россия никогда не обладала заморскими колониальными владениями, что было свойственно государствам Европы — Англии, Франции, Испании, Португалии, Дании, Голландии, а позже и Германии.

Россия расширялась за счет непосредственно прилегающих к ней территорий в Восточной Европе, Средней Азии, на Кавказе, в Сибири, и территории эти становились ее губерниями и наместничествами, обладая примерно теми же правами и законами, что и губернии исконно российские.

Единственное заморское приобретение России — Аляска вскоре была продана Соединенным Штатам, так как у России не было никаких шансов удержать ее за собой.

Значительные территории и государства добровольно приходили под власть России — примером тому могут служить Украина и Грузия.

Польша, завоевание которой носило наиболее агрессивный характер, а также Финляндия, отвоеванная у Швеции, в государственном плане сохраняли значительную самостоятельность и часто политически устроены были более совершенно, чем метрополия, так что многие из декабристов мечтали о том, чтобы Россия была устроена по польскому образцу, имела бы нечто подобное польскому сейму, — очень странное для классического колониализма явление!

Финляндия, минуя войну с Россией, отошла к России от Швеции, тоже не теряя, а в какой-то момент даже и приобретая большую, чем прежде, самостоятельность, еще укрепившуюся при Александре Втором, а при Ленине совершенно бескровно эта страна отделилась от России.

Особое значение имеет и наша географическая пространственность.

Центральные российские губернии, собственно Россия, многие века не соприкасались с иностранными государствами непосредственно и не были под чужеземным правлением. Все попытки такого рода кончались для завоевателей полной неудачей — так было с нашествиями шведов, с польско-литовской агрессией, с нашествием Наполеона, а уже в XX веке — с агрессией Германии.

Действительно успешной, продолжительной и обширной агрессией в отношении России было монголо-татарское иго, но и оно носило свои специфические черты: монголы не навязывали России свой язык, свое вероисповедание, свое политическое устройство, а только с жестокостью собирали дань, этим в основном и ограничивались.

Наша национальная психология очень долго складывалась, но так и не сложилась окончательно, и все то, что мы нынче понимаем (и не понимаем) под словом «славянство», позволило Ленину легко создать «союз нерушимый» самых разных народов, нынче же способствовало стремительному разрушению этого союза и возникновению множества проблем, в связи с этим разрушением явившихся.

Для европейских метрополий гораздо проще было отделение от них их заморских территорий. Собственно, ни одна страна никогда не переживала национальный вопрос так, как переживаем его мы, при том, что вопрос этот, помимо всего прочего и прежде всего, размывает наши представления не только о своих соседях, но, что гораздо существеннее, — о самих себе.

Не воспринимая себя как некую безусловную данность, мы не приобрели соответствующего национального иммунитета и вот болеем всеми болезнями мира, будь то болезни национальные, исторические или современные, религиозные, капиталистического или социалистического образа.

Мы ищем лекарства, но, не обладая необходимым иммунитетом, принимаем их без разбора. Одним из таких лекарств является, по-видимому, художественная литература. Благородная сама по себе, она, однако, не научила нас собственному благородству в той мере, в которой должна была бы это сделать.

Мы оказались предоставленными самим себе, и хотя это может показаться странным, но, будучи одиноки и безыммунитетны, в значительной мере потеряли перспективу своей собственной судьбы. Как очень емко сказал в «Бесах» Достоевский: «В моде был некоторый беспорядок умов», — так вот, эта «мода» давно уже стала нашей повседневностью, от которой мы никак не можем отделаться, и мы как говорили «о полезности раздробления России по народностям с вольною федеративною связью... о восстановлении Польши по Днепр, о крестьянской реформе и прокламациях, об уничтожении наследства, семейства, детей и священников, о правах женщины» (там же), так говорим и сейчас.

Не удержусь от того, чтобы не привести и еще несколько цитат из того же гениального произведения (которое, кстати, Ленин называл «мразью» и бросил не дочитавши):

«Во всякое переходное время подымается эта сволочь, которая есть в каждом обществе, и уже не только безо всякой цели, но даже не имея и признака мысли, а лишь выражая собою из всех сил нетерпение и беспокойство».

..«Бесчестилась Россия всенародно, публично, и разве можно было не реветь от восторга?»

«Братцы, что же это? Неужели так и будет?»

Нет, «не будет», но так оно и есть! Нам все не с руки. Даже и компьютеризация грянула на нас, не подготовленных ни психологически, ни вообще логически, поскольку мы никак не можем свое даже и вовсе недавнее прошлое по достоинству оценить, избавиться от тоталитаризма, имя которому «хаос».

Такая, какая она есть, Россия, безыммунитетная и не определенная по отношению к самой себе, как бы судьбой предназначена быть испытательным полигоном для политических, экономических и нравственных проблем, поэтому едва ли не всем государствам интересно и поучительно все, что у нас происходит и нынче, они смотрят и мотают на ус, чаще всего комментируя, что нет, так делать не надо, надо делать по-другому.

Но вот что находит у нас благодатную почву, так это — культура.

Здесь чаще всего звучит комментарий противоположного смысла: надо уметь сделать так, как сделали они!

И это при том, что государство-то не столько поддерживает, сколько губит свою собственную культуру.

Однако же другой надежды, другого реального способа вписаться в мир, занять в нем свое достойное место и самим себе наконец-то ответить на вопрос о том, кто мы, у нас нет.

Путь трудный. Путь необычный.

Препятствия возникают ведь и со стороны самой культуры: она, как ничто другое, в сознании и в деятельности людей общечеловечна.

А что такое общечеловечность?

Я легко представляю себе отдельно взятого человека, его внешний облик, его характер и привычки. Несколько труднее, но все же можно представить себе отдельное государство в его границах и в его истории — но как представить себе человечество? Хотя оно столь же реально, как и отдельный человек, как отдельный народ.

Культура, по Далю — гармония между образованностью и нравственностью, больше стихийна, чем организованна.

Может быть, этим она и близка нам, нашим душам.

Нужно уметь использовать и свои недостатки.

Опыт в этом отношении у нас кое-какой есть. Вспомним приведенные выше слова Пушкина: «Горе стране, находящейся вне европейской системы».

Мы же оказались вне. И при этом ни из одного источника мы столько не черпали, как из Европы, и ни в один источник мы — в смысле культурном — столько не внесли.

* * *

Советская власть никогда не переставала быть властью тотально-чрезвычайной. Она обладала безукоризненно четкой генеральной линией партии, хотя эта линия и вела в никуда. Она обладала множеством «классовых врагов», начиная с тех голодных колхозников и колхозниц, которые собирали по жнивью колоски, с тех интеллигентов, которые в припадке антисоветизма называли Сталина «усатым», а Брежнева — «глупым», и кончая врагом внешним — американским империализмом, который конкурировал с Советами в космосе.

Сами же по себе мы были безукоризненны, были солью земли и надеждой землян.

Перестройка нарушила эту схему, это мировоззрение, но тут же ввергла страну в другую чрезвычайность — демократическую, когда говорить стало можно все что угодно, но реально изменить положение дел нельзя, — ничем другим коммунизм и не мог обернуться.

Новое демо-чрезвычайное положение — это множество псевдодемократических институтов, таких, как Дума, как Сенат, как бесчисленные комитеты и комиссии, которые только и делают, что компрометируют демократию и грызутся между собой.

Уже невозможно стало читать газеты, это какие-то криминальные листки, посвященные тому, кто кого и как обманул, при этом крупнейшим игроком становится само государство.

Каждое утро просыпаешься с вопросом: а не сегодня ли будет объявлено новое, новейшее, чрезвычайное положение со всеми атрибутами советской тоталитарности?

Из огня — да в полымя.

А почему так?

Да потому, что тоталитаризм враг даже не демократии, а культуры, он не нуждается в культуре. Ну разве что от случая к случаю театральной.

Обретение же культуры для России, прежде всего государственной, всегда было делом почти что немыслимым.

Культуру нынче народу должно демонстрировать само государство, но — какое там? Послушаешь наших руководителей, посмотришь на них — и уши вянут.

Даже и признаков такого рода нет, одни только «понимашь».

Ложь не может быть культурной по существу, вот и говорил тот же Леонтьев, что для обретения истинно государственной культуры нам потребуется лет двести.

Будем все-таки надеяться, что Леонтьев в сроках ошибался!

ДАЛЕКОЕ БЛИЗКОЕ

В. ПОПОВ

*

ХЛЕБ ПОД БОЛЬШЕВИКАМИ

Это вызывает недоумение: как случилось, что в стране, обладающей обширными площадями сельхозугодий и посевов зерновых культур, лучшими черноземами, передовой агрономической наукой, вековыми традициями хлеборобства, трудолюбивым народом, нехватка продуктов питания и связанный с нею голод стали постоянными спутниками народной жизни?

Даже в мирное время наблюдаем привычную картину карточного распределения продуктов, время от времени сменяемую годами относительного благополучия, что, впрочем, вовсе не свидетельствовало об изобилии, так как продовольственный дефицит по-прежнему сохранялся. «Колбасные поезда» в Москву, которая на фоне лимитированной российской провинции выгодно отличалась относительным изобилием, — вот характерная горькая примета еще недавнего прошлого.

Хлебный вопрос всегда актуален: можно месяцами жить без многого, кажущегося необходимым, но без хлеба не проживешь. У нас трудности с продовольствием в разное время объяснялись по-разному. Школьный учебник, например, повествуя о жизни дореволюционного крестьянства, снабдил иллюстрацию такой подписью: «Один — с сошкой, семеро — с ложкой». Рассказывая о жизни колхозников, историки уже, разумеется, не называли эксплуатацию бедных богатыми главной причиной голодной жизни людей, поскольку считалось, что с завершением социалистической революции в СССР ликвидированы эксплуататорские классы, в том числе последний — кулачество.

Однако в реальности механизм социальной селекции при советской власти способствовал расслоению общества на номенклатуру: партийную, государственную, военную, научную, творческую и проч. — и собственно «трудящихся». Для верхов основополагающими стали слова «угадать, угодить, уцелеть», для низов — «не верь, не бойся, не проси».

Противоречие между земледельческим потенциалом России (бывшая мировая житница) и реальностью обычно объяснялось различными историческими «объективными обстоятельствами»: революцией, интервенцией, военными тяготами и их последствиями, неблагоприятными погодными условиями и проч. Отнюдь не отвергая данные объяснения, обратимся к истории вопроса, то есть рассмотрим, как изменялись во времени механизмы производства и распределения зерна в стране, какова была роль государства в этом деле. Наш анализ будет касаться узловых моментов истории XX века.

...Как отмечал в своем классическом труде блестящий русский экономист Н. Д. Кондратьев, до Первой мировой войны хлебный рынок в России складывался стихийно в процессе экономической жизни народа и рыночного оборота[1]. Регулятором выступала свободная конкуренция: товар свободно продвигался по рынку и также свободно, под давлением конкуренции, изменялись спрос и предложение. В условиях войны названный порядок нарушился, спрос

[1] Кондратьев Н. Д. Рынок хлебов и его регулирование во время войны и революции. М. 1991 (1-е изд. — 1922).

и потребление возросли, а производство, в основном по причинам активной мобилизации, падало. Ослабление рыночных связей вызывалось и расстройством транспорта. Уже тогда единый российский рынок начинает распадаться. Вот почему в военных условиях государство взяло на себя функции регулятора рыночных отношений. Все последующее только способствовало закреплению роли регулятора за тремя весьма несхожими по своей природе правительствами: царским, Временным и большевистским. Первое вплотную подошло к хлебной монополии путем принудительной государственной разверстки, установления в 1915 — 1916 годах твердых цен на овес, рожь, пшеницу и ячмень, а также правом военных и гражданских властей на реквизицию хлеба во фронтовой полосе.

Временное правительство законодательно ввело хлебную монополию 25 марта 1917 года. В то время это означало, что крестьянин мог продавать хлеб только государству и только по твердым ценам, но принудительное изъятие хлеба у крестьян практически не допускалось. Итак, политика делалась радикальнее: если поначалу подразумевалось улучшить условия сбыта для производителя хлеба, то в скором времени выявилась надобность «заставить производителя отдать продукт, чтобы обеспечить потребителя». Однако радикализм Временного правительства не был направлен на ограбление деревни: закон от 25 марта 1917 года, устанавливая нормы отчуждения хлеба у владельца по твердым ценам, оставлял зерно для семян в соответствии с имеющейся у земледельца посевной площадью, а также на пропитание его семьи, его работников, для прокорма скота и, наконец, страховой фонд «на всякий случай» в размере $^1/_{10}$ всех перечисленных потребностей. Закон о хлебной монополии так и остался на бумаге, поскольку большинство деревенского населения было против учета запасов и излишков хлеба в своих индивидуальных хозяйствах.

В условиях продовольственного кризиса государство боролось за твердые цены на хлеб, но не регулировало цены на товары, ввозимые в деревню и необходимые ей (железо, соль, керосин, табак и др.), таким образом, разрыв между городом и деревней увеличивался. Кондратьев приводит знаменательные цифры: заготовительные планы царского правительства выполнялись в январе 1917 года на 73 процента, а у Временного — снизились в среднем до 49 процентов.

При большевиках борьба за хлеб одновременно означала борьбу за власть; голод и репрессии стали составной частью проводимой в деревне политики. «Борьбе за хлеб, — писал Н. Д. Кондратьев в 1922 году, — советская власть придает своеобразное толкование, освещая ее как одну из форм классово-политической борьбы... Вместе с тем, поощряя разложение деревни, власть будит в массах крестьянства чувство розни и склонность к доносительству: декрет (от 9 мая 1918 г.) санкционирует передачу половины стоимости не заявленного к сдаче и по доносу реквизированного у «врагов народа» хлеба доносителям»[2]. Таким образом, большевики работали на раскол: опираясь на сельский пролетариат, создали для своего режима мощную социальную базу, от них зависимую и им покорную. Не случайно Ленин ставил своей партии в историческую заслугу то, что «она «сверху» внесла гражданскую войну в деревню, расколола крестьянство»[3].

Менее чем за год произошло качественное изменение государственной политики в отношении всего крестьянства: власть присвоила себе безраздельное принудительное право распоряжения «мужиком», в Россию пришло новое «крепостное право». Резкое ухудшение продовольственного снабжения породило «мешочников» — так большевики стали называть не только спекулянтов, существовавших и до 1917 года, но и огромные массы народа, которые ездили за хлебом в другие районы страны. Троцким был издан приказ о расстреле на месте неподчиняющихся «мешочников», но карательные меры оказались ма-

[2] Кондратьев Н. Д. Указ. соч., стр. 222 — 223.
[3] «Политические деятели России 1917». Биографический словарь. М. 1993, стр. 186.

лоэффективны. «Мешочничество» сильно повышало нелегальные вольные цены, плодило спекуляцию и служило точным барометром неблагополучия рыночных отношений.

В Гражданскую войну крестьянам, как самому многочисленному слою российского общества, приходилось уже вести борьбу на два фронта: против «реставрации» и неизбежной в этом случае «разборки», связанной с необходимостью возвращения захваченных ими помещичьих земель, — с одной стороны, и против беспощадного режима большевиков, цель которых с циничной откровенностью была высказана публично одним из их главарей: «...мы возьмем питерских рабочих как основу и потом ленивого мужика заставим штыком пойти в бой... Пока у нас недостаток хлеба, крестьянин должен будет давать советскому хозяйству натуральный налог в виде хлеба под страхом беспощадной расправы. Крестьянин через год привыкнет к этому и будет давать хлеб. Мы выделим пролетарские части, сотню-две тысяч для создания продовольственных базисов. И тогда, создав эти продовольственные базисы, создав возможность хозяйственной жизни, возможность общей трудовой повинности, как принудительной, при огромном значении воспитательного фактора, мы сумеем наладить наше хозяйство» (из доклада Троцкого на заседании Московского комитета РКП(б) 6 января 1920 года)[4]. За словами Троцкого стоял и опыт победоносной для большевиков Гражданской войны, и задачи на будущее; в них выражен прообраз колхозов как продовольственных, то есть сугубо материальных, а отнюдь не теоретически-доктринерских базисов мировой революции, о которой грезили большевики.

И это были не просто слова: в 1922 году в стране голодало около 36 млн. человек, но Политбюро, являющееся высшим властным органом, принимает в декабре того же года решение «признать государственно необходимым вывоз хлеба в размере до 50 миллионов пудов»[5]. Русский народ как закваска мировой революции! Как подручный материал в глобальных планах марксистов-утопистов...

Отсюда непримиримая борьба между новой властью и крестьянством, какими бы отступлениями тактического характера ни сопровождалась политика большевиков. Такой уловкой стал нэп, объявленный в марте 1921 года. Альтернативы ему, в общем-то, у большевиков не было, ибо возможности террора не безграничны; власть серьезно зашаталась под напором крестьянских восстаний. Но, давая крестьянам некоторые временные послабления (замена продразверстки продналогом), большевики ни на миг не переставали рассматривать крестьян как «мелкобуржуазную стихию», главная борьба с которой еще впереди. Ленин неоднократно подчеркивал, что в этой борьбе не на жизнь, а на смерть государство будет бороться с растущим снизу капитализмом (именно так новая власть понимала рост зажиточных слоев деревни в результате разрешения свободной торговли) государственными мерами сверху. «Мы делаем определенный жест, определенное движение. Мы сейчас отступаем, как бы отступаем назад, но мы это делаем, чтобы отступить, а потом разбежаться и сильнее прыгнуть вперед. Только под этим условием мы отступили назад в проведении нашей новой экономической политики». И еще одна ленинская цитата того же времени: «Величайшая ошибка думать, что нэп положил конец террору. Мы еще вернемся к террору, и к террору экономическому»[6].

Годы нэпа стали временной передышкой для обеих сторон. Правительство вынуждено было в условиях послевоенной разрухи и голода пойти на некоторые уступки деревне, чтобы оживить народное хозяйство; кроме того, оно не обладало еще всеми необходимыми рычагами для окончательного под-

---

[4] Троцкий Л. Д. К истории русской революции. М. 1990, стр. 160 — 161.

[5] Волкогонов Д. А. Ленин. Политический портрет. В 2-х кн. Кн. 2. М. 1994, стр. 159.

[6] Волкогонов Д. А. Семь вождей. Галерея лидеров СССР. В 2-х кн. Кн. 1. М. 1995, стр. 138.

чинения крестьян государственному диктату. Земельный кодекс 1922 года разрешал трудовую аренду земли (при подтверждении отмены навсегда права частной собственности на землю и объявлении всей земли собственностью «рабоче-крестьянского государства»), допускал применение вспомогательного наемного труда в сельском хозяйстве, закреплял принцип свободы выбора крестьянским населением форм и порядка землепользования (на практике во многих губерниях крестьянам чинились препятствия при выходе на хутора и отруба). В середине 20-х годов происходит рост числа середняцких хозяйств (при некотором сокращении удельного веса бедняцких слоев и относительно стабильном положении кулачества). Этот процесс отражал социальные последствия нэпа: сам естественный ход хозяйственной жизни выдвигал крепких зажиточных крестьян, которые, организовавшись, могли заявить самостоятельные политические лозунги вразрез с линией большевиков. Именно вторая половина 20-х годов должна была разрешить назревающий конфликт. И опять камнем преткновения между властью и крестьянством стал х л е б, а точнее, вопрос о том, какие силы будут организовывать, регулировать и контролировать хлебный рынок: экономическая рыночная стихия (колебания между спросом и предложением) или принудительные государственные меры. Экономика вновь тесно переплелась с политикой.

...Товарная продукция зерновых до Первой мировой войны составляла в России примерно четвертую часть всего валового сбора, а в конце 20-х годов — накануне сплошной коллективизации — понизилась до 19 — 21 процента. Советское государство искусственными мерами постоянно сдерживало рост товарности зажиточных крестьянских хозяйств, устанавливало определенный предел, выше которого эти хозяйства не могли развиваться.

Сдерживали рост товарного производства зерна и знаменитые «ножницы цен», то есть промышленные товары были относительно дороги, а сельскохозяйственные относительно дешевы. Соотношение цены сбываемой крестьянами пшеницы в среднем по стране было на треть ниже цены покупаемых ими на рынке промышленных товаров. Реальное воздействие крестьянина на рыночные отношения свелось практически к одному главному способу — придерживанию зерна до лучших времен, попыткам использовать сезонные колебания цены на хлеб, поискам иных мелких лазеек и «случаев». У сдатчиков зерна появились стимулы к задержке хлеба и дальнейшему выжиданию повышения цен. Если учесть, что в эти годы (1925 — 1927) единоличные крестьянские хозяйства давали 97 — 98 процентов ежегодных сборов зерновых культур в стране, ситуация выглядела для правительства непростой.

В заготовительную кампанию 1926/27 года оно стало вовсю использовать финансовые рычаги для вытеснения частника: заготовительные цены были понижены, прекращена практика частичного финансирования банками хлебных операций частных заготовителей, кредитование всего хлебного оборота было сосредоточено в Госбанке, другим банкам этим заниматься запрещалось. Товарное и полутоварное мукомолье изымалось из владения и аренды частных лиц, ограничили перевозки частных хлебогрузов по железной дороге. В следующем году ограничение частных перевозок распространилось уже и на водный транспорт, завершилось изъятие из частных рук мукомольного дела[7].

Тут берет начало новый виток экономического террора (в рамках нэпа — мы подчеркиваем это обстоятельство), о котором Ленин предупреждал своих партийных «подельников» еще в 1922 году.

Ответной мерой деревни стала знаменитая «хлебная стачка» (осень 1927 — зима 1928 года), в результате которой к январю 1928 года было заготовлено 300 млн. пудов хлеба вместо 500, ежегодно необходимых государству для обеспечения потребностей населения и промышленности (последующий нажим на деревню позволил ликвидировать хлебные затруднения в первые месяцы

---

[7] «Справочник по хлебному делу». М. — Л. 1932, стр. 22 — 24, 164.

1928 года). Нажим на деревню — целиком внеэкономическое средство борьбы за хлеб. «Мы хотим убить у середняка веру в перспективу в отношении повышения цен на хлеб, — сказал Сталин в январе 1928 года на закрытом бюро Сибкрайкома ВКП(б) в ходе своей секретной командировки по Сибири для преодоления затруднений с хлебозаготовками. — Как ее можно убить? Путем 107 статьи (по этой статье УК РСФСР предусматривалось за «злостное повышение цен на товары путем скупки, сокрытия или невыпуска таковых на рынок» лишение свободы на срок до одного года с конфискацией всего или части имущества или без таковой. — *В. П.*). Середняк как думает? Он думает: «Хорошо, если бы заплатили больше, но тут дело темное. Петруху посадили, Ванюшку посадили, — могут и меня посадить. Нет уж, лучше я продам хлеб. С советской властью нельзя не считаться». И эта силовая аргументация производит свое влияние на середняка»[8].

Разворачивающаяся индустриализация требовала колоссальных средств, сосредоточения в государственных руках необходимых городу больших продовольственных товарных масс и удовлетворения возрастающих потребностей промышленности. Но, стремясь к полному овладению хлебным рынком, правительство не считало себя обязанным заботиться о равном продовольственном обеспечении всей страны — на централизованное снабжение были приняты только промышленные центры и крупные города, остальные потребители должны были удовлетворять свои нужды в хлебе за счет местных ресурсов.

С июня 1929 года была узаконена обязательность продажи государству по твердым ценам так называемых излишков хлеба зажиточными хозяйствами. Теперь хлебозаготовками помимо заготовительных организаций стали заниматься все партийные, советские и другие учреждения, которые не только возглавляли эту работу, но и несли полную ответственность за ее результаты. Были узаконены плановые задания конкретным селам и раскладка их по отдельным дворам. Это входило в прямые обязанности сельского актива, что вновь разжигало гражданскую войну в деревне.

Специальные обследования ЦСУ СССР, регулярно проводимые в деревне в 20-е годы, показали, что крестьянские хлебные запасы в первую очередь имели значение страховых фондов, хоть отчасти гарантирующих их на случай неурожайного года. Это в одинаковой степени относилось к деревенской верхушке, к середняцким и бедняцким слоям[9]. Поэтому принудительное изъятие этих запасов (хлеб в период так называемой кулацкой хлебной стачки забирали не только у кулаков, но и у середняков, а нередко и бедняков) ставило село на грань голода, который служил государству испытанным рычагом в борьбе за абсолютную власть в деревне. В первую очередь следовало лишить деревню ее хозяйственной верхушки — кулаков, олицетворявших для большинства сельского населения жизненный идеал, чем сводилась на нет советская пропаганда о преимуществах коллективной системы хозяйствования.

30 января 1930 года Политбюро ЦК ВКП(б) принимает секретное постановление «О мероприятиях по ликвидации кулацких хозяйств в районах сплошной коллективизации»[10]. По данным отдела по спецпереселенцам ГУЛАГа ОГПУ, только за 1930 — 1931 годы было выселено (с отправкой на спецпоселение) 381 026 семей общей численностью 1 803 392 человек[11]. В постановлении указывалось, что члены семей высылаемых и заключенных в концлагеря кулаков могли оставаться в прежнем районе. На практике желание членов семей никто не спрашивал и все выселялись вместе. По осторожным оценкам, январское постановление 1930 года при определении «ограничительных контингентов» кулаков, подлежащих ликвидации, почти вдвое завысило

---

[8] «Известия ЦК КПСС», 1991, № 6, стр. 211.

[9] «Предположительный хлебо-фуражный баланс СССР на 1927/28 сельхозгод». М. 1927, стр. 5. Позже эти расчеты были объявлены как составленные «под влиянием некоторых элементов Госплана, культивировавших меньшевистско-буржуазные теории планирования».

[10] «Исторический архив», 1994, № 4, стр. 147 — 152.

[11] «Социологические исследования», 1991, № 10, стр. 3 — 21.

их действительное число, которое было установлено специальной переписью осенью 1929 года[12].

Насильственная коллективизация, во-первых, создала бесперебойный конвейер по выкачке хлеба из деревни, а во-вторых, сломала русскому крестьянину его «становой хребет», закрепив в России тоталитарный режим. В 30 — 40-е годы заготовительные цены зерновых почти не менялись и возмещали колхозам только шестую часть себестоимости произведенного в этих хозяйствах хлеба. Обязательные поставки имели силу закона, виновные в их нарушении подлежали уголовной ответственности. Из каждой партии сдаваемого колхозами зерна половина зачислялась в счет обязательных поставок, а другая — в счет натуроплаты за работы машинно-тракторных станций (МТС). Размер платы устанавливался по твердым ставкам по каждому виду работ в зависимости от группы урожайности, к которой был отнесен данный колхоз. Уполномоченные наркомата заготовок распределяли колхозы по группам урожайности в большинстве случаев произвольно, без учета природно-климатических условий и экономики колхоза, что вело к искусственному завышению натуроплаты. Договор между МТС и колхозом имел силу закона; никакие отклонения от обязательств по этим договорам не допускались. Экономическое бесправие деревни подкреплялось и ограничениями личной свободы: подавляющее большинство крестьян не имело паспортов и, следовательно, возможности свободного выбора работы и места жительства. Единая паспортная система, введенная в СССР в декабре 1932 года, позволила государству осуществить принудительное прикрепление людей к колхозам.

Первоначально «коллективизаторы» видели в колхозной системе сплошные плюсы — достаточно сравнить размеры заготавливаемого зерна в доколхозный и колхозный периоды. В 20-е годы государственные заготовки хлеба резко колебались по отдельным годам и не превышали 25 — 50 процентов всех довоенных заготовок (1913). В 1930 году, после перехода к политике сплошной коллективизации, все заготовленное государством зерно уже на 4,4 процента превышало уровень 1913 года. В последующие двадцать лет (1931 — 1951) — за исключением нескольких засушливых и военных — уровень заготовок в 1,2 — 1,5 раза превышал показатель 1913 года[13]. Важен, конечно, не столько факт превышения показателей после 1930 года, а то, что весь заготовленный хлеб находился в полном распоряжении государства, распределение которого общество не могло контролировать (ведь даже та часть зерна, которая оставалась в хозяйствах, шла не на нужды колхозников, а на непрерывность поставок). И когда в 1930 году Сталин говорил о зерновой проблеме как решенной «в основном» в свете стоявших перед большевиками задач (построение социализма в одной стране), так оно и было. Отсюда — задача обеспечения самодостаточности народного хозяйства СССР и его независимости от капиталистического окружения, ставка на первоочередное развитие промышленности за счет ресурсов деревни, создание резервных фондов для устранения диспропорций в народном хозяйстве. Поэтому формирование колхозов и соответствующих производственно-распределительных отношений в стране — важное и едва ли не самое необходимое условие для успешного функционирования всей советской системы. С этой точки зрения голод начала 30-х и второй половины 40-х годов, унесший миллионы людских жизней, — явление временное («частный случай» для государства), которое не поколебало основ созданной системы.

...Прежде чем переходить к анализу показателей зернового производства, коснемся достоверности данных советской статистики урожайности. Еще в 1950 году в февральском номере американского журнала «The Review of Economic Statistics» в статье экономиста Н. Ясного «Советская статистика» отме-

---

[12] Ивницкий Н. А. Коллективизация и раскулачивание (начало 30-х годов). М. 1994, стр 62 — 67.

[13] Российский государственный архив экономики (РГАЭ), ф. 8040, оп. 8, д. 360, лл. 1-а, 2.

чалось, что с 1933 года урожай зерновых в СССР стал определяться на корню, до сбора. Если до 1937 года разрешалась поправка на 10 процентов, с учетом возможных последующих потерь, то с 1937 — 1940 годов эти скидки были отменены. Анализ советской статистики убедил Ясного, что официальные данные преувеличивали действительные сборы зерновых на 25 процентов до войны и более чем на 40 процентов после[14]. Однако если бы вся задача сводилась только к тому, чтобы с помощью приписок ввести в заблуждение собственное население и иностранцев, это можно было бы сделать с меньшими затратами сил и средств. На наш взгляд, действительная цель заключалась в том, что так называемая видовая (завышенная) оценка (урожай на корню) служила мощным средством контроля за колхозами и позволяла (именно потому, что давала представление о максимуме возможных сборов зерна) выжать из деревни все. Даже в том случае, если фактический урожай сильно отличался от видового, ситуация позволяла государству взыскивать с отстающих колхозов плановые задания на следующий год (такие хозяйства заносились в разряд недоимщиков) и/или перекладывать их в форме дополнительных заданий на передовые колхозы. В этом заключалась суть механизма регулирования хлебозаготовок в стране.

Выполняя указание правительства, главная государственная инспекция разработала знаменитый метод «метровки», позволявший простым арифметическим действием «повышать» размеры урожайности, с которых исчислялся план хлебосдачи. «На посевной площади данного колхоза, — доносил нарком земледелия СССР Я. А. Яковлев летом 1933 года секретарю ЦК ВКП(б) Л. М. Кагановичу, — срезываются в начальный момент уборки несколько сот квадратных метров — по метру на определенном расстоянии друг от друга и срезанный хлеб вымолачивается руками, взвешивается и по весу срезанных колосьев определяется урожай с одного гектара. В тех случаях, когда эти «метровки» показывали урожайность меньше, чем раньше (она определялась по так называемым видам на урожай), Госкомиссия проводила надбавку к данным метровок»[15]. Попытки местных органов представить заниженные, по мнению госкомиссии, сведения квалифицировались правительством как направленные «против интересов государства, колхозов и колхозников», а виновные в них строго наказывались. В черновых набросках того же Яковлева к заседаниям Политбюро за 1932 год сохранились варианты расчетов взимания хлеба с колхозов. Последний, четвертый, вариант предусматривал «вместо того, чтобы устанавливать то, что забирается у хозяйства, установить то, что у него оставляется»[16]. Понуждаемые к выполнению постоянно завышенных плановых заданий, срыв которых грозил уголовным наказанием и рассматривался как государственное преступление, местное руководство и председатели колхозов стремились изыскать хоть какие-то способы для снижения налогового гнета. Один из наиболее распространенных — искажение отчетности о посевных площадях и видовой урожайности.

Кардинальные же изменения произошли только в одном — в резком увеличении доли отчуждаемого у производителя зерна: до Первой мировой войны удельный вес заготовок составлял четверть всего фактического урожая в стране, а в 1940 году — уже 38 процентов. Вот что составляло основной «плюс» колхозной системы!

Как же отразилась на жизненном уровне людей эта система? На отчетном собрании в Яблоненском сельсовете Гремяченского района Воронежской области в октябре 1936 года выступила колхозница с требованием заменить записанное в Конституции «Кто не работает, тот не ест» словами: «Кто работает, тот должен есть»[17]. Таким образом, коренная проблема советского общества,

---

[14] РГАЭ, ф. 1562, оп. 329, д. 4592, лл. 1 — 22.
[15] РГАЭ, ф. 8040, оп. 8, д. 5, лл. 352 — 352 об.
[16] РГАЭ, ф. 7486, оп. 37, д. 179, лл. 23 — 25.
[17] «Неизвестная Россия. XX век». Кн. 2. М. 1992, стр. 278.

«уже осуществившего в основном социализм» (сталинское выражение из доклада «О проекте Конституции Союза ССР», ноябрь 1936 года), была сформулирована оставшейся безвестной для истории женщиной с замечательной простотой.

Отпуск населению хлеба по карточкам был начат с городов хлебородной Украины, а к началу 1929 года карточная система введена во всех городах страны. Городское население делилось на группы: к высшей (первой) категории снабжения относились индустриальные рабочие и приравненные к ним рабочие транспорта и связи, инженерно-технический персонал, комполитсостав армии и флота, войск ОГПУ и некоторые другие группы работающего населения. Норма снабжения рабочих Москвы и Ленинграда в 1929 — 1931 годах составляла 800 граммов хлеба в день на человека (1-я категория)[18]. Рабочие второстепенных производств и остальное городское население снабжалось по более низким нормам. В последующие годы эти нормы постоянно снижались, затем начались перебои в снабжении. Осенью 1932 — весной 1933 года в стране разразился голод, охвативший Украину, Северный Кавказ, Поволжье, Казахстан, Западную Сибирь, юг Центрально-Черноземного района и Урала, где проживало около 50 млн. человек. С осени 1932 до апреля — мая 1933 года население страны сократилось приблизительно на 7,7 млн. человек (!) (преимущественно за счет сельского населения, которое не подлежало гарантированному государственному снабжению хлебом).

О том, что голод носил рукотворный характер, а не был связан исключительно с засухой 1932 года, свидетельствуют следующие факты. Государственные заготовки хлеба в стране в 1932 году составили 1181,8 млн. пудов (83 процента от уровня заготовок в 1931 году), а в 1933 году выросли до 1444,5 млн. пудов. Таким образом, государство располагало запасами, необходимыми для прокорма голодного населения. Вместо этого за 1931 — 1932 годы было экспортировано около 70 млн. пудов зерна. Когда сотни тысяч крестьян в поисках куска хлеба начали бежать из деревни, правительство 22 января 1933 года разослало директиву партийным, советским органам и ОГПУ, в которой предписывалось не допускать массового выезда крестьян из голодающих районов[19].

Некоторые историки не относят к числу жертв политических репрессий погибших от голода в 30-е годы[20]. Подобное утверждение, однако, оставляет вне исторического контекста то обстоятельство, что коллективизация имела прежде всего идеологические, то есть и политические, корни: так называемое кулачество объявлялось советской властью подлежащим ликвидации как класс. Голод, вызванный в стране в 30-х годах, стал частью общей политики государства применительно ко всему крестьянству (шире — к народу в целом), а не только к кулачеству.

В середине 30-х годов карточная система ликвидируется, что было связано с некоторой стабилизацией экономики и ростом валовых сборов зерна. Однако перед войной практикуется закрытое нормированное распределение продовольствия (карточная система официально не вводилась). Весной 1939 года создается закрытая система военторгов для снабжения комначсостава армии и флота, рабочих и служащих военных строек; летом того же года вводится закрытая торговля на предприятиях важнейших отраслей промышленности[21]. Создание очередного в советской истории продовольственного кризиса было связано не только с усилением милитаризации и ростом военных расходов, но в не меньшей мере с экономической неэффективностью колхозной системы, поскольку колхозники не были заинтересованы в результатах труда в обще-

---

[18] Осокина Е. А. Иерархия потребления. О жизни людей в условиях сталинского снабжения. 1928 — 1935 гг. М. 1993, стр. 15 — 20.

[19] «Отечественная история», 1994, № 6, стр. 256 — 263.

[20] «Россия XXI», 1994, № 1-2, стр. 116 — 117.

[21] «Отечественная история», 1995, № 3, стр. 16 — 32.

ственном производстве, сосредоточивая основные усилия в личном подсобном хозяйстве.

Такой сводный показатель социального неблагополучия общества, как уровень детской смертности в стране, характеризовался перед войной следующими цифрами. Наиболее высокая смертность детей наблюдалась в Российской Федерации: в 1935 году она составляла 16,2 процента (по отношению к числу родившихся), в 1936 году — 20,3 процента, в 1937 году — 18 процентов, в 1938 году — 17,9 процента, в 1939 году — 18,8 процента. В 1939 году в Алтайском крае, Архангельской, Вологодской, Кировской, Пермской, Саратовской, Свердловской, Сталинградской, Тамбовской, Челябинской, Пензенской областях, Москве на 1000 родившихся умерло в среднем от 200 до 250 детей (в возрасте до года). Немногим лучше обстояло дѐло в других районах республики[22]. В 1940 году в Российской Федерации зарегистрировано 1,7 млн. детей в возрасте до двух лет, заболевших острым гастроэнтероколитом, что прямо свидетельствовало об употреблении в пищу суррогатов вместо полноценного питания.

...В начале войны из-за сдачи неприятелю обширнейших территорий происходит резкое сокращение посевных площадей зерновых культур и урожайности, что сказалось на валовых сборах. За 1940 — 1943 годы фактический урожай в стране снизился с 95,5 до 29,4 млн. тонн. После войны и засухи 1946 года (она поразила Молдавию, северные и юго-западные районы Украины, области центрально-черноземного района, правобережья Нижнего Поволжья, Крым) начинается постепенный рост всех показателей зернового производства. И хотя в первую послевоенную пятилетку довоенный уровень не был восстановлен полностью, в 1950 году в СССР собрали 81,2 млн. тонн зерна. Военные обстоятельства и погодные условия никак не повлияли на заготовительную политику правительства: в 40-е годы удельный вес заготовок составлял от 42 до 46 процентов ежегодного фактического урожая.

Для правильной оценки хлебозаготовительной политики правительства в сталинскую эпоху коротко остановимся на вопросе о национальном резерве хлеба. В исторической литературе сведения о государственном хлебном запасе впервые обнародованы в работе Д. А. Волкогонова «Семь вождей». Однако ее автор приводит цифры только по состоянию на 1 июля каждого года, то есть накануне нового урожая, что не дает представления о главном — действительных размерах запаса, его пополнении и расходовании. Еще в 1932 году на Комитет резервов при Совете Труда и Обороны (СТО) было возложено наблюдение за состоянием и образованием мобилизационных запасов на случай войны (затем этот комитет был преобразован в Министерство государственных продовольственных и материальных резервов). Уже в 30-е годы это ведомство обладало разветвленным аппаратом в центре и на местах, в его ведении находились также особое строительство НКВД (хлебных городков), собственные базы и элеваторы. Разбронирование государственных резервов и мобзапасов производилось в самых исключительных случаях, каждый раз по специальному решению правительства. Войну страна встретила имея резерв хлеба более 5 млн. тонн (примерно таким же запасом обладал и наш противник — Германия). По сведениям Главного управления резервов, за 1941 — 1944 годы для нужд Красной Армии и народного хозяйства было разбронировано 15 047,8 тыс. тонн хлеба (включая продовольственное зерно, зернофураж, муку и крупу), а заложено в госрезерв — 10 074 тыс. тонн. Превышение расхода над поступлением за четыре военных года составило около 5 млн. тонн, то есть почти равнялось размеру хлебного резерва накануне войны. Наиболее трудное положение сложилось в 1944 году, когда весь запас к лету сократился до 2,7 млн. тонн. Это объясняется несколькими причинами. На начальном этапе войны значительная часть населения страны жила в оккупации (около 80 млн. человек к нояб-

---

[22] Государственный архив Российской Федерации (ГАРФ), ф. 8009, оп. 32, д. 27, лл. 1 — 22.

рю 1942 года), и у правительства появилась возможность резко сократить расходы по снабжению населения, экономно используя зерновые ресурсы. В декабре 1942 года на нормированном снабжении находились: 40,9 млн. человек, снабжаемых по городским нормам (рабочие 1-й категории получали в день хлеба 800 граммов, служащие — 500, иждивенцы и дети — по 400 граммов); 2,1 млн. человек, снабжаемых хлебом в закрытых учреждениях и в порядке котлового довольствия; 20,8 млн. человек, снабжаемых по сельским нормам (которые были ниже городских, а сами выдачи носили нерегулярный характер), в том числе 3 млн. эвакуированных; 10,5 млн. человек, числящихся в Вооруженных Силах СССР; 1,5 млн. заключенных в лагерях и колониях ГУЛАГа НКВД[23]. Деревенское население, непосредственно связанное с сельским хозяйством, на государственное снабжение не принималось. Гарантированные нормы снабжения хлебом устанавливались только для работников районных предприятий и учреждений (преимущественно партийно-советской номенклатуры), членов их семей, инвалидов Отечественной войны, эвакуированных, а также для рабочих предприятий, расположенных в сельской местности.

В 1943 и особенно в 1944 годах, когда страна в основном уже была очищена от врага, расходы возросли, поэтому накануне урожая 1944 года запас сократился до самой низкой отметки. В августе 1944 года правительство принимает решение о создании неприкосновенного государственного хлебного резерва в количестве 8 млн. тонн, который должен был обеспечить полугодовую потребность страны (при среднем месячном расходе 1300 тыс. тонн). Редкая, наверное, войсковая операция готовилась с такой тщательностью, как государственная кампания по закладке резерва из урожая 1944 года! После войны национальные запасы хлеба из года в год непрерывно растут (в январе 1951-го они составили 21 млн. тонн). Однако это не спасло население страны от голода в 1946 — 1948 годах. Отметим, что во многом благодаря этим запасам Хрущеву удалось улучшить снабжение населения хлебом и попытаться провести ряд аграрных реформ!

Как же государство распределяло зерно, которое изымало у деревни?

Приведем выдержку из секретного постановления ЦК партии и правительства от 15 июля 1952 года, наглядно свидетельствующую о характере распределительных отношений между государством и колхозами: «Признать недопустимым, что во многих районах все еще имеет место неправильная практика распределения и использования доходов в колхозах, когда после выполнения обязательств перед государством почти все зерно, картофель, другие сельскохозяйственные продукты и значительная часть кормов распределяются по трудодням, в результате чего такие колхозы не создают в необходимых размерах семенные, фуражные, страховые фонды... Такая неправильная практика распределения почти всех доходов по трудодням препятствует дальнейшему развитию общественного хозяйства»[24]. Так была подтверждена незыблемость колхозной системы, при которой обеспечение работников продовольствием (после выполнения государственных обязательств!) рассматривалось властью как «неправильная практика».

Понимая, что в силу необходимости крестьянин вынужден будет выращивать продукцию на приусадебном участке (жестко регламентированном в размерах), государство обложило его сразу двумя налогами: натуральным — обязательные поставки мяса, шерсти, молока, яиц и т. д. — и денежным, выплачиваемым колхозниками с 1939 года по прогрессивным ставкам.

При помощи первого за бесценок изымалась определенная часть выращенной сельскохозяйственной продукции. И тут одна характерная деталь: подсобные хозяйства, не имеющие скота или птицы по причине того, что их часто нечем было кормить (а таких было немало), также не освобождались от

---

[23] «Народное хозяйство СССР в Великой Отечественной войне 1941 — 1945». Статсборник. М. 1990, стр. 202 — 203.

[24] «Отечественные архивы», 1995, № 4, стр. 84 — 85.

уплаты натурального налога, для них не делалось никаких скидок. Подобное положение вынуждало членов семьи искать заработков на стороне, а поскольку это было для того времени непростым делом, крестьянам чаще всего приходилось продавать продукты, отказывая себе в самом необходимом.

Этот неадекватный человеческому разумению способ «подъема» производства подкреплялся ценовой политикой государства. С одной стороны, с отменой в декабре 1947 года карточной системы розничные цены на сельхозпродукты государством снижались, а с другой — размеры денежных налогообложений повышались. В результате этих «ножниц» налицо был объективно достоверный факт: продажа продуктов, произведенных в личных хозяйствах, из года в год увеличивалась. Только вот крестьянин по-прежнему оставался нищим.

Значительная часть выручки уходила на выплату налогов (в период войны помимо сельхозналога взимался еще и военный налог, делались взносы по государственным займам, носившим принудительный характер). Следовательно, реальная денежная масса, которой располагало население, была довольно небольшой. Но поскольку во многих колхозах денежная оплата по трудодням не производилась вовсе, продажа продуктов на рынке часто была единственным способом добывания денег для уплаты налогов и займов.

Такая политика не могла не привести к полному ее банкротству. К началу 50-х годов резко сократилось число хозяйств, имеющих коров; увеличилось число недоимщиков (главным образом за счет стариков и старух, вдов с детьми). Чтобы не платить налоги, крестьяне вырубали сады и ягодники (они тоже облагались налогами), прибегали к иным мерам стихийной самозащиты (например, к фиктивному разделу крестьянских дворов).

Таким образом, распределение сельхозпродукции в личном и коллективном хозяйстве не ставилось государством в прямую зависимость от эффективности производства. Колхозы, выполнившие государственный план, получали дополнительные задания; личные хозяйства, если даже они и преуспевали, не приносили владельцам желательного дохода. Была еще одна сторона дела, которой правительство придавало исключительное значение, — искоренение у крестьян «частнособственнических инстинктов». Интересно отметить, что в этом вопросе инициатива «сверху» подпитывалась настроениями и предложениями зомбированных идеологией советских людей. Так, в октябре 1942 года драматург Н. Богданов в письме Сталину, описывая тяготы фронтовых буден (окружение армии, сдача в плен крестьян-красноармейцев), предлагал: «После войны не во всех, но во многих районах и областях надо перейти от колхозного строя к строю сельскохозяйственных рабочих, с обязательной ликвидацией крестьянских изб, как ячейки основы, рассадника частнособственнических мыслей, желаний, стремлений. Надо будет, по моему мнению, после войны стереть с лица колхозной, точнее, с.-х. земли крестьянские избы и создать, построить коллективные многоквартирные дома. Пока существует изба, огород, приусадебная земля, корова, свинья, овцы, козы, куры и т. д., до тех пор будет существовать мелкособственническая идеология среди крестьянства, а отсюда и чаяния на возврат к прошлому, к получению земли, к созданию своего индивидуального хозяйства. А отсюда и их отношение к социализму, коммунизму»[25]. Вот по какой линии проходил фронт борьбы советской власти против крестьян. Отношение государства к личному хозяйству мужика (даже в том жалком и урезанном виде, в котором оно продолжало сохраняться в колхозный период) в первую очередь подразумевало (помимо чисто экономических выгод для правительства) эту идеологическую сторону дела.

Общество, в котором нехватка продуктов питания становилась хронической, имело социальную стратификацию, совершенно отличную от «путеводной» идеологической формулы «От каждого — по способностям, каждому —

[25] Архив Президента Российской Федерации (АПРФ), ф. 45, оп. 1, д. 883, лл. 7 — 12.

по труду». Что, в свою очередь, способствовало невиданному росту паразитарных слоев деревни за счет многочисленных представителей советских, государственных и партийных органов районного и областного звена, колхозной верхушки и проч., оседлавших честного труженика.

Уже отмечалось, что в период послевоенной засухи государство располагало необходимыми запасами зерна, чтобы накормить население голодающих районов. Вместо этого рос экспорт зерна за границу: в 1946 году — 1230,2 тыс. тонн, в 1947 году — 609,5, в 1948 году — 2594,8, в 1949 году — 2401,2, в 1950 году — 2800,2 тыс. тонн. Помимо того, что экспорт зерна представлял важную статью валютных поступлений в казну, он использовался как средство большой политики и при Ленине, и при Сталине. В 40-е годы этот аспект заграничной торговли зерновой продукцией выступает на первый план. Как известно, согласно кредитному соглашению между СССР и Германией (август 1939 года), Советский Союз в обмен на кредиты, заказы и оборудование поставлял немецкому партнеру сырье, а также хлеб (за два предвоенных года общий экспорт зерна составил 1983,3 тыс. тонн). После войны цели государства оставались прежние. «Учитывая тяжелое продовольственное положение во Франции и просьбу французского правительства, — отмечалось в 1946 году при подписании соглашения о поставках зерна во Францию, — Советское правительство решило пойти навстречу Франции как своему союзнику». Политическая направленность помощи понятна — поддержать французских коммунистов и повысить их престиж на выборах. На советского человека Кремль, можно сказать, плевал. Помимо Франции зерно поставлялось в Болгарию, Румынию, Польшу, Чехословакию, Берлин (летом 1948 года в связи с берлинской блокадой), другие страны. Крестьяне голодающих районов рассматривали поставки зерна за границу как политику, враждебную по отношению к ним: «Меньше продавать хлеба за границу. Кормить досыта свой народ», «Куда идет наш хлеб — в Берлин для наших исконных врагов, кто уничтожил богатства нашего труда? А теперь сидите (дурака вы трудитесь), а мы будем пожирать ваш труд»[26].

Анализ важнейших демографических показателей, проведенный нами по большинству сельских и городских поселений Российской Федерации, показал, что в подавляющем большинстве районов России рождаемость резко снизилась в 1947 — 1948 годах по сравнению с 1946 годом, что противоречит распространенному среди историков мнению о том, будто низкие темпы роста населения в первые послевоенные годы связаны с войной и оккупацией. Отчасти так оно и было, но только отчасти. Основным же фактором, способствующим снижению численности населения российской деревни, была антинародная политика Советского государства. Этот вывод подтверждается и при анализе половозрастной структуры сельского населения, уровня рождаемости для районов, которые полностью или частично находились в оккупации. Заметное падение рождаемости проявилось в районах Севера, Урала, Сибири. Голодающие регионы охватывали более широкую территорию, чем та, которая, согласно правительственным сводкам, была затронута засухой[27].

Таким образом, роль государства в колхозный период целиком свелась к внеэкономическому принуждению сельского работника производить зерно и другие продукты с последующим их регламентированным распределением, фактически не учитывающим народные нужды. В своем известном сборнике «Экономические проблемы социализма в СССР» Сталин писал: «Основная ошибка т. Саниной и Венжера (экономисты, участвующие в дискуссии 1951 года. — *В. П.*) состоит в том, что они не понимают роли и значения товарного обращения при социализме. ...Чтобы поднять колхозную собственность до уровня общенародной собственности, нужно выключить излишки

---

[26] Приведены выдержки из крестьянских писем. См.: Попов В. П. Российская деревня после войны. М. 1993, стр. 105, 137.

[27] «Социологические исследования», 1994, № 10, стр. 76 — 94; 1995, № 12, стр. 3 — 15.

колхозного производства из системы товарного обращения и включить их в систему продуктообмена между государственной промышленностью и колхозами. В этом суть».

Сделаем одно небольшое отступление, позволяющее, на наш взгляд, лучше уяснить масштаб и предмет обсуждаемой проблемы. Ближайший сталинский сподвижник В. М. Молотов в застольных беседах на закате своей многолетней жизни говорил: «Я считаю успех коллективизации значительней победы в Великой Отечественной войне. Но, если б мы ее не провели, войну бы не выиграли. К началу войны у нас уже было могучее социалистическое государство со своей экономикой, промышленностью...»[28] Мнение достаточно распространенное, но оставляющее в стороне следующие вопросы, вытекающие из приведенной оценки: какая партия в погоне за мировой революцией заключила в 1918 году сепаратный Брестский мир, заплатив контрибуцию и отдав в руки немецких оккупантов значительную часть территории России? по чьей инициативе в начале 20-х годов началось военное сотрудничество советской России с разгромленной Германией? какое событие XX века побудило Гитлера сделать заключение о том, что Россия — это колосс на глиняных ногах, и напасть на нашу страну? Факты свидетельствуют, что раскол нашего гражданского общества, достигший апогея в годы коллективизации, был одной из главных причин катастрофических поражений Красной Армии на начальном этапе Отечественной войны; об этом же говорит и огромное число военнопленных, а также тех, кто добровольно перешел на сторону противника для борьбы с советским режимом. Заменив причину следствием, Молотов, впрочем, прав в одном: для советского государства сохранение беспредельной власти, основанной исключительно на насилии над народами собственной страны, было куда значительней победы над врагом внешним. Приведем мнение человека, который на собственной шкуре познал прелести жизни в Советской России и нацистской Германии и сделал следующий вывод: «Сельское хозяйство подорвано на десятилетия: скот вымер, поля засорены, леса вырублены, ликвидированы самые хозяйственные элементы крестьянства. Разгромлены ремесла, выросшие веками. В СССР в 1935 году правительство уже не смогло найти людей, еще сохранивших технику кустарного художественного ремесла. В Германии уже нет молодежи, которая могла бы принять на себя наследство старинного и высококвалифицированного немецкого ремесла. Но: созданы ни для какой нормальной жизни не нужные гиганты военной промышленности и воспитаны миллионные кадры ни для какой нормальной жизни не нужных людей: сыщиков, плановиков, председателей колхозов, или бауэрнфюреров, красных директоров, или трейгендеров, пропагандистов и лжецов, философов диалектического материализма и профессоров гегелевской диалектики; воспитаны десятки миллионов молодежи мужской и даже женской, которые ни на что, кроме войны, не годны и которые ничего, кроме ненависти, не знают. Вся хозяйственная жизнь всех революционных стран подчинена полностью интересам слоя подонков, паразитирующих на хозяйственном строе, возведенном на самых современных философских и идиотских основаниях. Этот слой не производит ничего. Но он и другим ничего не дает производить»[29].

С учетом сказанного перейдем теперь к оценке аграрного курса Хрущева в той его части, которая касается зернового производства.

...В декабре 1953 года министр сельского хозяйства СССР И. А. Бенедиктов направил в ЦК партии на имя Хрущева докладную записку, в которой предлагал увеличить производство зерна в стране за счет распашки перелогов, залежей, целинных земель, а также малопродуктивных лугов и пастбищ. Ми-

---

[28] Чуев Ф. Сто сорок бесед с Молотовым. М. 1991, стр. 383.

[29] Солоневич И. Л. Диктатура импотентов. Социализм, его пророчества и их реализация. Новосибирск. 1994, стр. 59 — 60.

нистр обращал внимание руководства страны на то, что начиная с 1951 года государственные заготовки в стране начали отставать от расхода хлеба (особенно резкий разрыв наблюдался в 1953 году). Опасную ситуацию, по мнению министерства, следовало преодолеть за счет дополнительной распашки за 1954 — 1960 годы 30 млн. гектаров под зерновые культуры. По первоначальным наметкам это должно было дать в 1956 году от 500 до 600 млн. пудов зерна, а в 1960 году — около 1 млрд. пудов[30]. Никита Сергеевич ухватился за это предложение и уже спустя полтора месяца направляет за своей подписью записку в Президиум ЦК, которая повторяла основные положения из документа, подготовленного Бенедиктовым. Интересно отметить, что хрущевская записка начинается с того, что в ней дезавуируется заявление, сделанное Маленковым в 1952 году на XIX съезде партии об «окончательном и бесповоротном» решении зерновой проблемы в СССР.

В отечественной историографии установилась следующая точка зрения на характер аграрных реформ в 50-е годы: «Хрущевские реформы 50-х — начала 60-х годов были направлены на постепенный вывод колхозов из-под государственного диктата и создание условий для их развития как самостоятельных хозяйств, действующих в условиях регулируемого рынка»[31]. Если это было так, почему миллионы колхозников убежали в город? (Общий прирост городского населения страны в 1960 — 1964 годах за счет притока сельских жителей составил около 7 млн. человек; были заброшены десятки тысяч деревень, объявленных государством «неперспективными».) Крестьянство проголосовало против хрущевских начинаний самым зримым образом — ногами. По воспоминаниям «железного Шурика» — А. С. Шелепина, бывшего в 1958 — 1961 годах председателем КГБ СССР, на встрече Н. С. Хрущева с колхозниками села Калиновка «после завтрака собрали сход. Никита Сергеевич говорил два часа — убеждал односельчан отказаться от приусадебных участков. «Земляки, поддержите меня. Зачем вам свиньи, коровы — возиться с ними? Колхоз и так вам все продаст по государственной цене». И так далее, и тому подобное. Из толпы послышался возглас: «Никита, ты что, сдурел?» И сельчане стали расходиться. Хрущев обозлился и уехал»[32].

Провал целинной эпопеи (как средства решения зерновой проблемы в том виде, как ее понимали советские вожди) убедительно показал правительству, что запрещение личных хозяйств крестьян под любым благовидным предлогом — единственный универсальный способ вновь заставить мужика безропотно работать в колхозе. Вот где коренятся истоки хрущевского «волюнтаризма», очередной «смены курса» в аграрной политике, возвращения к внеэкономическим методам принуждения деревни.

...Последующие правители СССР — Л. И. Брежнев и М. С. Горбачев — также не смогли кардинально решить продовольственную проблему в стране. Каждый из них действовал, как казалось, с учетом ошибок предшественника, используя все имеющиеся в его распоряжении средства и методы. Брежнев начал свой знаменитый «новый курс» с того, что списал числящуюся за колхозами денежную задолженность (она возникла главным образом в результате принудительной продажи колхозам старой и изношенной техники МТС по ценам новой), установил «твердые планы» закупок хлеба на ряд лет (которые затем неоднократно нарушались), повысил закупочные цены на зерно, то есть усилил факторы материального стимулирования в аграрном секторе. Помимо этого резко увеличили поток производственных ресурсов, направляемых в деревню из других отраслей, беспрецедентно повысился уровень государственных капиталовложений в сельское хозяйство (объем их за годы брежневского прав-

---

[30] РГАЭ, ф. 7486, оп. 47, д. 250, лл. 23 — 34.

[31] «Формы сельскохозяйственного производства и государственное регулирование. XXIV сессия симпозиума по аграрной истории Восточной Европы». М. 1995, стр. 12.

[32] «Неизвестная Россия. XX век». Кн. 1. М. 1992, стр. 276.

ления вырос почти втрое). Среднегодовое производство зерна в СССР за годы восьмой пятилетки (1966 — 1970) увеличилось на треть в сравнении с предшествующей, но затем темпы роста начинают замедляться. Чтобы скрыть это, ЦСУ перестает публиковать абсолютные цифры производства зерна в СССР. Это почти зеркальное повторение «итогов» хрущевских реформ! Мощные капиталовложения при сохранении основных пороков колхозной системы означали, что деревня при активной шефской помощи города стала выращивать «золотой» хлеб. Колоссальные затраты не окупались. Так было в колхозах и в совхозах, которые играли в эти годы большую роль в производстве зерна (государственные предприятия — госхозы, совхозы — также сдавали государству хлеб по принудительно установленным низким ценам).

По неопубликованным данным историка Р. Г. Пихоя, в 60 — 70-е годы ежегодно на закупки хлеба за границей расходовалось около 300 тонн золота. К началу горбачевской эпохи СССР ежегодно закупал до 50 млн. тонн хлеба, что составляло около 40 процентов всех хлебофуражных запасов страны. Поэтому не правы те ученые (см.: Радугин Н. П. «Радикальная экономическая реформа» в Российской Федерации и продовольственная безопасность страны. М. 1996), которые связывают угрозу национальной продовольственной безопасности страны с периодом ельцинских аграрных реформ, а не с более ранним периодом и общими пороками колхозно-совхозной системы. За подобной позицией проглядывает и политический расчет: убедить население и своих думских оппонентов в незыблемости прежних порядков, необходимости их сохранения любой ценой. Ибо вчерашняя советская номенклатура не мыслит себя вне колхозной системы, как некогда помещик не мыслил себя без крепостных крестьян.

Новый руководитель страны М. С. Горбачев на очередном пленуме партии, посвященном аграрной политике КПСС, вынужден был констатировать, что экономические условия хозяйствования были подорваны усилением неэквивалентного обмена между городом и деревней, что бесхозяйственность «уносит до 20, а по некоторым продуктам — до 30 — 40 процентов всего произведенного на селе»[33]. Больно и сегодня читать слова Горбачева, сказанные им в ноябре 1988 года на Орловщине и как бы подводящие общий итог политики коммунистической партии: «Мы вконец раздавили деревню, вдобавок расстроив и финансовую систему страны». При этом новый правитель не отказался от использования прежних государственных средств. Вначале, как некогда Хрущев, он усмотрел корень бед в структуре управления сельским хозяйством и в 1985 году на базе пяти министерств и одного госкомитета создал нового управленческого монстра — Госагропром СССР. Убедившись в неэффективности этой меры, Горбачев начинает говорить о необходимости «творческого использования ленинской идеи» о продналоге и о «социалистическом рынке», развития которого, уверял он, не следует бояться, поскольку ключевые позиции находятся в руках государства. Вот только реализовывать эту политику никто не собирался, и потому результат «новаций» был заранее предрешен, как и итог так называемой аграрной реформы 1991 — 1995 годов.

Если отбросить словесные рассуждения многочисленных комиссий, в том числе о формах собственности на землю, и обратиться к фактам, то они таковы: за 1992 — 1994 годы совокупный индекс сельскохозяйственных цен вырос в 100 раз, а промышленных — в 400 (опять налицо «ножницы цен»), в 1994 году в поле стоял урожай под 100 млн. тонн, а собрала Россия 83 млн.[34]. Не забыт и зерновой рынок — 15 мая 1993 года принимается закон «О зерне», декларирующий отказ от государственной монополии[35]. На деле же реальные

[33] Горбачев М. С. Об аграрной политике КПСС в современных условиях. М. 1989, стр. 5 — 14.

[34] «Формы сельскохозяйственного производства...», стр. 19; «Известия», 1995, 12 января.

[35] «Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации», 1993, № 22, ст. 799.

рычаги по регулированию зернового рынка — планирование правительством цен, система госзакупок, отсутствие государственных гарантий производителям проданного зерна в виде предоставления дополнительных кредитов, налоговых льгот и т. п. — целиком сохранились за государством. Знакомая картина! И потому понятны слова, случайно услышанные в чужом разговоре: «Опять русскому мужику хода нет».

Существует устойчивое мнение, будто современной крестьянской семье не под силу выполнять весь цикл сельскохозяйственных работ как по причине своей немногочисленности, так и из-за отсутствия необходимых профессиональных знаний; что, превратившись за годы колхозно-совхозной жизни из самостоятельного хозяина в наемного рабочего, сельский житель утратил интерес к крестьянскому труду; что рост мелких индивидуальных фермерских хозяйств, который наблюдается в наши дни, — свидетельство кризиса в сельском хозяйстве, это откат к исторически бесперспективному семейно-потребительскому уровню (кто же тогда накормит всю Россию!). Все это — не более чем обычное лукавство. Не потому люди цепляются за колхозы и совхозы, что им мила эта жизнь, а потому, что своим практическим умом мужик понимает: оставшись вне их, он столкнется с тем же государственным беспределом, но уже один на один. Зачем же, спрашивается, менять шило на мыло? Лучше выждать до лучших времен, а для этого необходимо сегодня выжить.

Зерно остается важнейшим фактором мировой политики, ибо оно — сама жизнь. При отсутствии единой объединяющей цели политические амбиции отдельных социальных групп в России стремятся использовать этот фактор в своих узкокорыстных интересах, а не для налаживания зажиточной жизни всего народа. Потому коммунистическая номенклатура и сохраняет свои позиции во многих зерновых районах страны, что она опирается на прежнюю колхозно-совхозную систему, по этой же причине и центральная власть не может отказаться от своего монопольного положения на зерновом рынке, и обе эти силы продолжают прежнюю коммунистическую политику.

ОПЫТЫ

АЛЕКСАНДР КУШНЕР

*

ДЕЛЬФТСКИЙ МАСТЕР

«А вы не придете как-нибудь ко мне на чашку чая?» — спросила она. Он сослался на спешную работу, на этюд — заброшенный им несколько лет назад — о Вермеере Дельфтском...

М. Пруст.

Спрошу у тех, кто любит Вермеера: замечали они на его картинах другие полотна, украшающие комнаты, которые он писал? Уверен, не все ответят утвердительно, а те, кто замечал, вряд ли вспомнят, что на них изображено. Я сказал «картины» Вермеера и «полотна» на его картинах, потому что, по сравнению с интимными домашними сюжетами вермееровских работ, «полотна» на стенах его комнат — это почти всегда нечто масштабное, серьезное и тематически далекое от него: бурный пейзаж с облачным небом и кипящей листвой («Концерт»), строгий парадный портрет мужчины в черном («Кокетка»), Страшный Суд («Женщина, взвешивающая жемчуг»), античная мифологическая сцена с обнаженными фигурами на морском берегу («Письмо») и т. д. Наконец, географические карты («Офицер и улыбающаяся девушка», «Мастерская художника»). Иногда почти невозможно рассмотреть, что написано на «полотне». В картине «Спящая девушка» проступает край такого полотна — что на нем изображено? Кажется, отрубленная голова. Или трагическая маска?

Художник как будто отдает дань предшествовавшей ему живописи, но сам далеко ушел от нее.

Этот второй план многое значил для художника — но не для нас. Мы почти не замечаем его: должно быть какое-то пятно — и оно есть. Для нас это еще один узор, арабеска, напоминающая письмена на лиловых изразцах персидских храмов и мечетей, — прочесть их мы не пытаемся, только любуемся ими. Убрать их — и картина поблекнет, потеряет часть своей прелести, но разгадывать их ни к чему.

Женщина, взвешивающая жемчуг на маленьких ручных весах, написана на фоне картины, изображающей сцену Страшного Суда: праведники слева, с воздетыми к Божьему престолу руками, будут взяты на небо, грешники справа, заламывая руки, ничего хорошего не ждут.

У женщины из-под темно-лиловой бархатной накидки проступает вздутый живот. Не жемчуг лежит на весах, а судьба ее будущего ребенка.

Но мы, вглядываясь в эту женщину, игнорируем аллегорический смысл. Он до нас почти не доходит: ее милое, нежное, кроткое лицо, легкие руки, зеленая смятая скатерть, коричневая юбка, белая меховая оторочка накидки, шелковый домашний капюшон на голове — вот что привлекает, захватывает нас. Говорю: зеленая, белая, коричневая, лиловая, но все эти слова не имеют отношения к подлинному цвету, ибо все решает оттенок, а он не может быть назван: для этого не придумано слов.

Тем приблизительным, жалким, которыми пользуюсь, хочется сказать: пошли вон, убирайтесь, вы здесь лишние! Такие же лишние, как аллегория,

занимавшая художника. «Все прочее — литература». Художник словно не вполне еще доверял себе, специфике своего искусства, искал для живописи оправдания в слове, идее. С равным успехом он мог сопроводить свою картину разъяснительной эмблемой, назидательной справкой, толкованием или музыкальной фразой. Представим себе, что подходим к картине — и в это время из вмонтированного в раму микрофона начинает звучать музыка (встречаются же на его полотнах то и дело клавесины, лютни, гитары, где-то, помнится, даже лежит на полу контрабас). Боюсь, такое братание живописи и музыки было бы насильственным (не о нем ли вздыхают наиболее сентиментальные мечтатели с символистической закваской), а то и напоминало бы прощальную, траурную церемонию.

Душа художника обращается к нам непосредственно через цвет: такого синего (фартук на его молочнице), такого алого (кафтан офицера), такого желтого (кусочек желтой стены на его «Виде Дельфта», — разгадывая тайну этого желтого, умирает на выставке писатель Бергот в прустовском романе) — больше нам нигде не найти.

Мы стояли с тобой перед его молочницей в Амстердаме. Эта перекрученная струйка молока, льющаяся из кувшина в миску, — абсолютное чудо, говорящее о тайне жизни ничуть не меньше, чем Священное Писание; для меня, во всяком случае, стоящее в том же ряду. О тайне жизни и о самом художнике, не оставившем после себя никакой достоверной биографии, зато, можно сказать, перевоплотившемся во все, что он запечатлел на полотне, в том числе в эту струйку молока.

И когда мы отходили от «Молочницы» и оглядывались на нее, выходили из зала и опять возвращались — а зал был тесно увешан замечательной живописью (один Терборх чего стоит!), — все меркло и гасло по сравнению с синим передником молочницы, — скажу еще раз: такого синего нет ни у кого. Его нет ни в живописи, ни в жизни — он вынут из души художника, предъявлен нам как самое яркое, воистину бессмертное ее воплощение.

В том, что я здесь только что сказал, нет преувеличения. Сомневающихся прошу заглянуть при случае в амстердамский музей. Я говорю о цвете, но не только о нем. Не только о синем в сочетании с зеленым и желтым. Фактура ткани, складки, крестьянские руки молочницы, сосредоточенное выражение ее лица, тени в левом углу комнаты...

Кандинский избавился от всего этого, оставил только цвет; цвет и причудливые конфигурации геометрических, спиралевидных, амёбоподобных абстракций, — мне кажется, Вермеер обрадовался бы им: он не знал, что так можно, — и все-таки какое счастье, что дельфтский мастер жил не в XX, а в XVII веке!

— Вы ничего не понимаете в живописи, — скажет профессионал.

А я и не говорю, что понимаю. Я ее люблю. Предпочтение при этом отдаю пониманию. Я понимаю в стихах. Разговоры любителей меня раздражают. Возможно, говоря о Вермеере, я тоже говорю не о живописи — о стихах.

Сначала, в Гааге, я увидел его «Вид Дельфта», а потом, через день или два, увидел и сам Дельфт. По-моему, это одно из лучших мест на земле: напрасно мы стали бы сличать его с Дельфтом на полотне. Узнаются несколько башен, может быть, несколько крыш, — все остальное выглядит по-другому. Нет, ни в коем случае не хуже, потому что главную радость приезжему доставляют узкие, иногда вровень с мостовой, зеленые каналы с кувшинками, плавающими на своих плоских зеленых тарелочках на воде. Город похож на чистенький, причудливый, сверкающий волшебный театр, в котором вода, воздух, праздная толпа, прикрученные к железным поручням мостов велосипеды, цеховые дома и соборы ставят одну и ту же, никогда не надоедающую, бессюжетную пьесу о земной радости и веселье, — говорю так потому, что был бы

счастлив быть там не три, как наяву, а тридцать три раза. Веселье, радость — ну что это такое, не стыдно ли употреблять такие слова? Стыдно. Но Вермеер, которого я люблю с юношеских лет, кое-чему меня за эти годы научил. В том числе — умению не оправдываться, жить по-своему. Спекуляций на трагедии в искусстве хоть отбавляй. Как я сумел убедиться, любители трагического в искусстве — очень часто люди расчетливые и холодные, кроме того, они большие гурманы. Вермееру жилось нелегко, и Пушкину тоже. «...веселых и приятных мыслей полон, / Пройдет он мимо вас во мраке ночи / И обо мне вспомянет».

В 1902 году в Гааге Пруст впервые увидел вермееровский «Вид Дельфта», а в 1921 году, за год до смерти, писал своему другу: «С тех пор, как я увидел в Гааге «Вид Дельфта», я понял, что видел самую прекрасную картину в мире».

Это самая большая вещь Вермеера (98 × 118) и единственный его пейзаж (если не считать «Улочки», в которой так мало от пейзажа, так много от интерьера). Малые голландцы знамениты своей узкой специализацией: один всю жизнь писал соборы, другой — море и паруса, третий — сельские пейзажи с коровами и мельницами, четвертый — сцены из крестьянской жизни, пятый — натюрморты, и не вообще натюрморты, а, например, только «завтраки».

О «завтраках» стоило бы написать отдельно: этот жанр расцвел в кругу харлемских живописцев. Лучшие из них — Виллем Клас Хеда и Питер Клас. Сколько раз я останавливался в Эрмитаже перед этими опрокинутыми бокалами, скомканными скатертями, наполовину очищенными лимонами со сверкающей, спиралевидной, свесившейся кожурой... В Харлеме умели завтракать. Вещи на столе говорят о вышедшем из комнаты хозяине, его образе жизни, вкусе, голландском «дендизме» XVII века не меньше, чем портретная живопись. Такой натюрморт — потрясающий интимный портрет. Умение завтракать в одиночку — не правда ли, редкое и достойное уважения свойство? Нет, серьезно: за завтраком разговоры плохо получаются. Выспавшийся человек полон надежд, нерастраченных сил, они ему еще пригодятся — жаль израсходовать их на дружескую болтовню, любовный диалог. Зато ужинать лучше вдвоем.

Так и кажется: Питер Клас, Виллем Клас Хеда, Виллем Калф (о, какого замечательного Калфа видел я в университетском Гарвардском музее!) легко сошлись бы и столковались с булверовским Пеламом, пушкинским Пелымовым, Онегиным, прустовским Сваном... Но как был бы я удивлен, увидев пейзаж, выполненный кем-нибудь из них!

Может быть, потому еще производит такое ошеломительное впечатление вермееровский «Вид Дельфта», что никак не ждешь его от мастера интимных домашних сцен и интерьеров, — все равно как если бы вдруг мы обнаружили поэму у Тютчева или Мандельштама.

Сладостная (какая, какая?), сладостная, золотисто-перламутровая, словно приснившаяся городская панорама с зеркальной гладкой речной поверхностью на первом плане — и неровное, яркое, тревожное, как будто взволнованное каким-то неожиданным известием, небо над ней. И, может быть, самое замечательное — дымно-серая, «некрасивая», коричневая, темно-каряя туча, непонятно откуда залетевшая в этот мир. Я-то знаю, откуда она явилась: такие тучи клубятся у нас в середине сентября в Петербурге, который будет построен лет через пятьдесят — шестьдесят.

И если ни одна репродукция не способна передать подлинное обаяние живописи, увиденной наяву, то про эту тучу и говорить нечего: она непереводима на язык типографской краски.

Как и чем живут люди в нынешнем Дельфте? Могли бы мы тут жить? Среди этой старины и благополучия, как за каменной стеной — в прямом смысле этого устойчивого словосочетания, — вот о чем говорили мы, взбира-

ясь на мостики, наклоняясь к воде, присаживаясь на ступеньки, заходя в соборы. В Старом соборе помолчали над вмурованной в пол каменной плитой: JOHANNES VERMEER 1632 — 1675. Рядом с ней в белом керамическом кувшине стояли цветы: желтые гвоздики, золотистые ноготки; тут же в стеклянной банке — пучок розовых цикламенов: кто-то догадался принести их, так сказать, в индивидуальном порядке, — не мы.

Плита эта была установлена лишь в 1975 году, в трехсотлетнюю годовщину смерти художника, но останков Вермеера под ней нет: когда-то, по причине проседания почвы и грозившего обвала, почти все захоронения из Старого собора были перенесены.

Вермеер жил так тихо, так незаметно, был так прочно забыт потомками, что спохватились слишком поздно. Впрочем, известно, что книги, картины, музыка прочнее камня, «выше пирамид». Церковные записи — тоже. Потому мы и знаем точную дату его смерти: 16 декабря 1675 года. Известно также, что умер он от сердечного приступа, угнетенный крайней бедностью (война с Францией, разразившаяся в это время, французская оккупация принесли ему убытки), угрозой полной нищеты и разорения, падением спроса на картины (свои и чужие, которыми он торговал, унаследовав от отца это хлопотное дело), страхом за будущее детей.

Согласно обычаю, после смерти кого-либо в дом являлись представители благотворительного комитета: полагалось отдавать им лучшую верхнюю меховую одежду покойного — в пользу городской бедноты. Так вот, в учетной книге комитета записано, что от Вермеера после его смерти ушли ни с чем: «взять было нечего».

Спрашивается, где же все эти дамские наряды, ковровые скатерти, люстры и клавесины, кресла, переходившие на своих членистоногих четырех конечностях из картины в картину, украшенные двумя не то песьими, не то львиными бронзовыми головками по бокам, где бокалы и посуда, вышитые подушки и шелковые занавески, картины в дубовых и золоченых рамах, кованые ларцы, жемчужные ожерелья?

Мы их знаем наизусть: каменный пол, уложенный в черную и желто-мраморную плитку, плоское блюдо из синего фаянса с яблоками и лимонами, белый кувшин с синей стеклянной пробкой, кочующий из одного сюжета в другой: вот он стоит на столе перед задремавшей девушкой, облокотившейся во сне на стол, вот его держит в правой руке кавалер в широкополой черной шляпе, угощая девушку вином, потом опять тот же кувшин стоит на свежевыглаженной шелковой скатерти, только на этой картине девушка уже в обществе двух кавалеров, а затем он вновь появляется на подносе, а хозяйка играет для гостя на клавесине. На этот раз он без крышечки: может быть, разбилась? Присмотрюсь: нет, это другой кувшин, похожий на тот, но все-таки другой. Значит, тот разбился. Так и видишь, как художник ходит всю жизнь вокруг одних и тех же вещей — и они не надоедают ему. Вот как нужно писать стихи! Написал стихотворение «Графин», а через год или два напиши еще один «Графин», а через несколько лет — третий...

«К чему искать сюжета для стихов, — говорил Фет Полонскому, — сюжеты эти на каждом шагу, — брось на стул женское платье или погляди на двух ворон, которые уселись на заборе, вот тебе и сюжеты...»

Мы их знаем наизусть — все эти вещи на его картинах, знаем в лицо всех милых обитательниц этого просторного, чистого, радушного, гостеприимного, открытого для музыки и любви, романтических увлечений и живописи, хотелось бы верить — благополучного дома.

У Вермеера и его жены было пятнадцать детей, четверо из которых умерли в младенчестве. Все-таки трудно праздничную и легкую атмосферу его картин соединить в воображении пусть не с пятнадцатью, пусть с одиннадцатью детьми! Дети — это вечные болезни, заботы и страх за них. «Я люблю, когда в

доме есть дети / И когда по ночам они плачут». Но когда «плачут» или просто хотят есть сразу столько детей...

А сейчас я назову имена его дочерей: Мария, Альеда, Гертруда, Катарина, Элизабет, Беатриса, Жанна... Мне кажется, это они, его дочери, смотрят на нас с некоторых его поздних картин: одна вышивает, другая играет на гитаре, третья пишет письмо, — они похожи, их легко перепутать, принять одну за другую; больше всех мне нравится та, что изображена в красном ворсистом берете: рот полуоткрыт, глаза блестят, как при простуде, алый отсвет лежит на щеке. Как тебя звать: Гертруда, Элизабет?

И еще одна, совсем юная, девочка-подросток, похожая на мышку: круглые выпученные глазки на остром личике, серая накидка на плечах. Приехав на похороны Бродского в Нью-Йорк, находясь в тяжелом, удрученном состоянии, я зашел в Метрополитен-музей — и эта девочка помогла мне справиться с тоской.

Что касается перечисленных мною вещей, то многие из них фигурируют в архивных документах; сохранилась опись имущества умершего художника, в ней упоминаются и картины, те самые, что он помещал в свои: натюрморт с фруктами, маленькое озеро, морской пейзаж, распятый Христос, — и семь панно из золоченой кожи, рыцарские доспехи, мебель, шлем, турецкий плащ — очевидно, он показался людям из благотворительного комитета слишком экзотическим, — два мольберта, шесть подрамников, десять холстов, три набора красок, пестик для их растирания, три кисти, даже трость, инкрустированная слоновой костью, та самая, что лежит на одной из его картин, сливаясь с пышной скатертью, рядом с фруктами на столе.

А еще семейные портреты, картина «Марсий и Аполлон», картина «с черепом и виолончелью», каменный стол для растирания красок... Уж он-то, точно, не нужен городской бедноте.

Две картины мужа вдова отдала пекарю в счет долга («Девушка с гитарой» и «Девушка, пишущая письмо»), потом они были выкуплены и возвращены ей душеприказчиком Вермеера, знаменитым натуралистом Левенгуком. (Как это, у Заболоцкого: «Сквозь волшебный прибор Левенгука / На поверхности капли воды...») Он вообще сыграл большую роль в поддержке осиротевшей семьи художника, и приятно думать о переплетении судеб живописца и естествоиспытателя, смотревшего на мир такими же внимательными и восхищенными глазами.

Семь панно из золоченой кожи, упомянутые в описи... Может быть, это и есть географические карты, переходившие у Вермеера из картины в картину? Приглядимся к ним. Натянуты они на двух увенчанных черными круглыми деревянными шишаками горизонтальных черных лаковых палках. (А как иначе назвать эти штуки? Есть же какое-то, забытое нами, слово. Консоли? Нет. Карнизы, кронштейны? Нет. Я позвонил в магазин хозяйственных и строительных материалов: «Есть у вас деревянные приспособления, на которые вешают шторы на кольцах?» Мне ответили: «Крепления? Бывают. Но сейчас нет».)

Попробую рассмотреть эти карты. Напрасно стали бы мы искать на них знакомые очертания земных материков. Что это — Европа? Африка? Может быть, недавно, сто лет назад, открытая Америка? Кажется, это какая-то другая, лучшая, неземная география, где вдоль береговой линии тянутся стайки мотыльков-кораблей («Офицер и улыбающаяся девушка»).

Потом та же карта на тех же черных распорках появляется в картине «Женщина в голубой накидке с письмом». Только здесь все размазано, утоплено в коричнево-желтой мгле, — таким цветом закрашивают пустыню Гоби, Тянь-Шань, Тибет.

И на картине «Женщина с кувшином» карта тоже как будто присыпана песком, замазана глиной — узнать реальные очертания материка невозможно.

А в «Мастерской художника» девушка, позирующая художнику, помещена на фоне карты и вовсе напоминающей золоченый гобелен, да он еще топорщится и собирается в складки.

И лишь за «Девушкой с лютней» (1664) висит карта в зеленовато-серых тонах, на которой явственно проступает береговая линия Западной Европы, Гибралтар, Средиземное море...

Чего там, точно, нет, на этих картах, — так это России, Московии...

Вторая половина XVII века. Царствование Алексея Михайловича. Соколиная охота. Рукава до полу на боярских кафтанах. Соборное уложение, закрепившее крепостное право. Очередное подавление восстаний в Новгороде и Пскове. Патриарх Никон. Раскол. Ссылка протопопа Аввакума в Мезень (1664 год), а потом — в Пустозерск. Степан Разин. Какая уж там научная микроскопия, линзы с трехсоткратным увеличением, сперматозоиды, бактерии, эритроциты и их движение в капиллярах!

Акты гражданского состояния, выписки из церковных книг и архивных документов — главный источник биографических сведений о человеке, жившем в Голландии XVII века. Так, может быть, напрасны наши сетования на то, что мы мало знаем о Вермеере? Нет, не напрасны. Да, нам известны его долги, и мы знаем, как звали его жену (Катарина Болнес) и что она была католичкой, а он протестантом — и ее мать сначала противилась этому браку, а потом помогала дочери и зятю и завещала дочери свое состояние. Мы знаем, что отец Вермеера был хозяином гостиницы (после его смерти она перешла к сыну) и торговал предметами искусства, что Вермееру был двадцать один год, когда он как художник был принят в гильдию Святого Луки, а затем с 1662 по 1671 год был вице-президентом этой гильдии.

Но то же самое или еще больше мы могли бы узнать о любом дельфтском бюргере — его современнике.

Но вот существует предположение, будто бы он ездил в Амстердам и останавливался там у Рембрандта. Увы, это только предположение, вытекающее из понятного и горячего желания исследователя познакомить двух художников спустя триста лет.

До нас не дошло ни одного высказывания Вермеера! И на своем автопортрете («Мастерская художника») он сидит к нам спиной. Густые рыжие волосы, торчащие из-под бархатного берета, плотная фигура в черной блузе с белыми полосами на спине, пышные черные штаны, красные чулки — вот, собственно, и все. Зато девочка с венком на голове, в каком-то нелепом синем балахоне, с тяжелой книгой и трубой как будто пришла из кино XX века, из фильма Феллини, — так Джульетта Мазина позировала бы художнику.

Все это и называется отсутствием биографии.

Ничего не расскажут нам архивные документы об учителях Вермеера, о его связях с другими живописцами и художественных вкусах.

Но Карел Фабрициус написал в 1652 году «Вид Дельфта» (ничем не похожий на вермееровский 1660 года) — и эту работу Вермеер знал наверняка, и можно предположить, что она многое значила для него. (Кстати сказать, Фабрициус учился в мастерской Рембрандта.)

Был еще один голландский художник, имя которого здесь следует назвать, — Питер де Хоох. Пруст в своем романе, говоря о музыкальной фразе из сонаты Вентейля, вспоминает этого художника: «Начинал он со скрипичных тремоло, и в продолжение нескольких тактов звучали только они, наполняя собой весь первый план, потом вдруг они словно бы раздвигались, и, как на картинах Питера де Хооха, у которого ощущение глубины достигается благодаря узкой раме полуотворенной двери, далеко-далеко, в льющемся сбоку мягком свету появлялась иной окраски фраза, танцующая, пасторальная, вставная, эпизодическая, из другого мира».

Питер де Хоох приехал в Дельфт около 1654 года, когда Вермееру было двадцать лет, и, считается, оказал большое влияние на молодого художника. Дом, в котором он жил, находится в конце улицы Oude Delft, его можно найти и сегодня, вот только узкая дверь, ведущая во внутренний дворик, не сохранилась — зато навсегда осталась на двух его полотнах. Одно из них («Хозяйка и служанка») висит у нас в Эрмитаже. Глядя на него, лучше понимаешь и Вермеера, и Пруста с его Вентейлем; там, за открытой узкой дверью, ведущей из дворика на улицу, проступает дерево, канал, дом на противоположной стороне канала, по-видимому, с таким же двориком и с такими же обитателями, — но так как все это удалено, то кажется еще пленительней, как будто и впрямь из другого мира.

Через десять лет Питер де Хоох уехал в Амстердам — и растерял в шумной столице лучшие качества своего искусства. Другой дельфтский художник, Эманюэль де Витте, писавший интерьеры соборов — наполненные светом каменные рощи, — переехав в Амстердам, кончил жизнь самоубийством. Лучше не переезжать в столицу, не изменять Дельфту, жить в нем до самой смерти, как Вермеер.

Прозаик поручает любимому персонажу написать этюд о художнике. Но тому некогда: он влюбляется в женщину, страдает из-за нее. К тому же он, человек светский, нарасхват: его ждут в салоне у Вердюренов, у герцогини Германтской, — так этюд и не написан. И об этом нельзя не пожалеть.

Впрочем, это не совсем так, ибо автор из-за спины героя успевает сказать нам самое главное: «Опыты спиритов, так же как и религиозные догмы, не могут доказать, что душа после смерти остается жива. Единственно, что тут можно сказать, это что все протекает в нашей жизни, как будто мы в нее вошли с грузом обязательств, принятых нами на себя в предыдущей жизни; в условиях нашего существования на земле нам нет никакого смысла считать себя обязанными делать добро, быть деликатными, даже вежливыми, нет никакого смысла неверующему художнику считать себя обязанным двадцать раз переделывать часть картины, восхищение которой будет довольно-таки безразлично его телу, съеденному червями, так же как часть желтой стены, которую он писал во всеоружии техники и с точностью неведомого художника, известного под именем Вермеера».

Груз обязательств, взятых нами на себя в предыдущей жизни, в дожизненной среде, откуда мы явились и куда мы возвращаемся после смерти...

Помню, как где-то в конце шестидесятых, лет за двадцать до того, как «Пленница» была переведена на русский язык, переведя для себя с помощью словаря это место из романа, я пришел к Лидии Гинзбург и мы говорили об этом доводе в пользу бессмертия души.

Одно слово в тексте вызвало у нее возражение: почему же художник у Пруста назван «неверующим» (l'artiste athée)?

И действительно, Вермеер, крещенный, как известно из церковной книги, 31 октября 1632 года в Новой церкви, той самой, что проступает из-за домов на его «Виде Дельфта», был, безусловно, верующим художником.

На одной из последних (не лучших) его работ, «Аллегория веры» (аллегории редко удаются), изображена в полуобморочной, экзальтированной позе женщина (все в той же знакомой нам комнате с мраморным полом и креслом, на котором лежит все та же знакомая нам подушка), но на этот раз — на фоне огромной картины с распятым Спасителем и скорбящей Марией у подножия креста. Вещь натянутая, надуманная, но безусловно говорящая о религиозности художника.

Вермеер, если он «переделывал двадцать раз часть картины», делал это по той же причине, по которой какой-нибудь неизвестный готический скульптор доводил до немыслимого совершенства статую святого где-нибудь под сводами собора, где ее никогда никто не разглядит — разве что будущий реставратор, что заберется на леса через двести — триста лет.

Вот так же однажды я увидел на прибрежном песке морскую глубоководную тварь, в конвульсиях сверкавшую и мертвевшую, с капельками влаги на каждом волоске, — ее граненое тело казалось скульптурным, выточенным подводным безымянным мастером — втихомолку, втайне от человеческих глаз.

Существует художнический инстинкт, это он заставляет художника добиваться совершенства.

Что касается веры, то ее излишек, если позволить себе такое выражение, способен не только укрепить художника, но и помешать ему: приходит на память катастрофа, постигшая Боттичелли, увлеченного проповедями Савонаролы, история со вторым томом «Мертвых душ»... Не хочется думать, что нечто подобное грозило и Вермееру под занавес его короткой жизни. Все-таки он чувствовал себя цеховым мастером, вице-президентом художнического цеха, — не учителем и не пророком.

Творческий труд — это и есть молитва художника, независимо от того, верит он или не верит. «Дарование, — как сказал поэт, — это поручение».

И в этом смысле «перекрученная струйка молока», льющаяся из кувшина, может быть красноречивей «аллегории веры» и распятия, слишком рационально и назидательно изображенного за спиной позирующей дамы с глазами, устремленными в потолок.

Какое же это удовольствие — сидеть в дельфтском кафе, прямо на улице, под цветным тентом! Пожилая дама за соседним столиком узнала в нас русских, — я смог объясниться с ней на французском языке. Оказывается, она живет здесь, в Дельфте. Чем занимается? Цветами. Ее профессия — цветовод. Имеет прямое отношение к цветам, украшающим городские подоконники, карнизы, ресторанные бордюры и палисаднички. У нее муж и взрослые дети, живущие отдельно, в другом городе. Ей очень, очень нравится Россия. Она несколько раз была в России, и в Петербурге тоже. А как-то раз вместе с мужем поездом доехала до Владивостока. Через всю Сибирь! (Я-то дальше Красноярска в Сибирь не забирался. Тихого океана никогда не видел.)

Спросила и записала наш петербургский адрес (ну совсем как где-нибудь в Ялте на отдыхе): осенью она опять собирается в Россию и, если окажется в Петербурге, обязательно позвонит. Очень милая, простодушная, любознательная, доверчивая...

Казалось, распахнулось многоячеистое окно — и мы заглянули с дельфтской улочки в комнату голландского дома.

Как живут здесь люди? «Немного скучно и гигиенично»? Не уверен, что тут уместна эта строка из Кузмина.

Или все-таки уместна? Оттого и устремляются в Россию, что каждая поездка похожа на героическое предприятие. Вроде альпинистских подвигов или лыжной экспедиции на Северный полюс. Возвращаешься домой — и чувствуешь себя молодцом.

Подумать только, заколдованный, чистенький, ухоженный Дельфт — и развороченная гусеничными тракторами, изуродованная буровыми вышками, отравленная заводскими выбросами, полусгнившая, полуобгоревшая земля где-нибудь под Тюменью.

Казалось, судьба нарочно придумала эту встречу, привела нас в это кафе (могли ведь выбрать и другое). Как бы мы жили здесь? А вот как: ты разводила бы цветы (или занималась бы тем же стиховедением — чем оно хуже цветоводства?), ездили бы мы в Россию...

Знаешь, что такое Россия для этой жительницы Дельфта, сидевшей за соседним столиком? Сейчас скажу. То же самое, что сцены Страшного Суда или географические карты — за спинами вермееровских хозяек и служанок!

В 1716 году при Петре в Россию были завезены скопом 120 голландских картин, как будто это не картины, а коровы или овцы, а вслед за первым стадом — вторая партия, еще 117 штук. Поголовье росло от года к году. Первым

рембрандтовским полотном, оказавшимся в петровской коллекции, было «Прощание Давида с Ионафаном». Ионафан, если всмотреться, наделен здесь чертами самого Рембрандта, очень похож на него, а Давид, рыдающий у него на груди, напоминает женщину с распущенными вьющимися льняными волосами. «Может быть, в этой картине оживает воспоминание о прощании художника с Саскией?» — спрашивает современный исследователь (Ю. И. Кузнецов). Как бы там ни было, это одна из самых печальных и таинственных его работ.

Вряд ли кто-нибудь в петровской России мог оценить этот шедевр великого мастера (картины покупались «на вырост»), да и любимыми сюжетами царя в живописи были, как сообщает биограф Петра Якоб Штелин, сцены из жизни «голландских мужиков и баб». Фраза звучит более чем современно, и разве Рубенс, завезенный тогда же в страну в большом количестве, не подходит под это определение: его «Адам и Ева» или «Вакх» — те же «голландские мужики и бабы», да еще в чем мать родила!

Так или иначе, но в России, где до Петра не было ни светских картин, ни статуй, ни общественных садов, ни фонтанов, кое-что, скажем сдержанно и осторожно, изменилось к лучшему.

Тиран (впрочем, тираном Петра назвать мы не вправе: у греков тиран — это правитель, незаконно захвативший власть), «самодержавный властелин», ввозящий в страну Рембрандта, Рубенса, Ван Дейка, Брейгеля, Ваувермана, Яна Стена и ван Остаде, предпочтительней тирана, то есть узурпатора, уничтожающего художников в лагерях и постановлениями ЦК, вывозящего картины из страны в целях подъема промышленного производства.

Как же отличается Дельфт от того, что видим мы и сегодня у себя перед глазами! Не будем далеко ходить, ни в Нижневартовск, ни в Череповец. Даже на улицу не выйдем. Остановимся на лестнице. Чтобы отвратить иностранца от России, достаточно показать рядовую лестницу петербургского дома: вонь, грязь, раздавленные почтовые ящики, сортир в парадной, перлы народного нецензурного творчества на стенках лифта...

Остается утешаться тем, что по сравнению с XVII веком мы все-таки приблизились к Голландии; за неимением под рукой книги о русском быте XVII века приведу выдержку из книги «Петербург Анны Иоанновны в иностранных описаниях»: «Крестьянские избы в русской Карелии и, по рассказам, в северной части великого княжества Финляндского — это земные чистилища: без окон, лишь с маленькими отверстиями в стене, и без дымовых труб. Поэтому дым, выйдя из печи и некоторое время поплавав по комнате, просачивается наконец сквозь неплотный потолок, и сие расставание все присутствующие не могут пережить без текущих в три ручья слез... Путешественник должен иметь с собой и питье, и еду, ибо нигде, кроме больших городов, не найдет ничего пригодного в пищу. Берут с собой также постель и едут лежа, укрытые ковриком либо кожей в своей спальной повозке или санях, ведь в крестьянских домах нет кроватей и так дымно, что долго в них не пробудешь».

Ну ладно, это пишет ученый швед Карл Рейнхольд Берк — с какой стати верить нам ученому иностранцу? Но так же, и еще страшней, выглядит изба в «Путешествии» Радищева: «пол в щелях, на вершок, по крайней мере, поросший грязью» и т. д.

Отвлечемся от избы, откроем «Войну и мир». 1806 год, возвращение Николая Ростова из армии в Москву. «Наконец сани взяли вправо к подъезду; над головой своей Ростов увидал знакомый карниз с отбитою штукатуркой, крыльцо, тротуарный столб... «Боже мой! Все ли благополучно?» — подумал Ростов... пускаясь бежать дальше по сеням и знакомым покривившимся ступеням. Все та же дверная ручка замка, за нечистоту которой сердилась графиня, так же слабо отворялась. В передней горела одна сальная свеча... Старик Михайло спал на ларе. Прокофий, выездной лакей... сидел и вязал из покромок лапти...»

Читая роман, мы не обращаем внимания на эти мелочи, мы несемся навстречу любви и великим мыслям, как молодой Ростов. Но отбитая штукатурка, покрывшиеся ступени, грязная дверная, да еще «слабо отворяющаяся ручка», тьма в передней, старый слуга, спящий на ларе...

Понятно, что все эти вещи должны, по замыслу Толстого, говорить в пользу любимых им Ростовых и старомосковского барского быта, противопоставленного, как справедливо пишут в школьных учебниках, петербургскому великосветскому и бюрократическому лоску. Но иногда бывает интересно, освободившись от авторского гипнотического внушения, взглянуть на предлагаемую картинку с другой, безыдейной точки зрения.

Ну как тут не подивиться маленькой провинциальной Голландии, где уже в XVI — XVII веках горожане спали раздетыми на крахмальных простынях и пуховых перинах с кистями (рембрандтовская «Даная», Ф. Ван Мирис Старший — «Утро молодой дамы»), дверные и оконные ручки сверкали, наборные полы и витражные окна блестели, комнаты были залиты светом или, наоборот, затенены надежными, плотными шторами (П. Янсенс Элинга — «Комната в голландском доме», Габриел Метсю — «Завтрак»). Больше всего меня умиляет метла на одной из картин Вермеера — не наш веник или корабельная стоптанная швабра, а какое-то рациональное, обдуманное изобретение с длинной черной лакированной ручкой и расположенной по окружности гибкой метущей частью. И это разговор о живописи? Сгораю от стыда.

С. А. Толстая, приехав впервые в Ясную Поляну, была поражена отсутствием наволочек на подушках в доме у Толстых. Скажут: и не надо наволочек, спал бы на наволочках — не написал бы «Детства», «Отрочества», «Юности» или «Утра помещика». Ну почему же? Потом, уже при наволочках, написал все-таки кое-что, например «Войну и мир».

Фет в деревенских очерках рассказывает: «Куда бы вас, кроме помещичьего дома, ни закинула судьба на ночлег, вы везде мученик. Всюду одно и то же. Духота, зловоние самое разнообразное и убийственное, мухи, блохи, клопы, комары, ни признака человеческой постели, нечистота, доходящая до величия, ни за какие деньги чистого куска чего бы то ни было. Всюду дует и течет, и ни малейшей попытки принять против этого меры. Страшный зной, но никакой потребности посадить под окном деревцо... Вы скажете: бедность. Но почему же в уездных городах, у зажиточных людей, осушающих по нескольку самоваров в день, — то же самое? Тот же разительный запах прогорклого деревянного масла и невычищенной квашни, та же невозможность достать чистой посуды или пищи... Нет, — думаете вы, — нужна еще тысяча лет...»

Фета, хотя он и должен был до получения им дворянства подписываться под документами: «К сему иностранец Фёт руку приложил», — вряд ли кто-нибудь осмелится назвать иностранным злопыхателем.

Может быть, весь ужас революций и гражданских войн, вплоть до войны в Чечне, весь пыточный кошмар тюрем и лагерей, бессовестной лжи и издевательств над человеком связан с этой грязью, с тем, что не было и нет потребности «посадить под окном деревцо». Там, где сажают деревцо и моют мостовые щеткой, там дорожат жизнью и умеют без надрыва радоваться ей.

О, конечно, «люблю твой строгий, стройный вид», конечно, «вознесся пышно, горделиво», конечно, у нас были и Пушкин, и Батюшков, и Баратынский, и Анненский... Но не благодаря этой грязи, а вопреки ей. «Не дождавшись сумерков, пошел я в Английский клоб, — пишет Пушкин жене из Петербурга в Москву, — где со мной случилось небывалое происшествие. У меня в клобе украли 350 рублей, украли не в тинтере, не в вист, а украли, как крадут на площадях. Каков наш клоб? перещеголяли мы и московский!»

Жил в Ленинграде поэт Александр Хазин. Во время войны был на фронте, попал в госпиталь. Вернулся в Ленинград, напечатал стихи в журнале. В

1946 году товарищ Жданов в своем докладе, навалившись на Ахматову и Зощенко, мимоходом задрал, употреблю это словечко из медвежьей охоты, и его — за пародию «Возвращение Онегина». В ленинградском трамвае Онегину наступают на ногу и обзывают «идиотом».

Он, вспомнив древние порядки,
Решил дуэлью кончить спор,
Полез в карман... Но кто-то спер
Уже давно его перчатки,
За неименьем таковых
Смолчал Онегин и притих.

«Вот таким представил Ленинград и ленинградцев пошляк Хазин». А что? И в самом деле пошляк. У Пушкина кошелек украли — и ничего! «Ты думаешь, что я сердился, ничуть. Я зол на Петербург и радуюсь каждой его гадости».

Я видел милейшего и печального, как все юмористы (впрочем, станешь тут печальным и без юмористического таланта), Александра Абрамовича Хазина, писавшего в пятидесятые — шестидесятые монологи и скетчи для А. Райкина, два или три раза в жизни — последний раз в метро, незадолго до его смерти. Он рассказал мне, что у него в ленинградском пригороде сожгли дачу.

Частная собственность в России — большое испытание. На даче нельзя держать ни телевизор, ни велосипед, ни сколько-нибудь приличную посуду, стулья, кресла — обворуют, унесут.

Я ничего на даче и не держу. Признаюсь, меня даже устраивает такая спартанская простота. Мой отец, выйдя в отставку, стал страстным садоводом, при его жизни у нас плодоносили замечательные яблони: штрифель, коричное полосатое (не уверен, что правильно помню название, а спросить не у кого), белый налив... Клубника, смородина, крыжовник... Последнее слово я вывел с некоторым смущением, читатель знает, почему.

Сейчас мои двенадцать соток в полном запустении. Яблони замерзли, высохли, их пришлось срубить. Крыжовник заглох. Зато ярко разросся шиповник и пылает все лето, радуя взгляд. Как сказано у Баратынского в его «Запустении»: «Еще прекрасен ты, заглохший Элизей». В дом из сада на подошвах мы заносим траву, ее серебряные нити приходится то и дело выметать из комнат. Я мог бы сказать, что возделываю другой сад — и в нем я самый трудолюбивый, рачительный, как сказали бы в старину, хозяин. Но эта фраза — пышное, и пошлое, и никчемное оправдание. На самом деле — оправдания нет. Потому я и живу в России и не хочу, не могу жить в другой стране, потому, может быть, и люблю так Вермеера, что устроен я не так, как голландцы, — по-другому.

«Человеку нужно не три аршина земли, не усадьба, а весь земной шар, вся природа, где на просторе он мог бы проявить все свойства и особенности своего свободного духа». Боюсь, мы в России проявили эти «свойства и особенности своего духа на просторе» так, как никому на земле и не снилось. И это пишет Чехов! Чехов, который не был ни идеологом, ни максималистом, который у себя в Мелихове сажал деревья, разводил цветы, а потом построил ялтинский дом в стиле модерн согласно самым цивилизованным европейским стандартам (правда, камин был сооружен таким образом, что дым почему-то задувало в комнату, и холодно зимой бывало так, что хозяин спал в войлочных туфлях, — но это уже мелочи и придирки).

Хорошо ли это? То есть спать в войлочных туфлях. Ясное дело — нехорошо, неловко. Но я имею в виду другое: нужны ли такие подробности и детали в разговоре о замечательном человеке? Подробности всегда разоблачительны, так как приближают к нам объект нашего внимания, — собственно, именно этим и заняты экскурсоводы (отчасти и мемуаристы), а иначе кто бы им верил и кто бы им внимал? Не повезло Чехову, — Вермееру повезло: о нем воспоминания не написаны и в доме, где он жил, музея не открыть, — несколько до-

мов спорят за право принадлежать ему, и все они перестроены внутри и снаружи так, что и сам хозяин наверняка бы ничего не узнал и запутался.

Мысль, сделав петлю, возвращается к русской теме. Русский дух сидит в каждом из живущих в России. Даже в Чехове. Даже в Ахматовой. Кресло в ее комнате в Фонтанном доме, как вспоминает не то с умилением, не то с состраданием мемуаристка, не имело одной ножки — вместо нее под кресло был подставлен кирпич. Можно подумать, что он попал к ней домой из ее молодых, таких убедительных в своих как бы необязательных подробностях, стихов: «На кустах зацветает крыжовник, / И везут кирпичи за оградой...» Один кирпич упал с подводы и был приспособлен к домашним нуждам.

Голландские города сложены из кирпича. Не только здания, но и мостовые. Поэтому и дворы, и улицы кажутся продолжением интерьеров: такая же выверенность, упорядоченность, чистота. Голландский каменщик в XVII веке зарабатывал очень хорошо. В 1671 году Вермеер получил после умершей сестры наследство — 648 флоринов. Эта сумма, оказывается, равна двухгодичному заработку каменщика — художник здорово разбогател. Через двадцать лет после его смерти его картина «Женщина, взвешивающая жемчуг» была продана на амстердамском аукционе за 155 флоринов, а «Мастерская художника» — за 45.

«Вид Дельфта» с его черепичными крышами, пунцово-огненными стенами, «Улочка», охряная, сплошь кирпичная, — я не увлекся, — кирпич имеет такое же прямое отношение к разговору о Вермеере, как кресла и парчовые скатерти, бокалы и кувшины, и ни в чем не уступает жемчугу по красоте.

Имеет к моему рассказу отношение и та подробность, которую я хочу здесь привести из пушкинской статьи: «Вдова старого профессора, услыша, что речь идет о Ломоносове, спросила: „О каком Ломоносове говорите вы? Не о Михайле ли Васильевиче? То-то был пустой человек! Бывало, от него всегда бегали к нам за кофейником"».

Уж не заняться ли мне здесь выяснением причин, повлиявших на национальный характер? Татаро-монгольское иго, крепостное право... Лично мне всегда хочется объяснить историю географией: огромность пространств и жестокая зима. Возможно, со мной согласился бы Вермеер: у него есть картина «Географ». Ученый в синем халате, циркуль в руке, глобус на шкафу. И еще какие-то рулоны бумаги на столе. Ни мензурок, ни колб, ни змеевика, ни медицинских скальпелей и ножей, ни линз, ни огня на спиртовке... — несерьезная, облегченная наука. Самый легкомысленный учебный предмет в школе, которого никто никогда не учил и не боялся? География. И у Вермеера тоже географ какой-то неубедительный. Лучше всего получилась смятая тяжелая узорная скатерть.

Пушкин выводил наше несчастье из того, что «схизма (разделение церквей) отъединила нас от остальной Европы» и христианство в России носило иной, нежели на Западе, характер. «История новейшая есть история христианства. Горе стране, находящейся вне европейской системы». Такой страной он называет Россию. При этом, возможно, он имеет в виду то же, что подметила англичанка Элизабет Джастис, оказавшаяся в России в 1734 году: «Русские ходят в церковь вечером, как и днем. Отправление обрядов состоит в том, что они крестятся, кланяются и бьются головой об пол, повторяя часто и быстро, как только возможно, слова: «Господи, помилуй нас». И те, кто проговаривает это быстрее всех, считаются самыми набожными».

Осознание труда как важнейшей стороны общения с Богом и служения ему — нам почти не известно.

Впрочем, вряд ли, говоря о Вермеере, следует напирать на трудолюбие — скорей уж на жизнерадостность его живописи и внушаемое ею ощущение опрятности, праздничности и душевной чистоты. Работ, бесспорно принадлежащих Вермееру, немного — тридцать пять. Как мало написал он по сравне-

нию с Рембрандтом, Рубенсом или Сезанном, Дега... Как мечтал я увидеть его въяви, а не на репродукциях! В 1984 году в Эрмитаже была открыта выставка картин из Дрезденской галереи — и там впервые перед нами предстала его «Девушка, читающая письмо у раскрытого окна», — я спешил к ней, как на любовное свидание. Ничего не преувеличиваю, — вот ведь даже стихи были написаны в те дни по этому поводу:

Неужели увижу сегодня, не может быть,
Эту девушку на полотне золотом, заезжем?
Неужели дотянется к нам голубая нить
Драгоценная, в пальцах повертим ее, подержим?

Неужели в глаза мои хлынет жемчужный свет,
Напоенный голландской, приморской и мглистой влагой?
Баснословная скатерть и в кнопочках табурет;
Или кресло? С почтовой в руках замерев бумагой.

А кончалось стихотворение так:

Жить в семнадцатом веке, не подозревать о том,
Как изменится жизнь через два или три столетья,
И прельщать так и радовать этим цветным стеклом,
Этим воздухом теплым, как жимолостные соцветья...

(Декабрь 1984)

Я не собирался вводить в прозаический текст свои стихи, но как иначе мне объяснить, что значил для меня Вермеер? Не украшением текста призваны здесь быть стихи, а, можно сказать, вещественным доказательством. Потому, возможно, и не удаются, и разочаровывают биографии, что встреча с книгой, с живописью, музыкальным произведением, морскими волнами, горной тропой в человеческой жизни может значить не меньше, чем знакомство с замечательным человеком, ввод танков в Прагу или устройство на новую работу.

Боже мой, рыскать по свету, чтобы увидеть, где только это возможно, еще одну вещь любимого художника! Есть ведь и такой род собирательства. Как понятен мне, например, А. Д. Чегодаев, исколесивший мир, чтобы издать в 1985 году книгу об Эдуарде Манэ! Как завидовал я ему! В Лувре — «Олимпия» и «Краснобородка с угрем», в Авиньоне — «Натюрморт», в Цюрихе — «Гавань в Бордо», ну а в Нью-Йорке... В Нью-Йорке я и сам потом увидел «Женщину с попугаем», и «Мальчика со шпагой», и «Викторину Мёран в костюме эспады»...

«Вот счастье! вот права...» Я дождался, я воспользовался ими после 1987 года, когда меня выпустили за границу. Metropolitan Museum и Frick Collection в Нью-Йорке. Национальная галерея в Вашингтоне. Gardner Museum в Бостоне. Амстердам, Гаага, Берлин, Лондон и Париж... Вот в Вене только не был — так и не увидел «Мастерскую художника» («Аллегория живописи»). Где-то в Ирландии, в Блессингтоне (я и не знаю такого города), есть один Вермеер («Письмо»).

Наверное, следовало бы поговорить о перекличке тонов, о теплых рефлексах и колористических завоеваниях Вермеера, о проблеме света. Свет — главное действующее лицо его картин и значит так же много, как клубящаяся красно-дымно-коричневая или болотисто-зелено-золотистая мгла у Рембрандта. Свет создает их цветовую гармонию, солнцем загораясь на корсаже платья, усиливая отливающую голубым белизну накидки на голове женщины, — таким голубовато-розовым бывает только что выпавший мартовский снег. Недаром и та, что с кувшином, и та, что с ожерельем, и та, что с лютней, и та, что с письмом, — все они обращены к одному и тому же окну; иногда это окно открыто — и тогда («Офицер и смеющаяся девушка») не знаешь, чему приписать ее сверкающую улыбку: удовольствию от беседы с нравящимся ей кавалером или свету, вливающемуся в окно. Тут я невольно впадаю в напыщенный

повествовательный тон искусствоведческих штудий; примерно так же музыковеды пересказывают музыку в филармонических аннотациях к ней. Обойтись без специальных терминов вроде лессировки или пастозности (у Вермеера ее нет) — то же самое, что в разговоре о стихах проигнорировать ритмику и метафоры, ничего не сказать о дактилических рифмах, пиррихиях и спондеях... Увы, такой разговор мне не по силам. Дай бог не допустить какой-нибудь слишком явной нелепости, ошибки. Вот ведь даже Гёте, назвавший Рембрандта мыслителем, а Рейсдаля поэтом, споткнулся на Терборхе и назвал одну из его картин «Отеческим увещеванием», тогда как на ней изображено нечто прямо противоположное. Не повезло с Терборхом и такому знатоку, как Александр Бенуа, допустившему тот же промах. Знаменитый «Бокал лимонада» он объяснил так: «Анекдот ее (картины) самый обыденный. Молодой даме, нехорошо себя чувствующей, поклонник ее готовит лимонад под участливым взором почтенной маменьки». На самом деле «Бокал лимонада» — типичная сцена у сводни, излюбленный сюжет веселых голландских живописцев.

Рассматриваю фотографии прошлого лета. Ты стоишь спиной к каналу, под тонкоствольной, тонколиственной, какой-то разреженной, «тиховейной», как сказал бы Тютчев, акацией, — на заднем плане старый голландский, с огромными высокими окнами дом из красного кирпича, белые наличники, алая герань на окне второго этажа; а вот опять ты — облокотясь на прикованный к белым перилам ограды велосипед, — канал, дома, встающие, как в Венеции, из воды. Светловолосая, в зеленом костюмчике, улыбающаяся, — могла бы вполне сойти за голландку.

Вот я, видеть себя на снимке бывает так же неприятно, как слышать свой голос в магнитофонной записи. Пропускаю.

Вот снова ты; какие яркие, желтые, красные, синие, маркизы затеняют здешние витрины, какие спокойные, никуда не бегущие прохожие бережно огибают тебя, чтобы не попасть в кадр, не помешать этим двум туристам — откуда? может быть, из Австрии, Франции? нет, наверное, из Восточной Европы, — и, потому что замешкались в последнее мгновение, все-таки остаются на снимке, на его периферии, — улыбчивые, предупредительные, вежливые статисты.

Ты на фоне пышной, украшенной красными ставнями многобашенной ратуши со статуей Правосудия, залезшей на крышу со своими громоздкими атрибутами: весами и мечом. Сюда заходил Вермеер: здесь 5 апреля 1653 года состоялось, как тогда было принято, оглашение предстоящего его бракосочетания с Катариной Болнес. Эти сведения я выписываю из французского варианта путеводителя по Дельфту «Sur les traces de Johannes Vermeer», по следам Яна Вермеера, что напоминает мне «В поисках за утраченным временем» — дикий, нелепый и все равно милый моему сердцу перевод названия любимого романа в русском его издании 1936 года.

И лишь на одном, последнем, снимке мы вдвоем. Помнишь, прохожая голландка, улыбнувшись, предложила нам свою помощь: мы уселись на ступеньки высокого, крутого каменного мостика, похожего на грот, и она щелкнула нас. Было это уже под вечер, когда мы повернули к вокзалу, — на одной из самых тихих и пустынных улиц города. Дельфтский мастер, покажи мы ему, как это делается, пришел бы в восторг, а потом, возможно, и огорчился бы, сообразив, чем грозит волшебный аппарат великому искусству.

ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

НИКИТА ЕЛИСЕЕВ

*

АЗОЛЬСКИЙ И ЕГО ГЕРОИ

Судьба писателя. Молодой человек в 1968 году приносит в журнал «Новый мир» роман в 30 листов.

От романа все ахают — и тут же ставят на обложку в план издания: Ан. Азольский. «Степан Сергеич».

Речь в романе идет о нравах на режимном объекте. Роман не разрешают к изданию. Для самиздата роман слишком советский, слишком «производственный». Для советских издательств... тоже.

Можно издать «Немного солнца в холодной воде». Но издавать роман про бардак на режимном объекте?!

Вечная беда честных советских писателей: они пишут о том, что видели и что знают, а редакторы возмущаются: «Да если вы видели такие беспорядки в Конной, почему вы начальству не сообщили, зачем вы это в рассказе пишете?» («Новое о Маяковском» — «Литературное наследство», т. 65. М. 1958, стр. 50). Ситуация гипотетически достраивается: да если вы знали, что такое безобразие творится — на Черноморском, на Северном флоте, на режимном объекте, — отчего же вы в прокуратуру не обратились? Советский писатель (честный специалист, без тени вредительства) тоже разводит руками: «Но это, простите, вовсе не безобразие. Это — жизнь. Обычная жизнь». Честный советский писатель иногда и не подозревает, что на этот счет у начальства точно такое же мнение.

«Мы с Тухачевским считаем, что крики о разложении в смысле потери боеспособности буденновцев неосновательны... Пьянство и грабежи у них старое явление...» (письмо С. Орджоникидзе В. И. Ленину, 1920 год).

«Душок легкого развратца, обычный для режимного заведения, сгустился здесь до ядовитого облака. ...стоимость труда монтажниц Гаврилов (начальник цеха. — *Н. Е.*) определял на диванчике в своем кабинете, через него прошли почти все молодые и видные женщины цеха...» (Ан. Азольский, «Розыски абсолюта» — «Дружба народов», 1995, № 11).

«Четко и малопонятно капитан стал объяснять... Дома эти — общежития строителей, женские общежития, вчера у женщин была получка, матросов в общежитии полно, патрули не столько наблюдают за порядком, *поскольку порядок есть* (курсив мой. — *Н. Е.*), сколько предупреждают матросов о скором окончании увольнения. «Так предупреждайте!» — «А вы попробуйте... Вы попробуйте!» Капитан произнес это загадочно... Втянул носом воздух до дна легких, наполняясь решимостью. Сказал, что солдаты, с которыми он вышел патрулировать, отправлены обратно в часть, пусть его за это накажут, пусть. Есть еще один патруль, морской, тот воюет в крайних домах. Милиция должна быть, но она обычно разбегается с темнотой» (Ан. Азольский, «Затяжной выстрел» — «Знамя», 1987, № 10).

Словом, «Степан Сергеич» был задержан цензурой до лучших времен, наставших в 1987 году...

Итак, с 1968 по 1987 год — ни одной публикации. В 1987-м — целых две: «Затяжной выстрел» и «Степан Сергеич». В 1995 — 1997-м — залпом, рос-

сыпью по страницам «Знамени», «Дружбы народов», «Нового мира»: «Война на море», «Розыски абсолюта», «Женитьба по-балтийски», «Клетка». Название одного из романов Азольского (по-моему, самого для него характерного) — «Затяжной выстрел» — коррелирует с его писательской судьбой. После долгой пристрелки — залп, взрыв.

«Снаряд... врезался в основание щита, сломал стойку, и полотнище опало, прощально вспорхнув... Последний — семнадцатый — залп лег тоже удачно».

Любимый герой Азольского. Дон Кихот? Да, пожалуй, что-то есть донкихотское во всех этих развеселых старательных ребятах, пытающихся сделать *как лучше* и не понимающих, что *здесь* лучше вообще ничего не делать. Впрочем, донкихотство любимых героев Азольского требует оговорки. Они слишком уж хорошо знают свое дело.

Азольский пишет притчи. Может быть, даже басни. С моралью.

Мораль — проста. Я едва не написал «буржуазна»: не подличай, не лги, не «стучи», не бойся.

Среди самых разных «не бойся» есть и такое: не бойся тайной полиции, жандармерии, КГБ. Эта организация вовсе не всесильна.

Все герои Азольского *с честью* выходят из столкновения с КГБ. Допросы, дознания — все зря. Зубы дракона обламываются на *просто человеке*. Наивности в «простых» героях Азольского хоть отбавляй. И простоты — тоже. Но это не та простота, которая хуже воровства. Ни один из героев Азольского не прост настолько, чтобы попасться самому или подвести друга. Такого наивного дурачка, как лейтенант из рассказа Солженицына «Случай на станции Кочетовка», среди них нет. Ни про одного из них нельзя сказать так, как сказал кулацкий сын Тюрин про повстречавшихся ему студенток: «Едут мимо жизни, семафоры зеленые». Этих на мякине не проведешь.

Если уж они справляются с десятибалльным штормом на Баренцевом море, то с «каверзными» вопросами особиста уж как-нибудь справятся.

«Средняя цена». Эту не лишенную цинизма мысль я вычитал в книге В. Кормера «Наследство»: «Целлариус сказал в ответ что-то смешное — что, дескать, у всех людей, у каждого, есть своя «средняя цена» и он не знает, как у других, но у него она останется прежней при любом режиме... кто бы ни пришел, даже Гитлер».

Люди с высокой «средней ценой» — герои Азольского.

Оглядывая русскую литературу в поисках аналогов, с удивлением убеждаешься, что аналогов — нет.

Штольц и фон Корен слишком антипатичны. Многочисленные герои советской литературы слишком фанатичны. Героев, которые весело и умело делали бы свое дело, героев, которым успех не ломал бы души, здесь не было.

Горький пытался «вылепить» таких героев — не получилось. У него душа лежала к неприкаянным «лишним», выкинутым за борт, на обочину, даже — что страшнее — выкидывающим самих себя за борт: Фоме Гордееву, Тетереву, Сатину...

Горький неприемлем для Азольского. В романе «Затяжной выстрел» командир линкора издевается: «...крейсер «Максим Горький» на Балтике!.. Говорят, на воду спустят еще два крейсера: «Демьян Бедный» и «Михаил Голодный». Будет на Балтике босяцкая дивизия крейсеров... Земля русская талантами не оскудела. Если уж припомнить всех голодранцев в поэзии начала века, то на всю эскадру хватит». Неприязнь и неприятие — открытые, откровенные... Тот, чьими настоящими, подлинными, своими до мучительства героями были проигравшие, не может быть по нраву тому, чей любимый герой — жизнестойкий, твердо стоящий обеими ногами на земле удачник, без-трех-минут-супермен или, как в повести «Клетка» («Новый мир», 1996, № 5, 6), — просто супермен: «широкоплечий парень из тех, кому палец в рот не клади, в синие глаза разрешено смотреть только женщинам».

Раздражала бы «буржуазность» героев Азольского (поскольку в любой проповеди дела, успеха, *силы* есть что-то буржуазное), если бы «буржуазность», сам успех не висели на такой тоненькой ниточке.

Поражение вписано в успех. Прижатые к стенке, висящие над гибелью герои Азольского действуют так, как если бы ничего особенного не произошло. Поэтому — выигрывают... Или — проигрывают. Но это уже несущественно.

Кафка — быль. Надо учитывать вот что: большая часть произведений Азольского написана о 40-х годах.

Азольский пишет о том времени, когда ужаснувшийся Оруэлл писал свою великую и безжалостную притчу. Разочаровавшийся в коммунизме, Оруэлл считал, что жизнь в обществе, подобном советскому, невозможна. Отнюдь не очарованный коммунизмом, Азольский пишет о том, *как* возможна жизнь в советском обществе. Здесь нет места ни проклятию, ни прославлению. Констатация факта.

Жить можно, как можно пройти через минное поле. Осторожно, не торопясь, с миноискателем. Всматриваясь в каждый кустик, в каждую кочку...

Если бы я был издателем, я бы издал «Женитьбу по-балтийски» Азольского и «Процесс» Кафки под одной обложкой.

Кафка всматривается в возникающие перед ним контуры Левиафана, Кафка вычерчивает, до-черчивает то, что еще не окончено, то, что еще в зачатке, в наброске.

Левиафан перемелет, сжует любого — вот вывод Кафки (и Оруэлла).

Азольский описывает, как человек целым, невредимым и почти незамаранным выходит из пасти Левиафана — словно из железных ворот ГПУ. Небрежно одергивает военно-морской китель.

Сыромятная русская сказка, ау... Повезло? Кривая вывезла?

Азольский и традиции русской литературы. Я люблю внутрилитературные «разборки» — нет, не мелкие склоки современников (хотя это тоже интересно), но жесткий расчет с прошлым. С линкора, быстроходного и мощного, летят за борт Акакий Акакиевич с его шинелью и Макар Девушкин с полуоборванной, болтающейся на одной нитке пуговицей.

В начале повести «Затяжной выстрел» командир 5-й батареи Олег Манцев шьет шинель из адмиральского драпа. Мелкая сошка, лейтенант, — и такую шинель из такого материала!

Разумеется, ассоциация не может быть не замечена. Автор сам же ее и подсказывает: «Все наперебой хвалили шинель, у всех развязались языки... кто-то... заявил, что „все мы вышли из манцевской шинели"».

Подсказка верная. Олег Манцев — антипод несчастного, забитого Акакия Акакиевича. Веселый, уверенный в себе, деловой и деловитый — ничего общего с Акакием Акакиевичем... за двумя маленькими исключениями.

Лейтенант Олег Манцев охвачен тем же полубезумным восторгом делания, каким был охвачен Акакий Акакиевич Башмачкин. Он с той же жадностью, жаждой, самозабвением руководит стрельбами, с какой Башмачкин переписывает входящие и исходящие бумаги.

Лейтенанту (и это второе исключение) предстоит столкнуться с той же безжалостной надличной силой, что и герою Гоголя. По Олегу Манцеву прокатится тот же могучий государственный каток.

...«А сколько весит наше государство?» (И. Сталин).

Нелюбовь к начальникам — самая сильная сторона писательского взгляда Азольского.

Образ пуговицы в русской литературе. В повести Достоевского «Бедные люди» есть сцена, по напряжению своему не уступающая захватывающим сценам напряженных детективов.

От вицмундира Макара Девушкина отлетает пуговка на глазах у начальства.

«Моя пуговка — ну ее к бесу! — пуговка, что висела у меня на ниточке, — вдруг сорвалась, отскочила, запрыгала (я, видно, задел ее нечаянно), зазвенела, покатилась и прямо, так-таки прямо, проклятая, к стопам его превосходительства, и это посреди всеобщего молчания... я бросился ловить пуговку! Нашла на меня дурь! ...Наконец поймал пуговку, приподнялся, вытянулся, да уж коли дурак, так стоял бы себе смирно, руки по швам! Так нет же: начал

пуговку к оторванным ниткам прилаживать, точно оттого она и пристанет; да еще улыбаюсь, да еще улыбаюсь!»

Эту великую сцену с пуговкой Азольский переворачивает — так же как он переиначивал всем известный символ — дорогую шинель на плечах маленького человека.

«К предстоящей экзекуции Олег Манцев приготовился более чем грамотно. Под его надзором вестовой перешил вторую сверху пуговицу рабочего кителя, она была на особо прочной нитке, фундаментально закреплена, неотрываемо, но благодаря искусству Дрыглюка казалась висящей на гнилой ниточке, готовой сорваться и упасть. Свисая чуть ниже петли, она нервировала глаз, как одиноко торчащий ствол трехорудийной башни. ...Глаза старпома оторвались от пуговицы на кителе Манцева. Прошлись по матросам, опять напоролись на пуговицу. Рука Милютина дернулась: до зуда в пальцах хотелось цапнуть пуговицу, вырвать с мясом, с корнем, чтоб китель затрещал!» («Затяжной выстрел»).

По сути дела, перед нами символическое обозначение писательского метода Азольского.

Он любит «обманывать» читателя. Читателю подбрасывается ложный сюжетный ход, подсказывается возможное развитие действия, разболтанное, словно свисающая пуговица. Читатель готов вцепиться в подсказанный ему сюжетный ход — так старпому Милютину хочется вцепиться в болтающуюся на нитке пуговицу (вот-вот отвалится). Но — нитка сверхпрочная, ослабьте хватку.

Николай Лесков и Ан. Азольский. Азольский здесь не идет за великой русской литературой. Я бы даже рискнул утверждать, что он перечеркивает определенную традицию русской литературы.

Приевшаяся «пролеткультовская» цитата из Василия Розанова о том, что за сто лет русская литература не выучила мужика косу сработать, потому что описывала только, как «они» любили и как «они» разговаривали, к Азольскому не имеет никакого отношения. «Любовь» и «разговоры» в его книгах тесно спаяны с тем, что, простите за выражение, именуется «производственным процессом».

«Деловые люди», никак не бунтари и уж тем паче не «лишние», — вот герои Азольского.

И кроме того — сюжет.

Азольский «выдувает» детективный сюжет из любой безделицы. Из проблемы увольнения матросов в город. Из встречи на улицах Таллина русского морского офицера и эстонской школьницы.

Мне думается, что один русский писатель все-таки очень похож на Азольского.

Подчеркнутая любовь к людям дела, к профессионалам, *не*любовь к жандармам, равная неприязни к бунтарям и к «лишним людям», пристрастие к экстравагантным случаям, к эксцентричным ситуациям, умение работать с сюжетом, а стало быть, и с читателем (заманивание в гущу, в чащобу текста пряником «тайны») и, наконец, едва ли не самое главное — интонация! Чуть ироничная, спокойная интонация бывалого человека, опытного рассказчика, которого ничем не удивишь, а вот он-то удивить может!

«Человек на часах», «Левша», «Zahme Dressur в жандармской аранжировке» Николая Семеновича Лескова вспомнились мне, когда я читал Азольского...

В поисках абсолюта. Я не совсем уверен в том, сознательно ли сбрасывал с линкора современности Азольский «обесшинеленного» Акакия Акакиевича и «обеспуговиченного» Макара Девушкина, но сознательный намек на исторические рассказы одного современного Азольскому писателя мне кажется совершенно очевидным в ёрническом и безжалостном рассказе «Розыски абсолюта».

Два человека упорно ищут причину, по которой хороший — умный — порядочный — талантливый журналист «скурвился», сделал карьеру, стал нехорошо служить нехорошей власти.

Причина оказалась унизительной, смешной и малопристойной.

Журналист нашел «абсолют», нашел некое фантастическое состояние сверхсвободы (или сверхрабства), в котором «всё можно, всё... но не всем». Это состояние — быть при власти, быть включенным в абсолютную, всепоглощающую власть.

Как бы между делом в этом рассказе Азольский передает анекдот, который наверняка заинтересовал бы Лескова.

На маневрах в Красном Селе Николай Первый почувствовал — ну как бы это поделикатнее выразиться? — переполнение мочевого пузыря. Уединиться негде, повсюду офицеры. Унижать себя при офицерах царь не захотел. Подошел к дамам и стал мочиться на виду у них. Дамы, «не сводившие глаз с императора», прикрывались зонтиками.

Поступок только на первый взгляд дикий и абсурдный, на самом деле в этом поступке есть железная логика «абсолюта» — абсолютной власти.

Если бы Николай Первый в окружении офицеров подчинился физиологической потребности, он оказался бы одним из многих. Он уравнял бы себя с участвующими в маневрах генералами и адъютантами. Направившись к дамам, он подчеркнул тот (и без того неоспоримый) факт, что он, Николай Первый, не такой, как все. Ему (в отличие от всех) позволено все.

В подобном положении оказался и главный герой «Розысков абсолюта»... Внезапно он понял, что один только щелчок — и унизительное, смешное, хулиганское становится особенным... простым смертным недоступным.

У Сергея Наровчатова было два исторических рассказа — «Диспут» и «Абсолют». Один — о «споре» еретика Матвея Башкина с Иваном Грозным. Другой — об абсолютной власти Екатерины Второй.

И рассказы Наровчатова, и рассказ Азольского написаны об абсолютной власти. Невысказанная их идея, кожное их ощущение таковы: может, где-нибудь в других странах и землях власть — проблема политическая и социальная, но здесь, в России, — это проблема метафизическая. Здесь не два измерения — пространство и время. Здесь есть третье измерение — власть.

«Абсолют!» — с восторгом говорит о власти Потемкин в рассказе Наровчатова.

«Абсолют!» — подтверждает эту мысль обмочившийся в автомобильной пробке в центре Москвы в виду здания МИДа Андрей Васильевич Тр-ов в рассказе Азольского.

Снова абсолют. «Человек вообще — свободен или не свободен? В коллективе глохнут некоторые желания, так и не раскрывшись, но тот же коллектив привьет иные, удовлетворит их. Иметь или не иметь, хотеть или не хотеть, быть или не быть — все в конечном счете сводится к выбору между «да» и «нет», что есть и боль и услада человеческой мысли, почему-то стремящейся к единственно правильному решению — безболезненному, если ты избавлен от бремени выбора, если есть абсолютно непогрешимая подсказка. Люди боятся выбора — потому им и нужен абсолют, за них разрешающий все споры в душе» («Розыски абсолюта»).

Это не только проблема Андрея Васильевича Тр-ва, «философствующего журналиста», ставшего большим партийно-идеологическим начальником. Это — проблема писателя Азольского.

Это он ищет «абсолют», то состояние человеческой души, человеческого сознания, когда долг и свобода становятся синонимами.

Жажда цельности, целокупности — лейтмотив прозы Азольского.

«Вестовой у меня — Дрыглюк Василий Мефодьевич, 1932 года рождения, и мальчишкою Дрыглюк Вася бандеровским бандам помогал, сало да самогон таскал им в лес. В том же возрасте другой матрос... обворовывал немецкие госпиталя, медикаментами снабжал партизанский отряд. ...Кем бы ни были

они в прошлом, какие ни есть в настоящем, на корабле они — равны, и уравнивает их нечто высшее, защита Отечества делает их братьями, гражданами, а меня — старшим братом их... Вот тогда и появились на заднем плане три слова: Россия, Флот, Эскадра» («Затяжной выстрел»).

Это братство приобретает у Азольского почти мистические черты.

«В кромешной тьме глаза постепенно обретают кошачью зоркость, уши научаются из привычного шумового фона выделять людские голоса, рыканье телефонов, трещание звонков, доклады орущих сигнальщиков, свистки переговорных труб и — на что нацелено все внимание — приказания командира корабля. На ходовом мостике, в боевой рубке — то единочувствование живых существ, одетых в кожанки и шинели, та одинаковая степень восприимчивости, которые достигаются месяцами совместной службы, но могут возникнуть и мгновенно,— как и раздробиться, распасться на части, и тогда корабль — всецело во власти моря. Все зависит от схожести и сходимости людей, единочувствованием этим охвачены не только люди, но и нактоузы компасов, решетчатый настил под ногами и другие неодушевленные предметы... Все в том же кителе поверх свитера, без фуражки, возвышавшийся над палубой Байдачный соленым морским матом и рубящими жестами длинных — в полствола — рук подчинял себе людей, ветер и волну, на гребне которой, оседлав ее, качались оба корабля, связанные тросом и самой волной, перетекавшей в другую, третью... Слитнодумающий и единочувствующий мостик соображал, оценивал, возмущался, печалился и прозрачно-ясно мыслил» («Война на море» — «Знамя», 1996, № 9).

Гимн «единочувствования» и «слитнодумания» заставляет вспомнить таких певцов воинского братства, как Юкио Мисима и Эрнст Юнгер.

В особенности — Мисиму...

Сознательно или нет, но «японская» тема, я бы даже сказал — «самурайская» тема, скрыто, но мощно звучит в повести Азольского «Война на море».

«Что с Додоновым — об этом поведал фельдшер перед входом в лазарет. ...Миша Додонов умирал, и умирал от позорной раны. Командир БЧ-2 вспорол себе живот кортиком».

В Японии такая смерть считалась почетной.

Юкио Мисима целый рассказ посвятил воспеванию древнего обычая харакири. Рассказ назывался «Патриотизм» — и главная его идея, «мыслечувство» были таковы, что с ними, пожалуй, согласился бы и Азольский. Личные чувства тем более сильны, чем более они подпитаны тем «общим», за что личность готова отдать самое себя.

Россия, Флот, Эскадра. (Япония, Император, Честь.)

По большому счету, совершенно не важно, з а ч т о готова пожертвовать собой личность — хоть за... правильное увольнение матросов на берег.

Азольский не просто не примет шутки джойсовского Стивена Дедала, он не поймет даже возможности такой шутки: «Допустим, вы погибаете за родину... Не подумайте, что я желаю вам этого. Но я говорю: пускай моя родина погибает за меня».

«Слитнодумание» и «единочувствование» героев Азольского приводят к их, если так можно выразиться, взаимозаменяемости.

Финал повести «Война на море»: вместо Коли Иваньева, героически погибшего, к девушке приходит его друг Толя Калугин. (Знакомились Коля и девушка в темноте, на бегу не успели рассмотреть друг друга.)

«— Вот и ты, — произнесла она. — Пришел, вернулся... Как у Симонова: жди меня, и я вернусь. Я ждала — ты вернулся, Коля...

— Толя, — поправил Калугин. — Ты, Таня, не расслышала тогда...»

На ней были настоящие довоенные туфельки, короткая юбка, сшитая из синего кительного сукна, джемперочек. Шея тоненькая, сиротливая, в глазах — радость узнавания».

Советская власть. Кое-что раздражает меня в произведениях Азольского. Ну, например: «...в стиль этих мерзких франсуаз, шарлотт и симон, у которых

каждый абзац полустон страсти» («Розыски абсолюта»). Чем ему Франсуаза Саган и Симона де Бовуар так не понравились? Может быть, Симона де Бовуар и Франсуаза Саган потому так «мерзки» Азольскому, что совершенно не замечают советской власти? Про что угодно они могут писать. А Азольский не может писать про что угодно. Его непременно «вывернет» к советской власти. Он, может быть, и хотел бы писать про любовь, как Франсуаза Саган, или про море... как Станюкович. Не получается. Советская власть оказывается для него такой же эстетически необходимой стихией, как десятибалльный шторм, как любовь между русским морским офицером и эстонской школьницей, как смерть, как одиночество, как солнце, опускающееся в море.

Азольский понимает, что все эти ОКОСы, допросы, анкеты, характеристики, девятые отделы, 78-е комнаты — гадость и мерзость, ничего более, но что поделаешь? Стихия! Девятый вал, минное поле, через которое надо пройти, не взлетев на воздух.

Окружающий мир герои Азольского не собираются ни переделывать, ни прославлять. Они намерены жить в этом мире, сообразуясь с обстоятельствами, принимая правила игры.

Правила безумны, нелепы, жестоки...

Но что поделаешь — ты втиснут, вплетен в эту жизнь, в эти «правила», как герой и героиня повести «Женитьба по-балтийски».

В 1953 году лейтенант Алнькин видит на ночной улице Пикк города Таллина такую сцену: «Мимо него прошла странная парочка: одного роста с ним офицер в черной флотской шинели и фуражке и — слева от него, чуть впереди — женщина, вроде бы спотыкающаяся, пьяная, потому что офицер придерживал ее левой рукой, полуобняв, пытался приспособить свой шаг к дергающейся походке спутницы...» Позднее лейтенанту Алнькину в компетентных органах разъяснят, чему он был свидетелем: «Вечером 13 марта около 22.00 некая пожилая эстонка выскочила из дома на улицу за внуком, стала искать его, и вдруг перед нею вырос одетый во все черное мужчина, который наставил на нее пистолет и приказал исполнять все, что он скажет. Онемевшая от страха женщина возражать не стала. Тогда мужчина расстегнул пальто, оказавшееся морской шинелью, а вслед за ним и брюки. Старухе было приказано взять рукою выпростанный из брюк предмет и идти в сторону Ратушной площади, что она и сделала под дулом пистолета».

Алнькину предлагается задачка: или он находит офицера, который пошутил так удачно, или свидетеля, который подтвердил бы, что Алнькин был в это время не на улице Пикк, а в любом другом месте древнего города Таллина.

Офицера-шутника Алнькин только что видел: он вышел из той же комнаты, куда еще предстоит войти Алнькину. Алнькин даже слышал, чем завершился допрос шутника — принятием к сведению его мнимого алиби.

Остается разыскать свидетеля.

Алнькин вспоминает эстонскую школьницу, которая объяснила ему, как пройти к Дому офицеров. Хорошая девочка! — так обрадовалась, когда лейтенант купил ей коробку конфет и букетик цветов. Вот кто может подтвердить, что Алнькина не было на улице Пикк в тот злополучный вечер.

«Компетентные органы» оказываются в повести Азольского той стихией, той холодной, враждебной человеку стихией, которая (словно в пушкинской «Метели») вопреки своей природе не разлучает, а соединяет двух любящих...

Алнькин разыскивает эстонскую школьницу. И — как в романах — юная эстонка и русский офицер влюбляются друг в друга.

До хеппи-энда, однако, еще далеко, как далеко до спасительного для героев повести падения Лаврентия Берии.

Компетентные органы выяснили, что эстонская десятиклассница, на которой женился лейтенант Алнькин,— незаконная дочь Ральфа Лаанпере, врага советской власти, члена правительства буржуазной Эстонии, эмигрировавшего в Швецию.

Теперь лейтенанту надо спасать не только себя, но и свою жену — Леммикки Ивиевну Йыги-Алыкину.

Лейтенанту везет: вовремя снимают Берию. Могло и не повезти. Тогда бы лейтенант и его жена отправились в места не столь отдаленные.

Допрашивающие Алыкина особисты никак не возмущают его нравственное чувство. Стихия, правила игры — ничего не поделаешь, как ничего не поделаешь с мором, со смертью, с любовью.

Есть поразительная сцена в этой повести Азольского.

Мать эстонской школьницы говорит русскому военному офицеру, «что не отдаст дочь ни этой власти, ни этому офицеру, представителю этой власти, которую она ненавидит, потому что она сломала жизнь всем эстонцам, ей самой, отцу Леммикки и, оказывается, Леммикки тоже».

Только что в этой квартире был обыск, над дочкой эстонки висит обвинение в шпионаже. Есть от чего крикнуть в лицо русскому офицеру: «Вы сломали жизнь целой стране!»

Офицер приходит в пивную, заказывает пиво и водку. Сидит, опечаленный, думает: он-то чем виноват? Он, что ли, сломал жизнь этому народу? Его точно так же таскают на допросы, как и мать его любимой девушки.

Не только у героя, но и у автора ни на секунду не мелькает мысль о том, что эстонка п р а в а.

Разве не так? Разве не армия и флот, в котором верой и правдой служит честный, порядочный, смелый и т. д. офицер, полюбивший эстонскую девушку, защищают тот строй, при котором возможны и незаконные обыски, и унизительные допросы, и не менее унизительные анкеты?

Империя. Сюжет «Женитьбы по-балтийски» похож на анекдот. Но в анекдот вправлена нехитрая житейская мудрость.

Империя — это не только угнетение. Империя — это еще и люди; судьбы людей переплетены, спаяны, слиты с империей. Империя — это еще и любовь, внезапно (на то и любовь) вспыхнувшая между русским морским офицером и эстонской школьницей...

Такой удивительный вариант «Ромео и Джульетты»: «Монтекки» — огромная держава и ее карательные органы, а «Капулетти» — гордая, не подчинившаяся этой державе маленькая страна...

Но — поверх всей и всяческой политики — имперской или националистической, — поверх всего того, что может разделять людей, — любовь...

Впрочем, неназванная, подспудная тема «Женитьбы по-балтийски» связана не только с любовью, но и с империей.

«Все уже в прошлом. Может быть, и к лучшему?..» — последние слова повести тоскливы. Когда человек интересуется: «Может быть, к лучшему?» — это означает, что он не решается спросить: а не к худшему ли?

Подспудная тема повести: нож национальных революций пройдет не только по империи, но и по человеческим судьбам.

Это — больно.

В книге Йозефа Рота «Немой пророк» старый австрийский сановник говорит дипломату из Советской России (уроженцу Австро-Венгрии): «В мое время, когда человек для нас был важнее, чем его национальность, у нас была возможность сделать из старой империи родину для всех».

Под этими словами, пожалуй, подписался бы и Азольский.

Лейтенант Алыкин, который собирается жениться на эстонке Леммикки, укрепляет империю.

Органы госбезопасности, мешающие этой женитьбе, объективно делают все, чтобы империя ослабла.

Впрочем: «Все уже в прошлом. Может быть, и к лучшему?»

Утопия. Любимые герои и любимые ситуации Азольского кажутся противоядием от утопий: хватит уже, по горло наелись спасением мира и человечества. Нам бы спасти самих себя и своих близких от непрошеных, незваных «спасителей человечества».

Герои Азольского не похожи не только на наивного лейтенанта из солженицынского «Случая на станции Кочетовка».

Благородный и жертвенный Иннокентий (из «Круга первого») так же далек от них, так же им непонятен.

Здесь есть некая опасность, формулируемая приблизительно так: как бы противоядие не сделалось опаснее самого яда.

Во всяком случае, сверхчеловек из повести «Клетка» кажется мне утопией ничуть не менее фантастической, чем рай, построенный в одной отдельно взятой стране или во всем мире.

Если рай на земле невозможен, то почему возможен на земле полубог, которого нельзя ни убить, ни обмануть, ни обольстить?

Именно таков главный герой «Клетки» — Иван Леонидович Баринов.

Гиперболизированные, доведенные (если так можно выразиться) до своего логического конца излюбленные ситуации Азольского начинают приобретать опасно пародийные черты.

Непотопляемость героев, их выживаемость в любых условиях в повести «Клетка» становятся приметами иной литературы — фэнтези, детектива, плутовского романа. «...Три пули, две в груди, одна в затылке...»

Плутовской роман и миф, сказка приходят на ум, когда читаешь повесть про похождения Ивана Баринова.

Мифологические и литературные прототипы героя обнаруживаются с первых же страниц повести «Клетка».

Младенец Ваня Баринов — которого пытался придушить в колыбельке вор, но чуть не погиб сам — «младенец Геракл, удушающий змей, подосланных Герой».

И недотепистый брат у Ивана Баринова есть, как и у Геракла. У Геракла — Ификл. У Ивана Баринова — Клим Пашутин.

Но если с мифологическими «корнями» Ивана все обстоит более или менее благополучно (все-таки полубог Геракл), то с литературным архетипом возникают некоторые неудобства и сложности.

С того самого момента, как «бывалый вор *ногтем* открыл замок», и вплоть до лакомой добычи — «*полтора миллиона* советских денег, обнаруженных в танке БТ-7» (курсив везде мой. — *Н. Е.*), тень любимого мной с детства героя замелькала на страницах мрачной и патетической «Клетки»...

Остап Ибрагимович! Сын турецкоподданного, командор! Великий комбинатор, умудряющийся обмануть милицию, советскую власть, подпольного советского миллионера, старичка Коробейникова и самое смерть!

Иван Баринов — химик, математик, начальник разведки партизанского отряда, человек, живущий под разными именами, с разными паспортами, свой человек — в милиции, в НИИ, в воровском шалмане, — да это же протеичный и ловкий, неунывающий и жизнестойкий Остап Ибрагимович!

Как будто нарочно, чтобы подтвердить «архетипичность» Ивана Баринова, в спутники ему, умелому, опытному, владеющему собой, дан недотепа интеллигент Клим Пашутин.

Мифологический Ификл превращается в «литературного» Ипполита Матвеевича Воробьянинова.

«На веранде бушевал Клим, что-то круша, стекла не звенели, огонь не взвивался над крышей, и дымом не пахло, но страшнее пожара был визг и хохот двух проституток, за которыми гонялся голый Клим... Клима Иван прибил, шлюх выгнал...»

«В первом же переулке Ипполит Матвеевич навалился на Лизу плечом и стал хватать ее руками... «Поедем в номера», — убеждал Воробьянинов. ...Остап подошел к Воробьянинову вплотную и, оглянувшись по сторонам, дал предводителю короткий, сильный и незаметный для постороннего глаза удар в бок. «Вот тебе милиция! Вот тебе дороговизна стульев для трудящихся всех стран! Вот тебе ночные прогулки по девочкам! Вот тебе седина в бороду! Вот тебе бес в ребро!» Ипполит Матвеевич за все время экзекуции не издал ни

звука. Со стороны могло показаться, что почтительный сын разговаривает с отцом, только отец слишком оживленно трясет головой».

У Ильфа и Петрова получилось не просто смешнее, но еще и «живее», «ре-али-стич-нее»...

Жулику Остапу веришь, и в существование жулика Остапа — веришь.

В существование авантюриста и великого ученого Ивана Баринова как-то не верится. Это — фикция, утопия, миф, сказка.

Обаяние Манцева, Алныкина, Калугина, Байдачного, Иваньева — героев других книг Азольского — исчезает в супермене Иване Баринове.

Азольский и сам чувствует «утопичность», невероятность выдуманного им человека.

Словом, недаром именно по поводу этой остросюжетной повести А. Немзеру припомнились слова Мандельштама из статьи «Конец романа»: «Ныне европейцы выброшены из своих биографий, как шары из бильярдных луз...»[1] Мне вспоминается иная, еще более странная, цитата: «...жизнь... повесть без фабулы и героя, сделанная из пустоты и стекла, из горячего лепета одних отступлений, из петербургского инфлюэнцного бреда...» (Мандельштам, «Египетская марка»).

Удивительно: ведь и герой, и фабула в повести есть, да еще какие! Но и та, и другой словно бы растаивают, словно бы исчезают к концу повествования.

Сверхчеловек, Геракл, гений математики, химии, сыска и преследований, Иван Баринов в буквальном смысле этого слова р а с т в о р я е т с я в окружающей его действительности.

Его — нет. Да и был ли он когда-нибудь? Может, все происшедшее и рассказанное — «петербургский инфлюэнцный бред», кошмар, привидевшийся молодой женщине: «Жена заснула, прижимая к себе сына, ей снилось что-то страшное, будто бы вор забрался в квартиру и польстился на детскую кроватку».

Другие раздражающие особенности. Термин «производственный роман» придумал Пьер Амп в 20-х годах нашего века. Он же был одним из первых авторов «производственных романов».

Лефовец Сергей Третьяков в статье «Биография вещи» ставил Пьера Ампа в пример советским создателям «производственных романов». Пьер Амп знал «производственный процесс» не понаслышке — вот основной тезис С. Третьякова. «Производственный процесс» в романах Пьера Ампа становился не просто средой обитания героев, но одним из героев.

Понятно, что производственными романами были, скажем, военные романы.

Может, кому-то и интересно выяснить, почему разломался крейсер в Баренцевом море в 1942 году.

Мне — неинтересно.

Может, кому-то и интересно выяснить, увольнять матросов на берег или не увольнять.

Мне — неинтересно.

Темы для фельетонов в армейских многотиражках.

Но Азольский строит на этих темах свои л у ч ш и е произведения.

Ему это удается. Убедительная победа «производственного романа» — вот что такое романы и повести Азольского.

Какой-то мемуарист вспоминает, как возмущался Василий Гроссман попавшим ему в руки эмигрантским журналом: у них есть свобода, а на что они ее тратят? На ерунду, на мистику всякую... Нет бы взять да написать честное исследование о колхозном трудодне!

(Возмущение — оборачиваемо. Нетрудно представить себе протагониста Гроссмана, который с изумлением разведет руками: «Ну, знаете! Им дали свободу! А на что они ее потратили? На исследование о колхозном трудодне? На

[1] Н е м з е р А. Взгляд на русскую прозу в 1996 году. — «Дружба народов», 1997, № 2, стр. 167.

художественные изыскания на тему: отпускать или не отпускать матросов в увольнительную?»)

Впечатление. Мгновенная, личная и, конечно, не слишком обязательная ассоциация.

Покуда я читал книги Азольского, покуда раздумывал над поступками и судьбами его любимых героев, меня не покидало ощущение, что где-то я уже э т о видел. Видел вживе... Такое, знаете ли, «дежа вю». В какой-то момент я вспомнил, чуть не хлопнул себя по лбу. Точно так!

По телевизору в самом-самом начале «перестройки» была передача о режиссере, о котором мне много рассказывали родители. Ему не давали ни ставить спектакли, ни снимать фильмы. Он был очень талантливым, странно талантливым режиссером. Одно время он служил в танковых войсках. Словом, я не без интереса смотрел тогда (в 1986-м, что ли, году?) о нем передачу. Он хорошо говорил. Нервно, умно. Иногда — зло. Одна фраза, один его речевой и мимический образ изумили меня. «Вы понимаете, — сказал он, — я ведь кончил офицерское училище, я носил погоны. Я знал службу. И когда я стал режиссером, я служил, — он хлопнул себя ладонью сначала по одному плечу, потом по другому, — я хорошо служил, но...» — он развел руками...

Понятно, что мистик и философ Евгений Шифферс никакого отношения не имеет к ироническому реалисту и чуть насмешливому бытописателю Анатолию Азольскому, но этот вот жест удивления — хлоп, хлоп по воображаемым (или действительным) погонам, — эта вопросительная, нимало не обиженная интонация: «Я же служу, и хорошо служу? Почему же мне не дают хорошо служить? За что?» — припомнились мне, когда я раздумывал над судьбами и поступками любимых героев Азольского.

С.-Петербург.

АЛЕКСЕЙ СМИРНОВ

*

ТИРАНОБОРЧЕСТВО И КЛОУНАДА: СМЕРТЕЛЬНЫЙ ТРЮК

1

Новое рождается из безотчетного импульса. Он даруется вдохновением, и его нельзя вызвать к жизни усилием воли, как невозможно предугадать решение задачи, условия которой непрерывно меняются.

Курьезность положения литературоведа в том, что он не ищет сам, а мотивирует найденное другими. Он — теоретик, не владеющий экспериментом, но описывающий его.

Ищет поэт, а толкователь оперирует уже вымышленным бытием, второй реальностью — реальностью текста. Но у комментатора есть и свои преимущества. Он, например, может сопоставить вымысел с первоосновой, вернувшись на жизненную почву, взрастившую цветок художественного воображения. Искусство сравнивать две реальности — материя настолько тонкая и так часто рвущаяся, что в советское время работать с ней отваживались лишь очень серьезные ученые либо откровенные барабанщики, год за годом выбивавшие полтора такта одной и той же доктринерской дроби.

В те давние времена школьником я посмотрел с приятелем фильм о силаче Поддубном и цирковом артисте Дурове. Лента называлась «Борец и клоун». Никакого касательства к барабанной дроби она не имела. Наверное, именно поэтому мой приятель добился поразительного эффекта, когда догадался в каждом удобном случае приставлять безобидного клоуна к грозному борцу. Хмурые газетные клише моментально преобразились:

несгибаемый борец... и клоун;

пламенный борец... и клоун.

Это было наше крошечное «представленьице», маленький свободный вдох, снимавший напряжение в отношениях с мрачными барабанщиками.

...Примерно в ту пору я познакомился с Аркадием.

Он пришел к нам в гости в бывший доходный дом Перцова. Пришел запросто: проконсультироваться с моим отцом — военным юристом по поводу реабилитации («Женя, у меня к тебе есть вопросы...»).

До войны родители учились с Белинковым в одном классе. По их рассказам я уже знал или узнáю позже, что в школе на Малой Бронной не по годам начитанный ученик, рафинированный эрудит, пользовался симпатией романтически настроенных девочек и вызывал неприязнь у технически развитых мальчиков: они считали его «гуманитарным пижоном».

Во время войны студент Литинститута Белинков влюбился в девушку по имени Марианна, будущую героиню его романа «Черновик чувств», и просил мою маму доставить Марианне в Замоскворечье свое сердечное послание. Серьезность намерений доказывалась не только словами. В качестве и впрямь убийственного довода Аркадий потрясал пистолетом, восклицая:

— Лена! Если ты не пойдешь, я застрелюсь!

Электрическая напряженность момента в этой сцене превзошла знаменитый финал гоголевского «Ревизора». Там от ужаса оцепенели одушевленные лица, а здесь над Аркадием вспыхнула неодушевленная проводка. Убедившись в том, насколько горяча эта страсть *(страстный борец!)*, удостоверившись, что от нее загораются провода, мама без промедления доставила письмо Марианне. Жизнь влюбленного была спасена.

Но прежде и он выказал свои дружеские чувства.

Папа, тогда студент ИФЛИ, ушел в армию добровольцем. С детства он боялся высоты, и надо же было, что судьба закинула его как раз в воздушно-десантное соединение.

Шла осень сорок второго года. Десантников бросали в самое пекло. Каждый боевой прыжок мог стать последним. Мама вернулась из эвакуации, потеряв московскую прописку, ограниченная в передвижении. Папин полк, почти без остатка уничтоженный в боях, стоял под Москвой на переформировании. И Аркадий вызвался помочь его отыскать!

Заметим, что этот поступок уже содержал в себе элемент непреднамеренной клоунады. Дело в том, что накануне Аркадий получил посылку от родственников из Америки — шикарное пальто, невиданное в советских широтах. И вот щеголь не удумал ничего лучшего, как надеть обнову, отправляясь в одиночку на розыски совершенно секретного объекта в разоренной, воюющей стране, наполненной слухами о шпионах. Причем сознание людей рисовало шпионом, конечно, не «дядю Васю» в драном ватнике, а именно щеголя в американском пальто. Ватник оставался вне подозрений. Диверсию ждали от драпа с накладными карманами. За городом первый же патруль задержал Аркадия для выяснения личности и, спасибо, доставил с этой целью в искомую воздушно-десантную часть. Парашютист из Богословского переулка «опознал» и выручил «диверсанта» с Тверского бульвара.

Не отвечающий обстоятельствам маскарад, громогласность, нарочитая неуместность, эпатаж — непременные атрибуты классической клоунады. Жонглер вертит зажженные булавы. Клоун — себя самого. Но разыгрывать, высмеивать, передразнивать жизнь, превращать ее то в затяжной кураж, то в смертельный трюк не обязательно на манер «рыжего» в грубом балагане. Это можно делать и с ослепительным чаплинским шармом, и с трагической улыбкой феллиниевской клоунессы Джульетты Мазины. И, вероятно, галантный юноша в американском пальто расшаркивался с военным патрулем не из желания побравировать оригинальностью, а в силу театральности своей натуры. Элементы подобного комедиантства пронизывают его «роман-натюрморт» «Черновик чувств», написанный в одной из форм шутовской литературы — форме «анекдотов». «Анекдотов» особых, в которых, как утверждает автор, нет ничего, кроме мнения Аркадия и Марианны о ряде книг и картин, музыкальных сочинений и философских сентенций. «Ничего, кроме»?.. Вот за это «ничего», за то, что одни воюют, а другие «анекдоты травят», он и получит первые восемь лет лагерей. Однако вопреки полицейской логике наказание воспитает из него несгибаемого, пламенного, страстного, выдающегося *борца* (и клоуна) за дело интеллектуальной свободы художника от насилия и власти. Тираноборчество во имя свободы составит пафос его жизни; пафос абсолютно неприемлемый для взрастившей его державы, поскольку под свободой он понимает те возможности, которые предоставляет художнику враждебное тираническому режиму этой державы буржуазное общество. Позитивный «символ веры» Аркадия Белинкова позже будет сформулирован им так: «Я не верю в добрых радикалов и нежных католиков, в целомудренных социалистов и в любезных республиканцев... Я верю только в оппозиционное равновесие сил, которое не дает разгуляться ни добрым, ни злым, ни целомудренным, ни любезным».

Итак, на «роман-натюрморт» власть отвечает судебным приговором. Пассажи типа: «Наша жизнь была только для нас. С социалистическим обществом мы не делились» — звучат в ее ушах как недопустимая насмешка. Этого она

не прощает никому, в том числе и юному арлекину, жонглирующему метафорами («Серый узкий дождь сушился, свешиваясь между фонарными столбами, и за ним был покрасневший, набухший фонарь... Тверская растворялась в тумане, как мазок акварелью по влажной бумаге...»).

Сама жизнь вообще-то — смертельный трюк, даже относительно счастливая. Но чувство самосохранения, присущее всему живому, заставляет нас остерегаться «безумных» поступков. И вот, представьте, находится «архивный юноша», впитавший в себя весь пафос революционных трибунов, однако излагающий с этим пафосом идеи прямо противоположные тем, которых придерживается лагерный следователь. Именно так Белинков — настоящий фанатик свободы, захваченный идеалом тираноборчества, — накануне освобождения из лагеря пытался распропагандировать следователя. В итоге заключенный оратор вместо свободы получает дополнительный «четвертак». Это — конец. Срыв из-под купола.

Спасительной «лонжей» оказывается смерть Сталина.

Освобождение. Реабилитация. Возвращение в литературу.

Смертельное сальто получилось!

И вот он сидит за нашим дубовым обеденным столом, картинно разрезая мельхиоровым ножичком влажно лоснящийся, туго упирающийся лезвию болгарский перец, и время от времени, отрывая глаза от перца, восклицает:

— Ах, Андрей Белый!..

— О, Марсель Пруст!..

— А каковы импрессионисты?!

Разделавшись с перцем, он — как-то по-актерски интонируя — повествует о том, что литература не обязана быть партийной, а любое произведение искусства принадлежит вовсе не народу, но автору. Что общество делится на власть и чернь. Первая отвратительна своим господством, вторая — раболепием. Что свободный художник всегда в оппозиции — и к черни, и к власти.

Крамольность таких речей по тому времени вопиющая. Меня просят пойти погулять.

Тема противостояния художника и тиранической власти, а шире — тема свободы и насилия, и не просто тема, а жгучий, жуткий, неразрешимый конфликт между созиданием и подавлением, — эта тема, этот конфликт уже полностью владели Белинковым. Он задумал трилогию о Поэте и Толстяке. Первая часть — лояльный творец (Юрий Тынянов). Вторая часть — сломленный (Юрий Олеша). Третья часть — сопротивляющийся (Александр Солженицын). Одновременно предполагалось проследить эволюцию Толстяка. Замысел сложился. Концепция наметилась. Следовало ее развернуть. В пору «болгарского перца» «Тынянов» был осуществлен. На очереди стоял «Олеша».

2

«Три Толстяка» — из любимых книг моего детства; тот литературный пир, который создает другую реальность, соотносящуюся с этой, но неуловимо волшебным образом.

Страна Трех Толстяков в чем-то похожа на революционную Россию. Только в книге революция предстает неким экзотическим цветком из душных тропиков. Такое впечатление, что события разворачиваются в зеркальной оранжерее, напоенной ароматами юга, вместившей в себя и дворец, и парк, и живописные мостики под китайскими фонариками. Плач о великом крушении превращается в сказку об обретенной свободе.

Богатых не жалко. Они ничтожны. Судьба народа им безразлична. Они пекутся лишь о себе. Они никого не любят. Даже друг друга. А бедные победили потому, что правда на их стороне. Правда победила силу. Теперь все будет прекрасно!

Этой мечтой овеяна фантазия Олеши. Он — романтик, вписавший социальный сюжет в пеструю, метафорически яркую ткань вымысла. Да, рядом с

ним жил Михаил Пришвин, отметивший в тайном дневнике, что «революция — это месть за мечту». Не мечта, а месть. Пришвин, выходит, видел, Олеша — нет.

Однако случай Олеши оказался сложнее. Ознакомившись с его архивами, Белинков обнаружил, что кроме известных ранних произведений, ставших классикой, писатель создал массу злободневных статей, киносценариев, радиопередач, постепенно превращаясь из революционного романтика в прямого защитника Термидора, сдаваясь и погибая как художник. И Белинков решил проследить, что сделала власть с писателем и во что переродилась революционная реальность, — поставив перед собой историко-психологическую проблему и не желая при этом расставаться с литературоведением. В этом кроется композиционная раздвоенность книги об Олеше. Литературовед Белинков анализирует мастерство писателя Олеши, а параллельно политический публицист Белинков берется разобрать гражданское поражение Олеши-художника. При этом подчеркивается, что сдача гражданских позиций ведет к творческой гибели. Но прочного шва между литературоведением и политологией не получается.

Время, в которое создавалась книга, — 60-е годы — благоприятствовало изучению мастерства и полностью исключало постановку вопроса о «сдаче» и творческом поражении столь уважаемого писателя-гражданина, каким считался Юрий Карлович Олеша. Тем сильней именно этот ракурс привлекал Белинкова, делая его труд фактически нелегальным, погружая его, окруженного «термидорианским» временем, в ту революционную романтику, с которой начинал свой путь Олеша. Оттолкнувшись от сказки, Белинков устремился в опасную область самодеятельной политологии.

Цирк дядюшки Бризака послужил ареной для бесстрашного тираноборца; он спросил себя: «А что стало с волшебной страной и ее героями после революции?» И ответил: «...черты революционера Просперо заплыли жиром Первого, Второго и Третьего толстяков». Бывший вождь бедных превратился в нового толстого. За Революцией наступил Термидор.

И вот перед нами впервые изданный на родине через тридцать лет после написания том в черном супере: А. Белинков, «Сдача и гибель советского интеллигента. Юрий Олеша» (М., РИК «Культура», 1997). На первой странице супера в фас портрет старого, обросшего седой щетиной, крепко помятого жизнью одесского биндюжника. Левый глаз прищурен. Лоб иссечен морщинами. Скорбный взгляд затравленного судьбой человека. Он капитулировал — жизнь кончилась. Прямая фотоиллюстрация Аркадиевой аксиомы: кто сдался, тот погиб. Это — Юрий Карлович Олеша.

А сзади на супере — в три четверти оборота Аркадий Викторович Белинков. Никакой затравленности. Острый, испытующий взор; губы, способные вот-вот раздвинуться в ироничной усмешке. Вольный изыскатель. Концептуалист. Независимая личность.

Поэт и «вед» развернуты спинами, словно не желают знаться друг с другом.

Спрашивается: так кто же из них прошел ГУЛАГ? Кого прельстил, запугал и сбросил под откос Толстяк власти: поэта или «веда»? О чем и о ком книга — все ее восемь объемистых глав?

О том, как «Я пришел домой...» (название главы первой), а там записка от Наташи: «...сходи, купи... мыла хоз. один кус», и этот «кус» перемежается пародией на высокопарную риторику времени, язвительными замечаниями об обелиске Свободы (напротив Моссовета) — обелиске, замененном «феодалом на лошади» (Юрием Долгоруким) (читай: Революция освобождает, а Термидор вновь ставит памятники деспотам).

Или все-таки книга о том, как поэт строит «образ мира» из ярких кирпичиков своих изумительных метафор? И это литературное «Lego» будет тщательно исследовано во всех стилистических тонкостях?

Или автор собирается противопоставить поэта Кавалерова и «административно-хозяйственного жеребца» Бабичева из романа «Зависть», а плюс к тому с иронией поведать о «полных гражданского пафоса» публицистических произведениях Юрия Олеши?

На поверхности действительно — и о хоз. мыле, и о метафорах, и о льстивой публицистике охранителя. А на поверку Олеша — только полигон.

Эта книга — о тираноборчестве автора и верноподданничестве героя; о белинковской ненависти к тирании и предательству и о соглашательстве с ними конформиста. То есть книга о себе. О состоянии своей души, противоположном состоянию души героя (Юрия Олеши).

Выше мы касались композиционной раздвоенности замысла, стремления объединить в одном повествовании гуманитарную науку с политической публицистикой. Смешанный жанр, в котором написана книга, давая выход гражданской рефлексии Белинкова как обличителя, помешал, однако, отстраненному от эмоций подходу исследователя (все-таки анализ не заменишь метафорой). Новизна «Сдачи и гибели...» лежит совсем в иной сфере. Она, повторю, — в той внутренней раскрепощенности, с которой автор отстаивает свободу творчества перед лицом узурпировавшей ее власти.

Дело осложнялось условиями, в которых создавалась рукопись, требовавшими от автора как минимум гражданской лояльности. Перед Белинковым стояла в принципе неразрешимая задача: напечатать в советском государственном издательстве антисоветское, антигосударственное произведение. Но сдаться — значит погибнуть. Это вынудило его прибегнуть к совершенно особой форме изложения: претворить пафос в трюки прозрачной клоунады. И в рукописи возникают наивные и все же как бы путающие след маленькие хитрости, рассчитанные на очень снисходительного, совсем не дорожащего своим местом редактора и нормально внимательного читателя. Политический пафос тираноборчества окрашивается в пестрые цвета циркового представления. Вот некоторые из этих вуалирующих номеров.

3

Параллельные цитаты. Например, автор считает, что конфликт между художником и обществом состоит в том, что художник изображает общество таким, каким он его видит, а общество хочет, чтобы его изображали таким, каким оно себе нравится. И общество устами власти учит художника, как и что ему изображать. При этом (1960 год!) наш «политически неграмотный» литературовед не делает здесь различия между нацистским и советским обществами и желает эту аналогию обнародовать. Как именно?

Автор слегка раздвигает в пространстве книги две параллельные цитаты: одну из Геббельса, а другую — из члена ЦК товарища Жданова. Геббельс настаивает на том, что «немецкое искусство... будет героическим... стальным, романтическим», а Жданов призывает «нападать на буржуазную культуру... ибо моральная основа у нее гнилая и тлетворная», то есть неявно соглашается с тезисом о необходимости «здорового, героического искусства».

Статистика, наводящая на размышления. Допустим, заспорили о том, какая власть гуманней: царская или советская? Обязателен взгляд, что царизм был беспощаден к инакомыслящим и только советская власть гарантирует подлинный расцвет демократии.

Близорукий литературовед этого мнения не разделяет. И тут в ход коварно пускается статистика казней. Царская известна точно. «С 1826 по 1906 год, от декабристов, с которых начинаются политические процессы в России, до судов над участниками первой русской революции, — было казнено за политические преступления сорок три человека».

Дальше по законам черного юмора, а заодно и пародируя деятельность ЦСУ статистика обрабатывается в расчете на единицу времени: «Это составля-

ет 0,54 казненных в год». А потом полученный результат экстраполируется на советское будущее: «Если бы так продолжалось дальше, то через 30 лет, то есть к 1937 году, было бы казнено 16,25 человека». И тогда моментально возникает

Сарказм. «Только Советская власть принесла нам избавление от ужасов террора!» — восклицает автор, с ядовитой горечью передразнивая обобщенного апологета.

Литота — издевательское преуменьшение. «Эпоха-предшественница оставила несколько нерешенных литературных недоразумений...

Я имею в виду еще не вполне разрешенные недоразумения, происшедшие с Анной Ахматовой и Андреем Платоновым, а также некоторые другие, связанные с расстрелом Гумилева и самоубийством Цветаевой, гибелью в тюрьмах Бабеля и Мандельштама, эмиграцией Ходасевича и Замятина, и другие более или менее удачные эпизоды борьбы за душу русской интеллигенции. Не будет лишним напомнить о том, что до сих пор не исправлено и не искуплено недоразумение, стоившее жизни Пастернаку».

Ножницы и клей. Белинков сам раскрыл этот фокус Мариэтте Чудаковой (чье предисловие открывает книгу об Олеше).

В машинку постоянно заправлен чистый лист бумаги. По вдохновению он заполняется отдельными фразами, метафорами, удачными оборотами, цитатами, а потом, когда пишется связный текст, листы разрезаются и куски вклеиваются, куда подойдут. Это тоже «путает следы». Но, кстати, путает и стройность изложения, порой создает впечатление отрывочности, клочковатости.

Забавная «технология». Есть в ней что-то от «ни дня без строчки», не правда ли?

Профанация при смене контекста. Хорошо помнится время, когда злоба дня считалась у нас главным в жизни народа. И надо признать, что внушительные «вручения верительных грамот», запечатленные кадрами кинохроники, или прием Хрущевым некоего заграничного *борца* (и клоуна) действительно казались чем-то значительным в газетном либо хроникальном контексте.

А что делает Белинков? Он переносит текущую злободневность на страницы своего труда, охватывающего десятилетия советской истории с экскурсами в революционную Францию, а хотите — в античную Грецию, а хотите — в фараоновский Египет, — и здесь, в новом историческом масштабе, злободневно-серьезное предстает вдруг профанным, значительное скукоживается до смешного.

«В последние годы Ю. К. Олеша начал писать маленькие статьи... Он вернулся с новым опытом в газету и начал собирать новые кирпичи для того, чтобы построить здание, достойное времени... Он писал статьи о новой биографии Ленина. Он писал о поездке Н. С. Хрущева в Париж. Он писал о сегодняшнем, о самом главном» (из предисловия Виктора Шкловского к публикации «Ни дня без строчки» в 1961 году в «Октябре»).

Стоило изменить масштаб рассмотрения, сменить контекст, и эти «новые кирпичи» Шкловского, перенесенные на страницы книги, превратились из как бы нормального по тому времени отклика в нечто вполне смехотворное. Да неужели и правда в моей, читателя, жизни самое главное — новая биография Ленина, статья о ней Олеши и вояж Хрущева в Европу?..

Метафора эрудита. Предположим, Белинков хочет показать раздвоенность Олеши, его метания между тем, что он чувствует, и тем, что от него требуют; между тем, чем он жил, и тем, чем его заставляют жить. С вольтеровским остроумием эта двоякость передается сравнением Юрия Карловича и Мари Франсуа Аруэ (Вольтера).

«Он жил на непрочном шве двух эпох и, по мере надобности, перебегал из одной эпохи в другую. Он жил, как Вольтер в своем замке в Ферне: замок стоял на границе Франции и Швейцарии, слуга смотрел на дорогу и, завидев французского жандарма, кричал. Хозяин перебегал через границу».

Подстановка из другой системы. Скажем, спорят о том, можно или нельзя исправить деспотический режим. Литературовед убежден, что «отдельное вранье» отражает сплошную ложь, некоторые искажения «норм» — суммарную ненормальность. Деспотию исправить нельзя. Ее можно только уничтожить. Но как в общую формулу: *«деспотический режим x неисправим»* — ввести конкретную переменную: x = USSR?

Для этого сначала задается другой x. Скажем, на католическую церковь возлагаются все грехи провинившихся клириков (что само по себе, наверное, несправедливо). Говорится: «...сначала люди видели... есть отдельные пьяные попы, отдельные блудливые монахи и даже еще до конца не изжиты безнравственные папы... Один монах, один папа... Что такое один папа?..» Случайный выброс. Поменяем его — и все наладится. То есть простым переходом «от папы к папе» можно превратить диктатуру в демократию.

Но Аркадий Белинков, с этим категорически не согласный, неудачного Папу Римского неожиданно заменяет неудачным секретарем Смоленским, подставляя x из другой системы — не клерикальной, а политической; из другого времени — не средневекового, а советского. «И, действительно, — наблюдает Аркадий, — сняли в Смоленске секретаря обкома тов. Постникова М. И., ну, и что же? Что изменилось от этого?»

Значит, нельзя исправить ни деспотическую власть пап, ни деспотическую власть секретарей. Конкретная переменная введена.

Действующие лица и исполнители. Неявно или явно указывается реальное историческое лицо, исполняющее как актер роль одного из персонажей Олеши в постановке Белинкова.

Конфликт интеллигента и власти остро фиксируется в образах того времени. Когда «группа товарищей» натравила Хрущева на Пастернака, противопоставление «Поэт и Толстяк» помимо прямого смысла: «Кавалеров — Бабичев» приобрело и второй, тайный, смысл: «Пастернак — Хрущев», вновь создавая некую опаснейшую универсальную формулу.

Питая ненависть к Толстякам, он не щадит и тех, кого называет перебежчиками, мечущимися между либерализмом и насилием, страдающими от притеснений творческой свободы и вместе с тем ищущими державного покровительства. Таков учитель танцев Раздватрис. У Белинкова эту роль исполняет поэт Евгений Евтушенко. С привычной иронией автор вводит реальную личность в сказочный ряд: «...ни Государственный канцлер, ни наследник Тутти, ни даже такой либерал, как учитель танцев Евг. Ал. Евтушенко, не посягали на систему, а посягнули только на руки, в которых эта система лежала».

Жесткость и даже жестокость моральных оценок Белинкова, тех критериев, которые он применяет в первую очередь к Юрию Олеше как к «перебежчику», а к остальным — попутно, опирается на собственную неподкупность автора, на его личные тринадцать лет лагерей. Причем весь свой пафос он направил на утверждение себя как разрушителя стереотипов, авторитетов, устоев. Он смеялся над Олешей, уверявшим, что от писателя в вечности остается лишь метафора, — сам же был убежден, что в истории преимущественно сохраняются имена разрушителей. Оба по-своему правы. От такого писателя, как Юрий Олеша, действительно остается метафора. От такого тираноборца, как Аркадий Белинков, действительно остается его разрушительство. Но как литература не ограничивается метафорой, так и общественная жизнь не исчерпывается одним разрушительством.

В книге об Олеше автор как бы растроился. При этом умная голова исследователя-литературоведа, проницательного стилиста-аналитика (чего стоит его замечательное сопоставление метафорических миров Олеши и Хлебникова!) теряется рядом с извергающим огнь и дым гигантским черепом публициста — бесстрашной и яростной мощью ненависти! А поодаль для отвода глаз вертится еще одна голова в шутовском колпаке с бубенчиками, готовая на всякие отвлекающие номера, пока не оказывается на очереди.

Смертельный номер. Опуская иные детали этой беспримерной клоунады, обратимся к последнему трюку, которым автор пользовался в крайних обстоятельствах, ибо здесь он уже рисковал не рукописью, а жизнью.

Необыкновенный номер Аркадия Белинкова состоял в том, что иногда он отказывался ото всех перечисленных выше фокусов и прямым текстом говорил о том, о чем и помалкивать было страшно.

И тогда жизнь его на самом деле превращалась в смертельный трюк.

Он действительно мог застрелиться из любви к Марианне.

Он действительно должен был погибнуть от лагерного «четвертака».

Его больное сердце (он с детства страдал ревмокардитом) в самом деле не обязано было выдерживать разгромной статьи в связи с публикацией отрывка из книги об Олеше.

А как только удалось ему вынести все чудеса бегства — смертельного трюка с просьбой о политическом убежище за границей!

Все это он пережил. А не пережил своей ненужности в благополучной Америке. На родине с ним боролись. Его сажали, освобождали, печатали, не печатали, костили. Там же — оказался в среде совершенно ему чужеродной, где его главная работа — книга о Юрии Олеше — по большому счету была никому не нужна.

Вот чего он не пережил, завещав нам строки, которые могли бы послужить его автоэпитафией:

«Художник вырастает из-под земли, пробивается сквозь камень и, как карающий воскресший царевич, говорит обществу, что он о нем думает. Поэт вырывается, кричит, он падает, приподнимается, погибает».

4

Новое рождается из безотчетного импульса...

Таким импульсом стала для Белинкова его ненависть к насилию над свободой творчества. Он не только ввел в традиционное литературоведение совершенно запретную по советским временам тему сопротивления, безусловного неприятия диктатуры власти, но и подчинил этой теме собственно научный труд. Он искал как поэт, а не шел проторенной дорожкой благонамеренного «веда» или тернистыми — но совсем по-иному — путями пионера науки. Он рисковал не идеями, а судьбой; не признанием, а свободой. И вместе с тем поиск его производит впечатление определенной заданности: кажется, что его концепция сформировалась прежде, чем началось исследование предмета. Простой и ясный тезис: «Кто сдался, тот погиб» или «Художник-конформист творчески обречен» — такой тезис возник не безотчетно, а был ведом автору уже на первых страницах рукописи как теорема, которую следовало доказать. Этот своеобразный «математический» подход к решению гуманитарной задачи не представляется бесспорным. Попытка заключить живое в жесткие рамки концепции неизбежно лишает его внутренней свободы, вариативности, гибкости, то есть как раз всего того, за что так ратовал Белинков. Вволю настрадавшись сам, он захотел быть по-мефистофельски саркастичным и безапелляционным там, где все взывало к состраданию. Эта-то сугубо антинаучная, абсолютно аполитичная и совершенно безыдейная категория выпала из его рассмотрения. Его опыт оказался прямо противоположен опыту Достоевского. Вернувшись с каторги, Федор Михайлович отрешился от своего «революционного прошлого» и, следовательно, как художник должен был, по Белинкову, погибнуть. Однако случилось обратное: наступила творческая зрелость. И наоборот: вернувшись из лагерей, Белинков утвердился в своем антитермидорианском призвании, а значит, талант его должен был окрепнуть. Тем не менее книга об Олеше если и свидетельство тому, то вовсе не безоговорочное. Можно возразить, что гений и талант несравнимы. Что сопоставлять Белинкова с Достоевским просто некорректно. Но в том-то и дело, что Аркадиева концепция «сдачи и гибели» художника вовсе не учитывает степени личной одарен-

ности. «Кто сдался, тот погиб!» — и точка. Кто бы ни сдавался... Чему бы ни сдавался... Она опускает и то обстоятельство, что бесконечно богатый мир художественного творчества не ограничивается конфликтом между Поэтом и Толстяком; что уделять столько внимания Толстяку, может быть, вообще не обязательно. У художника есть задачи и поинтересней, и посложней. Слава Богу, существует громадная область человеческих отношений, веры, природы, эстетики, целиком лежащая вне политики, и даже такая консервативная сфера, как нравственные оценки, опровергает одномерность суждений.

В этом смысле очень выразительна Аркадиева ссылка на дневник А. С. Суворина — на известный разговор Суворина с Достоевским в день покушения Млодецкого на Лорис-Меликова:

« — ...Пошли ли бы мы в Зимний дворец предупредить о взрыве или обратились ли к полиции, к городовому, чтобы он арестовал этих людей? Вы пошли бы?

— Нет, не пошел бы...

— И я бы не пошел. Почему? <...> Причины — прямо ничтожные. Просто — боязнь прослыть доносчиком... Напечатают: Достоевский указал на преступников... Мне бы либералы не простили. Они измучили бы меня, довели бы до отчаяния. Разве это нормально? <...> У нас о самом важном нельзя говорить».

Как же комментирует писателя литературовед?

«Достоевский понял самое главное: в тираническом полицейском государстве «о самом важном нельзя говорить». И поэтому даже человек, который с отвращением писал о врагах этого государства, терзался сомнениями, а попугай (речь идет о говорящем попугае, выдавшем Суок. — *А. С.*), который лишь преданно служил, никакими сомнениями не терзался.

Я настойчиво подчеркиваю, что все время говорю об интеллигентах-п е р е б е ж ч и к а х. Я с глубоким неуважением отношусь к людям с реакционными убеждениями и не прощаю их и не считаю искупительным их талант. Но с омерзением я говорю о перебежчиках».

Отсюда следует, что Белинков не считает Достоевского «перебежчиком», хоть тот и терзается сомнениями: выдать террористов или не выдавать? Зато литературовед вполне в унисон с «барабанщиками» (здесь крайности сходятся) не уважает в Достоевском его «реакционных убеждений» (клише повторено всерьез) и, что характерно, не считает, будто сила таланта способна их искупить. Тут автор плывет по течению времени, и даже в его фарватере.

Главное, что вынес литературовед из слов писателя, — это противостояние художника «тираническому полицейскому государству», хотя сам Достоевский этому государству не враг. А на наш взгляд, главное в размышлении Достоевского — нравственная раздвоенность интеллигента по отношению к террористу-революционеру, готовящему покушение на вершину полицейской пирамиды России — министра внутренних дел графа Михаила Тариеловича Лорис-Меликова. В душе Достоевского боязнь прослыть доносчиком, выдав террориста, сильней желания предотвратить покушение, грозящее смертью министру. В этой пиковой ситуации спасти одного — значит погубить другого. Для Белинкова тут проблемы нет. Революционер — человек «передовых убеждений», министр — «реакционных». Стало быть, революционера выдавать нельзя, а министра погубить можно. И только, мол, ненормальная общественная мораль превращает этот конфликт в неразрешимый для писателя. Но какова же должна быть общественная мораль, которая так легко разрешает вопрос в душе литературоведа?.. И что вообще осталось нам от его жизни и от его подвижничества сейчас, когда смысл прежнего противостояния Поэта и Толстяка отпал? Какое место займут Аркадий Белинков и его книга в нашем нынешнем сознании?

На первый взгляд, защитник Поэта в историческом контексте победил. Прежний «деспотический режим» уничтожен. По крайней мере трансформи-

рован. А его идеология действительно пала. Однако старые проблемы встают с новой силой. Что все-таки стало с бывшим оружейником Просперо? Чем кончилось противоборство Поэта и Толстяка и кончилось ли оно?

Следуя метаморфозе, предложенной Белинковым, подтвердим, что подернутый жиром Трех Толстяков коммунист Просперо стал финансистом, воротилой, денежным мешком. Старый дореволюционный Толстяк между тем реабилитирован. Пройдя традиционные исторические этапы (Империя — Революция — Термидор — Реставрация), он сохранил свои властные функции и отвечающую им комплекцию.

А Поэт?

Теперь он — творчески свободный — может издать все, что пожелает, за свой счет (которого нет) для своих читателей (которые настолько отощали, что перестали читать). Мертвая «классовая» хватка термидорианского Толстяка не сменилась ли мертвой «кассовой» хваткой Толстяка времен Реставрации?

Так кто же победил?

Спор Поэта и его Антагониста неразрешим. Он не зависит от того, в какой «системе» ведется, потому что кроме противостояния свободы и принуждения есть у него и другие грани: романтика и практицизм, филантропический отклик и ледяные доводы эгоизма, чистое восхищение красотой мира и равнодушие к ней или стремление прибрать ее к рукам... Да мало ли каких еще противоречий не предлагает нам щедрая на них природа? Однако все это выходит за рамки белинковской концепции, нуждается в иной публицистике, ином литературоведении, но прежде всего — в новом писательском воплощении, возникающем не из теорем, требующих доказательств, а из безотчетного импульса, рождающего всю полноту художественного откровения.

ЛИТЕРАТУРНАЯ ПРЕМИЯ БУКЕРА

Жюри Букеровской премии за лучший русский роман 1996 года обнародовало список участников конкурса. Редакция «Нового мира» рада сообщить читателям, что среди произведений, выдвинутых на премию независимыми номинаторами, пять были напечатаны на страницах нашего журнала:

АНАТОЛИЙ АЗОЛЬСКИЙ. Клетка. 1996, № 5, 6.
РАВИЛЬ БУХАРАЕВ. Дорога Бог знает куда. 1996, № 12.
ДМИТРИЙ ЛИПСКЕРОВ. Сорок лет Чанчжоэ. 1996, № 7, 8.
ЛЮДМИЛА УЛИЦКАЯ. Медея и ее дети. 1996, № 3, 4.
АНТОН УТКИН. Хоровод. 1996, № 9, 10, 11.

Поздравляем наших авторов, желаем им творческих успехов и дальнейшего плодотворного сотрудничества с «Новым миром».

ПО ХОДУ ТЕКСТА

АНДРЕЙ ВАСИЛЕВСКИЙ

*

НУ ЧТО ЕМУ ГЕРТРУДА?

Он хамил и кроткой Офелии, и даже матери.

Предыдущие заметки в рубрике «По ходу текста» я закончил Гамлетом, вернее, Шварценеггером. Напомню: мальчику, герою американской киноленты, показывают в школе отрывки из фильма «Гамлет» с Лоренсом Оливье. «Ну, сделай это», — шепчет мальчик и мысленно представляет, как под сводами Эльсинора появляется огромный Гамлет — Шварценеггер. «Эй, Клавдий, — говорит Арнольд, прикуривая сигару. — Ты убил отца. Большая ошибка». И выбрасывает его из окна в пропасть... Тема имела продолжение непредсказуемое. Мне сразу же попался в руки номер «Молодой гвардии» (с новым уже главным редактором — Александром Кротовым). Пишут о Гамлете. Автор — некий Лев Бобров. Название статьи меня всего перепахало: «Гамлетовщина: быть или не быть ее культу?»[1]

Вот так сразу:

> «Чем же зачаровал он (Гамлет. — *А. В.*) своих обожателей? Отчего, зачем и как ВЕРБУЮТСЯ[2] они его КАДИЛЬЩИКАМИ И ПРОПАГАНДИСТАМИ? Исчерпывающе ответить нелегко: подобные вопросы, слывущие «неприличными», «одиозными», «неприкасаемыми», еще ждут своих исследователей».

Впрочем, уже дождались. Лев Бобров исследовал вопрос и открыл, что главным апологетом Гамлета, этого кумира «киношно-театрально-артистической богемы», является не кто иной, как всем известный и ныне покойный шекспировед А. Аникст, чьи неосновательные суждения о датском принце возмущенно цитируются Л. Бобровым чуть ли не на каждой странице. Сразу скажу, что мне почему-то не хочется защищать А. Аникста от Л. Боброва (тем более, что сам, будучи студентом, написал курсовую работу по шекспировской «Буре», построив ее именно на полемике с Аникстом). Гораздо интереснее, ЧТО пишет, смело отбросив разные филологические глупости, молодогвардейский зоил о принце Датском. А еще интереснее: КАК пишет. Именно тут, в языке статьи, кроется какая-то загадка, которую мы и попробуем разгадать.

Ну, кто там вышел на подмостки?

> «ТРЕПЛИВО-МНОГОГЛАГОЛИВЫЙ («болтливее сорок», как брюзжал он сам в раздражении отнюдь не на себя), нетерпимый к людям, невыносимый для окружающих, даже самых близких, опасный для своих соотечественников и государства, он по совокупности этих качеств вне конкуренции в своей среде».

Это он — Гамлет. Он хуже Клавдия. Хуже Полония.

---

[1] «Молодая гвардия», 1997, № 3.

[2] Здесь и далее выделено мной.

Старик, конечно, ябедник.

> «А Гамлет? Он ЯБЕДНИЧАЛ ПО СОБСТВЕННОМУ ПОБУЖДЕНИЮ, когда наедине с матерью ОХАИВАЛ ЕЕ ТЕПЕРЕШНЕГО МУЖА КАК УБИЙЦУ ПРЕЖНЕГО, подло обливая грязью отсутствующего дядю-отчима: тот-де «скот», «упырь», «карманник на царстве», который, мол, уворовал венец — «взял исподтишка и вынес под полою». Этот КОМПРОМАТ не рассорил, однако, Гертруду с Клавдием, а ведь мог, чего доброго, расшатать их законный, счастливый и прочный брак — немаловажный фактор политической стабильности, который устраивал и верхи, и низы Дании, но бесил разобиженного принца, метившего на трон. Интриганский политический донос! А его первоисточник — столь же АНТИДЕРЖАВНО-ПОДСТРЕКАТЕЛЬСКИЙ ДОНОС ПРИЗРАКА, который ЗАВАРИЛ ВСЮ КАШУ В ЧЕРЕПЕ АМБИЦИОЗНОГО СЕБЯЛЮБЦА, озабоченного прежде всего своими личными, а отнюдь не государственными интересами».

Да только взгляните на него!

> «Это весьма несимпатичный, отталкивающий субъект! Он желчно подтрунивал и измывался над придворными, лишенными возможности отплатить ему той же монетой и вынужденными безропотно проглатывать язвительные колкости, изрыгаемые принцем. Он хамил и кроткой Офелии, и даже матери. СЫНОК МОРДОВАЛ ГЕРТРУДУ...»

Нет, каково?

> Из-за Гекубы!
> Что он Гекубе? Что ему Гекуба?
> А он рыдает.

Продолжим:

> «...мордовал Гертруду за «шашни» с Клавдием и требовал от нее покаяния. Нагло резонерствовал, кого ей любить можно и должно (усопшего Гамлетова отца — пожалуйста), а кого нельзя (теперешнего супруга — нини). Настырно бубня ей в своих нотациях, будто любимый ею и любящий ее Клавдий — «шут», «холоп», «смерд», «скот», обнажал свое чванливое нутро, брезгливое презрение к «рабам», к «черни», к «быдлу»...»

Он и очковтиратель. Буквально так.

> «Он СИМУЛИРОВАЛ «НЕВМЕНЯЕМОСТЬ» и к тому же СПЕКУЛИРОВАЛ НА НЕЙ».

Но он и настоящий псих:

> «Как бы то ни было, напускными его «завихрениями» не должны заслоняться от нас присущие ему на деле психические аномалии (неискоренимые или трудноизлечимые), которые в своей патологичности опасней имитируемых. Чего стоит одна лишь садистская жестокость, органично свойственная ему, как и меланхолия, спесь, вспыльчивость, агрессивность, мстительность... А ЗАЦИКЛЕННОСТЬ НА «РАСПАВШЕЙСЯ» ЛЕГИТИМНО-ДИНАСТИЙНОЙ «СВЯЗИ ВРЕМЕН» в Дании?»

Вот бы кому в свое время освидетельствовать наших диссидентов (но о них чуть позже); Лев Бобров находит у Гамлета очевидные симптомы циклофрении, а

> в зависимости от тех или иных критериев и подходов можно выявить у Гамлета также неврастению, бред преследования (и величия тоже), паранойю, шизофрению».

Впрочем, псих-то он псих, а когда надо — понимает:

«Переписал грамоту, дабы подкорректировать ее воистину иезуитски: прикончить надо не Гамлета, а Розенкранца и Гильдернстерна! Затем опять бесшумно, аки тать или змей, проскользнул к ним в каюту и подсунул им, спящим, СВОЮ ЛИПУ. Этой МАХИНАТОРСКОЙ ГАРАНТИЕЙ ИХ ЛЮТОЙ ГИБЕЛИ принц позже расхвастался перед Горацио. И тот тоже хорош: не был шокирован, не возмутился роковым для соотечественников подлогом».

Ну, с этим мы уже знакомы по пьесе Тома Стоппарда «Розенкранц и Гильдернстерн мертвы» (1966)[3], только английский драматург поступил гораздо изящнее, сделав двух второстепенных персонажей главными героями своего сочинения. Странно, что Л. Бобров не числит Т. Стоппарда среди своих предшественников. Только ли по незнанию? (Но об этом в конце.)

Словом, этот датский

«„гуманист" с его „чувствительностью" — лиходей покруче Клавдия, который слывет прямо-таки жутким монстром... Все познается в сравнении: Гамлет не менее отвратителен в своих КРИМИНАЛЬНЫХ ПОПОЛЗНОВЕНИЯХ».

Просто холодеет кровь...

«Что же он за человек, если не петь ему осанну? ОБУРЕВАЕМЫЙ МСТИТЕЛЬНОСТЬЮ ИЗВЕРГ-МАНЬЯК, который в своей озлобленности на всех и на всё с садистским сладострастием упивается чужими страданиями и смертями? Иссушаемый жаждой власти честолюбец-лиходей, готовый в борьбе за корону на что угодно — от притворства и мошенничества до издевательства и душегубства? А может, гибрид того и другого типов с примесью псевдоглубокомысленной философичности? Каким бы ни изображался он в елейных статьях и книгах, спектаклях и фильмах, нельзя забывать: этот «гуманист» бесчеловечен, этот «рыцарь» — УГОЛОВНЫЙ И ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРЕСТУПНИК».

Да, граждане судьи, принц был по натуре разрушителем, а не созидателем (выискивать плохое куда легче, чем утверждать хорошее, восклицает Л. Бобров).

«И при своем весьма специфическом «моральном кодексе», далеком от подлинно христианских заветов, наш «гуманист» на троне мог бы затеять такую «КАТАСТРОЙКУ», что ой-ой-ой».

Вот оно. «Катастройка» — известное выражение Александра Зиновьева, понимаем. Читаем дальше:

«Впрочем, Гамлету не до столь высоких материй, не до забот об «этой стране», не до прожектов, как «ОСЧАСТЛИВИТЬ» ЕЕ «РАДИКАЛЬНОЙ ПЕРЕСТРОЙКОЙ» В НЕКУЮ «РАЙСКУЮ ОБИТЕЛЬ» НА РУИНАХ «ТЮРЬМЫ». Ему бы поскорее «ПРИХВАТИЗИРОВАТЬ» КОРОЛЕВСКИЕ РЕГАЛИИ, а там хоть трава не расти (Гамлет — Чубайс!!! Или Чубайс — Гамлет? — *А. В.*). Такова, в сущности, основа всей его «психодрамы». А «жажда справедливости» — литературная гипербола. Это ПРИПИСКА, КОТОРОЙ ОПОЭТИЗИРОВАЛИ ЕГО ПРОЗАИЧЕСКУЮ, НО ПЛАМЕННУЮ СТРАСТЬ МАСТЕРОВИТЫЕ МИФОТВОРЦЫ и наивные любители романтично-туманных легенд, почему-либо воспылавшие симпатиями к нему, человеку фразы и позы, имитатору высоких чувств и мыслей, мистификатору, симулирующему безумие, фальсификатору, ГОРАЗДОМУ ПОДДЕЛЫВАТЬ ДАЖЕ ШРИФТ И СТИЛЬ ОФИЦИАЛЬНОЙ БУМАГИ».

---

[3] Русский перевод Иосифа Бродского см. в журнале «Иностранная литература», 1990, № 4.

Так кому он нужен, этот Гамлет? Известно — диссидентам.

> «Гамлетовщина импонировала людям с «избранническим» самосознанием, самовозвышением над «толпой», ощущением обиженности и НЕДОВОЛЬСТВА НАЧАЛЬСТВОМ и властями, порядком и режимом. Особенно — в чрезвычайной степени — диссидентам, ЗАРАЖАВШИМ ОКРУЖАЮЩИХ ПОВЕТРИЕМ НЕУДОВЛЕТВОРЕННОСТИ, отчаяния, отрицания, ниспровержения, разрушения... Чем мы обязаны им в конечном счете? Тем, что они проторили тропу к пропасти? К РАЗВАЛУ СССР?»

Остановимся, переведем дух, перечтем еще раз. А? То-то. Вы думаете, это уже кульминация? Нет, апофеоз впереди. Тайна Гамлета в том, что его моральный кодекс ВЕТХОЗАВЕТЕН.

> «Принц с его особой «этикой мести» ПЕРЕВЫПОЛНИЛ СВОЮ КАРАТЕЛЬНУЮ ПРОГРАММУ КАК БЫ В ПОДРАЖАНИЕ ДРЕВНИМ ИУДЕЯМ, КОТОРЫЕ ЗВЕРСТВОВАЛИ БЕЗ ВСЯКОЙ В ТОМ НУЖДЫ И БЫЛИ ВОСПЕТЫ ЗА ЭТО УСТНО И ПИСЬМЕННО».

А-а, теперь все стало на свои места; не удивительно, что *такого* принца, даром что Датского, превозносит литературовед Александр Абрамович Аникст. Ну нет, культу гамлетовщины — не быть! Наш молодогвардейский ответ: лорду, простите... принцу — в морду!..

Да, прелестная подробность: статья опубликована в рубрике «Русская мысль»[4]. НО ЗАЧЕМ? Вот в чем вопрос! Уж какими бы ни были мазохистами сотрудники «Молодой гвардии», но чтобы учинить эдакое своими руками, сознательно и добровольно? Подкупили? Запугали? Не верю. Могу дать только одно разумное объяснение: это изощренная вражеская провокация. Хорошо, когда оппоненты злятся; хуже, если смеются. Так вот, коварные враги (гуманисты, катастройщики, бывшие диссиденты, потомки древних иудеев и проч.) в бессильной ярости отвели, что называется, глаза главному редактору и под видом «русской мысли» протащили на страницы неувядаемого патриотического журнала заведомо ПАРОДИЙНЫЙ ДИСКУРС (вспомним еще раз филологическую игру Т. Стоппарда). Зачем? Ясно зачем: чтобы выставить журнал (и русскую мысль в целом) на посмешище. Надо признать: им это удалось. Гамлетофилы, они хи-и-трые.

---

[4] В поддержку своего мнения Бобров приводит ряд цитат из русских классиков, но все поразительно мимо. «Те, которые находят так много смысла в Гамлете, доказывают более собственное богатство мысли и воображения, нежели превосходство Гамлета», — писал В. А. Жуковский. Но это косвенный комплимент «кадильщикам», которых пытается разоблачить Бобров. Критические высказывания Л. Н. Толстого о Гамлете и «Гамлете» являются частью его работы, разоблачающей ложный авторитет Шекспира-драматурга. Все его пьесы ужасны, считал Толстой. Но до отрицания «отца нашего Шекспира» Бобров не доходит. Критические слова И. С. Тургенева об эгоизме Гамлета тоже мало помогают. «Гамлет — тот же Мефистофель, но Мефистофель, заключенный в живой круг человеческой природы», — цитирует Бобров Тургенева, ставя точку там, где у Тургенева после точки с запятой продолжено: «...оттого его отрицание не есть зло — оно само направлено против зла». Тургенев в своей знаменитой речи «Гамлет и Дон-Кихот» ставил Гамлета в ряд величайших образов мировой литературы, говорил о «красотах, которыми преисполнено это, быть может, замечательнейшее произведение новейшего духа». Очевидно, что точка зрения Тургенева несовместима с мнением Толстого.

РЕЦЕНЗИИ. ОБЗОРЫ

МУЧИТЕЛЬНАЯ ПРОЗА

Олег Павлов. Дело Матюшина. Роман. — «Октябрь», 1997, № 1 — 2.
Олег Павлов. Конец века. Соборный рассказ. — «Октябрь», 1996, № 3.

Творческий процесс писателя, не для удобства критиков, конечно, существующий, не столь однолинеен, каким он выглядит в посмертном каноническом корпусе сочинений, а стилевые поиски не сменяют друг друга в строгой хронологической последовательности, но могут идти параллельно, переплетаться и т. п. Скажем, стилистически строгие павловские «Караульные элегии» и «Записки из-под сапога», будучи постоянным испытательным полигоном писателя, создавались и печатались практически все время — от давнего «Литературного обозрения» до сравнительно недавних книжек «Литературной учебы» и «Реалиста».

У «Дела Матюшина» есть послесловие с подзаголовком «Беседа с Олегом Павловым», но, правда, без указания конкретного собеседника, так что, должно быть, это сугубо авторская рефлексия, диалог с самим собой. Писатель отважно признается: «Замысел и основной материал... появились прежде, чем я задумал и написал «Казенную сказку». Уже был герой, его образ, и написана была основная часть. Но вот получается, что проза эта на шесть лет была отложена...» Тем самым он, стремясь прояснить ситуацию, одновременно и несколько усложнил наше положение, потому что неясно, насколько готова была основная часть и насколько она писалась-переписывалась теперь. Поклоннику его дарования, готовому в очередной раз воспеть, не совсем ясно, насколько это давняя, юношеская, проза, а насколько — новая, зрелая. До или после «Казенной сказки»? А выходит, и *до* и *после*, выходит, эта вещь по времени охватывает, покрывает практически все написанное прозаиком, что, может статься, весьма знаменательно. Впрочем, это ведь нормальное художническое дело, когда материал не отпускает, когда и нести тяжело, и бросить — жалко.

Начнем же по порядку. Жанр и стиль прославленной «Казенной сказки» Олега Павлова («Новый мир», 1994, № 7) обозначены уже в самом названии, отсылающем нас к подзаголовку лесковского «Левши» («Сказ»). Читаем прозу: «Второй такой случай, когда от него шарахались, как от прокаженного, лишил Скрипицына уверенных чувств». Таким образом, две устойчивые формулы — «чувство уверенности» и «лишился чувств» — слились в несобственно прямой речи от лица прапорщика Скрипицына. А вот и несобственно прямая речь от лица генеральского сына Хрулева: «...Скрипицына не мог терпеть, все его страданье так и возмущалось при виде этого похожего на бабу безродного прапорщика». Особенно удачно это «все его страданье возмущалось», выдающее человека полукультуры, но все же пользующегося словами, которые, скажем, «безродному» прапорщику и не доступны. Ведь понятно: за них, вместе с ними, одновременно и дистанцируясь от них, это говорит-пишет и Олег Павлов.

Говорит-пишет, наслаждаясь чувством слова, поверяя артистическим слухом разные «партии».

Тело героического и несчастного одинокого борца за справедливость капитана Хабарова, по одной линии — потомка Левши, по другой — родственника капитана из платоновского «Возвращения», транспортировали из роты в полк в бочке из-под квашеной капусты. Блики зловещей фантасмагории освещают происходящее, усиливая художественное обобщение: «С переломанным хребтом, с выкрученными руками и ногами, в гробу, с набитым опилками животом, усмиренный капитан прибыл в полк, но капустной закваски вытравить не смогли; как она завелась в нем, так и осталась, и когда его домовину установили для прощания в клубе, то караул и проходившие очередью люди млели от душистого щекотания в ноздрях, так что хотелось и чихнуть». Клише из воинского рапорта «прибыл в полк» выдает

сказовый стиль, но видна и дистанцированность «партии» автора от «партий» покойного Хабарова, «докладывающего» о прибытии в полк, и от «партий» «служивых», которые «очередью» шли мимо гроба, удерживая чих.

Рассказ «Митина каша» («Новый мир», 1995, № 10) — тоже из жизни «простых людей», «низовых персонажей», но от уже разработанной армейской среды писатель здесь отошел, а не так-то просто уловить стиль другой жизни, когда пишешь не как автор-демиург, а изнутри персонажей, изнутри «среды». Можно называть героиню «Алефтиной», имитируя скорее письменную неграмотность, чем устную (!), можно написать, по-платоновски кивая на массовую печать, просвещающую народ: «Этот одинокий холм маячил в просторах районного масштаба». Но для надежности автор укрепляет выразительность «Митиной каши» до слезы нагнетаемой задушевностью и трогательностью.

Другое дело — рассказ «Конец века» в третьей книжке «Октября» за 1996 год: там стилевая, изобразительная плотность уравновешена и ходом событий.

Проза Олега Павлова не предусматривает комфортного времяпрепровождения, но рассчитана на известную работу духа. Проза эта в своем роде трудна и по «содержанию» (в больницу привезли грязного, завшивленного, хрипящего в предсмертных судорогах бомжа, но никто не хочет с ним возиться), и по «форме», по стилю (сложный, многослойный сплав авторского стиля и сказа).

Когда читаешь в «Конце века»: «Рождество было или не Рождество...» — думаешь, не слишком ли чистенько для нашего-то автора? Но нет, дальше пойдет стройно — просто именины для слуха! — развертываемая несобственно прямая речь от лица санитарки. И без чрезмерности, без эссенций: «Но вдруг, слышно, завернула и въехала с нытьем одинокая машина. Так всегда и является эта «скорая» будто из-под земли. Баба не спит и гадает: может, пронесло? Но дурной истошный звонок режет как по живому стены и воздух. Дверь на запоре. Отпирать не идут. Ей и страшно, что отпирать не идут, и надо все одно будет вставать, но лежит в потемках комнаты отдыха и, вся твердея от злости, радуется: пускай охранники отпирают, как положено, а то им праздник. Звонок уж по всей больнице неумолчно пилит. Тут, слышно, выскочил от сестер, из шума пьяного да танцев, охранник и побежал тяжело, будто шагая ударами. Стихло, и слышно, как трудится он в гулком предбаннике, отпирает. Привычная, баба чутко уловила, что пошагали в сторону, поспешая за каталкой, — значит, лежачего привезли, вот бы не борова, а то ей как потом будет одной, этих разве допросишься помочь».

Однако «не спи, не спи», читатель... По законам мучительной прозы, автор время от времени усложняет фонограмму. Вот послушайте, в начале абзаца звучит почти гладко-ритмично: «Он лежал в корыте грязной больничной ванны так глубоко и убито, будто висел, приколоченный к ней гвоздями». Аллюзия настолько очевидна, что появилась опасность впасть в патетику, и автор в нее почти впадает: «Что баба силилась отмыть как грязь — свинцовые полосы, черные пятна, — были раны». Но чтобы не слишком уж выспренно звучало, текст становится труднопроизносимым: «Но такой, израненный, и делался он вдруг человеком, так что у Антонины сщемило не своей болью сердце. Тишина в санобработке, недвижная и тяжкая, что оглоушила ее, теперь ушла в сырой холодный покойный воздух, в подпол и стены кафеля: человек этот не дышал и был, чудилось, давно уж мертв».

«Сщемило»? Можно было бы сказать полегче: сжало, защемило. Но автор выбрал, придумал самый трудный вариант, чтобы жизнь нам, читателям, малиной не казалась. А чтобы прочувствовать в полной мере этот спазм в горле, автор дожмет, доведет до конца испытание на прочность, еще раз «сщемив» в следующем абзаце.

Испытывают нас и «Делом Матюшина».

Отец семейства Григорий Ильич, сам в детстве брошенный, навсегда обиженный, отнюдь не отличался добротой, отношения между родителями — нежностью. С братом старшим у Василия, центрального героя романа, дружбы не было. Амбициозный отец-полковник, давший детям имена сыновей Сталина, невзлюбил Василия, которому в детстве неудачно лечили ухо и он стал глуховат, потеряв возможность сделать карьеру военного врача (чего хотелось отцу). Отсюда — «наполеоновская» тема, неудовлетворенные «наполеоновские» амбиции и комплексы («французики», «наполеоны хреновы», говорит однажды старшина Помогалов про офицерскую семью Матюшиных), а где наполеоны, там и раскольниковы, хоть и

«хреновы», измельчавшие, пародийные. Получается, что как Вася однажды буквально рванул в армию, чтобы доказать отцу свою полноценность и освободиться от ада семейного, так и потом, лишь убив человека, смог освободиться от ада армейского.

Что же касается стиля «Дела Матюшина», где отчетливо преобладает авторское начало, то — отметим еще раз отвагу писателя — Олег Павлов признает в послесловии: «Удалось преодолеть сам материал душевно, но не удалось преодолеть его художественно, не удалось перебороть собственный стиль. И вся тяжесть моего стиля в этой вещи невольно утяжелила ее... там, где появляется человек или же я обращаюсь к внутреннему миру героя, начинается драма и появляется эта тяжесть в языке, которая ощутимо мучила и меня самого, и я никак не мог это преодолеть».

Боюсь, это он зря. Регистрацию неудач обычно оставляют друзьям.

Интересно другое признание в послесловии, где Павлов называет свое произведение «повестью поэтической». Это метафорическое самоопределение не так уж неточно. Да, это вещь поэтическая, личностная; в стилевом и эмоциональном отношениях ее поэтика слишком интенсивна, эссенциальна для эпоса.

Мрачноватую гротескную метафорику, причудливо надрывный, трудновыговариваемый — до косноязычия и безвкусия — синтаксис с одновременным нащупыванием сказовой интонации, симбиоз высокой лексики (неизменный глагол «постигал») и простонародных слов вроде «навроде» — все это можно условно назвать орнаментальностью, сознавая, что предмет разговора имеет лишь косвенное отношение к ремизовско-пильняковской «школе» (для постмодернизма произведения Олега Павлова, как и сам автор, слишком серьезны).

Не лишен смысла для этой прозы и авторский термин «основа симфоническая», в широком смысле — музыкальная, если иметь в виду, опять же, стилевую многослойность, трагическую поэтичность, своеобразный — пусть и мрачноватый — лирический пафос, склонность нагромождать словесно-изобразительные «мотивы», «темы». Суггестия в этой вещи достигается за счет стилистических фигур, а не сюжетных ходов. А вот мелькнувшее среди них понятие «соборность» появилось здесь случайно. Соборность — это совершенно определенный термин А. С. Хомякова, связанный с религиозным чувством: «единство... органическое, живое начало которого есть божественная благодать взаимной любви».

Не уверен, однако, что среди «человеческой нечисти» павловского романа найдется место этим вещам.

В «Деле Матюшина» мир еще мрачнее, чем в «Конце века». Здесь не то что санитаркино сердце, а уже самые то ли небо, то ли солнце «сщемляют»: «Холодное небо покрылось вдруг дрожащей голубизной, сщемило блесками (так в тексте. — *В. С.*) солнце, отражаясь в том холоде, как в воде. Они вошли толпой в гулкий бетонный ящик дворика и, не заходя в помещение, заглядывая сторонкой в распахнутую настежь пудовую дверь караулки, пошагали цепью в открывшийся простенок лагерных старых укреплений, похожий на голодную пустую кишку. ...Командовал всеми махонький сержант-китаец, сух да и костист. Со змееподобной черепастой головешкой, из которой сверкали два чернявых (так в тексте. — *В. С.*) глаза».

Не только сержант-китаец похож на змея, но практически все окружающие представляются Васе Матюшину обитателями зверинца. «Сползлись к машине серые, щетинистые солдаты». Там же, через две строки: «Солдаты, как если б только приметили чужого, остановились, подняли от земли глазастые морды и стали долго, угрюмо на него глядеть...» И еще через две строки: «...полковые шатуны отошли...»

Когда названия злобных, хищных, опасных, противных животных поиссякли, окружающий Васю народец стал просто зверьем: « — Убивать их надо. У зверей всегда так, они ж дикие. Зеки их поэтому боятся. Если увидят, что зверь на вышке, — поссать не встанут, лучше обойдут. Его ж кто знает, куда он пальнет, если вспугнуть. И если рот откроет — сразу в зубы ему без разбору. Они так любят, балакает по-своему с улыбочкой, а сам ложит тебя, как хочет, и все они, звери, потом радуются. — И тогда Дыбенко со зла изображал их радость, гыкал да перхал...» «Скоро он стал на подхвате у Гаджиева в столовке, мыл и там полы, котлы, носил отходы на свинарню, где в хлеву был уж на подхвате у свинопаса, тупого зверя.

...Зверь боялся своих свиней, и, когда разбегались у него поросята, Матюшин волочился за ними (так в тексте. — *В. С.*) по расположению, покуда всех не отлавливал».

По мере приближения трагической кульминации, нарастания усталости и раздражения у замордованного Матюшина тема «зверя» (и, если угодно, «Зверя») идет уже сплошняком, подряд: «— Зверь... — прошептал у него за спиной Дыбенко»; «Зверь же ничего не чуял. Кумарил...»; «Зверь оживал и содрогался радостью...»; «Растолкал одеревеневших зверей...»; «Зверь крепился, как мог, чтобы устоять на ногах»; «Смены на водочной он держал со зверьком...»; «А зверьку заступать на водочной...»; «Зверек присмирел».

Как же, в самом деле, поступать со зверями, если не убивать их? И Матюшин, стоя в карауле на «водочной» вышке, в конце концов убивает, сознательно заманив заключенного якобы для того, чтобы продать ему водки: «В тот миг, когда зек сунулся в светлую пустоту этого места, для того и созданного, чтобы шлепнуть человека, как муху, не дав ему ни одной возможности опомниться, укрепиться или обойти сторонкой смерть, Матюшин испытал тошнящую легкость, до отвращения.

Он не целился, чувствуя животное тепло от зека, слепо наведя ему автомат куда-то в живот. Открыв вдруг всего этого человека, тщедушного и какого-то умирающего, и впившись в его рожицу — и не человека, а загнанного, хрупенько-хрящеватого зверька. Таких он повидал. Таких он никогда не боялся. Матюшин будто сходил с ума, не в силах решить, что ему делать, так и не зная, кого и за что казнить. ...Он рыскал голодно, судорожно в памяти, но ничего не отыскивал. Бросался в муку свою и боль, будто в огонь, жаждя только возненавидеть, но этого-то и не мог, будто и пытка его не огненной была, а жгуче ледяной».

(Отнесем невозможное деепричастие «жаждя», как и отмеченное выше немыслимое множественное число «блески» и другие несуразности, на счет речи слесаря Васи Матюшина.)

Нарастая, нагнетаясь, «жгуче ледяная», надрывно-романтическая орнаментальность переходит в прямо-таки библейский пафос: «И выстрел загрохотал за выстрелом, оглоушивая. И все будто добить никак не может. Зек от разрывов пулевых вертится неживой и от пуль изворачивается, умирать не хочет. Когда же затвор по-пустому дернулся и околел, то тело обмякло и обрело вечный покой от одного пустого щелчка. ...И зона от выстрелов на водочной вздрогнула. Зеки головы с подушек говяных подняли в холодном поту. И вся тысяча их разом лишилась душ».

Кстати, характерно и, в общем-то, уместно в поэтике романа — на бесчеловечном фоне одушевляется оружие: «затвор... дернулся и околел» — или: «С плеча его свесился не сданный в оружейку автомат, такой же выдохшийся и усталый...»

Кого же и за что наказал Вася Матюшин? С какой ветошкой расправился, какую вошь, тварь дрожащую раздавил наш новейший раскольников? Может быть, довели армейская жизнь, обстановка, отношения? Ведь даже и чеховская тринадцатилетняя Варька задушила хозяйского ребенка, доведенная до помрачения разума бессонными ночами и непосильной работой. А Вася-то, считай, четверо суток не сменялся с наряда да плюс беспросветная и унизительная пахота в наказание, правда за грубый проступок (отлучился с поста покурить), да плюс сам же затянул узел, запутался с долгами, участвуя в преступной торговле самогонкой.

Но, замечу в духе реальной критики, отношения, среда, атмосфера, хотя бы отчасти, людьми же, человеческим поведением формируются. Персонаж Олега Павлова не ангел белокрылый, он невольно притягивает, сгущает вокруг себя зло. Не судя его, не перечисляя всех эпизодов, где Матюшин подличал, злобно-истерично вымещал свои напасти на более слабых (на «опущенном» Карповиче, на обкуренном поваре-узбеке: «— Я тебя убью! Убью! — вопил Матюшин, чуть не теряя сознание от пронзающей мучительной сладости, волоча его, полудохлого, да швыряя об стены»), приведу одно лишь сильно написанное место, где он, спрятавшись в окопчике, тайком от товарищей объелся, буквально затолкав в себя колбасу, белый хлеб и молоко, за что через минуту сам же себя и наказал, солгав старшине, что ему стало плохо у магазина. Старшина, ничего не подозревая, заставил его выпить марганцовки и послал — два пальца в рот — облегчиться, отправив с ним для

подстраховки и сержанта-китайца: «Нужник таился тут же, в караулке, и хоть Матюшин понимал, куда тащиться да про два пальца в рот, но остального не понимал. Китаец, хоть неохотно было мараться, одолел себя и взялся помогать ему до конца. Но испугался и замер, когда рвануло из больного белым хлебом и заглоченной колбасой. Когда поднял Матюшин взмокшее от потуги лицо и вздохнул, китаец стоял в шаге от него, молчаливый, и дожидался только вывести. А он готов был умереть, но чтобы не выходить больше наружу, постигая по взгляду мертвоватому китайца, что и в глазах всей солдатни подписал себе приговор».

И вот наутро после убийства, пока Матюшин трясся и мучился содеянным, а перепуганные солдатики завидовали ему, перехватившему инициативу, право имевшему, посмевшему (а они не посмели!) таким геройским способом заработать себе дембель (подстрелить заключенного «при попытке...»), приходит известие, что у него умер отец. Причем умер еще накануне, возможно, в момент убийства, как раз тогда, когда опорожнившему автоматный рожок Матюшину-сыну стало «покойно и тепло» в коробе вышки, «будто в материнском животе».

Нужно сильно зажмуриться, чтобы не заметить жесткой мистической и одновременно — фрейдистской связи между этими событиями. Вот каким, оказывается, способом найден наконец путь к неизведанному материнскому теплу. Стреляя в заключенного, он, как ни силился, не мог найти в себе ненависти к нему, вообще не помнил — несмотря на тяготы солдатской службы, — кого или что он ненавидит, потому, верно, что бессознательно решал иную «сверхзадачу»: расправиться, поквитаться с папашей, в доме которого тепла-то и не изведал, а был искалечен и физически, и морально.

Что же перед нами — «полотно», картина нравов, сатирическое изображение то ли «савецкой», то ли расейской действительности? Оно, конечно, почетно и соблазнительно увидеть в «Деле Матюшина» впечатляющее «широкомасштабное полотно». Хотя и скучновато. Но сам Павлов — и вполне резонно — открещивается в послесловии от социальной беллетристики. Он, на мой взгляд, не столько социальный писатель, сколько «речевой», и я думаю, что речевые проблемы этого романа связаны с попыткой автора проникнуть в глубинные антропологические и бытийные пласты.

«Картины» же и «нравы» носят скорее экзистенциальный характер; в стилистическом плане решенные романтически, орнаментально, они являются лишь подходящим фоном для изломанной души комплексующего героя, материалом для ее подпитки и насыщения.

Роман Олега Павлова — трагедийная «повесть поэтическая» об аде душевном и о некоем роковом проклятии, о котором когда-то писал еще Гораций, обращаясь к римскому народу («Оды», книга третья, 6):

...хуже дедов наши родители,
Мы хуже их, а наши будут
дети и внуки еще порочней.

(Перевод с латинского Н. Шатерникова)

А все остальное здесь — на втором плане, в том числе и несколько притянутая за уши, романтически заданная общечеловеческая любовь.

А как же прорастание зерна? Дескать, прорастая, зерно отмирает, давая жизнь будущему злаку, пробивающемуся к солнцу, к свету. Ну, не знаю, не знаю... То, что зернышко отмирает, — очевидно, но боюсь, «злак» пророс головой вниз, во мрак, в ад.

Наш Вася освободился, и «освободился», убив отца метафизически, а заключенного — физически, и, убив, как бы занял наконец отцовское место рядом с матерью, тем более что и старший брат погиб, то есть никаких «соперников» уже не было: «Матюшину там вдруг сделалось хорошо, в том уголке; хоть мать заставила его в первый раз нарядиться в дубленку, пыжиковую шапку и ботинки, что пришлись ему впору и какие сберегал лет пять да почти не износил отец, покупая себе из бережливости все большее. Он ходил по кладбищу, сдавленный непривычно дубленкой и не свыкшийся еще с мирной одеждой, далеко от могилы снежной брата, радуясь сверкающему нетронутому снегу, чувствуя себя во всем отцовом, будто в живой родной броне».

Начало любви, ее неистребимость продекларированы автором — его бы устами мед пить! — вопреки очевидному: «Это был страх, но такой же трепещущий, зараженный любовью, что и жалость к отцу старшего брата, — и любовь, а не страх делали их души подвластными отцу, грязью в его руках. Любовь эту нельзя было истребить в их душах. Как не постигал отец, что отторгает детей и мстит этой чужой жизни нелюбовью к своим детям, так и дети не постигали, что чем сильней будет эта нелюбовь отца, эта его священная кровная месть жизни, приносящая их в жертву, тем жертвенней и неодолимей будет порыв любви к нему, точно порывом и силой жизни; что нелюбовь к ним отца, но и любовь их к отцу неистребимы, как сама жизнь, и не могут друг без друга».

Матюшин «убивает» отца, точнее, «сваливает» на него свой грех — от неистребимой любви к нему? Ведь и Рогожин, к примеру, от любви убил Настасью Филипповну. ...Но там, отвечу, противоречивая, трагическая любовь проведена сюжетно, мотивирована событийно.

В нашем же случае доведена до предельной контрастности, душераздирающей парадоксальности сама романтическая словесная материя: «Он испытывал и боль, что у этих людей, которые дрыхли младенцами за стеной, нет силы проглотить свой голод, свою слабость и не длить их тошно день ото дня, но и ненавидел их, потому что был средь них другим, чужим, как бы и выродком, которому не удержаться долго одному. То есть ненавидел, будто сознавал, что суждено от них, средь них неотвратимо ему погибнуть, но и кровь его жалостливо ныла той живородящейся зверской любовью, в яростном порыве которой мог всех спящих-то перестрелять, чтобы не мучили их день ото дня, чтобы не заставляли их, младенчиков, день ото дня жить».

Ага.

Сравним теперь это место с описанием похорон капитана Хабарова в «Казенной сказке». Там тоже шли контрастные ассоциации, точно сочеталось трагическое с комическим (желание чихнуть во время похорон), но — при известной фантасмагорийности картины — есть у нее строгая внутренняя мотивировка. В «матюшинском» же случае комизм иного характера: при всех поправках на романтическую условность очень трудно себе вообразить, как служивые младенчики спят и видят, что их спасут, избавят подобным способом — убьют, любя, чтобы не мучились.

...Уже я подгребал к закругленному финалу, да тут, как нарочно, чтобы не так легко было расстаться с мучительной прозой, выходит в «Литературной газете» (от 30 апреля сего года) статья Олега же Павлова «Дело рядового Минина» — о взволновавшем всех читателей-зрителей побеге солдата Романа Минина, «затравленного, ничего не понимающего тщедушного паренька». В статье много до ужаса похожего на то, что описал прозаик в романе; «дела», как видим, не кончаются.

Вот уж поистине и нести тяжко, и бросить невозможно.

Даст ли эта тема дембель прозаику Павлову?

Владимир СЛАВЕЦКИЙ.

*

БЕЗ ПОКРОВА

Сергей Петров. Избранные стихотворения. [Предисловие Валерия Шубинского.] СПб. «Эзро». 1997. 160 стр.

Впервые вышла в свет книга стихотворений Сергея Владимировича Петрова (1911 — 1988), поэта при жизни почти не печатавшегося, более известного читателям как переводчик. Впрочем, это судьба не только С. Петрова. Почти все знаменитые ленинградские филологи недавнего прошлого, столпы гуманитарной науки и светочи образования, писали стихи «в стол» и зачастую помышляли себя на сумеречных стогнах истории, во-первых, поэтами, а уже потом лермонтоведами, германистами, историками символизма. Вспомним Мануйлова, Адмони, Максимова, Громова. Теперь их строфы доступны любому посетителю библиотек. И было бы очень любопытно попытаться объединить их труды и дни в корпус некой метафизической антологии, чтобы обозначить координаты лирических воз-

можностей в поле той жизни, статус которой отсюда, из теперь, представляется невыносимым в сугубо онтологическом смысле. Будем думать, что перед мысленным взором неутомимого молодого издателя уже поблескивает тиснением переплета эта будущая основательная книга.

Какое неведомое лирическое качество недавней жизни выявится там? Какая неизвестная досель субстанция выйдет на авансцену? Какой приоткроется психологический комплекс, по которому мы сможем понять бессознательные мотивы существования тех «теневых» стихотворцев? Все это имеет самое прямое отношение и к Петрову, тоже мученику и пасынку того времени.

В 1983 году в эстонском ежеквартальнике «Таллин», вероятно не так уж тщательно цензурируемом, было опубликовано несколько его стихотворений. Впечатление тогда они произвели очень большое. Вот одно из них, вошедшее и в книгу:

Ночь плачет в августе, как Бог темным-темна.
Горючая звезда скатилась в скорбном мраке.
От дома моего до самого гумна
земная тишина и мертвые собаки.

Крыльцо плывет, как плот, и тень шестом торчит,
и двор, как малый мир, стоит, не продолжаясь.
А вечность в августе и плачет и молчит,
звездами горькими печально обливаясь.

К тебе, о полночи глубокий окоем,
всю суть туманную хочу возвесть я,
но мысли медленно в глухом уме моем
перемещаются, как бы в веках созвездья.

(1945)

Сквозь скорбную мандельштамовскую материальную зыбкость этих строк, детерминированную метафизическими посылками Заболоцкого, проступают собственные орбиты поэтики Петрова, чьей горькой и замкнутой кеплеровской системы он не покинет никогда: в *глухом уме моем* происходят все таинства мира, в утробе *глухоты* (и глухомани тоже) ворочаются созвездья, чада молчаливой плачущей вечности, и надо всем в самом начале этой пьесы, как бы вознесенный на пьедестал первой строки, над упадком августа, над *земной тишиной и мертвыми собаками,* царит темный непонятный *Бог.* Тишина, молчание, немотство проступают во многих стихотворениях Петрова символом чуть ли не единственного условия существования в этом мире:

А мы вдвоем под этот вой
избой, как сном, окружены,
и этот вечер — вечер твой,
и мы в него погружены.

А тень повисла на гвозде —
пальто, уставшее за день,
и ночь растет у нас в гнезде.
Потише! Счастья не задень!

(1949)

Испуганный человек в тенетах глухоты прижимает палец к устам: *потише,* просит он в финальных строчках, он требует, восклицая: *потише!* — ведь его пространство, среда обитания — *вечер* (*вечер твой,* — говорит поэт, подразумевая не столько сумрачное время суток, сколько сумерки жизни), где *тень* (как самоубийца или как снятое пальто, *уставшее за день*), разоблаченная, отставшая от владельца, ни на что уже не годная, повисла бессмысленным неживым телом, как *пальто;* но *пальто* — телесно, так как может устать, измочиться, стать жалким подобием своего дневного насельника. Я привел две строфы этого не самого поэтически выразительного стихотворения, чтобы показать, как глубок «комплекс тишины» у Петрова. Это и неудивительно, ведь многие строки этого лирического отчета написаны из-под глыб, в глубоком подполье ссылки, без надежды на отзыв и отклик.

Тему смерти он решает метафизически, в духе обэриутов: *Когда умру, оплачь меня / слезами ржи и ячменя. / Прикрой меня словами лжи. / И спать под землю уло-*

жи. Он хочет, *чтоб...* над ним (варьируя и принижая лермонтовский мотив) *...вяз свой воз зеленый вез.* Он надеется на конкретное, телесное воскрешение: *Авось тогда остаток мой, / согретый черноземной тьмой, / взбежит свободно и легко / по жилам, точно молоко.* И вот является Бог в ипостаси агронома. Поэт обращается к нему: *Помилуй, Боже, мя!* Круг замыкается, можно начинать сначала. Но присмотримся к *словам лжи* и слезам злаковых — *ржи и ячменя.* Что это, как не указание на тотальную бессмысленность речи, на отрицание смысла бытия? Мышление в стихах Петрова подменено концентратом воображения — в этом их первобытная сила, витальная мощь, но также и слабость несвязности, некоординированности с рационалистической культурой (бытие тем и отличается от быта, что оно внятно, структурировано, имеет иерархии).

Лирические темы, как и способ их воплощения, у Петрова всегда заострены, зачастую до публицистичности, они стремятся к кипению, но, увы, не вскипают (да простится мне этот физикализм, они лишь шумят глухим гулом белого ключа, когда мельчайшие пузырьки не могут подняться к поверхности и, захлопываясь на глубине, порождают перед началом кипения мерный гуд). Ролан Барт в статье «Гул языка» заметил, что в поэзии «музыка фонем служит «фоном» для сообщения», поставив в оппозицию поэзии, то есть, по сути, сообщению, этот самый «гул», некую утопическую «беспредельную звуковую ткань», где взаимопроникают фоническое, метрическое и мелодическое. И то, что представляется автору предисловия сильной стороной лирики Петрова — «речь... осеменена и беременна физиологической явью мира», «слово или фраза... не имеют «точного», раз навсегда закрепленного и равного себе смысла», они, слова и фразы, существуют «в вечной перекличке... постепенно обрастая плотью и сливаясь не с вещью и не с «вещью в себе», но с еще бесформенной стихией бытия», — мне видится явным недостатком, недооформленностью, источником явных провалов: *...страсть тверда, как кость, как остов, / как гостья гордая погостов, / и тело кружится как остров / в житейском море суеты.*

И я не спешил бы вселять Петрова в тесные и без того горние сферы, где, согласно вступительной статье, Хлебников, Мандельштам, Клюев и Бродский снуют ангелами ветреных воздусей, а нижние жильцы — Ахматова, Кузмин и Пастернак («несмотря на его лексическое богатство») — прямоходящие наблюдатели-страдальцы от порожденных выше атмосферических протечек.

Но вернемся к *тишине:* у нее помимо интимного есть еще и драматический аспект: ее описатель принимает на себя, если можно так выразиться, анонимность тихости, он глохнет, тускнеет, лишается «цветности» (не зря Мандельштам в «Ламарке» констатировал итог инволюции как ужас социального изъятия: «Наступает глухота паучья, / Здесь провал сильнее наших сил»), ведь не-из-вестность (отвлеченность от вести), отдельность синонимична потере этим персонажем собственного бытия, она означает приближенность к смерти, к гибели, к небытию. *Кто я?* — спрашивает поэт и сам отвечает вопросом: *...хилый писк без стона и рыданья? / Или запоздалая звезда / на морозной тризне мирозданья?* И так естественна на фоне удушенности звуковая слишком прямая игра согласными *зн* и *зд* в последних строчках. Петрову порой кажется, что он для самого себя недостаточно громок, звучен и внятен, от этого — вынужденный перебор экспрессии и комизма.

Фонетический гул, создаваемый настойчивой паронимией, стремлением к звуковым двойникам, — излюбленная среда поэта. В ней он резвится как рыба в воде. Гул создает иллюзию полноты и полнокровия существования, отменяет одиночество, приносит наслаждение. И часто случается так, что звуковое движение и есть главное, целенаправленное усилие поэта, обрекающее все прочие доминанты поэзии забвению. Но здесь стоит задаться вопросом: а могло ли вообще быть как-то иначе в том времени, когда писались эти стихи? Ответ напрашивается сам собою. В концлагерях лирику не сочиняют. Там сочиняют клинику.

Отменяя тишину и тихость внутреннего существования, поэт гротескно подмечает в «Киноцефалии»:

А рядом толпы маленьких макак
и капуциники — как циники-ребятки,
все скок да скок, и все-таки никак,
никак не прыгнуть к *жизни* на запятки.

Жизнь здесь определяется в прямом и переносном смысле как некая платформа, твердыня, нечто, обладающее атрибутами истинного и высокого, но одномоментно — жизнь, недостижимое для многих насельников тварного мира нечто не совсем ясное, хотя и обладающее самым высоким статусом, возвышенным до онтологической категории. Это непроясненное двойничество мучит поэта:

Я стал теперь такая скука,
такой житейский профсоюз,
что без повестки и без стука
я сам в себя зайти боюсь:
а ну как встретят дружной бранью
за то, что сдал, за то, что стих,
за то, что опоздал к собранью,
к собранью истин прописных?

(1966)

Житейский профсоюз здесь не только изящная поэтическая формула. Через этот *профсоюз,* вольно или невольно для автора, проступает низкий, сниженный соматический смысл телесного, плоти человека, его всегда греховное (для Петрова) «дно», «чрево», сильный и неукротимый двойник высокого и чистого спиритуального *я,* двойник, могущий грубо укорять (!) за тишину, за поражение, за то, *что стих* (хотя этот глагол — «стих» — и выступает как омонимический соперник речи, стиха и стихотворчества). Вот отсюда и проистекают истоки внешней, ритмической экспрессивности, контрастно рваного низко-высокого словаря, визионерства и сумбурности. Они — и недостаток, и достоинство поэтики Петрова. Он проговаривается: *ты* (подразумевается жизнь), *Психея-душенька, / с мордочкой лемура* (1962). Он визионерствует: *Нет, художник, на тебе вины, / но свистит лозою наказанья / жесткая мелодия спины* (1965), описывая серовский портрет Иды Рубинштейн, повторяя или предваряя свои переводы из Рильке, но никогда не приближается к внятной орфической трагичности последнего. Трагедия Петрова без катарсиса, она убийственна и грязна, она — сама плоть, похоть, пропажа высокого, то есть — сама жизнь.

В программном стихотворении 1967 года, названном местоимением «Ты», поэт, словно архитектор, достает из тубы метафизический чертеж жизни и разворачивает перед нами свиток дикого, фантастического прожекта, где должно наконец-то соединиться всё и вся. Вот-вот над соматическим похотливым узилищем: *...шаталась ты по улицам шалавой / и шлялась за бесстыжей доброй славой... / ...но драла же! — / до дрожи дорогой, до самой блудной блажи — / ...вдруг становилась нежной кожи глаже, / являясь в полном голом антураже* (вспоминаются проекты темниц Пиранези, населенные полуголыми титанами, прекрасно страдающими на расстоянии выстрела друг от друга) — вознесется новый, особый спиритуальный объем, но такой же страшный сиюминутной возможностью утраты, так же насыщенный страданием, как и плотский погреб внизу: *...летала в однодневном экипаже, / наряженная в воздух стрекоза... / в бессмертные пейзажи / ты погружалась, словно в вернисажи, / где нет уже ни копоти, ни сажи, / а только дым, хрусталь и бирюза...* Тут ничего остойчивого нет. И не предвидится. Стихотворение заканчивается так:

Валилась замертво. В твоем развале
валялись похоть с нехотью вдвоем.
И жизнью умники тебя прозвали
и брали напрокат, взаймы, в заклад, внаем.

(1967)

Оказывается, что здесь вообще никто не ж и в е т, к этой «ты» никто не может присоседиться, с ней невозможно слиться, не то чтобы отождествиться. Она — ничто и нечто. Ниша. Полость. Как фальшивая нота на этом фоне звучит успешный современник Петрова Тарковский: *...И речь по горло полнозвучной силой / Наполнилась и слово т ы раскрыло / Свой новый смысл и означало: царь.* И дело совсем не в том, что Тарковский опрятно медитирует по поводу любовного свидания, а в том,

что для Петрова подобная лирическая речь уже безвозвратно и навсегда потеряна, как и признаки счастья с его *полнозвучной силой*. Он — поэт ущерба, потому что услышал другую просодию — блатную, жаргонную, зареванную, лишенную прав и состояния.

Он настаивает на том, что его самого почти нет: *С обрывком вечера я сам-четвертый / иду домой по улочке немой.* Дальше *...я теряю время / и тихо набираю пустоту.* И стихотворение кончается констатацией *...я и длинный-длинный снег.*

В весьма показательном стихотворении-романсе о гадании (кстати, тема фатума многократно и назойливо варьируется в книге) он залихватски скандирует, перепевая, пародируя классическую державинскую грифельную оду: *...а тело по течению, как лодку, / поволочет безвременья река, / туманная, как память старика... / Послушай, Боже, отпусти поводья, / дай закусить до крови удила, / покуда смерть меня не родила!* — и великолепно проговаривается о желанном потустороннем бытии, у которого не будет никаких атрибутов, кроме глухого гула, что предвестником близкой гибели стоит во всех стихотворениях поэта, проступает через постоянную, ключевую нелирическую тему глухоты и недоумения. Для чего *смерть родит* поэта? Для какого существования? Что будет главенствовать в нем? Какие звуки? Он сам пытается ответить на эти вопросы в стихотворении «Кто я?». Не оценивая корявостей и языковых неловкостей, приведем его целиком, прислушаемся к этому сообщению из темноты ссылки в недра «письменного стола»:

Я думаю иль кто-то мыслит мной?
Рука с плечом мои? Или рычаг случайный?
Я есмь лишь часть себя иль гость необычайный?
Начало вечности или конец срамной?

Настигнутый умом, я сплошь одни увечья.
Настеган истинами, еле-еле жив.
И, голову в сторонку отложив:
Уж лучше Божья ложь, чем правда человечья.

(1969)

Благодати противопоставлен *конец срамной,* ум убийствен, осознанье невозможно и небытие — не что иное, как *Божья ложь,* то есть тишина, где ничто и никто, но и она тоже, эта тишина, насыщена речью и звуками *Божьей лжи.* На пространстве лирики Петрова разворачивается формула подмены бытия кошмаром и срамом, которые единственные звучат и слышны, которые изгоняют жизнь (в полнокровных смыслах она не встречается у него) из всего сущего *здесь,* так как существование *здесь* невозможно. Гул настигает его и заливает потоком.

Поэт, его лирическое *я* инфицировано на таком фоне вирусом неполноценности, и посылка в самом начале фуги «Яма»: *Я есмь помойная великой Яви яма* — содержит в себе не формулу самоуничижения, а вывернутую декларацию мегаломании (да и, по правде сказать, добрая треть стихов сборника начинается с *Я*). Оставим за границами этих заметок тему греховности, наиболее конфликтную, будоражащую и терпкую.

В одном из лучших стихотворений, настойчиво поименованном фугой, поэт пишет с трагической откровенностью: *Скажи мне, жизнь моя, тихонько, кто ты. / Хоть на ушко одно словцо шепни! / Зачем молчишь, глядя во все пустоты / (где только камни под ноги да пни)?* Как будто претворилось пророчество Баратынского, высказанное им в «Последней смерти»: «Величествен и грустен был *позор* / Пустынных вод, лесов, долин и гор». Герой Баратынского увидел обезлюдевший мир с высоты орлиной перспективы. Стихи Сергея Петрова написаны совсем из другого *позора* — из недр, из темного низа — человеком, видевшим «...без покрова / Последнюю судьбу всего живого». Фуга «Я с жизнью рядом» завершается:

Я с жизнью рядом — с Блазнью или Блажью?
благословляя силу вражью,
русалочьи — ничейные — глаза,
лежу, не разумея ни аза.

(1969)

Не поленимся привести две цитаты из «Толкового словаря живого великорусского языка»:

«Блажь ж. — дурь, шаль, дурость; упорство, упрямство, своенравие; юродство; притворная дурь; временное помешательство, сумасбродство; мечты, бред, грезы наяву; вздор, нелепость, чепуха; несбыточные мысли, желания...»

«Блазнь м. или *блазнь* ж. — соблазн, соблазнительные слова, поступки...»

Связка двух этих категорий альтернативным союзом «или» порождает морок недоумения, а оно — «условье смутных наших дней» (Баратынский), без которого, по Петрову, нет и самого бытия.

Николай КОНОНОВ.

С.-Петербург.

*

ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ ВО СНЕ

Владимир Набоков. Прозрачные вещи. Роман. Перевод с английского Сергея Ильина. — «Новая Юность», 1996, № 3.

Собственно, однажды этот роман уже выходил на русском. Случилось это в «Худлите» неполных пять лет тому назад, когда тираж в сто тысяч не считался огромным, а коллективные переводы были в ходу. О ту пору роман носил громоздкое имя «Просвечивающие предметы», имел с легкой руки переводчиков путаницу в гостиничных этажах, милые разночтения в именах героинь и шел третьим в сборнике после «Себастьяна Найта» и «Пнина». В тени первых двух наш роман и остался — до нынешнего, скажем, дня.

Подобное невнимание со стороны литературной судьбы имело длинную ретроспективу. И русские, и англоязычные комментаторы и биографы Набокова, написавшие о нем не одну тысячу страниц, всякий раз сбивались с ритма повествования в том самом месте, где — после «Ады» и до последнего романа «Взгляните на арлекинов!» — призрачно просвечивали «Прозрачные вещи», вышедшие отдельной книгой в 1972 году. В этом почти заколдованном месте искусные исследователи предпочитали: 1) тактичное умолчание, оказанное роману Зинаидой Шаховской, и 2) бодрый пересказ вялого, в общем, сюжетного стержня, как поступили Эндрю Филд и Брайен Бойд, — и никто, как правило, не задерживался здесь долее чем на три-пять страниц. Как если бы роман не существовал вовсе или был досадной опиской писателя.

Но несмотря на свои прозрачные свойства, роман вполне осязаем и занимает — после многотрудной и джойсоподобной «Ады» — совершенно особое место, напоминая скорее виньетку на синей почтовой бумаге отеля в Монтрё, нежели крупнокалиберный литературный труд. После утомительного перехода через альпы великолепной «Ады» В. В. позволяет себе некую паузу. Но рука, перенимая свойства шелкопряда, продолжает вытягивать нитку строки, и вот — как бы нехотя, почти спонтанно — рождаются «Прозрачные вещи», за ростом которых автор лишь мельком наблюдает из окон напротив: «А, вот и нужный мне персонаж. Привет, персонаж! Не слышит». Так, с необязательного шапочного знакомства автора и героя, начинается этот роман.

Но именно такое, «сомнамбулическое», письмо, которое не трещит под тяжестью слишком глобальных авторских замыслов, позволяет пробиться сквозь бродячие сюжеты Набокова витальной теме «Прозрачных вещей» — в конспективном, так сказать, изложении на сотне страниц. Пунктирные темы В. В. — русская литература, изгнание, детство, страсть и т. д. — отступают здесь на задний план. На сцене же — «водяные знаки потусторонности», как сказала бы Вера Набокова, или блистательная метафора истонченной уже ткани бытия семидесятилетнего мэтра. Так скажем мы.

Смысл — в прозрачности как таковой, а не в том, например, что финал романа схож с финалом «Защиты Лужина», или в иных перекличках, которые здесь весьма условны. Нарочито, почти по Гоголю, условен уже главный герой: не стар, но и не молод, несколько рыжеват, несколько рябоват, с цветом лица, что называ-

ется, геморроидальным. Его имя — Персон — переводится с оригинала как «человек вообще, некая особа». Оно отвлеченно в квадрате, ибо синонимично понятию «персонаж». Роман, как матрешка, представляет собой каталог вещей, предметов, лиц и свойств, расположенных в зависимости убывания коэффициента их физической — или метафизической — проницаемости: от простой (простой ли?) прозрачности женского чулка до прозрачности переборок в кошмарных снах персонажа. Или в его памяти. Фабула тащит героев сквозь пространство и время, подталкивая в прорехи воспоминаний и сновидений, и эти провалы (а видимо, не фабула) суть подлинный сюжет «Прозрачных вещей». Топография сквозных и глухих коридоров сна составляет его основу.

Но тут с беспардонной самоуверенностью призрака возникает в нашей памяти другой набоковский герой — и требует немедленной сатисфакции. В самом деле: непрозрачный Цинциннат Ц. из «Приглашения на казнь» может обвинить Персона в плагиате, ибо чем, как не апофеозом сна, был тот, 1936 года, роман? Объяснимся, не обращая пока внимания на то, что романы как бы симметричны: 1936 + 36 = 1972. В «Приглашении на казнь» первичен сам сон — его, сна, совмещения, нелепицы, игры с предметами и отношениями, только намекающие на реальность. Взгляд на жизнь из сна. Из воображаемой смерти. Не то — в «Прозрачных вещах». Герои живут здесь слишком заурядной жизнью, и только оптический прибор автора заставляет заглядывать их в сон — в смерть. И там и тут герои выясняют отношения со смертью, но делают это с разных — симметричных — сторон зеркала, которое, как и смерть, остается неизменным. В «Приглашении на казнь» герой все-таки просыпается (похожим образом проснулась когда-то и Алиса в Стране чудес). В «Прозрачных вещах» его все более клонит ко сну.

Вот подросток Хью Персон поднимается в каморку проститутки; сегодня утром умер его отец; долгожданная свобода. Дотошный набоковед, покрывшись испариной радости первооткрывателя, уже тянет параллель из рассказа «Возвращение Чорба», в то время как сама каморка становится прозрачной, года отслаиваются и за столом появляется русский писатель, который провел в этой комнате ночь ровно сто лет назад по дороге в Италию. И пока исследователь выводит психологическую формулу «Персон плюс проститутка», Набоков в который раз начинает выяснять отношения с Достоевским (ибо суматошный призрак — именно он), назначив место встречи — а где же еще? — в каморке у проститутки. Что касается Персона, то в течение двух страниц он напрочь забыт и никто, никто не слышит его одышливой возни на слишком памятливой кровати с медными шишаками.

А вот и теннисный корт (не иначе тот самый, где когда-то Лолита лупила крепко и плоско, со свойственным ей вольным махом). Здесь наш персонаж будет демонстрировать своей возлюбленной фирменный удар, «сильный драйв с льнущей подрезкой», и дотошные описания постановки руки (ровно как и прилипающего отскока) увлекают читателя настолько, чтобы не заметить перехода из реальности в сон. Ибо в тексте нет никакого подтверждения тому, что стильный удар — не бредовый сон бедного Персона. Начиная с перспективной прозрачности предмета (мы распознаем карандаш «в бревне... бревно в дереве... дерево в лесу... лес в мире, который построил Джек»), В. В. совершает виртуозный демарш сквозь прозрачные стены ночных кошмаров. Ибо что есть сон, как не идеальная метафора смерти и ее водяных знаков на тонкой ткани материи мира?

В реальной жизни Персон зауряден, неловок, одышлив и прост. По ходу романа, однако, Набоков с тщанием шпиона компрометирует реальность, и мы уже не уверены в нашем герое. То Персон — простой корректор. То литературный секретарь великого писателя R. (сквозь которого с зеркальной точностью проглядывает, мерцая, собственное «я» Набокова — грузного, с нехорошими зубами и маниакальной щепетильностью). К двадцатой странице читатель вполне уверенно путает стороны любовных треугольников, которыми проперчены страницы романа. К оптическим обманкам геометрического порядка добавлены провалы чисто гоголевского свойства: дотошные описания людей, совершенно посторонних сюжету («Дивной души была старушка, жила с пятью кошками в игрушечном домике в самом конце березовой...» Все, забыли). Эти «метафизические» пропасти компенсируются, в свою очередь, материальными геологическими породами горных отрогов Швейца-

рии, на которые с упорством бодрствующих людей карабкаются герои романа. Но и только.

Набоков наполняет реальность предметами чисто сновидческого покроя: неожиданно безвкусный шоколад, чудовищной формы лыжные крепления («кузены ортопедических приспособлений»), пучеглазые очки на лыжнице в красном скафандре, газетные комиксы, бездарные телепередачи — то есть приметами «нового времени», казавшимися В. В. куда более потусторонними, чем обычные психозы и фобии. Зато во сне! — во сне Персон был изобретателем «Персонова пера», незаурядным стихотворцем и автором фирменного удара. Героическая персона «Персон»! В сомнамбулическом трансе он сражался с прикроватной тумбочкой, разгуливал по карнизам и задушил-таки свою жену, пытаясь спасти ее из воображаемого пожара. За что, собственно, и угодил в тюрьму.

Оказалось вдруг, что весь роман имеет шанс быть всего лишь отчетом нашего Персона на приеме у тюремного сексопатолога, настолько ненавязчиво появляются в тексте его, сексопатолога, вопросы — и также незаметно потом исчезают. Роман окончательно расслаивается: на любовную историю с односторонним летальным исходом — и метафору небытия, где любовная лирика (по-сновидчески, кстати, искаженная) лишь оттеняет прозрачные — потусторонние — свойства жизни в осеннюю ее пору.

Таков вкратце этот роман. Надо надеяться, что после публикации «Новой Юностью» великолепного перевода Сергея Ильина он займет свое исключительное место. Нам же остается лишь досказать, что писатель R. умирает («Ухожу к другому Издателю, еще более великому. В его Издательском доме меня будут править херувимы — или набирать с ошибками черти...» Своего рода интерпретация Набоковым сюжета собственной, уже недалекой, смерти). В это время бедный Персон еще блуждает по маршрутам памяти. Но в прошлое — как и в сон — невозможно вернуться. Говорят, незадолго до гибели его еще помотало по тюрьмам и психушкам, пока не оказался он на приватном лечении.

Но кто берется лечить сновидения, кроме мошенников?

Глеб ШУЛЬПЯКОВ.

*

СОЛНЦЕ ВЕЧНОСТИ

Е. Ю. Кузьмина-Караваева. Наше время еще не разгадано... Составление, предисловие, примечания А. Н. Шустова. Томск. «Водолей». 1996. 159 стр.

На черном фоне переплета марка, когда-то украшавшая обложку «Аполлона»: увитая цветами лира, рисунок М. Добужинского. Один из символов серебряного века, вероятно, даже самый известный. Мета эпохи. Той, которой, по мысли томских издателей Кузьминой-Караваевой, принадлежит и она, названная в аннотации одним из выдающихся имен тогдашней литературной истории.

Это, во всяком случае, не общепринятое мнение. Сам факт, что Кузьмина-Караваева писала стихи несколько десятилетий, до конца своего земного пути, в общем-то, не главный для последующего восприятия ее личности. Образ, который вошел в сознание потомков, — лишь в незначительной степени образ поэта. И уж никак не образ поэта серебряного века.

Книга, составленная исключительно из созданного в ту эпоху — или из непосредственно к ней возвращающего, как написанный в эмиграции мемуарный очерк «Последние римляне», — неизбежно выглядит полемичной по отношению к преобладающим понятиям и взглядам. Обоснованно полемичной. Дело даже не в том, как оценивать поэтическое дарование, раскрывшееся в двух небольших книжках 10-х годов — «Скифские черепки» и «Руфь». Рано или поздно история литературы с достаточной точностью определит место Кузьминой-Караваевой среди русских поэтов той поры. Да и сейчас ясно, что оно далеко не из последних.

Но куда менее ясно, что есть живые нити, которые от вчерашней бестужевки с ее страстным обожанием Блока протянулись к матери Марии, чья героическая и высокая судьба осознается как христианский подвиг. Что, вопреки укорененным представлениям, не разным духовным слоям, но одной культуре принадлежат и частая гостья знаменитой ивановской «башни» в Петербурге на Таврической, и монахиня в миру, основавшая парижскую православную общину на рю де Лурмель, где ее и арестовало гестапо. Что не существует антагонизма между Лизой Пиленко, которую Блок запечатлел в ее пятнадцать лет размышляющей все только «о печальном... о концах и началах», и мученицей, погибшей в немецком концлагере Равенсбрюк за месяц с небольшим до окончания войны.

Посмертно «Общество друзей матери Марии» выпустило две самые полные книги ее стихотворений. Их можно по-разному оценивать: преимущественно как человеческий документ или еще и как факт литературы. С последним предположением, в принципе, никто не спорит, но, кажется, никто и не относится к нему всерьез. Ведь понятно, что не литература оказалась главным жизненным призванием матери Марии. Да и не убеждал ли ее Блок любить небо больше, чем «рифмованные и нерифмованные речи о земле и о небе»?

Она, однако, отклонила совет пожертвовать поэзией, чтобы не становиться сочинителем, «отнимающим аромат у живого цветка». Продолжала писать и после того, как приняла постриг, — всю жизнь, даже в годы оккупации. Конечно, не совсем такие стихи, как в юности, совпавшей с серебряным веком, но всегда несущие на себе ясный отпечаток ее личности. А личность была редкостно цельной, что бы впоследствии ни говорилось о пережитых ею переломах и отречениях от былого.

Понятны причины, которые сделали такие разговоры практически неизбежными. Атмосфера «башни» Вяч. Иванова, замечательно описанной в «Последних римлянах», кажется, уж слишком несхожа с той, которая царила в парижском приюте, устроенном монахиней Марией. Читая об этом пристанище для обездоленных, для подобранных по вокзалам и вызволенных из сумасшедших домов, словно бы физически переносишься из аристократического петербургского квартала на окраину Парижа, где кривые тротуары, грязные заборы, гаражи, бистро. Да и сама мать Мария, какой ее описывают мемуаристы, неужели она вправду из серебряного века? Т. Манухина, напечатавшая к десятилетию ее гибели ценный очерк, вспоминает грузную женщину, которая, взвалив на спину, тащит с рынка мешок, набитый капустой, костями, по дешевке доставшимися обрезками, а потом, подоткнув подол монашеского платья, орудует у плиты, где в гигантском чане варится похлебка на всю общину. Что общего может у нее найтись с теми, о ком было безжалостно сказано: «Все мы бражники здесь, блудницы»? А ведь на эпоху чаще всего смотрят только через эту призму. Словно афористичная ахматовская строка оказывается исчерпывающей характеристикой и не требует корректировок, дополнений — как ахматовские же строки о «царскосельской веселой грешнице», которая ужаснулась бы, заглянув в свою жизнь лет на двадцать вперед.

Когда эти строки все-таки вспоминают, естественно, приходит мысль о покаянии и перерождении. У писавших о матери Марии эта мысль присутствует почти неизменно. И остается заключить, что ее подвижничество — факт совсем иной нравственной природы, чем поэтическое служение или общественные интересы юных лет. Что все тогдашнее должно было осыпаться мертвой шелухой, когда для нее развеялся смертный мрак и в расчистившемся небе встало «солнце вечности — осьмиконечный крест».

Этот образ увенчивает цикл «Постриг», который можно датировать с уверенностью: начало 30-х. По воспоминаниям Т. Манухиной, известие о постриге не произвело в эмигрантском Париже 1932 года сенсации, однако породило и недоумение, и кривотолки. Еще не забылись ни «Цех поэтов», к которому принадлежала Кузьмина-Караваева, ни былое членство в эсеровской партии, за что при Деникине ей реально угрожал смертный приговор. Такая предыстория кого-то побуждала со скепсисом отнестись к самому событию, а кого-то — и пожурить митрополита Евлогия, благословившего ее.

Дорога, которая привела к этому перевалу, тогда не просматривалась сколько-нибудь отчетливо. Отчасти из-за предвзятости. Но, может быть, и оттого, что без

должного внимания были прочитаны, а затем вовсе забыты две скромные книжки стихов петербургского предреволюционного издания.

Извлеченные из забвения только теперь, на исходе века (в большом однотомнике Кузьминой-Караваевой, вышедшем в 1991-м, к ее столетию, оба сборника представлены выборочно, да и напечатаны не совсем исправно), они вызывают иные чувства, чем у своих первых читателей. Или у первых рецензентов, упрекавших автора за пристрастие к стилизации или в лучшем случае соглашавшихся признать, что пополнился штат «работников на черноземе поэзии», по элегантному выражению С. Городецкого.

Дело не в том, что мы выучились воспринимать стихи тоньше и глубже. Кто решится соперничать на этой ниве с В. Ходасевичем, а ведь и он, откликаясь на «Скифские черепки», ограничился констатацией, что книга «умело написана». Если для нас в этой книге навык стихотворца и уверенность, с какой воссоздается легендарный мир заповедной прародины славян, уж конечно, не главное, то объяснить это несложно: мы знаем, что случится дальше. И чувствуем предвестия судьбы в стихотворениях, написанных, когда действие предстоящей драмы, собственно, еще не началось.

Предвестия эти распознаваемы уже и в «Скифских черепках», как ни стилизован их поэтический ландшафт («осколки бывшего», спрятанные в пещерах, «огненосцы-скифы», «пиршество зари курганной», «степь, где с Богом в веках мы вдвоем»), а тем более в сборнике «Руфь». Он открывается авторским признанием, что «неизбежность заставила меня подняться на высоты», но лишь затем, чтобы, оплакивая «умершую мою душу человеческую», медленно, любовно проделать путь назад — «в долины». Суть и смысл этого странствия, ставшего лирическим сюжетом книги, проясняются с первых стихотворений, образующих пролог. В них настойчиво возникает один и тот же мотив: обязанность обитать не в горних сферах, а «среди мирских равнин», творя «лишь смертные дела», но всегда с мыслью о бессмертии, о вечности, в которую мы «только верим», тогда как надлежит в нее заглянуть. Зная дальнейшее, трудно не распознать в этих строках точное предощущение и предсказание собственного пути, который станет подвижничеством. Выбор уже сделан: «Нет, я в этой жизни не заплачу, — / Как назначено, так и пойду». Годы спустя в «Постриге» та же мысль будет выражена с оттенком патетики, но сам выбор не изменится: «Черный мой венец неизреченный, / Вечного венчания печать — / К самым небесам, над всей вселенной / Надобно торжественно поднять».

«Солнце вечности» сияло и для автора «Руфи» — теперь это очевидно. Оттого разногласия критиков, которые дискутировали о степени оригинальности нового дарования, кажутся спорами о второстепенных вещах. Волнует совсем другое: очень рано определившийся круг духовных интересов, лишь углубляющихся год от года, их устойчивость и четкость. С юности установившаяся и, в сущности, никуда не отклонявшаяся линия жизни.

Предполагаемых резких перемен самосознания, которые и привели к мысли о монашестве в миру, на самом деле не было. Потому что — в этом убеждает «Руфь» — не было и сколько-нибудь серьезного воздействия атмосферы декаданса: «ненужных слов, ненужных дел», как о ней говорится в стихах 1916 года. Позднее, в «Последних римлянах», будет сказано намного жестче: «умирающее время», «старческая все постигшая, охладевшая ко всему мудрость».

Эта жесткость кажется порой излишней, но, по существу, очерк действительно лишен «элемента злобы и пристрастия». В нем не сведение счетов, а попытка разобраться в том, отчего обреченным оказался весь строй жизни и самый идеал тех, кто назван «последними римлянами». Метафора, подсказавшая заглавие, позаимствована, скорее всего, не из речей Федора Павловича Карамазова, как утверждает комментарий со ссылкой на привычку старого сладострастника любоваться собственным профилем римлянина времен упадка. Наверное, образ все-таки взят из знаменитого стихотворения Верлена «Я — римский мир периода упадка...», которое и сделало общепринятым понятие «декаданс». Ведь о декадансе в этом очерке и говорится как о целой эпохе, как об определенной культуре, которой принадлежат выдающиеся имена.

И выясняется, что с этой культурой, которой — особенно если отнести к «последним римлянам» и Блока — Кузьмина-Караваева обязана столь многим, у нее изначально были серьезные расхождения. Потому что ей казались бесперспективными усилия во что бы то ни стало сохранить накопленные ценности, пусть уподобляясь «консерваторам, уносящим свои светильники в катакомбы». Она была убеждена, что «время наше на исходе» (цикл, составляющий основу книги «Руфь», так и назван: «Исход») и что никому не дано осознать себя в полной мере свободным от кровной связанности с умирающим временем, «осуществить бегство». Но ведь бегство не только невозможно, оно неприемлемо даже как идея. Библейская Руфь, собирающая «свой разбросанный сноп», чтобы оставить колосья у порога тех, кто бедствует, в сознании Кузьминой-Караваевой была не только образцом человеколюбия. В ней еще существеннее способность, не поддавшись искушению катакомбами, «жить днями, править ремесло / Размеренных и вечных будней» (блоковское: «Актеры, правьте ремесло...»). Незаменимый дар, особенно во времена, когда намного привычнее встретить таких, кто, «разучившись говорить на земных языках, потеряв тайну земных чувств и желаний», может лишь «именовать холод», заключенный в собственной душе.

Последнее — почти незашифрованная цитата из Блока. К нему постоянно обращены мысли начинающей поэтессы, и через годы после их первой встречи она вспоминает его «точное и сознательное отношение к приближающейся гибели». Тогда Блок твердил о необходимости бежать от этого неотвратимого умирания. Шесть лет спустя, в канун войны, подтвердившей самые мрачные прогнозы на будущее, она ответила, что выбирает не бегство (и, уж разумеется, не «катакомбы», в которых укрылись «последние римляне»), а созидание. «Не только свободно создаю я свою жизнь, но и свободно вылепливаю душу свою, ту, которая будет в минуту смерти».

В доставшееся ей время свободное созидание жизни, если придавать этим словам буквальный смысл, конечно, оставалось иллюзией. От обезумевшей истории не был свободен никто — точно так же, как не могли остаться свободными от «неизбежного умирания традиций старой эры» люди ее поколения. Она об этом размышляла в «Последних римлянах», а ее поэзия двух эмигрантских десятилетий заполнена мыслями об испытаниях, которым подвергла реальность саму веру в «силу клятвенных речей», прозвучавших и в письмах Блоку, и в стихах той же поры, когда приблизившаяся катастрофа различалась всеми, кто не утратил исторического зрения.

Но «солнце вечности» не меркло для нее никогда. А если стихи за подписью «монахиня Мария» оказались не проповедью, но скорее дневником или исповедью, не утаивающей ни сомнений, ни слабостей, то этим предопределена не только их собственно поэтическая, но и человеческая ценность. Бердяев, отзываясь на известие о ее гибели, писал, что эта «монахиня нового типа» была «новой душой, по-новому взволнованной», потому что «ей свойственно было беспокойство и усложненность той эпохи», на которую выпала ее юность, совпадающая с русским культурным ренессансом начала века. Жизнь потом очень далеко увела ее от этой атмосферы, сталкивая с другой усложненностью и внушая иное беспокойство, но не изменив главного, что было осознано еще в годы поэтических дебютов, ставших и годами формирования одной из самых ярких личностей в отечественной истории кончающегося века. О главном, о завете, которому мать Мария следовала всегда, сказано ею самою: «В духовной жизни нет случая и нет удачных и неудачных эпох, а есть знаки, которые надо понимать, и пути, по которым надо идти. И мы призваны к великому, потому что мы призваны к великой свободе».

Алексей ЗВЕРЕВ.

БИБЛИОГРАФИЯ

КНИЖНАЯ ПОЛКА

*

Перл Бак. Чужие края. Роман. Воспоминания. Рассказы. Перевод с английского Н. Дарузес и других. Составление, послесловие, примечания Б. А. Гиленсона. М. «Панорама». 1997. 446 стр. (Библиотека «Лауреаты Нобелевской премии».)

Татьяна Бек. Облака сквозь деревья. Новая книга стихотворений. М. «Глагол». 1997. 159 стр. 1000 экз.

Стихи 1993 — 1996 годов, избранные стихи из предыдущей книги поэта «Смешанный лес». Послесловие Александра Шаталова.

А. Бородыня. Зона поражения. Роман. М. «Изограф». 1997. 352 стр. 26 000 экз.

Боевик, действие происходит в зоне Чернобыльской аварии.

Михаил Веллер. Самовар. Роман. СПб. «Нева». 1996. 400 стр. 25 000 экз.

Вирджиния Вулф. Орландо. Роман. Перевод с английского Е. Суриц. СПб. «Азбука», «Терра». 1997. 256 стр. 10 000 экз.

Карло Гольдони. Сочинения. В 4-х томах. М. «Терра». 1997. 10 000 экз. Том 1. Комедии. 688 стр. Том 2. Комедии. 474 стр. Том 3. Мемуары. 592 стр. Том 4. Мемуары. 816 стр.

Максим Горький: pro и contra. Личность и творчество Максима Горького в оценке русских мыслителей и исследователей. 1880 — 1910 гг. Антология. СПб. Издательство Русского Христианского гуманитарного института. 1997. 896 стр. 5000 экз.

Тимур Кибиров. Парафразис. Книга стихов. СПб. «Пушкинский фонд». 1997. 104 стр. 1000 экз.

Избранные стихи 1992 — 1996 годов.

Александр Межиров. Поземка. Стихотворения и поэмы. М. «Глагол». 1997. 180 стр. 1000 экз.

В книгу вошли: окончательный вариант поэмы «Поземка» и стихи последних лет, написанные Межировым в Америке.

Неизданный Федор Сологуб. Институт русской литературы (Пушкинский дом). Под редакцией М. М. Павловой, А. В. Лаврова. М. «Новое литературное обозрение». 1997. 576 стр. 3000 экз.

В издание вошли: неизданные стихотворения 1878 — 1927 годов (вступительная статья, публикация и комментарии М. М. Павловой), «Афоризмы», «Достоинство и мера вещей» (вступительная заметка и публикация М. М. Павловой); драма «Отравленный сад» (вступительная статья, публикация и комментарии Ю. К. Герасимова); а также материалы к биографии Федора Сологуба, письма Сологуба к Анастасии Чеботаревской, переписка с Е. Замятиным.

Роман Солнцев. Волшебные горы. Книга стихотворений. Красноярск. «Гротеск». 1997. 372 стр. 1000 экз.

Виктор Соснора. День зверя. Роман. Львов. «Галыцки контракты». 1996. 233 стр.

Впервые целиком — роман, публиковавшийся в журнальных отрывках.

М. Турнье. Лесной царь. Перевод с французского И. Волевич, А. Давыдова. М. МИК. 1996. 256 стр. 1000 экз.

Андрей Убогий. Между любовью и смертью. Калуга. «Золотая аллея». 1997. 96 стр. 1000 экз.

Шесть эссе о Пушкине калужского прозаика. Журнал намерен отрецензировать книгу.

Джон Фаулз. Червь. Роман. Перевод с английского В. Лонгинова. М. «ВАГРИУС». 1996. 542 стр. 20 000 экз.

Перевод романа, изданного в 1985 году.

П. Б. Шелли. Триумф жизни. Избранное. Перевод с английского Г. Гампер. СПб. «Глаголъ». 1996. 152 стр. 1000 экз.

●

Аполлон. Терминологический словарь. Изобразительное и декоративное искусство. Архитектура. М. «Эллис Лак». 1997. 736 стр. 25 000 экз.

Кроме указанных в подзаголовке словарь содержит также статьи об искусствознании, художественном производстве, дизайне, народном искусстве. Подготовлен коллективом сотрудников научно-исследовательского института теории и истории изобразительных искусств Российской академии художеств.

Л. Баткин. Тридцать третья буква. Заметки читателя на полях Иосифа Бродского. М. РГГУ. 1996. 333 стр. 3000 экз.

Ф. Блэйкер. Айседора. Портрет женщины и актрисы. Перевод с английского Е. Гусевой. Смоленск. «Русич». 1997. 560 стр. 10 000 экз.

Г. Брандес. Шекспир. Жизнь и произведения. Перевод с норвежского В. М. Спасской, В. М. Фриче. М. «Алгоритм». 1997. 734 стр. 5000 экз.

Переиздание книги популярного в начале века норвежского литературоведа и эссеиста Георга Брандеса, выходившей в Москве в 1899 году.

Е. М. Верещагин. Христианская книжность Древней Руси. М. «Наука». 1996. 208 стр. 1100 экз.

Гарсиа Лорка в воспоминаниях современников. Перевод с испанского, каталонского, французского, английского языков. Составление, вступительная статья Л. Осповата. М. «Терра», «Художественная литература». 1997. 654 стр. 5000 экз.

И. Емельянова. Легенды Потаповского переулка. Б. Пастернак, А. Эфрон, В. Шаламов. Воспоминания и письма. М. «Эллис Лак». 1997. 396 стр. 15 000 экз.

Р. Г. Скрынников. История Российская. IX — XVII вв. М. «Весь мир». 1997. 496 стр. 10 000 экз.

С. М. Соловьев. Владимир Соловьев. Жизнь и творческая эволюция. Послесловие П. П. Гайденко. Подготовка текста И. Г. Вишневецкого. М. «Республика». 1997. 432 стр. 5000 экз.

Игорь Сухих. Сергей Довлатов: время, место, судьба. СПб. РИЦ «Культ-информ-пресс». 1996. 384 стр. 10 000 экз.

Первая литературоведческая монография о творчестве Довлатова. Предисловие Андрея Арьева. В Приложении помещены рецензии и заметки Довлатова о литературе, выступления в дискуссиях, библиография произведений писателя и литературы о нем.

Мигель де Унамуно. О трагическом чувстве жизни у людей и народов. Агония христианства. Перевод с испанского, вступительная статья, комментарии Е. В. Гараджа. М. «Символ», «Мартис». 1997. 414 стр. 5000 экз.

Два эссе, написанные соответственно в 1913 и 1930 годах.

Энциклопедия литературных героев. Составитель и научный редактор С. В. Стахорский. М. «Аграф». 1997. 496 стр. 15 000 экз.

Научное издание, содержащее около девятисот статей об основных персонажах мировой литературы от античности до наших дней.

Илья Эренбург. В смертный час. (Статьи 1918 — 1919 гг.). СПб. 1996. 128 стр.
Журнал намерен отрецензировать это издание.

М. М. Яковенко. Агнесса. М. «Звенья». Издательская программа Общества «Мемориал». 1997. 228 стр. 1000 экз.

Название книги имеет подзаголовок: «Устные рассказы Агнессы Ивановны Мироновой-Король о ее юности, о счастье и горестях трех ее замужеств, об огромной любви к знаменитому сталинскому чекисту Сергею Наумовичу Миронову, о шикарных курортах, приемах в Кремле и... о тюрьмах, этапах, лагерях, — о жизни, прожитой на качелях советской истории».

Составитель **Сергей Костырко.**

ПЕРИОДИКА

*

«Вопросы литературы», «Грани», «Дружба народов», «Ex libris НГ», «Звезда», «Зеркало», «Знамя», «Иностранная литература», «Литературная газета», «Митин журнал», «Москва», «Нева», «Независимая газета», «Общая газета», «Огонек», «Октябрь», «Разбитый компас», «Стрелец», «Труд», «Юность», «Ясная Поляна»

Протоиерей Михаил Ардов. Прописные истины. — «Грани». Журнал литературы, искусства, науки и общественно-политической мысли. № 182 (1996).

Об оккультизме, о принципиальной душевредности театра и кинематографа, о том, что Пушкин был плохим христианином, о том, что первым демократом был сатана, о допустимости смертной казни и проч. Тут же печатается статья-ответ известного церковного публициста Александра Кырлежева «Прописи отца Михаила».

Василий Белов. Дорога на Валаам. — «Москва». Журнал русской культуры. 1997, № 4.

Дневник писателя.

Андрей Битов. Митьки на границе времени и пространства. Записала Алена Лысенко. — «Огонек». Общенациональный еженедельный иллюстрированный журнал. 1997, № 16 (апрель).

«Они заняли свое место в цепочке: Прутков — обэриуты — „Митьки"».

Леонид Бородин. Инстинкт памяти. — «Юность». Литературный журнал. 1997, № 4.

«Сайк», «Медбрат семнадцатого лагпункта», «Сан Саныч» — лагерные рассказы.

Марио Варгас Льоса. Литума в Андах. Роман. Перевод с испанского Ю. Ванникова. — «Иностранная литература». Ежемесячный литературно-художественный и публицистический журнал. 1997, № 3.

Новый (1993 года) роман знаменитого перуанского писателя. Полицейский Литума расследует таинственные происшествия в одном из шахтерских поселков в Андах.

Алексей Варламов. Наваждение Леонида Леонова. — «Москва». Журнал русской культуры. 1997, № 4.

«Не прочитанная нами «Пирамида» — роман не только великий и по своей образности, и по языку, и по художественной силе, отнюдь не исчерпывающейся богоборческими мотивами, но и — что очень, на мой взгляд, важно — роман, в котором сказались и слабые, и сильные стороны всей русской литературы конца двадцатого столетия».

Глеб Васильев. Встречи с Ю. А. Казарновским. — «Грани». Журнал литературы, искусства, науки и общественно-политической мысли. № 182 (1996).

Написанные около сорока лет назад воспоминания о поэте Юрии Алексеевиче Казарновском. Тут же печатаются стихотворения из его единственной книги «Стихи» (М., 1936).

Леонид Видгоф. «...В переулке Гранатном...». Осип Мандельштам и Мария Петровых. — «Грани». Журнал литературы, искусства, науки и общественно-политической мысли. № 182 (1966).

Из подготовленной к печати книги «Москва Осипа Мандельштама». Автор — член совета Мандельштамовского общества, профессиональный экскурсовод.

Colin Vijard. Тетушка Даниила Первого (нечто в одном действии). — «Зеркало». Литературно-художественный журнал. Главный редактор Ирина Врубель-Голубкина. Тель-Авив, 1996, № 3-4.

Короткая пьеса покойного Н. И. Харджиева, которую автор ни в коем случае не хотел печатать под своим именем. Главный герой — Даниил Хармс. Вместо предисловия напечатаны два письма Харджиева 1992 года к Михаилу Гробману и Ирине Врубель-Голубкиной в Тель-Авив. Обзор публикаций предыдущего номера журнала «Зеркало» см. в «Новом мире» (1997, № 2).

Александр Генис. Беседа первая: курган соцреализма. — «Звезда». Ежемесячный литературно-художественный и общественно-политический журнал. 1997, № 2.

Начало большого цикла статей о «новой словесности». Будущие персонажи уже обозначены: А. Синявский, А. Битов, В. Маканин, Венедикт Ерофеев, С. Довлатов, Саша Соколов, Т. Толстая, В. Сорокин и В. Пелевин. Статья о Синявском напечатана в № 3 «Звезды» за этот год.

Джеймс В. Гил. «Панар». Воспоминанье. Перевод с английского Н. Л. Рахмановой. — «Звезда». Ежемесячный литературно-художественный и общественно-политический журнал. 1997, № 3.

Джеймс Владимир Гил (1927 — 1995) — прозаик, родившийся в Германии в семье эмигрантов из России. Последние двадцать лет жил в Швейцарии. Писал на английском. См. также его рассказ «Окладбиществление» с послесловием Александра Кушнера в «Новом мире» (1996, № 1).

Вера Горелик. «...Терпеньем изумляющий народ». Воспоминания сельского врача. — «Знамя». Ежемесячный литературно-художественный и общественно-политический журнал. 1997, № 3.

Январь — апрель 1953 года. Провинциальный врач в период «дела врачей».

Натан Готхарт. Двенадцать встреч с Анной Ахматовой. — «Вопросы литературы». Журнал критики и литературоведения. 1997, № 2.

События 1963 — 1965 годов. Мемуары морского инженера Н. Готхарта, живущего ныне в США, печатались в 1989 году в журнале «Время и мы». Для нынешней публикации текст специально отредактирован и уточнен автором. Ахматова: «Мне рассказывали содержание фильма Феллини «Восемь с половиной». У меня эта тема раньше». В этом же номере печатается текст биолога и биофизика Георгия Глёкина «Встречи с Ахматовой. Из дневниковых записей 1959 — 1966 годов» (вступление и публикация Н. Гончаровой).

Даниил Гранин. Страх. — «Нева». Ежемесячный литературный журнал. 1997, № 3.

Заметки, воспоминания, размышления о страхе. «В жизни моего поколения страх занял слишком большое место».

Борис Гройс. Что такое современное искусство. — «Митин журнал». Главный редактор Дмитрий Волчек. Санкт-Петербург, № 54 (1997).

«Вопрос, что такое искусство, возникает постоянно. И возникает вопрос, почему вообще возникает этот вопрос». Встреча с Б. Гройсом в Зеленом зале Зубовского института в Петербурге 18 июня 1996 года. Ответы на вопросы из зала. Магнитозапись.

2500 отрывков из произведений и писем Николая Ленина. Предисловие Дмитрия Галковского. — «Разбитый компас». Журнал Дмитрия Галковского. 1996, № 2 (март — декабрь).

Данная публикация (продолжение следует) является побочным результатом внимательного чтения и реферирования Дмитрием Галковским собрания сочинений В. И. Ульянова-Ленина, одного из «наименее известных духовных и политических лидеров XX века». Отрывки даны в хронологическом порядке. В журнальном варианте опущены некоторые элементы аппарата: подробное указание источника, именной указатель, большинство примечаний, предисловия к главам и т. д. Автор намерен выпустить «2500 отрывков...» отдельным изданием в полном виде и надеется, что «со временем в свободной России эту книгу будут использовать как пособие для гимназистов и

студентов, изучающих русскую историю XX века». Как известно, покойный Вен. Ерофеев написал «Мою маленькую лениниану»; лениниана Дмитрия Галковского обещает быть обширнее. В последующих номерах «Разбитого компаса» Д. Галковский намеревается напечатать еще несколько материалов на ту же тему, а именно — эссе «Николай Ленин» (из цикла «История русской мысли»), сценарий фильма о болезни и смерти Ленина и эссе «Завещание Ленина». Последнее произведение автор анонсирует как «небольшую дилогию, состоящую из двух «если бы». Первое «если бы» — текст развернутого политического завещания Ленина. Второе «если бы» — покаянное письмо Ленина, на свою голову выздоровевшего и дожившего до 1937 года».

Второй номер «Разбитого компаса» открывается Программой журнала, в которой среди прочего сказано, что «Разбитый компас», заполненный пока произведениями одного только главного редактора, является тем не менее по своей структуре и общему замыслу типичным русским ТОЛСТЫМ журналом. Обзор первого номера журнала можно было прочесть в «Периодике» («Новый мир», 1996, № 6).

Джеймс Джойс. Из Финнеганова уэйка. Перевод Анри Волохонского. — «Митин журнал». Санкт-Петербург, № 54 (1997).

Два фрагмента: «Беседа Жмут и Мнут», «Птичка».

Дуайен литературного корпуса. Из писем Т. С. Элиота. Вступительная статья и перевод с английского Н. Анастасьева. — «Вопросы литературы». Журнал критики и литературоведения. 1997, № 2.

Письма Элиота 1917 — 1922 годов к матери, Эзре Паунду, Герману Гессе и другим.

Сергей Дуплицкий. Охрана царской семьи и революция 17-го года. Дневник русского офицера. Вступление и публикация профессора Олега Чубайса (Нью-Йорк). — «Москва». Журнал русской культуры. 1997, № 3.

В конце 1915 года боевой офицер, контуженный на германском фронте, С. К. Дуплицкий получил назначение в Собственный Его Императорского Величества сводный полк, расквартированный в Царском Селе. В конце 1917 года он исполнил последнее распоряжение Николая II: нелегально вывез из России письма, адресованные родственникам Императрицы — королевской семье Англии. Письма содержали просьбу о помощи и о разрешении поселиться в Англии. Позже С. Дуплицкий вступил во французский Иностранный легион, воевал в Алжире и Индокитае. Умер во Франции, в Ментоне, в конце 50-х. Его краткие воспоминания датированы 1948 годом. В этом же номере «Москвы» напечатана статья Павла Тюрина «Икона и Царь» — о необходимости восстановления монархии в России.

Даур Зантария. Золотое Колесо. Роман. — «Знамя». Ежемесячный литературно-художественный и общественно-политический журнал. 1997, № 3, 4.

Абхазские мотивы.

Михаил Зенкевич. Между двумя сфинксами. Рассказ. Публикация Сергея Зенкевича. — «Стрелец». Альманах литературы, искусства и общественно-политической мысли. 1997, № 1 (76).

Текст М. А. Зенкевича (1886 — 1973), датированный концом 10-х годов, печатается по карандашному автографу из Отдела рукописей Российской Государственной библиотеки.

Наталья Иванова. Случай Маканина. — «Знамя». Ежемесячный литературно-художественный и общественно-политический журнал. 1997, № 4.

Маканин прежде и теперь. См. также статью Ирины Роднянской «Сюжеты тревоги. Маканин под знаком „новой жестокости"» («Новый мир», 1997, № 4).

В. Н. Ильин. Письма Н. А. Бердяеву. Публикация Владимира Безносова и Е. В. Бронниковой. Комментарии Е. В. Бронниковой. — «Звезда». Ежемесячный литературно-художественный и общественно-политический журнал. 1997, № 3.

Рубрика «Религиозно-философский архив русской эмиграции». В подборку материалов также включены статья Владимира Безносова «Покаянные письма В. Н. Ильина, или Страсти по Бердяеву»; статья П. Сазановича (В. Н. Ильина) «Идеологическое возвращенство» (газ. «Возрождение», 1935, 1 февраля), содержащая резкую критику бердяевской книги «Судьба человека в современном мире» (1934); коллективное «Письмо в редакцию газеты „Последние новости"» (И. Бунаков, Б. Вышеславцев и другие), направленное против В. Н. Ильина, и, наконец, статья Е. В. Бронниковой «К истории взаимоотношений В. Н. Ильина и Н. А. Бердяева».

Илья Эренбург и «Серапионовы братья». Вступительная заметка, публикация и комментарии Б. Фрезинского. — «Вопросы литературы». Журнал критики и литературоведения. 1997, № 2.

Статья И. Эренбурга «Новая проза» (1922) — об альманахе «Серапионовы братья», письма Эренбурга к М. Слонимскому 1922 — 1932 годов и другие материалы. Письма «серапионов» к Эренбургу в Берлин, к сожалению, погибли, как и весь его довоенный архив.

Ю. Каграманов. Европа и мировой Юг. — «Дружба народов». Независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал. 1997, № 4.

Первоначально тема статьи называлась «Россия и мировой Юг», но в процессе работы автор убедился, что «в религиозно-культурном плане (в отличие от геополитического) проблема отношений России с мировым Югом является органической частью более общей проблемы: Европа как цивилизация и мировой Юг».

Каким должен быть курс истории литературы? — «Вопросы литературы». Журнал критики и литературоведения. 1997, № 2.

В обсуждении принимали участие А. Бочаров, Т. Венедиктова, С. Кормилов, В. Толмачев, И. Кондаков, Н. Полтавцева, К. Исупов. Среди прочего: «Было бы более чем своевременным создание тематического словаря русской классики — рабочей книги для теоретика и историка. Ни в одном справочнике нынешний специалист не отыщет таких кардинальных для родной культуры слов-тем, как Юродство, Исповедь, Жертва, Антихрист, Ирония истории, Хандра, Правда и ложь, Кукла, Смерть, Наивность, Апофатика, Лик/лицо/личина, Богочеловечество, Страдание, Почва, Молчание, Одиночество, Тайна, Здравый смысл, «Пещера Платона», Мистерия, Встреча, Факт/событие, Детскость, Число, Другой, Игра, Универсалии культуры (напр., имя, сон, путь, зеркало, тень, жест и т. п.)...» (Константин Исупов).

Владимир Кантор. Артистическая эпоха и ее последствия. По страницам Федора Степуна. — «Вопросы литературы». Журнал критики и литературоведения. 1997, № 2.

«Артистическая эпоха» начала века как прямой пролог последующего «восстания масс».

Анатолий Ким. Сбор грибов под музыку Баха. Роман-мистерия. — «Ясная Поляна». Литературно-художественный иллюстрированный журнал. Москва — Тула, 1997, № 1.

Новый философский роман известного прозаика. Сложная структура. Действующие лица: Голоса, Грибы. Предыдущий роман А. Кима «Онлирия» печатался в «Новом мире» (1995, № 2, 3).

Юлий Ким. Дело Петра Якира. — «Звезда». Ежемесячный литературно-художественный и общественно-политический журнал. 1997, № 3.

«Теперь, когда пишут о славных диссидентских временах, имена эти, Якира и Красина, Пети и Вити, либо умалчиваются, либо поминаются вскользь, то с горечью, а то и с презрением. Мне хочется оспорить такое отношение...»

Руслан Киреев. Тургенев: вы напрасно говорите о моем счастье. — «Ясная Поляна». Литературно-художественный иллюстрированный журнал. Москва — Тула, 1997, № 1.

Эссе о классике.

Никанор Коваль. Прокрустово ложе. Фрагменты книги. — «Грани». Журнал литературы, искусства, науки и общественно-политической мысли. № 182 (1996).

«Оляне Макаровне, маме моей, замученной насильственной коллективизацией, посвящаю».

Юрий Кублановский. Солженицын при демократии. — «Труд», 1997, № 37, 26 февраля.

Солженицын как «последний великий русский». «Давно нет почвы, на которой всходили такие люди».

М. Кузмин. Пять разговоров и один случай. — «Митин журнал». Санкт-Петербург, № 54 (1997).

Рассказ, датированный ноябрем 1925 года. Публикация сопровождается статьей живущего в Иерусалиме филолога Глеба Морева «Oeuvre posthume Кузмина: заметки к тесту»

Евгения и Иосиф Кунины. Октаэдр. Фантастический роман в двух частях. Публикация, предисловие и послесловие Сергея Гиндина. — «Знамя». Ежемесячный литературно-художественный и общественно-политический журнал. 1997, № 4.

Небольшой авантюрно-фантастический роман, написанный братом и сестрой Куниными в 20-е годы. Среди прототипов — Сергей Бобров, Константин Локс, Аделина Адалис и другие. К сожалению, авторы романа не увидят его напечатанным: Иосиф Филиппович скончался летом минувшего года, Евгения Филипповна — в марте этого года. См. в «Новом мире» лирическую трагедию Е. Куниной «Франческа да Римини» (1993, № 3), а также большую подборку ее стихов (1995, № 10).

Михаил Кураев. Чехов посередине России. — «Звезда». Ежемесячный литературно-художественный и общественно-политический журнал. 1997, № 3.

Дневник писателя. Памятник Чехову в Красноярске (географическом центре России). Дом-музей Чехова в Ялте. Та же статья одновременно напечатана в красноярском журнале «День и ночь» (1997, № 3).

Валентин Курбатов. Загадочное существо — жизнь. — «Дружба народов». Независимый литературно-художественный и общественно политический журнал. 1997, № 4.

О прозе Михаила Кураева.

Ефим Курганов. Розанов и Флоренский. — «Звезда». Ежемесячный литературно-художественный и общественно-политический журнал. 1997, № 3.

Две главы: «Проблема мессианизма», «Проблема символа». Отношения Розанова и Флоренского с иудаизмом, в частности с Каббалой (самое интересное).

С. Ломинадзе. Пустыня и оазис. — «Вопросы литературы». Журнал критики и литературоведения. 1997, № 2.

Полемика с Александром Кушнером (эссе «Здесь, на земле...» — «Знамя», 1996, № 7) о стихотворении И. Бродского «Письмо в оазис», адресованном А. Кушнеру: что есть «пустыня» и что — «оазис»?

Николай Малинин. Лукоморья больше нет. — «Ex libris НГ». Приложение к «Независимой газете», 1997, № 60, 3 апреля.

«Наверное, это великая книга». Восторженный до неприличия отклик на сборник эссе Александра Гениса «Вавилонская башня» (М., «Независимая газета», 1997). Несколько раз обыгрывается рифма «гений» — «Генис». «Это почти Честертон, но для умных». А Честертон — для кого?

Норман Мейлер. Портрет Пикассо в юности. Главы из книги. Перевод с английского А. Богдановского. — «Иностранная литература». Ежемесячный литературно-художественный и публицистический журнал. 1997, № 3, 4.

Версия биографии. Работа начата в 1962 году. Вышла в свет в 1995-м.

Александр Мелихов. «Я люблю добро, я ищу его и сгораю им». Правдивый реалист или неистовый гиперболизатор? Обличитель или фантаст? Или, может быть, пророк-правдоискатель? — «Звезда». Ежемесячный литературно-художественный и общественно-политический журнал. 1997, № 3.

О Гоголе.

Анатолий Найман. Витёк и Алик. — «Октябрь». Независимый литературно-художественный и публицистический ежемесячный журнал России. 1997, № 4.

Против статей Виктора Топорова («Постскриптум», 1996, № 4) и Александра Жолковского («Звезда», 1996, № 9) об Ахматовой.

Милорад Павич. Внутренняя сторона ветра, или Роман о Геро и Леандре. Перевод с сербскохорватского Ларисы Савельевой при участии Натальи Вагаповой. — «Ясная Поляна». Литературно-художественный иллюстрированный журнал. Москва — Тула. 1997, № 1.

Перу этого автора принадлежит мировой бестселлер — роман-лексикон «Хазарский словарь» (русский перевод — «Иностранная литература», 1991, № 3; отдельное издание — СПб., 1997). «Внутренняя сторона ветра» имеет два начала и две титульные страницы, конец романа, таким образом, находится в середине книги; ее можно читать с того или другого начала, а потом переворачивать книгу вверх ногами и продолжать чтение. Тут же печатается статья Игоря Кузнецова о М. Павиче «Водяные часы, или Роман времени с вечностью».

Людмила Петрушевская. Палимпсест. Рассказ. — «Знамя». Ежемесячный литературно-художественный и общественно-политический журнал. 1997, № 3.

Лесбиянки.

Людмила Петрушевская. Королева Лир. Сказка. — «Стрелец». Альманах литературы, искусства и общественно-политической мысли. 1997, № 1 (76).

Длинная «петрушевская» сказка.

Л. Е. Пинский. Две лекции. Вступительная заметка и публикация Е. М. Лысенко. — «Вопросы литературы». Журнал критики и литературоведения. 1997, № 2.

Почти не правленный текст магнитофонной записи лекций («Поэтическое и художественное» и «Выразительное»), прочитанных Л. Пинским в 1972 году для друзей.

Ольга Постникова. Диссертация. Рассказ. — «Стрелец». Альманах литературы, искусства и общественно-политической мысли. 1997, № 1 (76).

Короткий рассказ известной поэтессы. См. ее недавнюю подборку стихов в «Новом мире» (1997, № 3).

Вячеслав Пьецух. Из цикла «Рассуждения о писателях». — «Дружба народов». Независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал. 1997, № 4.

Эссе «Нос» (о Гоголе), и «Товарищ Пушкин» (понятно о ком).

Вячеслав Пьецух. Русские анекдоты. — «Знамя». Ежемесячный литературно-художественный и общественно-политический журнал. 1997, № 4.

Под номерами. Всего восемь.

Валентин Распутин. Отчие пределы. Рассказы. — «Москва». Журнал русской культуры. 1997, № 3.

«Видение» и «Вечером» — короткие рассказы.

Александр Сегень. Абуль-Аббас — любимый слон Карла Великого. Роман. — «Москва». Журнал русской культуры. 1997, № 4, 5.

Исторический роман. Тому же автору принадлежат книги об Иване Третьем и о Тамерлане.

Андрей Сергеев. О Бродском. — «Знамя». Ежемесячный литературно-художественный и общественно-политический журнал. 1997, № 4.

Воспоминания о поэте.

Иван Солоневич. Уроки и плоды революции. Подготовка текста, примечания и заметка Михаила Смолина. — «Москва». Журнал русской культуры. 1997, № 4.

Отрывок из книги И. Л. Солоневича (1891 — 1953) «Белая Империя» (по шанхайскому изданию 1941 года). Книга готовится к выходу в приложении к журналу «Москва».

Иван Шмелев. Солдаты. Роман. — «Москва». Журнал русской культуры. 1997, № 3.

Незаконченный роман. Первые главы публиковались в № 41 и 42 «Современных записок» за 1930 год. Текст в журнале «Москва» печатается по отдельному парижскому изданию 1962 года, вышедшему в свет благодаря усилиям родственницы писателя Ю. А. Кутириной. В приложении к публикации даны новеллы и наброски Шмелева, связанные с замыслом романа. Подготовка текста Елены Осьмининой.

Григорий Шурмак. Новые рассказы Александра Солженицына. — «Грани». Журнал литературы, искусства, науки и общественно-политической мысли. № 182 (1996).

Доброжелательный обзор солженицынских двучастных рассказов в «Новом мире» (1995, № 5, 10 и 1996, № 6).

«Я должен сохранить себя здесь...». Новые страницы дневников Франца Кафки. Вступление, перевод с немецкого и примечания Е. Кацевой. — «Вопросы литературы». Журнал критики и литературоведения. 1997, № 2.

Записи 1910 (самое начало дневников Кафки) и 1920 годов. См. также юношеские «Путевые дневники» Кафки 1911 — 1913 годов в журнале «Знамя» (1997, № 3).

Игорь Яркевич. Бог — это три буквы. — «Независимая газета», 1997, № 78, 29 апреля.

Среди прочего — забавное наблюдение: «Любая литература в России с мощным эротическим подтекстом (например, «Записки из подполья» Достоевского или «Крей-

церова соната» и «Дьявол» Толстого) могла считаться какой угодно литературой — прогрессивной, реакционной, классической, но только не «эротической»... А литература, где секс был на первом плане, вроде «Ямы» Куприна, «Санина» Арцыбашева, «Крыльев» Кузмина, была настолько плохо организованной прозой, что эротическая она или нет — уже значения не имело».

●

Грани. Журнал литературы, искусства, науки и общественно-политической мысли. № 182 (1996).

В данный номер журнала вложена листовка следующего содержания: «С 1946 г. мы издавали журнал «Грани» в Зарубежье и всеми способами нелегально распространяли его в России... Журнал был видным явлением в русской литературе. Однако с прекращением литературного подполья иссяк тот источник, который питал журнал, иссяк пафос издания. После падения советской власти «Грани» вернулись на Родину. Журнал всегда существовал на очень ограниченные средства, но финансовое положение в России оказалось столь плачевным, что издательство оказалось вынужденным по материальным соображениям прекратить издание журнала. **Вышедший сто восемьдесят второй номер журнала — последний номер».** Далее высказывается намерение издавать ежегодный альманах под тем же названием и того же направления, которого журнал «Грани» придерживался в течение пятидесяти лет.

Ясная Поляна. Литературно-художественный иллюстрированный журнал. Главные редакторы Владимир Толстой и Анатолий Ким. Москва — Тула, 1997, № 1.

Вышел первый (полиграфически роскошный и *очень* толстый) номер нового журнала «Ясная Поляна». Среди других материалов сразу бросается в глаза обилие публикаций, связанных с Львом Толстым и с родом Толстых. Это «Репей» — первая редакция «Хаджи-Мурата», специально перепечатываемая к 100-летию написания (1896). Это и статья Толстого «Благо любви. Обращение к людям-братьям». Переписка Льва Толстого с тетушкой Л. А. Ергольской (его письма входили в собрание сочинений, многие письма Л. А. Ергольской полностью публикуются впервые). Воспоминания Александры Владимировны Толстой (окончание следует). Современная литература представлена новыми сочинениями Анатолия Кима, Владимира Отрошенко и всемирно известного серба Милорада Павича, с которыми соседствуют перепечатки хорошо известных произведений Ксении Некрасовой и Бориса Шергина. Те, кто знаком с эстетическими воззрениями Льва Толстого или хотя бы раскрывал его трактат «Что такое искусство?», могут себе представить, с каким удивлением читал бы хозяин Ясной Поляны текст того же Павича (шутка). А если серьезно, то «Ясная Поляна», в первом приближении очень привлекательная, пока более походит на красивый (до зависти), со вкусом составленный *альманах,* даже *ежегодник,* чем собственно на литературный журнал, которым она, будем надеяться, еще станет. Журнальное дело требует периодичности и новизны. «Что нового?» — спрашиваем мы, раскрывая любой журнал. «Нового? Как всегда, Лев Толстой», — отвечают создатели «Ясной Поляны». Не поспоришь.

Составитель **Андрей Василевский.**

ИЗ ЛЕТОПИСИ «НОВОГО МИРА»

Август

5 лет назад — в № 8 за 1992 год напечатана повесть Михаила Кураева «Дружбы нежное волненье. Записки провинциала».

30 лет назад — в № 8 за 1967 год напечатан рассказ Виктора Некрасова «Дом Турбиных».

70 лет назад — в № 8 за 1927 год напечатан рассказ Валентина Катаева «Гора».

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

Наш индекс 70636 в каталоге издательства «Известия» (спрашивайте во всех отделениях связи).

Вы можете оформить льготную подписку на «Новый мир» непосредственно в редакции по адресу: Малый Путинковский переулок, 1/2 (м. «Пушкинская», «Чеховская», «Тверская»), в понедельник, вторник, среду, четверг с 10 до 18 часов, в субботу с 10 до 13 часов. Здесь же можно приобрести отдельные номера журнала. (Справки по тел. 200-08-29.)

Распространением журнала «Новый мир» за рубежом занимаются:

германская фирма «Кубон унд Загнер» (Kubon & Sagner. D-80328 München Germany. Tel. (089) 54-218-130. Telex: 5216711 kusa d. Fax (089) 54-218-218);

акционерное общество «Международная книга» через своих контрагентов в соответствующих странах (их адреса можно узнать в АО «Международная книга»: 117049, Россия, Москва, ул. Большая Якиманка, 39. Факс (095) 238-46-34. Телефон (095) 238-49-67. Телекс 41160);

американская фирма «Ист Вью Пабликейшенз» (East View Publications, Inc. 3020 Harbor Lane North Minneapolis, MN 55447 USA. Tel. (612) 550-0961. Fax (612) 559-2931. В Москве тел./факс (095) 144-00-55, (095) 144-01-89).

Просим зарубежных подписчиков и покупателей «Нового мира» обращать внимание на обложку журнала. За пределами России и стран СНГ наш журнал распространяется только в специальной экспортной обложке — белой, с надписью «Novy Mir»; торговля журналами в голубой обложке не является законной.

SUMMARY

*

The poetry section of the issue presents poems by Alexander Shatalov, Sergei Zolotussky, Larisa Rumarchuk and Dmitry Avaliani.

We are publishing the narrative «Episodes of Life in a Remote Place» by Oleg Larin, the narrative «A Wedding Beyond the Bug» by Anton Utkin and short stories by Andrei Volos.

In the section «New Translations» we are continuing to publish the novel «Morbus Kitahara» by Christoph Ransmayr (translation from German by N. Fedorova).

The notes «Culture, Democracy and Totalitarianism» by Sergei Zalygin occupy the section «Publicistics».

In the section «Far Nearness» we are publishing the article «Grain Under Bolsheviks» by V. Popov.

The section «Les Essais» is presented by the essay «A Master of Delft» by Alexander Kushner.

In the section «Literary Criticism» we are publishing the articles «Azolsky and His Characters» by Nikita Yeliseyev about Anatoly Azolsky's prose, «Clownery and Fight Against Tyranny: a Mortal Feat» by Alexei Smirnov about Arkady Belinkov's works, as well as the polemical notes «What's Gertrude for Him?» by Andrei Vasilevsky.

The issue also presents our traditional sections «Reviews» and «Bibliography».

Рукописи не рецензируются и не возвращаются.

Редакция не имеет возможности ходатайствовать по частным делам.

Главный редактор **С. П. Залыгин**

Редакционная коллегия: **М. В. Бутов, А. В. Василевский** (ответственный секретарь), **Р. Т. Киреев** (зам. главного редактора), **С. П. Костырко, Ю. М. Кублановский, С. И. Ларин, О. И. Новикова, И. Б. Роднянская, З. М. Фаткудинов, О. Г. Чухонцев, С. А. Яковлев** (зам. главного редактора)

Общественный совет: **С. С. Аверинцев, В. П. Астафьев, А. Г. Битов, Д. А. Гранин, А. А. Ким, Д. С. Лихачев, А. М. Марченко, П. А. Николаев, М. О. Чудакова**

Адрес редакции: 103806, ГСП, Москва, К-6, Малый Путинковский пер., д. 1/2.
Телефоны: отдел прозы — 200-54-96, отдел поэзии — 229-56-92, отдел критики — 209-05-88, отдел публицистики — 229-25-83, для справок — 200-08-29. Факс: 200-08-29.
Электронная почта: nmir@deol.ru

Свидетельство о регистрации № 138 от 27 сентября 1990 г. в Министерстве печати и массовой информации РСФСР.

Сдано в набор 20.04.97 г. Подписано к печати 24.06.97 г. Оригинал-макет изготовлен на компьютерах редакции журнала «Новый мир». Формат бумаги 70x108 $^1/_{16}$. Бумага кн.-журн. Высокая печать. Объем 16 п. л., 22,4 усл. печ. л., 28 уч.-изд. л.

Тираж 14800 экз. Зак. 5382. Цена договорная.

При участии издательства «Известия». Москва, Пушкинская пл., 5.

Типография имени И. И. Скворцова-Степанова издательства «Известия». 103798, Москва, Пушкинская пл., 5.

Доступ к Internet и Электронной почте предоставлен фирмой Data Express Corporation, тел. (095) 932-76-47, WWW: http://www.deol.ru

8 НМ № 8 ЭО

Индекс 70636

ДО КОНЦА 1997 ГОДА И В 1998 ГОДУ «НОВЫЙ МИР» ПРЕДПОЛАГАЕТ ОПУБЛИКОВАТЬ:

АНАТОЛИЙ АЗОЛЬСКИЙ. **Подписанты** (повесть);
ВИКТОР АСТАФЬЕВ. **Прокляты и убиты** (роман, часть третья);
АНДРЕЙ БИТОВ. **Общество охраны героев** (повесть);
В. БОГОМОЛОВ. **Алина** (повесть);
МИХАИЛ БУТОВ. **Свобода** (роман);
РАВИЛЬ БУХАРАЕВ. **Гость случайный** (роман-эссе);
АЛЕКСЕЙ ВАРЛАМОВ. **Дом в деревне** (повесть);
СВЕТЛАНА ВАСИЛЕНКО. **Два рассказа;**
ЯН ГОЛЬЦМАН. **Страницы северной тетради;**
ВИТОЛЬД ГОМБРОВИЧ. **Из «Дневника»** (перевод с польского);
ДАНИИЛ ГРАНИН. **Вечера с Петром Великим** (роман);
МАРИНА ДУРНОВО, с участием ВЛАДИМИРА ГЛОЦЕРА. **Мой муж Даниил Хармс** (воспоминания);
БОРИС ЕКИМОВ. **Очерки и рассказы;**
ВАЛЕРИЙ ИСХАКОВ. **Пудель Артемон** (повесть);
АНАТОЛИЙ КИМ. **Стена** (повесть);
МИХАИЛ КУРАЕВ. **Произведение** (маленькая повесть);
АНАТОЛИЙ НАЙМАН. **Б. Б. и др.;**
ПЕРЕПИСКА М. ГОРЬКОГО и И. СТАЛИНА, 1929 — 1936 годы (из Архива Президента Российской Федерации);
ВАЛЕРИЙ ПОПОВ. **Чернильный ангел** (повесть);
МАРК РОЗОВСКИЙ. **Театральный человек** (документальное повествование);
А. СОЛЖЕНИЦЫН. **Этюды из «Литературной коллекции»;**
А. СОЛОВОВ. **Московское лихолетье** (воспоминания);
ИГОРЬ ШКЛЯРЕВСКИЙ. **Золотая блесна** (северная проза);
ГАЛИНА ЩЕРБАКОВА. **Армия любовников** (роман);
ЮЛИУ ЭДЛИС. **Аноним** (роман);

а также романы, повести, рассказы ВАСИЛИЯ АКСЕНОВА, ЮРИЯ БУЙДЫ, ФАЗИЛЯ ИСКАНДЕРА, МАРКА КОСТРОВА, ВЛАДИМИРА МАКАНИНА, ОЛЕГА ПАВЛОВА, ИРИНЫ ПОЛЯНСКОЙ, ВЯЧЕСЛАВА ПЬЕЦУХА, ДИНЫ РУБИНОЙ, ВИКТОРИИ ТОКАРЕВОЙ, ЛЮДМИЛЫ УЛИЦКОЙ, стихи АЛЕКСАНДРА КУШНЕРА, СЕМЕНА ЛИПКИНА, ИННЫ ЛИСНЯНСКОЙ, ЕВГЕНИЯ РЕЙНА, статьи, эссе СЕРГЕЯ АВЕРИНЦЕВА, АЛЕКСАНДРА АРХАНГЕЛЬСКОГО, РЕНАТЫ ГАЛЬЦЕВОЙ, ЮРИЯ КАГРАМАНОВА и других авторов.

НЕ ЗАБУДЬТЕ ВОВРЕМЯ ПРОДЛИТЬ ВАШУ ПОДПИСКУ!

ISSN 0130 — 7673 Новый мир, 1997, № 8, 1 — 256